Е. НОВИКОВА-ВАШЕНЦЕВА

Маринкина жизнь

ГОСЛИТИЗДАТ



Елена Михайловна
НОВИКОВА-ВАШЕНЦЕВА

Е. НОВИКОВА-ВАШЕНЦЕВА

Маринкина жизнь

ПОВЕСТЬ
В ТРЕХ КНИГАХ

Предисловие
М. Горького

1939
МОСКВА
государственное издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

УЧАСТНИЦАМ ОКТЯБРЬСКИХ БОЕВ И ПОБЕД — ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ РАБОТНИЦАМ И КРЕСТЬЯНКАМ, ВЫНЕСШИМ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ВЕКОВОЙ ГНЕТ ЦАРСКИХ ВРЕМЕН — ПОСВЯЩАЕТ ТРУД СВОЙ ОДНА ИЗ МНОГИХ ОСВОБОЖДЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ПАРТИЕЙ ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Елене Новиковой-Вашенцевой шестьдесят восемь лет. До пятидесяти лет — малограмотная, богомольная. И вот пять лет она писала книгу о своей «бабьей» жизни. Тяжелый труд для нее, но замечательный факт нашей изумительной действительности советской.

Факт этот говорит о том, насколько глубоко вспахана мощным плутом революции многовековая почва умственной лени и невежества, — почва, утоптанная до твердости камня миллиардами русских баб, мужиков, которые безмолвно и покорно прошли от колыбели до могилы.

Факт появления книги о жизни Елены Новиковой-Вашенцевой так значителен сам по себе, что он должен бы открыть этой книге дорогу к сердцу и уму нашей полуграмотной массы.

Пусть книга написана недостаточно хорошо с точки зрения литературного искусства. Но у нас есть еще миллионы таких же «баб», как Новикова-Вашенцева, и для них пример ее может служить толчком на новый путь, на путь к свободе. Есть еще много людей, которые, не чувствуя сурово-требовательного веяния свободы, считают рабство законом. Равенство в труде еще не опровергает этого закона с тою быстротой и силой, с которой должно бы разрывать вековые цепи рабства, — это потому, что рабство въелось в души людей.

Надо хорошо понять и помнить, что без женщины невозможно осуществление социализма. Е. Новикова-Вашенцева рассказывает, не жалуясь; она знает, что путей к свободе не откроешь жалобами на жизнь и что знание жизни в прошлом ее полезно. Поэтому очень полезно будет, чтобы знали именно со слов Елены Новиковой-Вашенцевой, как жила одна из миллионов наших женщин.

М. Горький

1930 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Возможно автор в своей повести плохо справился с литературным искусством. Пусть читатели не будут столь взыскательны, ибо до шестьдесят третьего года своей жизни она не имела в помыслах заняться писательством. Новая жизнь и желание принять посильное участие в строительстве натолкнули на рабкорство. Три-пять напечатанных заметок показали мне силу печатного слова и породили любовь к книге.

Поняв художественную красоту и жизненную правду в повестях и рассказах, загорелась желанием описать, что слышала, что видела в былое время и что самой пережито, — действительную «Маринкину жизнь».

Повесть показывает, чего может в условиях социализма достигнуть женщина с твердой волей и упрямым желанием, даже на склоне своих лет.

1930 г.

Книга первая



СЕЛО СПАСОВО

Неохотно отступал дремучий хвойный лес, чтобы дать место селу Спасову. Встало село тут давным-давно, за многие годы расползлись избы в широкую слободу по сторонам гремучей дороги с полосатыми столбами. Отмечали черные цифры версты от Москвы до Владимира.

По сереньким тропкам за дорожной канавой брели богомольцы и странники с посошками в руках, с котомками за плечами. Не переставая, день и ночь тарахтели обозы с кладью, громыхали крестьянские телеги. Тряслись в кибитках земские. На разряженных тройках, развалясь в колясках, мчались дородные, щеголеватые помещики. И тут же по сторонке тащились с арестантским барахлом подводы. Слушали слободские звон цепей кандальных, бунтарей-крестьян и бегунов от царской солдатчины. Отмеряли они версты босыми ногами в далекую холодную Сибирь. Кажись, спокон веку люди видели одно и то же безотрадное.

Разве по праздникам разгуляются девки с парнями, дойдут по дороге до конца слободы, порадуют голосистой песней и задорной гармошкой...

Было все в Спасове-селе: трактир с вывеской — половой в белом фартуке держит поднос с полштофом

сивухи, пузатыми чайниками; рядом съестная лавка манит большедорожных путников связкой баранок и новыми лаптями; поодаль стоит большая серая часовня с «чудотворной», родничком и с объемистой кружкой для сбору за «святую» водичку. Село было трактовое, с садами, огородами и базарным местом, красивое, только для озорства, знать, какой выдумщик дал ему прозвание «Плюево».

Мужики издавна здесь безземельные. В крепостное время барщиной перебивались.

Когда упразднилась барщина, стали заниматься в Спасове разным ремеслом, а больше слесарным да токарным. Слесари челноки делали железные для ткачества, токари — деревянные для шелковья. Ковали кузнецы для челноков спринки, пружинки и что надо для крестьянства — топоры, вилы, лопаты железные. Все расходилось по деревням. В деревнях у мужиков земля — кочки да песок, а хорошая — под барскими да казенными угодьями. На плохих полосках много ли нажнешь? И пословица у них сложилась такая: «Пока жнем, потуда и хлеб свой жрем».

Кормились ткацким ремеслом. Не столько на себя работали, сколько на зажиточных мужиков. Зажиточных называли «заглодами». Заказывали «заглоды» станки, сновальни, ставили их по деревне почти в каждой избе. «Заглоды» привозили с фабрик основы и раздавали ее крестьянам для выработки сатина, сарпинки, миткаля, другого сыровья. Вырабатывали и шелковую материю, и платки разноцветные, и все ручным делом, задешево.

«Заглоды» забирали выработанный товар, сдавали на фабрики; они были полные хозяева над ткачами. За хлопоты брали с аршина, как вздумается. Никакой защиты ткачам не было.

Два богатых мужика — трактирщик и церковный староста — выстроили на усадьбах по фабричке, обзавелись токарными станками. Набрали челночников-мастеров, стали брать заказы на челноки с больших фабрик. Фабриканты заказы давали охотно: челноки по выделке — как заграничные.

Народ в селе нарастал, работать в избах было несподручно. Сбавили хозяйчики цену с мастеров, а деньги стали класть в кубышку. В ту пору многие слесари и токари и даже молодые девки и бабы-ткачихи ушли работать на «волю», на большие фабрики.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РОЖДЕНИЕ МАРИНКИ

Молодым, широкоплечим, русоволосым парнем приехал Петр из села Спасова на фабрику Морозова. Закрутила его фабричная жизнь, годов пять не был в селе, а приехал — женился на румяной Марье и вместе с ней вернулся на фабрику.

Марья долго не удосуживалась навестить своих. Не пускали ее ребенок да работа фабричная.

А вот в этот раз, тоже на сносях ходила, собралась к родным.

— Побывать надо у своих, — говорит соседкам, — пока еще пискун не народился.

Оставила двоих ребят у сторожихи. Кланялась в пояс, — «походи, Пелагевнушка, пригляди за ребятами». Старшую дочку Анку с отцом оставила и отправилась.

На вокзал как пришла, осмотрелась кругом, подивилась на народ, на водокачку, влезла в вагон. Беспокойно поглядывает в окно.

Паровоз пошипел, погудел, двинулся с места. Марья вздрогнула: «Ой, господи, свят, свят!..» Уцепилась руками за край лавки, зажмурила глаза.

Вагоны скрипели, качались. Внизу постукивало, дребезжало. Марью даже в пот ударило, голова закружилась. Понемногу успокоилась, открыла глаза и загляделась в окно. Мелькали поля, деревни, речки, стада. Вдали лес большой да темный, — казалось ей, будто плыл, держась макушками за облака. А машина бежит все дальше и дальше. Дым паровоза серым ненастным облаком вьется над вагонами.

В вагоне народу мало. У одного окна тетка в армяке грызет хлебные сухари. Бородатый мужик пригнулся к своей котомке, храпит. Вспомнила Марья, как

еще невестой ходила с девками глядеть, когда чугунка первый раз пошла. Со всей волости народ тогда привалил, а как задвигали колесами вот эти самые ящики с окнами, все и пошарахались прочь. Бегут, крестятся... Не забыть ей, как дядя Панкрат, — уж на что был воитель, никого в селе не боялся, особливо хмельной, — ухватился за какой-то столб, трясется весь, машет шапкой на машину, а сам орет:

— Куда, сатана, прешь?.. Чур меня, сгинь... Провались!..

«Опосля смеху-то сколько было! — улыбается Марья. — Да я и сама, не хуже других, словно в лихоманке тряслась, все молитвы перебрала от страха... А ведь без денег в ту пору возили, — метнулось опять в памяти, — только мало у кого охоты было ехать: думали, нечистая сила везет...»

— Марья, да, никак, это ты? — окрикнул молодой парень, когда Марья слезла с поезда. Она оглянулась. Из-за вокзала выезжал меньшой деверь.

— Вот не гадала, что ты, Федюха, тут сгодился... Вижу, ни одной подводы нет, совсем было пригорюнилась. Ну, здравствуй, зачем приехал? — спросила, осторожно влезая на телегу. У Федюхи раскосые глаза весело блеснули.

— К заглоде Пантелею шелк на катушках возили, бабы намотали...

Свернули за угол трактира, дорога побежала в лес. Федюха то и дело чмокал толстыми румяными губами на лошадь, дергая вожжами.

«Все такой же дурковатый», — подумала Марья про деверя.

Из леса тянуло пахучей прелью листов и смолистой сосной. Марья вдыхала в себя лесные запахи, ей становилось спокойно, радостно, — и вдруг внутри у нее схватило.

«Батюшки, родимые... Хоть бы доехать без греха», — подумала она; сердце сжалось от знакомого предчувствия.

Дребезжа по шоссе, Федюха свернул у самого села на задворки. Марья удивилась: раньше тут не было езды.

— По новой слободке поедем... — И Федюха пока-

зал кнутовищем на маленькие избушки. Нахохлившись соломой крыш, они весело поблескивали новыми окошками на барский сад через дорогу. Переминаясь от боли, Марья оглядывалась по сторонам.

За развесистыми, в обхват, липами выглянула колокольня. О бок с церковью белел пустой барский дом с двумя рядами окон. к большому пруду. И на Марью нахлынула тоска. Серые глаза погрустнели, и представилась она себе дворовой девчонкой на побегушках у барыни Рахмановой.

Марья отыскала глазами окно под фигурным карнизом: тут была спальня барыни. Там, набегавшись за день до нестерпимой боли в пятках, сидела она на полу у двери, сторожила ночами барынин сон, часто не смыкая глаз, боясь грозного окрика:

— Задрыхалась, сиволапая дармоедина! Почеши ногу!

Она вскакивала, чесала, пол из-под ног плыл, словно плот по реке, стены качались, в голове гудело колокольным звоном.

Утром убирала спальню, пока барыня спит. От воспоминаний Марья поежилась, как от холода.

Да, долго ее, Машку, муштровали, пока не выучилась она все вымыть и вычистить, не потревожив сна барыни ни единым звуком. Барыня вставала ласковая, считала булавочки, разбросанные ею с вечера и подобранные Машкой с полу, за каждую потерянную булавочку больно драла девушку за косу. И так жила она до той поры, пока не стала невестой.

Барский дом спрятался в зелени деревьев. Они въезжали в улицу с избами под тесом, с решетчатыми палисадниками против окон. Марье захотелось кого-нибудь увидеть, она перегнулась на другую сторону, и снова острая боль прорезала поясницу.

Еще издали узнала Марья избу свекра, деда Лексея, и свекрухи Лимпиады.

Дед Лексей возился на дворе с ульями, пустые убирал в подполье. Снохи Васена с Устиньей садили в огороде картошку.

Спугнутые дедом куры громко кудахтали под навесом. На галдеж прилетела сорока, села на конец за-

стрехи, поглядывая одним глазом на кур, своим стрекотаньем еще больше подзадоривая их.

Бабка Лимпиада была чем-то озабочена. В подоткнутом сарафане, прихрамывая, сновала по двору — то в амбарушку, то в чулан.

— Неужто вещунья гостей закликает?.. Кого бы это?.. — разговаривала она сама с собой.

Дед, залезая в подполье, услыхал, позудил ее:

— У «верховодки» на кажно дело примета... А в которых местах сороки нет, так там гостей не бывает? — и обернулся: Федюха отворял ворота. Лимпиада увидела Марью, удивилась. Вспомнила о сороке, смахнула с носа капельку и крикнула деду:

— Что, старый поперешник, умней бабы хочешь быть?.. Ну, здравствуй, невестка, чтой-то безо время вздумала приехать?

Марья от боли закусила губу, с трудом слезла с телеги.

— Здравствуй, матушка... Давно не была... Дай, думаю, побываю... Ох, — схватилась опять за живот, — в спину что-то тяпает, не по себе стало... А батюшка дома?..

— Там сидит... — И Лимпиада мотнула головой на подполье. В избе она заботливо оглядела Марью. Мелкие морщинки на лице шевельнулись.

— Растрясло тебя, баба, — пожалуй, родишь без поры, а может, и время приспело.

— Не знаю, ой!.. Матушка, родная, не чаяла доехать. Ох, головушка моя горькая... — И Марья расплакалась...

— Ну что, невестка, реветь-то!.. Сядь, поешь пирога со свеклой, мед вон есть... Ладно тебя бабы не увидали, и мужики Захар с Андреем ушли в город подыскать железо для челноков. Иди, родима, в клеть, туда никто не заглянет. В тако время чужого глазу пуще всего надо бояться, — ишь, пузо како!

Через маленькое оконце в клеть вползал мутный свет. В углу стоял большой сундук с переплетом из ржавого железа. У другой стены — низкая деревянная кровать, покрытая чистой дерюгой. На стенах лохматился мох.

Лимпиада перед дощатым образом потемневшего угодника затеплила лампадку, набожно перекрестилась и, скорбно глядя черными глазами на Марью, сказала:

— Ну, дай тебе бог легкого часу, а коли что — покличь.

Прихрамывая, вышла, плотно притворив дверь.

Оставшись одна, Марья долгое время охала, гладила поясницу. Хотелось спать, припадала головой на подушку. От боли вставала, принималась ходить из угла в угол. Не находя себе места, сквозь слезы взглядывала на лампадку и шептала:

— Святители... Милостивые...

Был уже поздний час, когда в клеть, крадучись, вошла старая, горбатая повитуха. Пустыми глазами оглядела Марью, пощупала кривыми пальцами живот:

— Помолись, болезная, воля богова... Я вот тут буду...

Свернула комом свою кацавейку под голову и улеглась на сундуке.

Дверь скрипнула, и в щелку заглянула Лимпиада. Повитуха тихо шмыгнула к ней в сени. Немного погодя вернулась с ковшом воды в дрожащих руках.

— С глазу ты, Марьюшка, столько бьешься... С мужичьего... Заметили, знать: за брюхо хватилась у притолоки... Святой водицей надо с угольков... — И изо рта брызнула затихшей Марье в лицо. От испуга Марья схватилась за грудь, мешком свалилась с кровати, и истеричный громкий крик пронесся по клети, по сеням, ответным эхом раздался на дворе.

Устинью крик кольнул остро и больно: улетел сон. Схватив за грудь, толкнула Васену:

— Невестка, слышь, замаялась Марья, помочь бы...

По Васене мурашками бегал озноб, дрожала: давно ли было так с ней, не выжил дитенок. Сердце сжало словно клещами.

— Нишкни, Устиньюшка... матушка-свекровь баяла: час ночной нарушим, осерчает дворовый, задушит младенца...

Лимпиада на печке невпопад шептала молитву.

Занялась заря. В оконце стал виден розовый краешек неба. На черемухе чирикнула первая птичка. В клети замер последний крик Марьи. В это утро родилась Маринка.

Днем солнце висело прямо над березой под окнами. Светлые лучи заглядывали в избу, шарили по скамейке, по щелистому полу, припекали спину Васены, сидевшей у стола против Устиньи. Поглядывая на лежавшую на печи Марью, обе шептались.

— Поди, не хотелось девчонку...

— Ну, не все одно?.. А звать-то как будет, не знаешь?

— Матушке в ночь Марья баяла: назовет Маринкой. — Лицо Васены засветилось улыбкой.

— Ну-у... Маринкой... Ишь ты... — И тихонько кивнула головой на печь.

Пять дней прошло, и каждый день бабка Лимпиада ладила:

— Неча Петра ждать, надо хрестить, девчонка поганая.

Тоскливо и скучно было в церкви, когда принесли Маринку. Служба только что кончилась, кое-где мерцали свечи. Бабка Лимпиада присела на приступочек у иконостаса, мусолила из хлеба кисейную соску плачущей Маринке, трясла девчонку, баюкала:

— О-о-о... Бай... бай... Вот неуемная зародилась... Ну, и девка, дуй ее горой... голосистая...

Батюшка окунул Маринку в холодную воду.

Маринка закатилась, посинела. Тоненькие ручки и ножки повисли. Крестная мать подхватила ее в новый белый миткаль. На шейке у ней зарозовела тесемочка. Светлой медяшкой блеснул крестик.

— Ну, слава те... сподобил осподь-батюшка... теперь андельская душа... — крестилась бабка Лимпиада. А дьячок Онуфрий возился у окна с кожаной церковной книгой.

В книге и по сие время значится, что Маринка родилась в 1860 году, в мае. И число было тут же на желтом листе, да смазал его Онуфрий в чернильное пятно, когда гусиным пером живую душу Маринкину в книгу водворял.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

В село к свекрови Марья привезла Маринку летом, когда от груди отнимать настала пора. Раскутала из ватного одеяла, поставила около себя на пол.

— Может, ты, матушка, походишь за ней? Совсем меня ребята да фабрика скружили, отдыху нет никакого... — сокрушенным голосом сказала Марья, вопросительно глядя на свекровь.

Бабка Лимпиада сидела за прялкой, боком к лежанке, и, покачивая головой в темном повойнике, задумчиво слушала. Вдруг озабоченно сдвинула крупные брови и недовольно буркнула:

— Мала больно.

— Что ты, матушка, два года скоро, три поста сосала, опять воспожинки доходят, сама знаешь: все одно великий пост. Будет матери титьку тянуть — от людей нехорошо, а грех-то какой... — Марья невольно скользнула глазами на образа. — Заставит меня поп целый год отмаливать, поклонов по сорока в день...

— Дочка, глянь, эва твоя бабушка... — переменила Марья голос и показала девочке на свекровь.

Маринка бойко топотала грубыми ботинками по щелистому полу. Не глядя на сидевшую с шитьем у бокового окна крестную Васену, полазила под столом, заглянула в дырку сгнившей половницы в заднем углу, потянула за хвост пестрого котенка.

— Не балуй!.. — строго крикнула бабка.

Маринка смело поглядела карими глазенками на Лимпиаду, увидала у ней на груди две золотистые янтарные бусины вместе с крестом на сером гайтане. Затеребила бабкин сарафан, — потянулась к ней на колени.

Бойкая, здоровая девчонка с розовыми щечками вызвала у бабки улыбку, старуха обмякла.

— Тесно у нас, невестка, сама знаешь, семьища какая!

Васена приладила заплатку на синюю штанину, подобрала светлорусые волосы под розовый повойник. С русыми бровями, в желтом сарафане, вся она была русая, светлая. Остановила голубые глаза на свекрови и нетерпеливо сказала:

— Полно-ка, матушка, хватит места. Одна на всех будет для потехи.

Ласково обеими руками поманила Маринку.

— Подь ко мне, желанная кресинка, я попестую...

Маринка — на коленях у бабки. Не оглядываясь, крепко уцепилась одной рукой за рукав бабкиной рубахи, другой тянула гайтан; забивая в рот янтарину, лепетала:

— Баба «бубы ика нца-а»...

На лбу Лимпиады задвигались морщинки, черные глаза залучились. Заговорила совсем ласково:

— Летом у нас, невестка, гоже супротив фабричных каморок, пущай живет, печь большая, просидит на ней зиму...

Баба Лимпиада одна была на слободе черная, высокая и, как щепка, сухая. И повадкой иная супротив других баб. Не судачила, взаймы просить ни к кому не ходила и снохам так же наказывала.

Сыновья, — здоровые и твердые мужики, непьющие, — слушались ее и выработку всю до копейки ей отдавали.

— В семье спорее, когда сувместно все из одного горшка... — говорила Лимпиада, пряча деньги за горшки на полку.

Дед Лексей сроду хмельного в рот не брал и в трактир дороги не знал. «Кремневый старик», — говорили про него. И все, мужики и бабы, и даже молодые ребята почет ему оказывали.

Только над своей Лимпиадой дед давно воли не имел и в домашнее дело не мешался. Было у него свое — пчелы. Десятка три ульев в огороде стояло.

Если случалось в семье какое дело решать, дед махал рукой:

— Пускай скажет наша верховодка... удумает, как надо.

По сердцу пришлась Лимпиаде говорунья-внучка. С утра до ночи бабка с ней возится, а ночью спит вместе на печи. Прижмется Маринка, обнимет за

шею, слушает бабкин шопот. Утром, лишь глаза продерет, уставится на дядей.

Андрей у верстака, приложенного к окну, точит железо напильником. Захар стучит молотком. Маринке спать не дают. Смотрит она на теток Васену и Устинью. Сидят они на скамьях с лучками в руке. Перед каждой скальна и кроны. Хлопают лучками по скальнам — сматывают с крон мотки синего шелка на катушки. Маринка все уже понимает, все примечает. Когда они мало намотают, бабка сердито ворчит. Теперь Маринка силится что-то понять, морщит нос и недовольно куксится.

— Ба-аба... я индо устала спать, дай каши...

Бабка наседкой квохчет:

— Встала беляна Маруня... Мед мой сладкий... Давай-ка я тебя обряжу... вот и гребешок припасла...

Не любит Маринка голову чесать, вертит головой, а заплакать боится: глаза у бабки черные, строгие.

Маринке от бабки ни в чем запрета не было. Захочет молочка постом — бабка и сметанкой накормит, и яичко сварит. Тетка Устинья шепотком погрозится:

— Гляди, девка, тебе уж четыре года, грех сметану есть в пост, бог накажет камушком по головке: у него много их в пазушке.

Маринка поглядывает на бабку и на образа, вертит головой:

— А вот и нет... Бабушка-то вон она, спрячет.

Тихая Васена мало во что вмешивалась, а все же не стерпела, шушукается с Устиньей:

— Избалует девчонку старая верховодка, много потачки дает.

С опаской поглядела в сторону свекрови, спрашивает:

— А может, невестка, и вправду бают про матушку, что она басурманской веры была?

Устинья подсела к ней, тихо говорит:

— Неча и сумлеваться, зря не станут звать иноземкой. Бабка Секлетенья старше батюшки нашего, помнит их молодыми. Огонь, баит, была Лимпиадушка, сперва так и кликали: молдаванка.

После полдён в праздник мужики рядятся гулять. Захар просит:

— Матушка, дала бы ты нам по пятачишку: в трахтире чайку попить на народе для праздника.

Лимпиада кряхтит с печки.

— Слезать больно не хотца, возьмите там в кошеле на полке. А может, еще возьмете по семитке — бабам подсолнухов принесете.

Полечка, дочь Лимпиады, тоже идет гулять на дорогу. Срядилась, всем девкам на отличку, в платье с брижами-оборками. У девок на голове платки в нахмурку, а она природный хохол пуще на лоб взбивает. Рябоватые щеки нарумянит. В зубы пустую папироску воткнет, ходит с парнями, смеется, бахвалится.

— Так, — скажет, — у нас на фабрике мастера ходят.

Бабы слободские выйдут, рассядутся на канаве, словно индюшки хвосты, распустят подолы, смотрят на гулянье. Маринка тоже вертится тут. Девчонки кричат, смеются:

— Гляди, гляди, Маринка. Полечка-то ваша, как мужик, курит!

Придут снохи с гулянья, жалуются свекрови на золовку. А Лимпиада, вспоминая себя молодую, ухмыляется:

— В нашу породу Полька вышла... Пущай так...

Снохи Польку начинают бранить:

— Охаверница, басурманка, за тебя и нам-то стыдоба! Рази тебя женихи возьмут замуж, такую никудышную?

Полечке и тут горя мало. Сдвинет брови к носу, смеется, глядя на Маринку, и говорит снохам:

— Я это так, для форсу. А за женихов ничуть не заботно, замуж когда ни то выйду... Марька, подь ко мне, поиграем.

Ущипнет пальцами ее розовые щечки.

— Скажи: любишь тетку?

У Маринки смешно вздергивается носик, глаза делаются большими, испуганными. Полечка хохочет. Лимпиада вороной наскакивает.

— Дай-ка сюда девчонку... озорница бессовестная! На работу тебе рядиться пора!

У Полечки пропала веселость. Нехотя меняет

праздничный сарафан на старый, нехотя натягивает на себя груслетовую кацавейку, вспоминает духоту фабричную, злого мастера, угрюмых людей за станками. Сердится и на то, что праздник прошел, и на мать ворчит:

— Стыдно на чужой лошади который раз ехать, а все ты, матушка! Увальня Федьку жалко, свою бы запрячь...

Лимпиада догадывается, отчего Полечка сердится. Поддернула на ней концы большого платка, ободряюще, ласково сказала:

— Ничто, Полька, гоже там, где нас нет... а харчей-то, будет оказия в город, еще пришлю.

Уехала тетка, грустно Маринке, заплакала, а бабка сказку завела о петушке, золотом гребешке, и о двенадцатиголовом змее-горыныче, о золотом клубке.

Ластится к ней внучка:

— Скажи, баба, еще что ни то.

Лимпиада охотно говорит о страшной ведьме с помелом, о шишиге черном, с рогами и хвостом. А с ними и колдун злой, что вгоняет всякую хворь и нечисть в нутро человека.

Маринка слушает, бровки сдвинула, на сердечке оседает страх, жмется к ней ближе. Бабка про бога говорит и про страшную преисподнюю.

Жутко Маринке, дышать боится. И представляется ей преисподняя глубокой темной ямой под сенями, где стоят «страшенные» кадки с солеными огурцами и моченой брусникой, а за ними сидят черные черти с когтями, как у облезлой собаки на дворе у Дуньки. Жалко ей грешных людей, и она чуть слышно шепчет:

— Баба, он сердитый, бог? Ты его видела? А что это грех?

Засмотрелась на образа, вспомнила, что тетка говорила: у бога за пазушкой камушки. Думки озорные завозились червяками. Указывает на седого Саваофа, кричит:

— Баушка, скажи, зачем вон тот бог на печку глядит, а глаза у него не хлопают?

Лимпиада молчит, не оглядывается, а Маринку задор берет, — не отстает. Показывает на другого, что в киоте ризой блестит при свете лучины.

— А вон тот, скажи, баба, зачем за стекло в ящик залез? Может, камушки спрятал, а?..

Лимпиада смотрит на образа, на внучку, шепчет себе под нос:

— Вот привязалась, глупая, — что ни увидит, пытает: почто да зачем. И чего ей молвить, сама про это не знаю.

Говорит ласково:

— И что тебе приспичило все знать? Погоди, ужотко сказку расскажу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БАБКИНА БЫЛИНА

Трещит мороз. В лунном свете притаилось село. На улице ни души. Резкий ветер качает березу. Тень дрожит на стеклах узорами. Лимпиада лежит на печи, рядом раскинулась сонная Маринка. Нет у Лимпиады сна, разломили старую голову думы: то собьются все в одну кучку, то гонят одна другую, как ветер сухие опавшие листья.

Видится ей далекое детство. Мать. Отец. Взрослые братья и залитый солнцем зеленый простор.

Эх, было времечко — радость девичья, бунтовала кровь горячая от любви удалого, чернобрового, — прости, господи, душу грешную... Тут же вскорости степным ветром пронеслась радость неизведанная... Молодехоньку загубили ее, Лимпиаду черноокую, воля крепкая, воля барская, — окрутили ее венцом за незнамого, за нелюбого... В дугу согнул муж ее, буйную, непокорную. Смирилась, покорилась, доля бабья — одно горюшко, пролито слез горячих полны пригоршни... Пошла жизнь ералашная, нужда, работа, побои...

Дни и ночи бунтовала с мужем за себя, свою молодость, отвоевывала свое равенство, не приметила, как в больших мужиков дети выросли.

А теперь, верховодка старая, болеет за них: росли нелюбимые, без ласки матери. И самой невдомек, как остатки материнской любви вылились на меньшую дочь и на сына-последыша.

Не умеючи баловала их, потакала им; люди бают: никудышные... И скорбит по ночам сердце Лимпиадино. За туманом слез глаза старые на внучатку смотрят ласково.

— Родная, желанная радость, утеха на старости... — шепчут ее завялые губы.

Укрыла чистым рядном, обвела глазами избу.

— Подымайтесь, подымайтесь, бабы, чего там разлеживаться! — крикнула строгим голосом. Подсунула кривыми пальцами черные космы в повойник, спустила длинные ноги, уперлась на приступочек.

— Охо-хо... Жисть-матушка... — проскрипела привычное слово. Легко спрыгнула на пол...

К воротам подползли розвальни, пегая лошадка громко заржала.

В избу вошли мужики, обив рукавицами снег с лаптей, и поклонились деду.

— До тебя, кормилец, приехали: челночки вот починить как бы.

Дед в розовой рубахе сидел на лежанке, пригладив седую бороду во всю грудь, и добродушно ответил:

— Добро, добро, сваты, челноки — это дело робят, как знают.

Голубоглазый курносый парень в дырявом армяке подул на озябшие руки, молча развернул серую тряпицу, вынимая два железных челнока.

Лимпиада придвинула скамейку.

— Обогрейтесь, родимые, перва вот тут у печки, звать-то вас не ведаю как.

— Спасибо, баушка, — поклонились оба.

— Пахом прозываюсь, а это Кузька племяш, — сказал мужик, доставая из-за пазухи свои челноки, — подошел к верстаку, показывая их Захару и Андрею.

— Уж вы, робята, не обессудьте на нас... колёски, вишь ты, разболтались, новы надо, да вы мастера, сами знаете, кака в них поломка еще-то...

Захар осмотрел стертые челноки, покопал в них пальцами.

— Делов с ними много, ждать придется до вечера.

— Что будешь делать, родной, надо ждать, — вздохнул Пахом и беспокойно забегал глазами по верстаку. — А какая, кормилец, цена будет?

— Коли сразу деньги, то три пятака за челнок...

— Знамо, не на сигнации[1] считать, — согласился Пахом и нерешительно добавил: — Может, паря, сбавите по алтыну[2], а то на соль не остается, бабы больно просили.

Ценой сладились. У ребят пошла горячка.

Кузьма тем временем пристал к деду.

— А почто, дедушка, ваше село «Плюево» прозывается, никто, поди, не знает?

Дед поднял голову к потолку, поводил глазами по матицам, как бы убеждаясь, там ли засунута рукавица, задумчиво поглядел на Кузьку.

— Про то ежели толковать, парень, дело это давно-давно было, еще до воли... Отцу мому это в памяти осталось. Про то время слыхал я его сказ...

Снохи тише хлопают лучками по скальнам, прислушиваются. Пахом нагнул голову, глаза уставил на свои лапти. Маринка глядит деду в рот, ловит слова в свою маленькую «кладушку» под русыми волосенками, тихонько шепчет:

— Деда, я слухаю...

— Ну, нишкни, — шевельнул бородой дед, положил руку ей на голову и продолжал:

— В ту пору привез барин человека одного заморского без роду, без племени за старым барином ухаживать. Неказистый, слышь, человек был. Супротив наших — черный, шея долгая, что голенище, ноги кривые, а нос-то, родимый, что у филина. Отец баил, даже имя у него не человечье было: «Плюой» звали, да и все тут. Только отбился заморский человек от барской воли, мало находился в барских хоромах. Махнул, вишь, на него барин рукой: «Шут, — баит, — с ним». Мотался Плюой по селу, либо по полю, да на реке время проводил. Что найдет под ногами, тряпье какое али веревки обрывок, все подбирал... В крутом берегу нору звериную вырыл да все и складал туда. На летнюю пору шалаш себе тут уделал и тоже полно натаскал. Только случился тогда в барских хоромах пожар, и сгорела всего одна стена в покоях барина, а

[1] Пятак на ассигнации равен 1½ копейкам.

[2] Алтын — 3 копейки.

денег в суматохе немало, вишь, сгинуло... И народу из-за этого, по барскому указу, бог знает сколько плетьми запороли... Уборщица барская сама на перекладке в подполах задавилась... Вот оно, родимый, как было...

Умолк дед, мрачно нахмурил брови, поглаживая свою широкую бороду.

Пахом угрюмо молчал. Ребята спешили с челноками. Самодельный станок раскидывал деревянные опилки — Андрей вытачивал новые колесики. Под стук молотка и шорох станка и крон в замороженные окна особенно уныло вьюжила мятель. Под окном завыла озябшая собака. У Маринки в разбуженной памяти выплывает страшная образина шишиги с рогами, — это, думает, и есть самый «Плюй»... Хочет спросить деда, — может он и теперь живой, бродит по ночам у реки? Боязно ей, плотней прижимается к деду.

Дед передернул на себе шелковый пояс и продолжал рассказывать:

— Вот ежели бы это все в писанье, наподобие как в святцах, — долго бы стал помнить народ про старое время. А «Плюй»-то вскорости после того и объявил себя. На месте, где у него была нора да шалаш, стройку завел, и мало-по-малу выстроилась фабрика, тряпье на грамоты переделывать стали. Турбину заморскую привезли для этого. Народу, знамо, диво... и почали фабрику величать «Плюевска»... А там и село стало «Плюево». Так, родимы, и ведется это званье по сю пору...

Замолчал дед. Лимпиада с прялкой прилаживается к Пахому со своим разговором.

— Слышу, дави про шелк баите, а кака нони работка: до свету бабы зачнут лучками хлестать, неведомо до кой поры. Все руки отмахают, а выгонят за неделю гривен шесть, а то и сорок копеек... На подати никак не собьешься... Не знамо, как у вас там за станами выгоняют.

Маринка чует, что бабка сердится, и прислушивается к разговору.

Пахом собрал на лбу две крупные морщинки, сказал невеселым голосом:

— Про выработку чего баить, — заглоды, вестимо, жмут, их воля. Возьми, вон, наши Сбиркины другу

фабрику ставят на усадьбе. У нас избы махонькие — семья, и не хошь, да идешь к нему на стану отрабатывать за помещение.

Устинья не вытерпела, выплюнула шелковинку, встряла в разговор.

— Надысь нас баб пятнадцать собралось у Пантелея, размотку принесли, а он браковать да браковать: у одной, вишь, узлов много, у другой намотано негоже. На Глазуньку напал — зачем рвани столько. А та баба лихая, при всем народе страсть как оттрезвонила: «Чтоб вы, — баит, — сдохли все, лиходеи, совсем заглодали народ! Сам знал, какой шелк дал плохой, век мотаем, а тут вдруг негоже! Али кошель не толсто набил?»

Устинья заволновалась, ее бледные щеки покраснели. Маринке кажется, что тетка сейчас заплачет.

В избу надвигается вечерняя темнота. Лимпиада поднялась к печке на уборку. На лежанке покряхтывал дед. Маринка, глядя Устинье в глаза, потрясла головой:

— Тетя, тебя никто не жалеет и вот этого дядю?

Пахом заулыбался и безнадежно махнул рукой.

— Вестимо, кому нас жалеть... Гляди-ко, ехали мы, видели по дороге, гонят, слыхать, супротивников против бар либо еще какие... Солдат за ними целое толпище, и сабли на плече...

Устинья опять вспыхнула, что береста от огня.

— Не бай, родимый дядюшка, вам-то в диво, а мы на дорогу пригляделись: то и дело гоняют...

Маринке сровнялось пять лет. Была она круглая, крепкая, коновод у девчонок. Игру ли какую затеять, — в камешки, в черепки, — везде она первая. Бегать в догоняшки — быстрей ее нет. А первая ее охота — в лесок на задворках девчонок заманить.

Хватится которая баба свою девчонку, где взять, — по голосу Маринки сыщет. Либо придет под окно жаловаться:

— И чтой-то у вас, Лимпиядушка, за девчонка гуляна... Мою-то не усадить около дому. Все Маринка сманивает.

Лимпиада посмеивается:

— Пущай побегает, коли пятки зудят.

Дед на дворе слушает жалобу. В бороде улыбку прячет, а голосом негодует:

— Ах, шельма девчонка... Вот на грех навела, шустрая... Ну, погоди, я ее рукавицей отхлестаю.

Знает Маринка рукавицу, кожаная она, большая, по руке деду. И попадает Маринке по субботам. Не любит она в печке париться. С утра ходит беспокойная. Увидит — бабка сует в печку доски, стелет солому, — и заревет:

— Ой, не буду... Мамушка, где ты?..

— Ты что, баушкина баловница? — грозно ворчит дед. Достает рукавицу, прижимает Маринку широкой ладонью к коленке, шлепает под рубашкой, приговаривая:

— Не дери хайло, не дери! Выпаришься, меду дам.

Посадит ее в печку, закроет заслонкой. Душно. Жарко. А бабка, знай, парит, хлещет веником.

— Отслонь! — кричит бабка.

Дед подхватывает Маринку, тащит ее и шайку с чистой водой на двор — окачивает. Хоть зима, хоть лето — все одно.

Прошла Маринкина беда, сидит девочка за столом в чистом сарафане, голова причесанная, на шее бусы синеют, и ей неудержимо весело. Улыбается деду.

— Дедушка, мне лучше всех, всех на свете, — а меду дашь?..

Приходит Полечка с работы. Оглянется кругом: под потолком пар густой паутиной, куры под печкой, теленок за печкой. Водит Полечка носом.

— Батюшки, дух-то в избе какой толстый, хоть веревки вей! На фабрике тяжко, и тут все одно. Неуж не научились опрятней жить?

— На-ко вот, словно впервой гостья пришла, отвыкла за неделю от домашнего духу, — упрекает Устинья.

Полечка за словом в карман не полезет.

— У швейки в городу рази так в избе? Да и на работе от зари до зари стоишь за станком, а поглядели бы, как спим около них, словно скотина на полднях. Домой придешь, знамо, захотца хорошего.

На столе, окруженный чашками, словно гусь с гу-

сятами шипит и повизгивает маленький медный самовар с жестяной заплаткой у самого крана. Вместо чая зверобой заваривали. Дед поставил полно корытце меду в сотах. Лимпиада то и дело доливает самовар из чугуна горячей водой.

— Да, я и забыла, — спохватилась вдруг Полечка. — Маринка, за тобой мать собирается приехать...

И раньше у Лимпиады шевелились об этом мысли, но она отгоняла их. А тут от неожиданности выронила из рук уполовник. И как стояла у лохани, бревном приросла к полу.

— Ишь ты, дело какое вышло. Без Маринки нам дюже будет скушно, — пожалела Васена.

Лимпиада вскинула глаза на печь, вздыхает.

— Слезай, родная... мать не скоро приедет, а может, и забудут про тебя.

Мало-по-малу беспокойство Лимпиады стихло. А Маринка и совсем забыла материн наказ. Все так же бегала с девчонками.

В селе престольный праздник. Разговлялись медом. День был погожий — теплый. Чисто вымытые окошки весело, по-праздничному блестели на большую дорогу. В палисаднике перед окном у Лексеевых пылали жаром крупные цветы — пионы. Желтым решетом глядели длинноногие подсолнухи.

Еще с ночи у Лимпиады на душе было тревожно, в уме гадала: приедет Марья либо нет. Спозарань в подоткнутом кубовом сарафане, в новом гороховом повойнике, прихрамывая, как цапля, сновала по избе и командовала:

— Проворней, бабы, копошитесь с пирогами, дрова попусту горят, печь протапливается.

В это утро тетки были особенно добры к Маринке. То одна, то другая совали ей белые лепешки, шептали:

— Поешь, дочка, горяченьких-то «палишек».

Марья встретила Маринку в самой калитке.

— Дочка, Маринушка... да ты ли это?.. Ах, дурочка моя... вот большущая выросла! — веселым

звонким голосом перебирала Марья, сбрасывая с плеча запыленный узел.

Маринка бежала из избы с куском пирога в руке. Стала изумленная, широко раскрыв глаза, сразу не поняла, что это за тетка. За спиной хлопает дверь, слышен голос Устиньи:

— Здравствуй, невестка Марья... Гля-кося, дочь-то стоит словно чурбашка... Маринка, что глаза-то выпучила? Ведь это мать твоя!

Жуткая догадка обожгла Маринку: приехали за ней.

Марья помолилась на образа и по обычаю поклонилась на все четыре стороны. Свекрови отвесила поясной поклон.

— Спасибо, матушка, поглядела за моей девчонкой. За ней приехала, нянька нужна, большая-то, Анна, все хворает. Ох, как я устала... С раннего утречка шаландала пеша, и ноги стерла...

Маринка сидит на лавке около бабки, исподлобья смотрит на мать.

Марья развязала подпояску — фабричный шнурок, отряхнула новое полосатое платье; ласково улыбаясь Маринке, полезла в узел.

— Иди-ка, милая дочка, вот я тебе каких гостинцев принесла! — и протянула ей полную горсть каленых орехов и грошовых конфет в бумажках. В другой руке кажет большую пряничную красную курицу с золотым гребешком.

У Маринки ни разу не было столько гостинцев. Радостно вспыхнула и несмело говорит:

— Пошто така ладная, большая?

Не глядя на мать и на орехи, потянулась за курицей, схватила ее и опрометью бросилась из избы. Воткнула курицу в песок на завалинке, хвалится:

— Дунька, глянь: куда-ка-ка... Это мать дала, за мной приехала... У них там много таких растут...

Дунька засунула в рот палец, завистливо таращит глаза. Озорная Акулька подскочила — цап курицу, хрястнула пополам да и в рот.

— Вот те и растут... Сладкая, ха-ха-ха!.. — и со смехом бросилась прочь.

От неожиданности Маринка обомлела, растерянно заморгала глазами на смеющихся девчонок. Дунька

подняла другую половину пряника, сунула ей в руку и потянула на двор. Опомнилась там Маринка, глянула на золотой гребешок, и до того ей стало жалко курицу, что она в новом сарафане забилась в коровью кормушку и заревела навзрыд горькими слезами.

В избе суматоха, пришли гости из села Воронина, — сват Ерема, бородатый старик, со своей моложавой старухой Макриной. Пришел повидаться с Марьей и брат ее Василий, — глаза у него испуганные, голова большая, плешивая, как у старика. Лимпиада ковыляла вокруг стола. Подали солонину с хреном, лапшу и пироги, политые медом. Захар наливал в стаканы пахучую сивуху.

Гости скоро захмелели. Поскакал безалаберный пьяный говор, стали посмеиваться над Василием. Макрина словно зрелый арбуз раскраснелась. Пьяно кричала:

— Васе-то поднесите!.. Васе!..

— Вася, сват, — орал Ерема, — Василий, родной... пропадай наша телега... палки-елки зеленые!..

Василий пугливо улыбался, пощипывая жидкую бородку, брал стакан, запинаясь, отнекивался.

— Да я не хочу... ей-богу, не хочу... сыт... я сам...

Торопливо плескал сивуху в рот и, морщась, опять пугливо оглядывался.

— Ты, Вася, убогий, брат, расскажи, как живешь, как твоя Танюха? — приставала запьяневшая Марья.

— Гля-ко, бабы, у вас престол, а мы тут молча! — И звонко запела:

Пошла Маша по калину, по малину
Во зелененький садочек...

— Молчать, девки... не ту тянете!.. — осовело хлопая глазами, кричит Ерема. — Запоем нашу земляную:

Ты, со-оха ли, наша ма-тушка...
Горькой бе-едности помо-ощница...

нескладно-пьяно скрипел басом.

Огорченная, заплаканная Маринка, сидя на верстаке, смущенно поглядывает на пьяных. Никогда ей не доводилось видеть такое, особливо пьяных баб. Не может понять, зачем они такие. Больно и обидно больше за мать, да и мать ли это ее? Лицо красное, глаза мутные,

мокрые, платок съехал набок, волосы в беспорядке торчат. Нехорошо, тоскливо в маленьком сердечке Маринки, широко открытые глаза она не сводит с матери.

В шалаше, уткнувшись в сено дедовой постели, выплакивала долго и горько свое первое горе. Утром рано Лимпиада разбудила Маринку, уныло бубнила:

— Вставай, родная, поедешь... Дядя лошадь запрег.

Сонная улыбка вдруг сбежала с лица Маринки, девочка робко оглянулась и увидела, что возле нее лежит картонная кукла, «свитушка», румяная, с черной головой, спеленанная зеленой накрашенной полоской. Мать ласково смотрит, — глаза серые, добрые.

У Маринки в памяти и следа не осталось от вчерашнего. Сердечко радостно токает. С куклой в руке вскочила с сена, прижалась к теплой материной груди.

— Мамка, это ты дала?.. — в первый раз назвала матерью.

Скрипнула дверь. Федюха заторопил:

— Все валандаетесь, машину бы не прозевать, поживей копайтесь!

Сборы были коротки. В отворенных воротах в запряге помахивал головой карий с расчесанной гривой. Под дугой дрожали, позванивая, «глухарики». Под окном шумела кудрявая березка, на ней щебетала птичка.

Маринка, веселая, сидит на душистом сене, протянула ноги к заду телеги, крепко держит куклу. У дверей, опустив руки, пустым взглядом печально смотрит Лимпиада.

— Ну, трогай, шут белоногий! — дернул Федюха вожжами.

Маринка вскинула глаза на бабу, отчаянно вскрикнула:

— Баба... баушка!.. — Крик утонул в грохоте телеги.

Бабка открыла рот, не успела крикнуть, на черные глаза выкатились крупные слезы. Долго что-то шептала вслед, — звала.

Но ни в зеленом шуме березки, ни в щебетании ранней птички не услыхать ей больше детского лепета, беззаботного смеха.

Прощай, бабка! Прощай, Маринкино детство!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОД КОЛОТУШКУ

В первый день, как очутилась Маринка в рабочей казарме, ей сразу подумалось: тут плохое житье. Все для нее было чужим и жутким: и фабричный шум, и угрюмые казармы, и длинный темный коридор, и высокая, — ей казалось до неба, — лестница, обшмыганная, грязная.

Так же показалась чудно́й и неую́тной их тесная каморка, с большими образами в углу и низкой полатью над дверью. В единственное небольшое окно против ткацкого корпуса уныло глядел серый день. Петр, большой, чумазый, неловко посадил Маринку к себе на колени; ухмыляясь, рассматривал ее. В белой рубашке и в пестром сарафанчике, круглолицая и румяная, она была похожа на веселый цветок.

— Эка выросла!.. — покачал головой Петр. — Ну, дочка, не узнаешь отца-то! — Прочерненная железной пылью широкая ладонь погладила Маринкину голову.

Не шевелясь, удивленными глазами сверкнула на отца: лицо доброе, глаза не сердитые.

— Тятей буду звать, ладно! — смешливо кивнула головой и смолкла.

Ранний утренний час... Дверь в коридор отворяется, — визжит железный блок, натягивая веревку с привязанным к концу кирпичом. Входит высокий, с длинными усами, в рыжей шинели, — солдат николаевской выправки. Значительно шагает по коридору, в руке грозно качается, щелкает, гремит деревянная колотушка. Словно в трубу гудит бас хожалого:

— Ден-ные, на работу-у... сменные, на работу...

Без привычки Маринка вскакивала, кричала:

— Ой, маменька, боюсь... там сатана нечистый, боюсь...

Заспанная Марья, еле ворочая языком, сердито ворчала:

— А чтоб тебя лихоманка схватила, сдох бы ты, сатана, и с хозяевами, кажду ночь родимца на ребят наколачиваешь... Эфиопа проклятущий!

Петр сипло зевал, возился с сапогами. Из других каморок тоже слышались зевки невыспавшихся людей, детский плач, разговоры. Рабочие, — мужики, бабы и подростки, — спугнутые грозной колотушкой, на ходу надвигают картузы, обматывают головы платками, кое-где в мрачном коридоре вспыхивают огоньки цыгарок. На улице люди — с измятыми лицами — тянутся к фабрике.

До ночи матери нет, — она в прядильной. У Маринки куча забот: Серега как нарочно все лаханья замарал, Мишка кругом мокрый. Стоит она над тазом с мыльной водой, в голове, как у большой, думы разные.

«Восподи батюшка... прямо наказанье... И на что нужны эти мальчишки? Замывай вот вонючие тряпки... С Анку, знать, я не вырасту...» Пристанет к ней: — Анка, ну, что ты только и знаешь на портки да рубахи заплаты нашивать? Хоть бы Мишку отшлепала, не ревел бы...

— Ты побойчей меня, сама справляйся, — говорит Анка.

Пришел с работы отец; от усталости хмурится. Анка — боязливая, всегда при отце робела. Не умел Петр ласкать своих детей. А Маринка все же чует: отец больше всех ее любит. Когда смотрит на нее, глаза у него становятся ласковые-ласковые. И ничуть Маринка не боится отца, словно кошка трется об его сальный пиджак.

— Тятя, ты отдыхать ляжешь? Давай я сапоги под кровать суну.

За обедом Маринка всегда рядом с отцом. Постукает он по краю блюда ложкой, вытаскивать говядину, — Маринка не прозевает, вместе с ним подхватит себе кусочек поболыше, и хлеба кусок норовит взять большой.

— Велик больно. Глаза завидущие, — оговаривает мать.

Анка сидит за столом вялая, скучная, еду нюхает, морщится: одного она не любит, другого не хочет.

— А мне, Анка, все сладко, — хвалится Маринка, — хлеб-от, как ты его не любишь? Мягкий, духовитый... гляди-ко, корочки-то — акурат медовые пряни-

ки! — Сует корочку в рот, на зубах — хрусть, хрусть! А зубы у Маринки острые, мелкие, словно бусы, в верхнем ряду со щербинкой. Соседки указывают Марье на щербинку: счастливая девчонка, говорят, будет.

Вечером приходит Марья со смены. Наспех поужинает с ребятишками, Серегу с Мишкой спать уложит, а сама уходит в другую каморку, к куме Иванихе, посудачить о домашних делах.

Марья свою песенку тянет, на работу тяжелую, на нужду плачется.

— Заела она нас, проклятая, — прости, восподи, тоска одна, а не жисть.

Пожалуется, отведет свою душу, умолкнет. Подожмет правую руку к груди, подопрет левый локоток на ладошку, глядит серыми глазами куда-то вдаль. Пустые глаза бессмысленно смотрят. Отрада одна — посидеть без дела у кумы за самоваром. Все равно Петра до полуночи ждать с работы.

Анка тоже уходит в другую каморку, к подруге, в карты играть.

Маринка приладилась на скамейке, прильнула носом к стеклу. На улице темнота, а там, в светлых окнах ткацкой, видно, как ловко крутятся вперегонки ременные пояса на машинах. Люди между ними бегают, машут руками, за что-то хватаются, и кажется Маринке: вот-вот подхватит ремень смельчака, подбросит кверху, в страшную, высоченную трубу, и выбросит вместе с густым черным дымом в темную ночь. И жутко Маринке.

Приобвыкла все же Маринка к каморочному житью и к колотушке грозной, что не дает покою ни ночью ни днем, — гремит и когда работать надо, и когда богу молиться. Попы то и дело навещают каморки: то со святой водой, то с постной молитвой. Любят хозяева фабрики богомольных рабочих.

Перед приходом попов хожалый идет коридором, подговаривает:

— Чище, бабы, в каморках батюшка ходит! Чище, в каморках батюшка ходит!

Марья с особым усердием готовится, — ребятам надела чистые рубашки. Наслюнявив пальцы, пригладила Маринке на лбу непослушный завиток, наказывает:

— Не больно ротозей по сторонам, молись у меня... А ты, Анка, голову-то не гни, побольше на тебя поп брызнет святой водицы для здоровья...

Пришла масленица. В каморке грязно, не убрано. Анка захворала, разметалась в жару, лежит на полатях. Серега захныкал. Марья пришла усталая, хмурая, — вечером гости соберутся, а тут делов не переделаешь...

Сходила в кухню, принесла ведро горячей воды мыть пол. Накинулась на Серегу: «Нишкни, зевло поганое, так и пришибу!» Погрозила мочалкой. Шугнула Мишку из грязной лужи. В сердцах швырнула из-под кровати грязное белье к двери. Мальчишки подняли рев. Маринке одно убежище — на полати.

Время подошло к вечеру, замелькали огоньки. Мороз узорит окошки в каморках. В коридоре беспрерывная ходьба, веселые голоса. Из каморок вырываются песни, переборы гармошки.

Марья кончила уборку, приладила на волосы новую зеленую головку.

— Маринка, тебе надо за вином сходить, сряжайся, — спокойно говорит она, оправляя на себе синее шерстяное платье с баской.

Не хотелось Маринке итти, ах, как не хотелось!..

— Да, мам... холодно-то как... Мне боязно, — заныла было она.

— Чего заскулила? По улице летать не боишься. Пальтушку мою надень, на вате, теплая, шалью большой укутайся, руки в рукава засунь, — наставляет Марья.

У Маринки на глазах слезы.

— Ну, зафыркала! — крикнула мать. — У меня живо. Скоро отец придет, гости. Да иди в кабак за реку, там вино лучше. Штоф заверни в платок, будет боязно — молитву сотвори.

Совсем ласково добавила:

— Иди, милая, живо сбегаешь; да не забудьте, ребятишки, чтоб при гостях к столу не подходить, — слышите?

На улице темно. Дует леденящий ветер. Дерет ветер щеки, нос, забирается в рукава, поддувает под платье. До кабака больше версты итти, через мост.

И оглядываясь, Маринка, едва сдерживая слезы, перешла мосток через канаву. Слева у дороги высокой стеной темнеют сучковатые ветлы. Сердечко забилось в тревоге. Чтобы не было боязно, жмурит глаза, старается думать о новых ботинках, — мать посулила к лету купить. Подумала и про Ленкину новую куклу: «Вот бы и мне такую... Нет, на что?.. Мишка с Серегой все одно растреплют». Около большого моста на берегу зачернелась под высокими деревьями приземистая фабричная баня. Это было самое страшное место. Здесь и большие-то боялись вечерами ходить. Маринка отвернулась от бани, стала смотреть на звезды.

«Лампы, что ли, это светят больно высоко? А может, кто прямо огоньков нашвырял на небо... И тепло там, поди...»

По мосту бросилась опрометью на огонек, ехидно мигавший в окне кабака на горке.

В кабаке было шумно. Мужики пили вино, кричали, ругались. Маринка перевела дух. Отогрелась, повеселела. Курносая кабатчица помогла ей повесить на шею штоф с вином.

Обратно итти Маринке еще пуще не хотелось, тоскливо шептала:

— Восподи, не ходить бы... страшно... а надо, надо...

Ветер унялся, мороз, как бы злясь, сердито потрескивал. От холода захватывало дыхание. У моста на дереве зашевелилась какая-то птица, зашуршали, падая, сухие сучки. Маринка вспомнила про чертей, про ведьму, в страхе закрестилась:

— Восподи Исусе... анделы, помилуй нас... богородица...

Откуда взялась силенка: пустилась вихрем. Одной рукой держала штоф, другой махала, как однокрылая птица...

От казармы доносились песни, веселые пьяные голоса, бабий плач, ругань, неизбежные спутники разыгрывающейся драки.

Прозябшая Маринка подошла к своей каморке. Дверь заперта изнутри, — постучала, постояла. Почему-то не отворяют. Постучала посильнее. Игравшие

ребятишки подступили поближе на стук. Маринке стало досадно: ребята видят ее заплаканную; нетерпеливо забарабанила ногой в дверь и слезливо крикнула:

— Да отоприте же, отоприте!..

Выглянула раздосадованная, растрепанная мать.

— Ты чего орешь, словно пьяная? — хлестко огрела Маринку по лицу ладонью. Маринка присела. Из глаз посыпались искры, в голове закружились разноцветные круги. Не раздеваясь, виновато, с глазами, полными испуга и слез, прокралась на полати.

Для гостей был припасен складной стол. Самовар пыхтел на всех парах.

Разметая сор длинным подолом, в каморку влезла кума Иваниха.

За ней пришли высокий чернобородый конторщик и его жена — черная, как цыганка, худощавая, в модном шиньоне из чужих волос.

Пришел сосед — слесарь, также с женой. В каморке стало тесно. Не успели разместиться — еще гости идут: молодой фельдшер с женой, немкой Альмой Карловной.

Одергивая на животе неуклюжую баску, Марья из кожи лезла перед хорошими гостями.

Тоненько и жалобно звякали рюмки. Бабы, пожимаясь, пили и завистливо глядели на немку. В отличку им, платье на ней — с белым воротничком, короткое. Начищенные башмаки все на виду. И сама она — со светлыми волосами, с глазами, как незабудки, — складная и опрятная. И по тому, как она улыбалась, было видно, что ей охота говорить всем хорошее.

— Вы, Маша, карошний козяйка и детки ваши славный, — приветливо говорила немка, брала на руки белоголового Серегу и гладила его по голове.

Бабы пьяно-трескуче тараторили. Марья затягивала песню.

Вечор поздно из лесочку я коров домой гнала,
Вижу, едет барин с поля...

Иваниха старалась попасть ей в голос, сбивала басом:

Ох, и два лаке-ея позади-и...

Голосистая Марья вошла в азарт, машет рукой.

— Не умеешь, кума, надо звончей, вот так:

Лишь он только поровнялся,
Бросил взор свой на меня...

— Милые подруженьки, соседушки, Альма Карловна... Споемте все, песня хорошая! — И Марья высоко заливалась:

Здравствуй, милая красотка, чьей деревни иль села?

Голос у Марьи тревожно дрогнул — она замотала головой, ударила себя в грудь, сморщилась.

Эх, вашей милости, сударь, крестьянка...
Отвечала ему я...

Маринка слышит сквозь сон разговоры и песни. Вдруг в каморке крик и грохот. С испугом поднялась на локоток и на миг замерла: стол опрокинут, и что было на нем — кучей на полу. Отец сидит на ком-то верхом, дерет черную бороду, медведем ворчит:

— А, каналья, чистяк! В картах мухлевать...

«Черная борода» барахтается под ним, пыхтит.

— Врешь, грязная мастеровщина, не удушить! Я тебя...

Мать тянет отца за пиджак, он ударил ее по лицу кулаком, и она завопила что есть мочи.

Подскакивает, крутя шиньоном, жена конторщика:

— Ай, убьет... всю бороду выдерет... разбойник!!!

Все ругаются, кричат. Ребята проснулись и орут. На полатях густой винный дух и копоть от сальной свечи. В коридоре пляска, пение. Хлопает дверь, «черная борода» уходит под руку с женой. Слесарь сидит с отцом в обнимку. Маринка отыскала глазами немку. Она спокойно воркует около Сереги:

— Ах, как глупо!.. Кароший люди... глупо... Тише, дети! Не надо... глупо...

В коридоре тихо. Нет безалаберной сутолоки, шума. Прошли веселые и пьяные два денька, на столе нечищенная картошка, без масла, квас да пустые щи — вода с зеленой капустой. Ребятишки смирные, хилые, меньше кричат и смеются. У взрослых постные, неулыбчивые лица.

Вечером и в утреннем заморозке зазывно и долго гудит колокол. Казарменные говельщики тянутся на звон к заутрене. Маринка с матерью идет говеть.

Марья, размахивая руками, торопливо шагает и, оглядываясь на Маринку, подбадривает ее:

— Шагай, шагай, Марушка! Скорей дойдем.

Маринке дорога знакома. Без матери знает, когда дойдут; весело ей от шороха коленкоровой подкладки нового плисового пальто с капюшоном. Нарочно отстает она от матери, вспоминает, какие у ней грехи, сейчас же про них забывает, заглядываясь на небо, на уходящую к фабричной трубе золотую рогульку месяца. В церкви нежилой холод и дым ладана.

На амвоне высокий батюшка в черном балахоне, размахивая широким рукавом и крестясь, падал на колени.

Маринка смело пролезла за матерью вперед и стала столбом. Марья положила три земных поклона, дала ей в затылок стукушку:

— Молись, чего рот разинула?

И Маринка также кланялась, шептала молитву и думала:

«А что, если вправду попа возить по церкви? Заревет, пожалуй».

Но вот батюшка прошел за старенькие ширмы исповедывать.

Шли к батюшке и мальчишки и старухи. Наконец мать толкнула ее в спину:

— Иди...

И сразу Маринка испугалась. На лице даже веснушки желтенькие побледнели. Держа в руке свечку, подошла к батюшке, не знала, что делать.

— Кланяйся мне в ноги!

Большой рукой берет у ней свечку, кидает на аналой; на нем крест и евангелие и кучка денег — медяков и серебрушек. Маринка кланяется и стоит оцепенелая. Батюшка накрыл ей голову темным нагрудником, шепчет:

— Богу веруешь?.. Молишься?

Маринка молча кивает головой.

— Говори: грешна, — строгий голос.

— Грешна, — повторяет она за ним.

— Отца с матерью слушаешься, не ругала?..

Маринка встрепенулась.

— Нет, она сама меня прибила.

Батюшка сердито шипит:

— Табак не куришь, не воруешь?

Маринка думает. Вспомнила, — долго не отдавала Ленке куклу, хотелось самой поиграть. Упрямо отвечает:

— Не ворую... Я ей отдала.

— В церкви не смеялась, вино не пила?

Клещами впиваются батюшкины слова в Маринкину душонку, под его фартуком делается жарко и душно. А батюшка все шепчет, пытает... И она кряду вторит ему: грешна... грешна...

— Целуй крест и евангелие... И иди с миром, — уже вслух говорит батюшка.

Дорогой из церкви Маринка увидала на заборе грача. Дома рассказала отцу:

— Большой, тятенька, грач, больше хозяйского гуся и черной сажи.

Мать не верила. Отец посмеялся, подумал и сказал:

— Не иначе, весна-красна прилетела.

Эта новая весна для Маринки была особенно радостна. Серега стал ходить, гонялся больше за Мишкой. Ей свободнее стало играть с девчонками в «цари», скакать на одной ножке, весело и радостно смеяться под ясным теплым небом. Но выпадали и трудные деньки. Однажды, когда солнце ярко и назойливо лезло в окна каморки, ошаривая нужду и неприглядность рабочей жизни у Саввы Морозова, Марья собралась в баню стирать. Живот подтянула холщевым полотенцем. Огромный узел грязного белья увязала старым кушаком и наперевес с деревянным корытом взвалила через плечо.

Маринка пыхтела за ней с пустой корзинкой на спине, на руке тащила ведро с золой и мылом.

Из других казарм также выходили бабы, согнувшись в три погибели, плелись, словно верблюды навьюченные кладью. Пройдя сотню шагов, останавливались передохнуть, собирались кучкой.

— Ох, бабоньки, милые... тягость-то наша... поближе бы если баня... куда сподручней, — тянет уныло покорный голос...

— Ну, чего уж про то ладить... Достается, где хошь, — вторит с досадой исхудалая работница, вытирая с лица крупные капли пота.

Тянутся дальше, с разговором как-то легче... Иные шагают бодро, еще не всю силу фабрика вымотала.

Баня небольшая, полна горячего пара, прелого банного духа, вони от грязного белья, от лохмотьев. Дышать нечем. Бабы жмутся. Корыта стоят почти рядом одно к другому. Под ногами каменный пол. Холодно. Грязные постирки льют под ноги для тепла. Споры за места; звонкая и хриплая брань; того и гляди, кипятком ошпарят друг друга.

Маринка приучается к стирке. Юлит голая около матери: подаст мыла, принесет ковш воды холодной хлебнуть... Отожмет портянки. Спешить надо, смена не ждет.

Тяжело фабричным бабам. Ко дню стирки каждая припасает косушечку, а то и в складчину полштоф.

— И не надо бы, милые бабоньки, не надо... На мужиков глядеть тошно. Последние, вишь, пятачки насобираешь на нее, проклятую зеленуху. А что будешь делать? Манит эта косушечка... Без нее, кажись, и не доперетъ мокрого белья до казармы.

Иная баба всплакнет:

— Неужели весь век будем так маяться?..

На столе кипит самовар. Анка ждет мать. В начищенном боке самовара отражается продолговатое бледное лицо Анки, словно засиженное мухами — в веснушках. Над небольшими черными глазами темные жидкие брови.

— Нет, не одинаковая я с Маринкой! — безрадостно вздохнула Анка...

Марья вошла в дверь и сбросила с себя одежину; корыто сунула под кровать.

— Ух, сударики, измаялась, руки, ноги даже трясутся... вот до чего!

Немного отдохнула, достала из-за сундука косушку с желтым вином, спрятанную от Петра. Выпила большую рюмку, налила еще половинку, позвала Анку.

— На-ка, выпей для здоровья, скорей поправишься.

Анка продула самовар, с тупой покорностью взяла рюмку и так же, как мать, понюхала кусок хлеба.

— Ну, теперь ты, Маринка, держи, тоже с устатку.

Пока Анка пила, Маринка косила на нее смеющиеся глаза, надувала то одну щеку, то другую, болтала во рту языком. Крепкий приятный запах вина манил. Глотнула, — во рту зажгло, закашлялась; из глаз выступили слезы, и она заплевалась:

— Тьфу... тьфу... обманули, какие!

Сунула рюмку боком на стол, разлила последки. Схватила вчерашний пирог с кашей и поскакала на крыльцо к девчонкам.

Фабричный двор залит солнцем. Паровая не дымит ради праздника пасхи, — стала на две недели. У слесарей горячее время, — починка, поправка машин. Отец приходил всегда усталый, неразговорчивый. Некогда стало отдыхать после обеда.

Анка сидит на полатях с шитьем. У Маринки тоже дела по горло: в каморках мытье, уборка. Суетится около матери и хнычет:

— Ма-ам... дай хлебца...

Марья трясет большим животом, дерет песком пол — отмывает. Жилы на ногах синие, узловатыми веревками напружинились, повойник на голове сбился набок. Настроена она богомольно — другой день говеет и девчонкам с утра есть не дает. Ворчит на Маринку:

— Ты что, маленькая? Дни страшные, а ты хлеба канючишь. Поговеть надо, ноне Христа погребают, давай вот, бери мочалку, пол домывай...

Семь недель постились — Маринка побледнела. Ей чудится запах горячей картошки, так бы вот съела картошинку хоть бы с кожицей. с сольцей... На глазах выступают слезы. Мать ее утешает.

— После мытья с Анкой в лабаз пойдешь за харчами. А то наведешь на грех, в такие дни дождешься порехи... вон веревка-то...

Бабы в кухне усталые, голодные. Перугиваясь,

все глаза проглядели в печку, на свои горшки, пекушки. В обычное время — отупелое выражение глаз, но сейчас у стряпни — глаза вдумчивее, живее. Тут бабы — творцы. Одна перед другой щеголяют своим искусством. В кухню вбегают ребятишки с измазанными рожицами, хнычут, лезут к матерям; раздаются шлепки, сердитое ворчанье. Кто-то тяжко вздыхает:

— Хоть бы разговеться скорее. Восподи, устала хуже, чем на фабрике... провалиться бы всем этим делам...

Над кадкой жужжит стая мух. Потревоженные помои кисло пузырятся, наполняя кухню гнилой вонью. У Маринки во рту пересохло: нехотя она перемывает в черепушке изюм. Незаметно от матери хлебает через край мутную сладкую водичку. Надоело ей слушать бабью перебранку.

Ей хочется думать о чем-то своем, хорошем. Мешает несвязный говор матери.

— Да-а, — продолжает Марья, — у меня летося уж такая, девка, удалась хорошая паска и кулич испекла высокий, сдобный. Не знамо какой-то дурень в церкви сапогом наступил на мою-то паску, а на куличе даже верхнюю корочку посахаренную с цветочками смял.

Маринка поймала ухом слово «цветочек», уверенно тряхнула головой:

— Мама, это поп раздавил... Пашкин отец видел.

— Али тебя спрашивают? Вот дам в лоб — будешь знать! — сердито крикнула мать. — Пошла вон из кухни, лобастая!

На пасху приехала тетка Полечка. Бабка Лимпиада прислала гостинцы: кусок меду в чашке и пару крашеных яиц. Маринка все спрятала под подушку и вылетела на улицу. Тетка уселась за стол.

— Так вот, братец и невестка Марья, я и приехала вас известить: матушке девятый десяток, недужится ей, неведомо, доколь протянет. Братья нову избу ладят строить. Сруб уж припасен. Делиться, бывало, затеют. Про вас в одном деле долго толковали, — бойко пересказывала Полечка про домашние дела, нетерпеливо подсовывая курчавый хохол под лиловый платок.

Шумевший самовар последний раз пискнул и заглох.

Петр, заложив правую ногу на левую, изредка взглядывая на сестру, слушал домашние вести.

Марья, чему-то хмурясь, старательно терла полотенцем свою чашку. Над тарелкой с пирогами кружились мухи, усаживаясь на остатки пасхи. Полечка выплюнула чаинку, опрокинула чашку, на донышко положила огрызок сахару, загадочно улыбнулась Марье и сразу приступила к делу.

— Тебе, братец, охота одну девочку обучить в городе рукомеслу, швейкой? Прямо решай... Невестка, мне думается, согласится, дело подходящее, затем больше и приехала.

У Марьи от неожиданности изумленно вытянулось лицо, она чуть не выронила из рук блюдечка и уставилась глазами на Петра.

Петр принял слова за шутку, сам шутливо и коротко ответил:

— Как же не охота? По мне обучай хоть обеих.

Марья приняла слова золовки за обиду: сама-то она разве не старается приучать девчонок ко всякому делу, пригодному в бабьем быту? Что золовка лезет с комариным жалом?

Глаза ее позеленели, сразу вспылила.

— Нечего зря трепать языком! Подрастут — фабрика вот она, рядом, — а там замуж спихнем, детей родить. Вот и рукомесло... А в чужих людях жить-то знаю как, испытала, почище нас не отдают...

Полечка ничуть не смутилась, — знала, что Марья бестолковая и будет артачиться, — объяснила ей:

— Не куда-нибудь отдадите, а к хорошим людям, к знакомой швейке, девчонка ей нужна. Анка — хвилая, на фабрике не работница, может, и замуж не годится, ее не плохо выучить, будет дома сидеть, зарабатывать. Так и семейные разгадали. А тебе, невестка, разве плохо: своя швейка будет, бабам на зависть? И платья шить тебе не надо будет докучаться у чужих. А если Анку жалко, Маринку пустите, и бабушка-то больно наказывала, чтобы ее, пока жива, хошь разок еще повидать. Да, наказов-то всяких было не мало из дома, а я вот, батюшки, и запамятовала все... — скороговоркой закончила Полечка и пересела к окну.

Марья задумалась и как-то сразу припомнила: доб-

рой и ласковой редко бывала она до своих детей: досуг ли, говорила, возиться, сыты, живы — и ладно, чего еще нужно! И не было ей жалко, помрет который, а их померло трое, — ну, что ж, богова воля, и самой легче. Теперь от золовкиных слов сжало что-то сердце. Не может придумать, как решиться отпустить одну в чужие люди. И дома оставить, думает, плохо, — две девки около материных ползунов. А что, если и вправду Анка научится!

В груди у Марьи потеплело. Может, и она около своей-то швейки когда хоть нитки будет разматывать. А Маринка около дома сподручна. Попытать разве, податься на золовкин совет? Весь запас дум Марья перебрала в своей голове, и пыл сердитый сошел, заискивающе спрашивает у Петра:

— Ну как, отец, думаешь решить?

Под окна стаей нагрянули девчонки с игрой — яйца катать. Выделяется звонкий голос Маринки, и совсем близко тихий, вялый смех Анки. За игрой не чуют они: одной из них судьба решается в каморке.

Петр посмотрел на свои пальцы, на большом покусал ноготь. Встал и решительно крякнул:

— Маринку надо отдать в ученье.

У Марьи даже краска с лица сбежала. Все ее думы рухнули, еле ворочает языком.

— Да как же ты, Петра, надумал про Маринку? Да ведь я без нее останусь, как без рук... Да куда она и годится? Слышь, разливается удалая... разве у такой ученье будет на уме? Ай не видишь, Анка-то уже обвыкла, иглой ковыряет!.. — И, совсем озлясь, уязвила: — Что любимица твоя, так ее и в люди выводишь?

Петр покачал головой, хотел выругаться, глянул на сестру.

— Делайте, как знаете, мне все одно! — махнул рукой и вышел вон.

Полечка догадывалась: дело выйдет по ее. Лицо ее зарумянилось.

— Напрасно ты, невестка, горячилась, я еще денек-другой погощу у вас, а тем временем можно все в порядок уладить.

— И вправду, сестрица, зря я так-то, — согласилась Марья, — будем поманеньку Анку собирать. Только Маринке не надо сказывать — к бабушке будет проситься.

Уехала Анка с теткой Полечкой. Маринка горько поревела, обидно ей, — самой хотелось к бабушке. А дел у Маринки! В каморках убраться, в кухню или куда сбегать, за Серегой подтереть. А тут Ванька народился.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГОРЬКИЕ ДНИ

Пришлось Марье с работой расстаться. Ей жалко фабрики, а Маринке стало лучше. Загремит колотушка, мать разбудит отца, сама и возится с ребятами.

Дни стояли ровные, теплые, один, как другой — словно девки, веселые, улыбистые. Конец Фоминой недели, в субботу с раннего утра на фабрику шли и ехали коровницы из ближней деревни Лаптевки расплачиваться с бабами за помои.

«Няньки», робко поглядывая на лошадь, загребают ручонками грязь, лепят пироги, подкладывают их ползункам-ребятам. Маринка испуганно смотрит на рябую, курносую коровницу. В последний раз она вышла на крыльцо с двумя грязными ведрами в руках. С нею вместе вышла Морковница; услужливо придерживая дверь, низко кланяется.

— Ты, милая Фирсовна, нас не забывай. А уж мы все бабы так-то довольны тобой — аккуратна больно, потрафляешь день в день с расчетом, без тебя и праздник жены-мироносицы был бы нам не в праздник. Вот истинный бог — не вру, — и Морковница набожно перекрестилась, умиленно поглядывая на рябое лицо Фирсовны.

Ванька захворал. В кухне, предчувствуя назавтра веселую гулянку, шумит бабий совет.

Отец ушел вместе со слесарями в трактир либо в кабак. Поскрипывая новыми ботинками, пришла мать,

нажевала из пирога соску, сунула Ваньке в рот; ни за что осердилась на Маринку.

— У меня, гляди, нынче весь день не отходи от люльки, а то космы надеру! — пригрозила, набрала в фартук чашки, рюмки и опять покатилась из каморки.

В кухне стоял дым коромыслом. Два десятка баб метались, как угорелые. В печке шипит, кипит. Под ногами хрустят угли, шелуха от лука. Бабы гремят посудой. Готовят столы для своего пира.

Хавронья разливает в полштофы зеленуху, крутит длинным носом, втягивая пьяный дух, петухом гогочет...

— Ой, бабоньки! И погуляем ноне... истинный восподь! Вот он, батюшка, нам милость-то подает, эти помои... Ведь бросовое — крошки, остатки. А главное, бабы, мужиков не надо допускать к нашей гулянке. Не вышло бы по-летошнему...

А в прошлую мироносицу такое стряслось дело. Тогда так же пропивали помои. Все было ладно, бабы пили да чудили, с ними пил Семен-смазывальщик, нагощался он в лоск, на корточках пополз из кухни. Под утро сменные увидали — Семен валяется внизу лестницы с пробитой головой, закоченелый.

Дарье-ткачихе в памяти, как они спьяна дурачились. Знала она да еще две-три бабы: нарочно они спихнули Семена, и притворяются, будто не помнят. А на душе-то... Не забыть, как хворая жена и две девчонки вопили, убивались над покойником.

— Ох! — тяжко вздохнула Дарья, махнула рукой, как бы спугивая нехорошие мысли, и засмеялась насильственным смехом.

— Ха-ха... ну, да мало ли что было, Хавроньюшка! Спокон веку, знать, так ведется, — без греха не обойтись.

Накрытые белыми столечниками столы уставлены закусками, пирогами. На краю стола, словно рыжий кот, покряхтывал медный самовар. На окне барахтались два тощих котенка. В кухне празднично, уютно. Бабы умылись, нарядились в сбористые платья с модными казаками, с басками. На головы модницы натянули сетки со стеклярусом, кое-где шелковые головки, а бабы попроще запрятали волосы в ситцевые новые

повойники. Все довольные, ласковые, будто помолодели они и похорошели.

Дружелюбно улыбаясь, сели вокруг стола. Коноводила Морковница. С полштофом в одной руке, другой тянулась с рюмкой:

— С праздником вас, милые кумушки, с коренным нашим бабьим поздравляю... Давайте-ка чокнемся... первая колом, вторая соколом штобы...

— На добро здоровье!

— И вам не хворать.

— Дай бог весь год в ладу жить! — кричали бабы с рюмками в руках.

Перекидываясь шутками, налили еще по одной, там по третьей, чтобы вышла троица святая. Загремели чашками. Хавронья разгорелась и глаз не спускала с нескладного полштофа. На сером лице ее, вместо длинного носа, казалось, приставлена молодая морковка. Отдергивая душивший ее ворот казака, она звонко выкрикивала:

— Перед чаем еще, бабоньки, хватить надо... Потому без четырех углов изба не ставится, таков уж порядок, милые!

Хватили по четвертой.

От чая заструился парок. С весенним теплом в окна несется уличный шум, пиликание гармошки. Захмелевшим бабам вспомнились будничные, заботливые дни. Афросинья вытерла потное лицо, вздохнула.

— Попируем вечерок, а завтра на работу... Жисть-то наша, восподи батюшка... Ходом идет...

Присучальщица обсосала кусок сахару, бросила в котят, обняла ткачиху, пытает ее:

— Ты-то в какой смене? На плисах иль миткаль работаешь? Штрафы у вас одолевают?

В голубом казаке, с выточками на самых грудях, ткачиха, опустив голову и покачиваясь, жалуется:

— Ох, одолели, милые... Мастер — не говори... Кому хохоньки, а тут стирка подходит... Яшка хворает... и свету не видать...

Ленкина мать утром дала зарок не пить сивуху. Уткнулась в чашку с чаем, — скука ее одолевает при виде захмелевших баб. Потянулась к красному.

Опрокинула три рюмки, повеселела, щурит добрые голубые глаза, певуче тянет:

— Уж оченно, бабочки, приятно вот так вот, по-хорошему, по-ладному, все вместе, поболе бы таких ден... хоть и без вина бы...

— Гляди-кося, чего удумала... ну, и прямо ты булка сдобная! — стрельнула на нее баба в розовой головке. — Али досугу много, али мы богатейки — безо время пиры задавать?

— Бабы, кумушки! Соловья баснями не кормят! — кричит Хавронья — и хлоп рюмку на лобок, лишь донышко стекляшкой блеснуло.

Заплескалось вино в полштофе, и заходили рюмка за рюмкой. Лица у баб стали пьяные и одурелые... Марья, качаясь, вылезла из-за стола плясать. Одернула на себе казак и зачастила ногами и языком:

Посею лебеду на берегу, мою крупную рассадушку...

— Дура ты, Марья, не так надо! — вскричала мотальщица, пристукнула каблуком, поскакала за ней, удало припевая:

Эх, мою крупную, зелененькую... —

и, четко выбивая дробь, настигла Марью. На лице ее выступил пот, но она продолжала выделывать хитрые выкрутасы.

Раззадоренные бабы стали кругом и все разом затолкались, махая руками и выкрикивая:

Эх, кума моя, кума моя, кума душенька!..

Предвечерний солнечный свет потускнел. Над казармами нависла туча, ударил гром. Маринка испуганно перекрестилась, закрыла окно. Стекла уныло заплаканы дождем. Мишка с Серегой прибежали в каморку, подрались, поревели и куда-то пропали. Ванька охрип, кричавши. Ни соска ни качание не помогли. Посинел; сучит ножонками.

Маринка опустила руки, стоит у люльки, глотая слезы, глядит, как Ванька «закатывается». Из кухни глухо доносится топот, словно сотни людей рубят капусту. Маринке очень тоскливо.

«Неужели я выросту и буду такая же, как бабы? Все они пьяные, растрепанные, нехорошие. Глядеть

на них нет охоты. Восподи, богородица, хоть бы ты вино у них пролила на пол! Мать-то моя не пила бы... а Ваньку-то, Ваньку как жалко! Богородица, пожалей хоть ты!» — горестно просит Маринка. И из глаз по щекам катятся недетские, крупным горохом слезы.

Скрипнула дверь, вошла Пелагеевна. Оглянула каморку, покачала головой.

— Одна Маринушка тут мыкается... Самой восемь годков, где же уняньчить!.. Паренек-то надорвался; сбегай, ягодка, за матерью, я качну...

От ласки разгрустилась Маринка и горько-горько заревела. Боязно итти в кухню, а пошла.

Маринка беспокойно смотрит на баб, ежится, будто кто ударил; робко и слезливо зовет:

— Ма-ам!.. Ма-амушка!.. Ванька там!.. Да Ванька!..

Марья вгляделась мутным глазами, сморщила лоб. Зыкнула:

— Дык што Ванька?.. Ты што пришла, али тебе тоже подзатыльник дать?.. Марш отсюда... Не умрешь, приду...

Пелагеевна укачала Ваньку. Парнишка, наплакавшись, заснул.

Бабы вдрызг напились, некоторые силились плясать, но беспомощно, с бранью валились на скамейку, на пол.

Синей тьмой налилась кухня; спугивая жуть, одноглазо мигает ржавый огонек ночника. С разбитым носом круглолицая баба в растяжку лежит на полу. Сетка с головы сбилась на ухо.

Морковница у помойной кадки тяжко стонет:

— О-ох, восподи, милостивец... отпусти грешную душу на покаяние... о-ох...

«Булка» лежит неподвижной колодой, голова под столом. Нагар фитиля с огоньком оторвался и упал на столечник. Масляные места затлелись, запахло гарью. Обгорелый угол столечника с тлеющим краем упал на платье «булки», по нему забегала золотая горячая полоска, прожигая черными пятнами новый ситец.

В окно робко заглянула утренняя заря.

В кухню вошел невыспавшийся за шумливую ночь хромой истопник. Увидя беду, он ахнул, накрыл шап-

кой горевшее платье, бросился искать воду; но воды в ведрах не было. Наткнулся на уполовник, начал им выплескивать из помойной кадки жижу на дымок, и все крутил головой и крякал:

— Ах, бабы... Ну и мироносицы, поди-ка ты вот!.. До зеленого змея... Истинно, мракобесие... в башках затмение...

Растолкал ногой «булку» и, топая растрепанными валенками, пошел вон из кухни.

— Вот как бы я не вошел в этот час!.. — почесал макушку, вздохнул. — Ну, слава-те... наделали беды... авось эта наука когда и впрок пойдет...

Маринка крепко спала с Серегой на кровати, лицо от слез набухло, губы чуть вздрагивали. Правая рука занемела в петле веревочной подцепки, за которую качала люльку.

Марья, держа в руках оборванную юбку, косолапо вошла в каморку, стукнулась лбом о косяк двери и тут же повалилась на сундук. Не успела она забыться, как в дверь ввалился пьяный Петр, без картуза, сибирка в грязи.

Марья подняла голову, поглядела на него жалобными овечьими глазами и, как ни в чем не бывало, по привычке заругалась.

— В церкву срядился... омманул бога... ишь, зенки-то налил... — и поднялась его раздевать.

Петр молча развернулся, ударил ее кулаком в ухо. Марья ухватилась обеими руками за голову, заверещала:

— Ирод... богомолец, ишь ты, драться!..

Маринка в испуге проснулась, стащила с кровати Серегу, подсунула его по лесенке на полати и сама туда же влезла.

Петр, растопырив ноги и вытянув шею, мотал головой.

— Ты, чортушка... куда хотела лезть? Карманы обшаривать, пьянюга?.. Думаешь, я не знаю, сколько ты сама лопаешь?.. У-у... паскуда бестолковая...

Не успела Марья увернуться, как Петр схватил ее за платье, сдернул с сундука и стал бить куда попало.

Маринка спрятала голову под подушку, дрожа от страха. В первый раз на ее глазах отец бил мать.

На утро мать, не стесняясь, ходила с подбитыми глазами, с завязанной щекой и посмеивалась.

— Дело житейское, без драки не проживешь, — такая бабья доля.

Мала Маринка, а стыдно смотреть ей на пьяных баб, на избитую мать. Вспомнила тесную деревенскую избу, смирных больших мужиков, — дядьев. Не слыхала она от них пьяной брани, и не бьют они теток. И смеются тетки по-другому — весело, ласково. Спросила у матери:

— Ма-ам, отчего у бабушки живут по-другому?

Повела на нее мать чужими глазами, будто впервые видит.

— А почем я знаю, отчего у людей гоже?

Говорит нехотя и, как всегда, помолчав, добавляет:

— Поменьше летай, да не в свое дело не суйся...

После буйного праздника Петр пришел в слесарную покачиваясь. Слесарная пропитана копотью, железной пылью. Душно. У ряда тусклых окон тянется серый верстак с десятком тисков. Петр стал у своих. Еще не все начали работать.

Мастер — длинноногий, на горбатом носу очки. Журавлем шагает по слесарной туда-сюда. Сердито кусает губы. Холодно и строго поглядывает на опоздавших слесарей, смотрит на часы, держа в руке книжечку, и что-то записывает.

Петр давно собирался просить прибавки за лишние часы работы и все откладывал до другого раза, а тут на дурную голову втемяшилось пристать к мастеру. Положил напильник на верстак, снял картуз и подошел:

— Мелентий Маркыч, я к вашей милости: насчет прибавки как бы там?

Мастер круто повернулся к Петру, из-под стекол на носу колюче сверкнули злые глаза.

— Ты во время работы в разговор?.. Как смеешь от тисков уходить? Прогул за пять минут — полчаса...

Петр сразу отрезвел. Сдвинул брови и спокойно сказал:

— Я, Мелентий Маркыч, никуда не ушел. Думал с вами по-человечьи...

Срывая досаду за других опоздавших, мастер злобно захрипел:

— Молчать, свинья!.. За нарушение рабочего порядка расчет через две недели!

Петр вспыхнул, затем побледнел. Кулаки сжались.

— Мне расчет? За что?.. Не знаешь, чортов сын... пиши, не боюсь...

Сутулый кум Петра, Никифор, вздумал обернуть вздорное дело в шутку, сделал на лице приятную улыбку, примиряюще говорит:

— Э, Мелентий Маркыч, разобраться надо, кому да за что посулить неприятности можно. Вы-то у нас новый человек, а Петр Лексеич, можно сказать, спокон веков... с самого началу тут... Можно сказать, мастер своего дела...

— Ага, вы сговорились... Штраф, расчет... за ворота! — загремел взбешенный мастер. Резко и быстро вышел из мастерской.

— Сволочь, подхалима хозяйская! Собака! — полетели ему вслед голоса оскорбленных слесарей.

После стычки с мастером Петр пришел домой расстроенным. Сердито сопел, косился на Марью с синяком под глазом. Марья и всегда-то не умела разговаривать, а теперь и вовсе дулась, и оба молчали, как будто воды в рот набрали.

Маринке от матери один разговор — сходи за водой, иди в кухню, картофелю начисти, качай Ваньку. Скучное идет житье. Даже с девчонками бегать Маринке не хотелось, и сидит она иной раз целыми часами без дела.

Глядит на нее Петр, и у него гвоздем засела дума: научить Маринку грамоте. Сам гадал так: если к дьячку отдать учиться, — далеко это, у церкви, и повадка у них, у церковников, нехорошая: сперва заставят свиней стеречь да своих детей нянчить. Есть хозяйское училище, да, знал Петр, слесареву девчонку в это училище никак не возьмут. Учится в нем с десяток ребят мастеров да конторщиков. Решил сам с Маринкой заняться.

Один раз пришел он с работы особенно веселый. Вынул из кармана пиджака старую небольшую книжонку и, улыбаясь, дает Маринке.

— Это я тебе принес азбуку, буду тебя учить грамоте. Погляди пока, что тут есть, да мне скажи; только не изорви — чужая.

Марья была в хорошем духе, но на книжку, недовольно сдвинув брови, заворчала:

— Надоумил бес мужика голову девчонке забивать невесть чем, будет какой ни то дурочкой.

Маринка книжку впервые видит. После обеда, чтобы Мишка не отнял, полезла с ней на полати. Вертит в руках, оглядывает.

Сунула ее под подушку, приманула Ленку с Пашкой, кажет им книжку, хвастает:

— Эва, девочки, какая у меня книжка, тятя дал.

Ленка схватила книжку, повертела, понюхала, спокойно сказала:

— Я такую видала на окне у безрукого табельщика, с нами рядом живет.

Пашка почесала о пол пятку; задумчиво глядя на Маринку, спрашивает:

— А чего ты с ней будешь делать?

В люльке завозился Ванька; железная пружина растянулась, тихим звоном дрогнула. С потолка посыпались белые соринки. Маринка лениво зевает — видно, что нарочно. Глянула круглыми, смешливыми глазами на Пашку, самодовольно улыбается.

— Вот чудная-то! Глядеть в азбуку буду, тятя велел. А уж лаханья мыть и Ваньку качать — шабаш, девочки, мать сама будет.

Подруги переглянулись, завидуют.

— Житье тебе, Маринка! Анки нет, мать сидит дома, делай, что хочешь...

В субботу Петр ушел с работы вместе со всеми. У казармы завидел Маринку; под окном скачет на одной ноге. Позвал домой.

Петр вымыл руки над помойным ведром; поглядывая на Маринку, пригладил голову и сел к столу.

— Давай-ка, Маринка, сюда азбуку, покажи, начнем учиться. Часок выдался слободный.

Маринка уж позабыла про книжку, нехотя полезла на полати, робко спрашивает:

— А зачем, тятя, учиться? Что же другие бегают, не учатся?

Петр нахмурился.

— Не заведено нас учить. Я вот сам выучился, и тебя, может, научу: будешь книжки читать. Гляди, Маринка, сюда. Это азбука церковная, потому и крест напереди. А тут — азы, — ткнул пальцем на другую страницу. — Первый аз, всегда рядом с буки, а это веди, глаголь. Ну, говори за мной: аз.

— Ас, — шевелит она губами.

— Буки...

— Буки..

— Веди...

— Веди...

— Ну, теперь говори, вот это с хвостиком слово, похожее на головастика, как назвать?

— Бук... бук... — запинается Маринка и, часто моргая, глядит на отца.

Часа два Петр, хмуря брови, объяснял ей несколько раз десяток букв. На лбу у девочки выступили частые росинки. Глаза подернулись мокротой. Отец это видит и по себе знает, как трудна азбучная мудрость. Ему стало жалко Маринку, и, свернув азбуку, говорит ей ласково:

— Ну, будет пока, — видишь, мать тащит самовар: попьем чайку.

Маринка вытерла кулаком глаза, через минуту высунулась в дверь, показала какому-то мальчишке язык.

Петр с веселыми глазами ходит по каморке и наставляет Маринку:

— Возьми азбуку да замечай, на каком месте какое слово стоит. Утречком завтра проснешься, закрой опять глаза, — и вспомнишь, как они называются... дело скорей, может, пойдет.

У дверей каморок мужики с «собачьими ножками» в зубах, при свете сального огарка, отводят душу за трепаными картами, ругаются.

Не любит Петр табаку, не любит и карт. Не одну неделю уже сидит он вечерами за столом, учит Маринку.

Она все азы затвердила, но билась над двумя буквами З и Е, не могла их запомнить. До боли грызет указательный палец, с мольбой смотрит на отца.

— Может, тятя, эти две, такими заверняшками, зря тут, а?.. Давай я буду опять читать вон эти...

Петр вскинул брови на крутой лоб, с досадой ткнул пальцем на азбуку.

— «Заверняшки, не надо их»... Дура!.. Что надулась, ровно клещ? Ведь хуже работы я с тобой умаялся... Ну, читай склады... не кряду, поврозь...

Фитиль ночника нагорел. Масло воняет копотью... Скрипит люлька. На кровати шевелится Марья. Маринка истомилась, стала вялая. Петр сонно качнул головой, устало говорит.

— Иди спать, а завтра будем последние азы учить: «кси», «пси», «фита», «ижица».

Солнце, холодное, низкое спряталось за густое, похожее на серую копну, облако. В каморке без солнечного света — особенно убого. Марья сидит на полу, чинит клинчатое одеяло. На лбу легла косая морщинка. Маринка в просвете окна сидит с азбукой и медленно твердит на память буквы.

Марья нарочно сердито вскрикивает:

— Ты чего там, болтушка, бормочешь? Я те вот встану, повру! Заучилась! Сидела бы вот да заплаты пришивала...

К отворенной двери, словно мухи на свет, собрались девчонки. Завистливо смотрят, толкаются.

Тоненькая черноголовая девочка прижала к плечу спеленанного ребенка с крохотным личиком, похожего на галчонка; недоверчиво качает головой, заикаясь, глотает слова:

— ... М-мари-инке-то де-д-евятый годок... м-можно ей... отм-маялась от В-ваньки...

Светлоглазая — меньше всех; тянет за ручонку ревущего сопливого мальчишку, слезливо ноет:

— Эва какой навязался благой! Кабы не он, и я стала бы чего ни то делать...

— Подумаешь, какое дело — азы читать... Я, кабы не Симка, наплевала на все да убегла гулять!.. — позорному кричит сзади всех Пашка.

Маринка слышит, ей весело и любо, что девчонки не знают того, что она умеет, и важно бахвалится:

— Я, девочки, уж другой лист учу... во как... не то, что вы... скоро все буду знать...

В эти дни с Маринкой случилось горькое событие.

В пятницу день был ясный. У крыльца совсем тепло по-летнему, на луже ледок растаял. Девчонки играли «в ловички». Маринка весело, задорно смеялась. «Я буду вычитывать, кому водить»... Тыкала рукой каждой в грудь, приговаривая:

— Шандур-бондур козу гнал, по монетке продавал. Щетка-плетка, щавелева дочка...

Пашка вдруг перебила:

— По-другому давайте играть, я выдумала... В побирушки... срядимся во все рваное, сумки возьмем — собирать кусочки; узнают нас либо нет.

Новая игра для Маринки — первая радость; козой прыгает и болтает:

— Я, девочки, дома сряжусь, вы и не узнаете, поправдышному, потому котомка у нас есть такая и палка с клюшкой настоящая, в балагане стоит, сейчас сбегаю, принесу...

Сорвалась как вихрь, и исчезла за дверью.

Марья купила четвертную вина, пошла ее прятать от Петра в яму балагана. Маринка завидела, что балаган отворен, стремительно влетела туда. Нечаянно задела четвертную, и... бутыль со звоном крякнула. Маринка сразу почуяла, что сделала страшное дело, замерла на месте. От досады и жалости за пролитое вино у Марьи захватило дух, глаза, казалось, вылезли на лоб, она прохрипела:

— Что наделала, подлая?.. Ах ты вольница, а-а!.. Марш домой.

Маринка, подавленная, тихо поплелась в каморку, села на сундук, сжала зубы, — знала, что от матери достанется жарко. Вошла Марья; в руке под фартуком — толстая веревка.

Маринка страдальчески свела лицо, повалилась матери в ноги, с побелевшими губами взмолилась:

— Мамушка, милая, прости Христа ради... больше никогда, никогда не буду...

Марья молча схватила ее, стала хлестать веревкой. Соседка Акулина прижала ухо к стене, слушая жалобный крик. Когда затих крик девочки, она вышла в ко-

ридор. Бабы, по обыкновению, мимоходом из кухни останавливаются словом перекинуться. Акулина около них разливается:

— И что-то, бабоньки, Марья словно сбесилась? Ох, и била Маринку...

— А чего ты-то больно сжалилась? Ай своих нет, бить некого? — злорадно упрекнула другая баба.

— И нельзя их не бить, не учить, тогда от рук отобьются, — соглашается она.

— Да что вы, бабы, правда, все на ребят сваливаете? Рази битьем возьмешь? .. — заступилась одна. — Сами-то мы чего умеем сроду хорошего? Обвыкли уж так по-дурному, ругаться да драться... а Маринку и бить-то словно грех...

— Да за что хоть била-то ее? — спрашивает Пелагеевна.

— Знамо, за дело. Ни за что никакая мать не станет.

На пересуды выглянула Марья, хрипло гавкнула на баб:

— Не умрет... Своих жалейте! .. Другой раз будет умнее... меня и маненькую и большую не так драли... выросла.

Для Маринки не прошла даром материна выучка. С того раза она на всю жизнь возненавидела вино и пьяных. Свою смешливость и жизнерадостность схоронила где-то далеко на сердце. Переживая боль и обиду, она сторонилась от матери. От простого ее слова ежилась, робела. Когда отец бил мать, ей ничуть не было ее жалко. При виде унылого, заплаканного лица матери глаза у Маринки тускнели, но она упрямо думала:

«Сама не ругайся, не дерись...»

Раздумывая о том, как все матери бьют своих девчонок, и тут же вспоминая свою обиду, она впадала в озорство. Нарочно разбила чашку. Съела Ванькину кашу. Один раз спрятала материны ботинки. Марья долго искала, думала, что нищий унес. Озорная блажь скоро проходила, и Маринка, притихшая, задумчивая, сидела больше в каморке и отбивалась от подруг.

Девчонки ехидничали, дразнили:

— Маринка-дрянинка модничает.. я хто: сле-есарева.

Тут же вскорости случилось домашнее тяжелое событие: на фабрике вдруг позвали Петра в контору, объявили расчет. Петр этого не ожидал. Пришел в слесарную злой. У тисков швырнул напильник. Ероша волосы, стал перед слесарями.

— Неужели за горячку с мастером так с нашим братом поступать? Как думаете, работяги?

В этот раз за Петра все слесари возмутились. И раньше с мастером бывали неприятные стычки, но как-то улаживалось, а тут без всякого разговора — расчет.

На другой день собрались в слесарную раньше времени, зашумели между собой. Старый слесарь Куприян, — поседел на работе, — больше всех горячился:

— Что же это мы, люди или мусор? Проработал человек десятки годов, не угодил мастеру словом — и с места долой. Есть для нашего брата какие правила иль нет?

— Нету, какие там правила! — раздались угрюмые голоса слесарей.

— Хороших работников ни во что не ставят! Чем мы обеспечены, а... братцы? — скрипел зубами Никифор.

У лохматого, коренастого рабочего серые глаза обозлены.

— Подлец долговязый!.. — крикнул он пересохшим голосом, схватил с верстака напильник и погрозил в дверь. — Высунься только, гадина!

Выдали Петру половину жалованья — за неделю, по четыре гривенника в день. На прощанье позвал он слесарей в трактир, вместе их и пропили. Захмелевший Никифор обнимал Петра.

— Милый друг, Лексеич... Не больно горюй... знаем, чижало нашему брату... беднота мы... Дай я тебя поцелую... — чмокнул его в щеку, утирал глаза, вздыхал. — Ну, мы там как-нибудь... того... Одно слово, ты не сумлевайся — и шабаш. Свои люди, увидимся, работяга!

Марья, как узнала про расчет, завыла.

— Куда денешься с оравой в пять человек? Из каморки надо выбираться, а с чем выедешь? Копейки за душой нет.

Для Маринки переезд был веселой переменой жизни. Пока мать плакала да собиралась, она сидела в кругу девчонок, трясла на коленях Ваньку, хвасталась по-бабьи:

— В деревню, в Лаптевку уедем, девочки, житье там будет; молока у каждой коровницы сколько хошь, и, вишь, лес там близко. Тетка Хавронья сказала: только семь верст. Жива не буду, чтобы не сходить каждый день за ягодами. Похлебку-то будем хлебать не как-нибудь, а может, с белыми грибами. И речка, вишь, под самыми окнами... купаться буду.

В день отъезда Маринка с утра ходила заплаканная, — жалко стало подруг. И горе и радость делила вместе. И коридор уж не таким немилым казался: все-таки привыкла.

На расходы Петр и Марья продали сибирку суконную, две Марьины шубейки — девичье приданое — и еще какую-то «лишнюю» одежонку. Остальное вместе с подушками — все влезло в сундук. Поставили сундук на телегу, на него стол, два стула, рядом шкаф, скамейку и доски разобранной кровати. Сверху всего посадили Мишку с Серегой. Маринка вприпрыжку впереди телеги скачет. В руке кузовок с лампадками, чтоб не разбились. Марья свою заботу высказывает, кричит:

— Мишка, гляди, стул-то наверху бы не сломался... Да Серегу не спихни... Батюшки, а ведь мы там забыли трубу худенькую самоварную!

Нет-нет, а все Петра спрашивает: — Неуж, отец, скоро места не найдешь?

Петр молчит, на лбу забота. Идет рядом за Савраской, словно переселенцы в теплые края.

И путем не обглядевся Петр на новом жительстве, как сразу ушел места искать на другие фабрики. Марья с ребятами перебивается «с хлеба на квас не досыта». Маринка от нечего делать выйдет на улицу, к передним окнам избы, смотрит, как по деревне идет стадо коров, и с завистью думает:

«Нам хоть бы пестренькую подоить, да молочка теплого попить».

Кум Никифор часто заходил, справлялся:

— Поступил, Петровна, Лексеич куда или нет?

Новый мастер — коротенький и толстый, похожий на квасной бочонок — семенил ботинками по слесарной, брызгал с губ:

— Две пары тисков стоят без рабочих рук. Как можно, куда это годится?.. Слесари нужны...

Никифор, сутулясь, переступал перед ним с ноги на ногу, кланялся.

— Я вот и говорю, господин мастер, дельные старые работяги есть... прикажите в конторе принять...

На утро Никифор до работы побежал в Лаптевку. Запыхавшись от ходьбы и волненья, в заднюю избу влетел, как конь ретивый. Машет руками, торопится говорить.

— Петровна, сделай милость, как только заявится Лексеич, шли его в контору, слесарей, вишь, набирают, вот ей-богу!.. Так и скажи ему.

К концу третьего месяца безработицы Петр поступил на старое место, со сбавкой жалованья.

Каморку дали в той же казарме внизу.

Марья на радостях продала последнюю теплую шаль, позвала кумушек-соседок на пирушку — сиротскую, с одним только чаем и баранками.

Маринка за это время похудела, вытянулась, румянец сбежал, одичала. Сверху прибежали девчонки, пристают:

— Расскажи, Маринка, как в лес ходила... Ягод много там?.. А грибы-то ели?..

Маринка скуксилась, недовольно говорит:

— Это все, девочки, тетка Морковница врала. Там и лесу-то не видать, а речка малюсенькая, и масло в ней черное плавает.

Пришел Петр с работы — веселый, потирает руки, рассказывает Марье:

— Мастер новый посулил прибавку жалованья, а я воспользовался хорошим случаем и о Маринке заикнулся: попросил бы он у хозяев взять ее в училище...

Марья даже глаза вытаращила, на дыбы встала.

— Ни за что не пущу в училищу... не девчонкино это дело с книжками заниматься... от делов отобьется. Куда ее тогда, ученую, денешь?..

Так же горячилась она и в кухне. Бабы ахали, гудели.

— Да куда уж нам, до ученья ли?.. И не думай, Петровна, отдавать.

А Ленкина мать подзадорила:

— А я бы свою Ленку с радостью отпустила... В училище, вишь, чулки учат вязать...

Марья одумалась, и Маринка пошла учиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МАРИНКА В ШКОЛЕ

Каждый день пошли у Маринки новые заботы и новые радости. По утрам спешит она пораньше уйти из дому. Схватит азбуку в фартук, плисовое пальтишко набросит на плечи. Пока нет учеников, бежит мимо крыльца училища подальше в сад. Слушает, как большущие деревья от тихого ветра шумят и качаются, будто пьяные.

Любит Маринка под шум деревьев думать о хороших днях и мечтать о чудесных сказках, и втихомолку радуется, что нет тут ни крику ни брани. И хотелось бы Маринке долго-долго смотреть, как плывут на небе мелкие облака, похожие на большое стадо серых гусей.

От училища летят ребячьи крики, и Маринка с тревогой думает:

«Кого-то ныне батюшка оставит без обеда?»

Директорова Наталка с дочкой конторщика Зинкой идут под ручку, на ногах баретки с пуговками, чулки белые, книжки завернуты в платочек. Маринку не замечают, модничают. Учительницу, приживалку хозяйскую, называют Настасья Митревна. Сидят с ней рядом, пишут ручками на белой бумаге.

Маринка — за одним столом с мальчишками, учится чулок вязать из фабричной желтой пряжи; клубок чуть не с голову. Учительница показала ей один раз,

как вязать, быстро так руками пошевелила, повертела нитку на пальце, стальной спицей подергала, поковыряла.

— Ты меня больше не отвлекай, вязать и слепой может, — прошипела она и ушла.

Спицы четыре, и надо, чтобы на каждой петель было поровну. Считать Маринка плохо умеет; руки вспотели, нитка делается грязной. Косится на учительницу, бурчит себе под нос:

— Трудный, немилый чулок, пропади он к дьяволу.

После обеда перед Маринкой положили ворох картонных азбучных карт, азы на них другие, незнакомые, не церковные, не знает их Маринка, а учительница задала сложить слово «дядя».

Долго Маринка копается в картонках; рядом рыжий мальчишка подсказывает ей и торопит шопотком:

— Да ты скорей! Батька Симофор, гляди, нагрянет.

Уложила она несколько карт рядком и, смущенная, глядит, что делают другие.

Подошла учительница, ласково шипит:

— Ну, читай, Лексеева, что ты сложила?

Маринка притворяется веселой, звучно бубнит:

— Добро, у — ду. Добро, аз — да, я... — запинаясь, выговаривает вместо «дядя» — «дудая».

Мальчишки прыснули смехом. Настасья Митревна закричала:

— Дура!.. Дыл-да!.. — и ударила ее кулаком в голову. — Ну, скажи на милость, есть у тебя что тут, дрянная девчонка!.. Встань столбом!

В дверях появляется батюшка, взглянул на Маринку и прогудел:

— Строптивая отроковица паче наказуема бысть...

— Филя-а! — ехидно-ласково зовет ротастого, с ушами торчком, вроде самоварной ручки, глуповатого хозяйского племянника.

Филя знает, зачем зовут, мигом положил грифель на стол, загремел дверкой печки и достал оттуда спрятанный им парусиновый колпак.

Напялил колпак на Маринкину голову. Батюшкина седая бородка затряслась от тихого смеха. И все по-

вернулись на своих местах, глядят на Маринку, смеются. Зина сложила губы бантиком, жеманно улыбается.

Маринка стоит в дурацком колпаке, понуря голову. Осмеянная и униженная, залитая горечью и стыдом, она прикусывает губы и молча роняет непрошенные крупные слезы.

Начался батюшкин урок. В классе повисла скучная тишина. Ученики примолкли: знали, батюшка любит, чтобы двое или трое во время его урока были наказаны.

В тишине четко раздается негромкий Наталкин голос. Отвечает заданное из ветхого завета. Холодными камнями роняет она, словно попугай, заученные слова.

— Авраам роди Иакова, Иаков роди Исаака... Исаак Иуду, роди, роди... — назойливо лезет в уши огорченной Маринки. Она упорно смотрит на пол. В разгоряченной голове прыгают, словно зайчата, глупые, озорные думки, и ей хочется на все училище крикнуть:

— И все мужики... мужики, — а так, знаю, не бывает, родят только бабы, да еще родила в нашем коридоре дурочка Аленка.

Смирно сидит в училище Маринка. Сдерживая порывы веселья и смеха, она прилежно царапает грифелем «палочки», складывает азы и вяжет чулок. У Настасьи Митревны не доходят до нее руки — поучить, показать как следует. Поглядывает Маринка с завистью, как учительница занимается с Зиной и Наталкой, учит делать какие-то задачки. Читают они скоро — о девочке-снегурочке, про лес и птичек.

«Так бы вот, — думается Маринке, — стала к ним, да почитала бы по-хорошему». Да платье на ней старенькое, ноги босые, и сидит она розно от них — на другом столе, слушает, как мальчишки твердят вслух молитвы. За ними на память выучилась Маринка многим молитвам. Научилась еще чулки вязать. Марья чуть ли не в первый раз была довольна Маринкой.

— Все-таки какое ни на есть рукомесло... — хвалилась соседкам, — в жисти-то ой-ой как пригодится, все чулками обносились, а тут некупленные. Пускай ходит в училище, никто не запрещает.

Батюшка дал Маринке книжку «Закон божий», задал урок и крестиками на странице отметил, откуда и докуда учить. Кому, может, и легко удавалось учить уроки, а Маринке трудно, ой как трудно! И сразу она возненавидела эту книжку.

Однажды пришла она из училища; мать сидела у стола, Ваньку черноглазого кормила кашей. Маринка положила книжку на окно и села учить урок. Мать облизала палец, заглянула в горшок, говорит строго:

— У меня не больно в книжку торчи. Мишке с Серегой чулки довязывай, им гулять не в чем.

Подошел вечер. Маринка не заметила, как подвернулся Серега, стащил книжку, измял страницу, где бог повелел истребить три тысячи младенцев.

Читает Маринка не скоро, по складам:

— Аз, наш — ан, глаголь, есть — анге, люди, ер, — ангел.

Прочитает она так несколько строчек и не помнит, какие были первые слова.

— Ах-ты, восподи! — хнычет она. В голове путаются мудреные названия древних народов — филистимляне, амаликитяне, вавилоняне.

Заранее знает Маринка — быть ей наказанной. Опять всплакнула.

— Ой, да рази я виновата, что плохо учусь? Восподи, кабы не чулок-то!

В училище на нее напало упрямство. Исписала с обеих сторон грифельную доску палочками и сидит, не зная, что делать. В руке держит «Закон божий», глазами уставилась в окно, следит, как за рамой мухи к солнышку ползут.

— Лексеева!

Маринка вздрагивает. Не спеша встает, одергивает на себе платье и медленно подходит к батюшке.

«Ах, как трудно говорить, чего не знаешь! Лучше бы на месте сквозь землю провалиться...» — шевелится у ней в голове.

Маринка отвечает урок по-своему:

— И был большой плач... плакали все матери... бог велел истребить всех ребятищек... и летал веселый ангел с мечом...

— Стань на колени! — глухо роняет рассерженный батюшка. Маринка поворачивается лицом к стене.

Так, изо дня в день, неделя за неделей тянется Маринкино ученье. Не любит она учительницу. Боится батюшки. Мать за книжку ругает. И потому нет у ней охоты уроки учить, и редко их учит.

В субботу был последний для Маринки горький день ученья. К этому дню ей задано было выучить молитву в две страницы — «Заступницу». Выучила Маринка ее с помощью отца только до половины.

Училище гулом гудит от голосов — ученики повторяют молитвы. Маринка стоит перед батюшкой. Сказать ему, что не всю молитву выучила, не было смелости. Надеется Маринка, что не до конца спросит батюшка, а в ум плывет брошенная в воду книга, и сердце шибко бьется. Запинаясь, отвечает совсем тихо.

Батюшка будто забыл про нее — не слушает. Под хмурыми бровями недовольные глазки бегают по ребячьим лицам.

И вдруг, совсем неожиданно, широким рукавом махнул на Маринку, «Сиди без обеда»... Она побледнела, сжала зубы. Ученики смеются.

На обед все шумно и весело побежали домой. Учительница заперла Маринку на замок. Словно пойманная пичуга, сидит она недвижно, тоскливо, смотрит на дверь. И Маринка горько-горько заревела.

— Пускай бы меня мать побила... Отец поругал... Ведь я никогда-никогда не баловала... Нет, нет... лучше мне умереть! — глухо жалуется в пустом училище ее одинокий голос. И тут же она вскакивает, бросается к двери, — заперто. Подбежала к окну. В саду деревья. Улыбаясь солнечными лучами, синее небо глядится в пруд. Горечь наполняет Маринку, и она опять кому-то исступленно кричит:

— Не буду учиться, не буду больше в училище ходить... Не надо мне ихних книжек... — голос сорвался, села на скамейку, притихла.

После обеда Наталка тихонько подложила ей сдобную пышку. Маринка, не глядя, бросила ее и твердо подошла к учительнице:

— Настасья Митревна, позвольте выйти, — и, не оглядываясь, бегом пустилась домой.

Никогда, всю жизнь не забудет Маринка, как ее ругал отец. Грозил побить, не давать хлеба, уговаривал еще поучиться. Маринка забилась на полати и, сверкая сухими глазами, упрямо ладила:

— Не пойду, что хочешь делай, не пойду...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДЕВИЧЬЯ ЗАБОТА

Прошло два года. Маринка первый раз в ненастное утро идет на работу в мотальню — таскальщицей. Буйный ветер сечет лицо косым дождем. В ушах назойливо гремит колотушка, в голове зудит: «Еще бы маленько поспать», — и тут же другое: — «Надо смелее быть, отец говорил». За красным корпусом густо рассыпался звон железа. Маринка бойко шагает.

В дремотном рассвете недовольный голос:

— Ишь, летит какая-то, словно к заутрене...

Баба в шали чуть приостановилась.

— Это ты, Павка?.. — Полетишь, милая, надысь я опоздала на семь минут — пять гривенников штрафу. Думаешь, это шутка — от нашей выработки в семь рублей?..

Перепрыгивая по камешкам широкую грязь, Маринка задорно ввязалась в разговор:

— Ну и беги, тетенька, скорей, а то «церкву» запрут.

— Идите вы к лешему за печку!.. — с досадой посылает тетка.

Мотальня длинная, узкая. На другом конце кладовая с настежь раскрытыми железными створами дверей. Сбросив с плеч мокрую одежду в угол, на пустые ящики, — полсотни работниц, в кофтах, в казаках, в ватниках, стали у ручных машин, правой ногой закачали подножки. Зашипели колеса, завертелись веретена... С потолка, из-под железных зонтов жестяных ламп, желтый огонек вязнет в паутине ниток.

Воздух в мотальной затхлый, полон густой пылью. В кладовой гора тесовых ящиков и высокими копнами лежит серая и суровая пряжа.

У стола сидит рябой широколицый кладовщик, пальцами играет на огромных счетах. Порой поднимает голову и безучастно смотрит, как Маринка с одноглазым белобрысым парнем таскают пачки пряжи. Задерживая дыхание, девочка пыхтит, взваливая на угловатые плечи тяжелые пачки, и, нагнувшись так же, как и парень, несет их к машине. Положив, старается говорить весело:

— Это я тебе, тетенька...

В шуме, в визге машин не слышно слов. Лица у моталок серые, хмурые, глазами ушли в работу. Потушили огни, в окна глядится ненастный день.

Маринка идет обратно в кладовую:

— Дяденька, еще таскать.

Кладовщик, заложив ногу на ногу, сурово гмыкнул:

— Таскай, таскай кряду...

Маринка прилежно таскает до самых полден. Час на обед. Все грудятся у двери. Облапанные, обысканные стариком-сторожем, бегут домой к горячей еде.

После обеда Маринка собирает у моталок намотанные катушки — шпули — в большой железный ящик и волоком тащит его в кладовую.

Пол кирпичный, неровный, выбит ямами, местами нет кирпича и кое-где настланы рогожи. Ящик тяжелый, застревает на выбитом месте. Маринка торопится его сдвинуть, раскраснелась, вспотела, платок с головы съехал на шею.

С потолка опять льется из-под зонтов скупой желтый свет. Макар — парень, работавший с ней — давно ушел. Усталая Маринка присела на край ящика, сунула в рот забытую в кармане корочку хлеба.

Внезапный крик рядом спугивает ее:

— Девчонка, встань!..

Маринка оглянулась. По мотальной, гремя ключами и косясь на машины, шагает к выходу кладовщик.

Он старый, безбородый. Широкий плисовый картуз приплюснут, похож на чугунную крышку печной вьюшки. Плисовые штаны засунуты в сапоги. Походка важная.

Ушло бабье начальство. Маринка с удивлением видит перемену в моталках. Широколицая, рыжая Павка смеется кладовщику вслед.

— Ха-ха... идол деревянный! Выжил Стешку — и сам с носом...

От притихших машин на нее щурятся усталые глаза. Женщина в серой кофте, курносая, посмотрела на Маринку и, оглядываясь к двери, говорит:

— Ничто ему не делается, старому бесу, Павличушка! Он думал — другая красавица будет около него...

Маринка смутно чует в разговоре баб что-то неладное, и будто — она причина. Смущенная, слушает и глядит, как у веселой Павки сверкают ровные зубы и смешно шевелится на щеке волосатая бородавка.

Павла остановила машину, тянет за платье Маринку.

— Ты чья будешь?.. Пришла работать и уселась, когда начальник идет...

Маринка вспыхнула. Доверчиво сознается:

— Я, тетенька, не знала, как у вас тут... А ты бы меня поучила мотать... мне страсть как охота... Я вить не маленькая, почесь двенадцать годов...

Одарив Маринку веселым взглядом, Павка опять засмеялась:

— Ой, да ты прыткая!.. Ишь, охочая! Слесарева, говоришь? Та-ак... Вряд ли тебя, девка, за машину поставят. Поглядывай да примечай, как мы мотаем, пока что...

Старая, с сухим лицом, подошла поближе, оглядела Маринку, соболезнует:

— Доля наша горькая... вот так увязнешь в работу с малых лет по гроб жизни — и ни свету ни вздоху... Федосей-то наш, не приведи бог, какой строгий...

От задних машин несмело замурлыкали голоса, и под низким потолком поплыла заунывная песня:

Во осенний день ненастный
Скучно, тошно до полуночи работать
Да вот мне, младешенькой...

Павка разошлась, поет всех заливчатей. Не слыхали моталки, как вернулся Федосей. Косо поглядел на Павкину тихо движущуюся машину, лицо его побагровело. Сквозь зубы прорвалась злая брань:

— Лентяйка, заводиловка!.. Отдувайся хозяин за вашу лень. Шантрапа горластая!

Маринка попятилась с проходу, робко поглядела ему вслед, подумала:

«Ух, како-ой... и правду тетка сказала... Вот скука-то!»

Рыжей Павлине пятый десяток. В мотальной работает с девчонок. Привыкла к своей скрипучей машине, сжилась с неуютной мотальной. Брань Федосея и штрафы ей не в диво, расчета не боится — она самая ловкая моталка. С охотой взялась учить Маринку.

Федосея нет. Минута свободы. Моталки перекидываются словами. У каждой есть больное место, есть о чем поговорить. Маринка слушает удушливый голос:

— Мочи нет... полежать бы дома... А как ты?.. Расчет... — И женщина с серым лицом машет рукой, сутулится.

У молодой выскакиват затаенная думка:

— С «дачки» за месяц свести бы концы с концами да утаить от мужа на платок новый. Поди, скоро базар, эй, Евлампия!

В черном платке, Евлампия, сторожко оглядываясь, гневно бросает:

— Да, сведешь концы, еще бы! Идол наш ни за что третьевось вписал с меня три гривенника...

Павка выходит на проход, насмешливо кричит:

— Заквохтали, индюшки... повесили носы. Вали, которая, веселую!..

Откуда-то выскакивает низенькая бабенка, на голове платок закручен невозможным узлом, сделала глупые глаза, задергалась, вскрикивая:

Меня тятенька учил,
Меня маменька учила,
А я маненька была, не послушалася...

Оборвала песню и сама дурашливо рассмеялась.

У моталок глаза повеселели, руки быстрей накидывают на барашки мотки, на веретенах меняют шпули. Черноглазая машет мотком, хохочет:

— Ну, и чудесница у нас Ольга! Все ей нипочем: прямо завей горе веревочкой...

Маринка не отстает от баб, беззаботно смеется. От этой песенки в уме маячит училище, поп «Симофор», учительница. Ей охота об этом поговорить, и она дергает за руку Павку.

— Тетенька, я тоже не послушалась тятеньки, убегла из училища...

Удивляется Павлина.

— И читать научилась?..

В карих глазах Маринки и радость и сожаление. Трясет головой:

— Нет, я все позабыла...

Павлина, довольная, гладит русую голову.

— Умница, так и надо... научилась бы там по-книжному, хвост и вырос бы, как у ведьминой дочки.

В работе, в суете и маленькой радости Маринка крутится каждый день, от шести часов утра до семи вечера. Усталая, но довольная возвращается домой. В субботу Маринка обедать не приходила — в конторе получала первую получку. Вечером, веселая, торопилась домой, сжимая в кармане кулак с двумя рублевками. Распахнула дверь в каморку во всю ширь, сшибла ногами наставленные на полу бабки и бросилась к матери:

— Ну, маменька... заработала.

От необычно веселого и звонкого голоса игравшие Ванька с Серегой шарахнулись под стол.

Марья бережно расправила рублевки на ладони, положила на стол.

Весело сказал отец:

— На свои хлеба Марушка переходит с отцовой шеи, молодец! Спрыски надо с матери.

На столе весь запас баранок на свежей мочалке — две большие связки. Для Маринки настоящий праздник — отец веселый, мать разговорчивая, шугнула Мишку с его места.

— Пусти-ка, тут Маринка сядет, чай, устала...

Маринка хрустит сухими баранками и говорит без умолку про мотальню, про работу...

— Устанешь там, а все-таки весело... сколько баб-то... и девки есть... ух, как затянут песню-у... плакать охота.

Марья расхолаживает задор:

— В мотальной-то, вишь, у вас плохо...

Маринка трясет головой.

— Чем плохо?.. Холодно маненько, так одемшись можно... да вот печка дымит, — угораем, и то какая же беда? На улице все проходит... Похуже-то, маменька, — вот день больно долгий... Да кладовщика Федосея боязно.

— А кривой-то не сердит? Макар, что ли, его звать? — подвигая Петру баранки, подзуживает мать.

Маринке любо, что с ней, как с большой, разговаривают, и еще больше хорохорится.

— А мне наплевать на него, чай, я ему не мешаю... И чудной он, тятенька: притащит в кладовую ящик со шпулями, и все шепчет и на меня глядит. А то у Федосея на столе помусолит карандаш да в грамотку чего-то пишет. Хитрый он.

Прикусывая баранку, Петр не спеша прихлебывает с блюдечка чай, любуется Маринкой: «Совсем переменилась на народе, бойкая и говорит ловкое», — но от последних ее слов он нахмурился.

— Ты такая растрепа; кабы училась — и сама помусолила бы карандаш, где надо.

Отцовы слова озадачили Маринку. Сперва не догадалась спросить, для чего надо мусолить карандаш, да и не смела: будет опять ругаться про училище.

С год прошло. Таскает Маринка пряжу, таскает ящики, учится мотать, везде поспевает, а Федосей все хмурится, все погоняет:

— Таскай, таскай проворней!..

И устала Маринка, ой как устала в долгие каторжные дни под начальством Федосея! Лицо у нее похудело, глаза стали больше, в синих кругах.

Скучную жизнь мотальной всколыхнуло событие с Ольгой. В одно утро она не пришла.

В обед моталки узнали: родила, как только вчера пришла с работы. Павка покачала головой, сказала:

— Обычное дело... Ольга больше не будет работать.

Собирая с машин намотанные шпули у пустой Ольгиной машины, Маринка невольно остановилась, подумала: «Вчера была, а нынче нет, вроде умерла». Жалко стало веселую чудесницу-моталку.

В этот же день дверь в мотальную неурочно завизжала на блоке — пришел ткацкий мастер в сбористой сибирке нараспашку, выставляя напоказ атласную жилетку и серебряную часовую цепочку. При виде мастера Маринка, как и все моталки, низко ему поклонилась.

Федосей кивал на стоявшую машину, сытым голосом басил мастеру:

— Такие родихи, Лаврентий Иваныч, от робят какие уж моталки!.. Одни хлопоты с ними...

Мастер согласно мотал головой. С вытянутыми лицами, невеселыми глазами проводили моталки мастера. Дождались времени, пошабашили. На улице холод жадно вцепился в плохие одежды.

Маринке не было охоты прыгать дорогой, как раньше; шла скучная, невольно прислушиваясь к бабьему говору.

— Ольга-то, милые бабоньки, а-а... разочтут ее... Слышали, что идол наш, Федосей, говорил? Безо время, вишь, это она... родила-то... — скорбит чей-то мягкий голос.

— Да-а... помыкаться на одном жалованье ой-ей как лихо, робятишек три рта, мужик простужен в отбельной...

— Бросьте, бабы, ныть-то! От слов да трепанья тоска одна... Спокон веку нам грош цена... У них робята, у нас котята... — кипятится Павка...

— Нет, постой-ка, Евлампиюшка, бабоньки, что я скажу про другое... — тарахтит тихий голос. — Кумекаю я, у Федосея с Макаркой дело нечисто насчет Маринки...

— Не срамись, Митревна... Маринка еще ребенок... — оборвала Павка.

— Да я не про то, Павлинушка... А вишь, дело-то какое... кто помозговитей... проверил бы ее получку.

Маринка услыхала, про нее говорят, шагнула к ним поближе. Бабы сомкнулись плотней. Митревна о чем-то зашептала.

В одну из «дачек» Маринка получала жалованье вместе с Макаром и удивилась: он получил не одну трешницу, как она, а две. Ей стало обидно. Вспомнились слова Митревны: дело не чисто. Встревожилась. Захотелось самой что-нибудь узнать.

В мотальной подошла к Евлампии, пыхтевшей за чисткой машины, рассказала про свою тревогу. Евлампия участливо поглядела на нее.

— Ты, милуша, вишь, в училищу ходила, ну-ка давай, глянь, что в твоей расчетной книжке помечено?..

Маринка смутилась. Путаясь в сборах платья, достала из кармана книжку и трешницу.

— Вот, тетенька, гляди, все тут... А прочитать-то я не умею, только по складам умела, а так-то меня не учили...

— Да не ври... как же так?.. А сказали: ты училась.

Под взглядом спокойных, умных глаз Маринке стало стыдно.

Евлампия нетерпеливо смотрит глазами по сторонам. Подошла Павка, затем Митревна.

— Ты что-то, видим, мудруешь тут...

— Не мудрую, а вот жалко ее...— ткнула пальцем на Маринку.— Не мое бы дело, а все-таки... Про что ты, Митревна, надысь догадывалась, теперь видимо дело: на глазах у ней в конторе шесть рублей получил одноглазый... мухлюет своему-то сроднику Федосей. Не иначе, он его сдельно поставил, да Маринкину выработку ему вписывает. А Макарка у него на фатере дела делает.

— Ну-к, что ты горячишься-то? Рук его жалко?..— недоумевает Павка.— Кричи не кричи, дело известное...

— Да Маринка все так же, как и он, работает. А ежели у нас так-то бывает...

На тихий и горячий спор подошла еще одна женщина в зеленом казаке. Митревна уныло тянет:

— То-то, бывает... А мы — куры слепые...

— Вот, видишь, училась, да не выучилась, за ее здоровье Макар получил, а ей не додали рубля два.

— Правда, — сочувственно качает головой женщина в казаке, — мастеру бы все объявить надо.

— Господи Исусе... вот орет-то!.. — испугались моталки.

— Это на начальника да начальнику обсказать. Ты, милая, рехнулась умом!.. Тут не то что помогут... только пикни, так и вылетишь из мотальной. У Маринки отец на то есть, пускай он с этим делом валандается.

У Маринки из головы не выходит про получку, про Макарку. Теперь поняла она, зачем он считал катушки, шпули. Умела бы она разбираться в книжке, домой принесла бы, говорят бабы, на два рубля больше. То-то бы мать удивилась! Платок бы купила, какой ей, Маринке, хотелось — белый, хороший, по краям с красными цветами. А может, и баретки бы купила с каблуками, с пуговками, — на эти деньги. Маринке стало жалко два рубля, и мысленно она созналась сама себе:

«Эй, зря не послушалась отца. Походить бы еще в училищу!»

И до тех пор докучливые мысли не давали ей покоя, пока не решила она выпросить у матери пятачок либо два. А там она... Маринка улыбнулась тому, что придумала.

День «Герасима грачевника» пришелся в праздник. На «Песках» базар. Марья расщедрилась, дала Маринке на пряники серебряный гривенник с дырочкой. Маринке только этого и надо. Ходит по базару, размышляет: «купить или не купить то, о чем задумала? Заглядывает в рогожные и парусиновые палатки, на платки, развешанные бусы, ленты, на вороха пестрых «остатков». Прошла мимо воза с пряниками, мимо игрушек. Наконец остановилась в толпе у книжек, разложенных на рогоже у телеги. Мужики, девки теснятся, глазеют на картинки, на книжки. Рыжий торгаш достал из короба книжку, сует Маринке, нахваливает:

— Бери, девка, ежели читать умеешь... Это самая знаменитая сказка про царевну Миликтрису Кирбить-

евну... по гроб жизни будешь читать... Занозистая книжка...— Торгаш даже шапкой ударил по коленке и побожился:— чтоб мне места не было на том свете, ежели я вру!..

Раззадорилась Маринка, купила эту книжку и еще другую, с картинкой: «Святая в венце»,— сдачи получила семитку. Дорогой дума веревочкой вьется: «Спрячу книжку и потихоньку буду читать, научусь сама грамоте. То-то отец похвалит...» Дома одну книжку спрятала под сундук, другую — под подушку. Стащила у матери сальный огарок. После ужина легла на полатях и стала ждать, пока все заснут. Мать пошмыгала по каморке, поворчала и потушила огонь. Отец захрапел, и возни матери не стало слышно.

Маринка чиркнула спичкой по серной бумажной коробочке. Огарок приладила на полу у самой подушки, и книжка тут. Укрылась одеялом, локти — на подушку. Скупой свет от огарка столбом протянулся в передний угол. Марья — чуткая; зашевелилась, испуганно шепчет:

— Чтой-то у нас... Свят... свят, Маринка, ты, знать, с огнем?

Маринка скинула с себя одеяло, несмело отвечает:

— Я, маменька, клопы больно...

— Я-те таки дам клопы!..— сердито зашипела Марья.— Ишь, ты... съели ее там, наделать пожару; гаси свет.

На другой день в обед торопится, ест наскоро. На ходу платок набросила на голову. Летит в мотальню, в кармане — книжка. Никто еще не пришел. Тихо. Маринка подобрала платье, села на рвань, что в ящике, лицом к мутному окну. В книжке строчки узкие, буквы — что бисер черный, мелкий. Вышептывает Маринка склады, углубилась в книжку, хочется ей прочитать хоть немножко... ах, как хочется!..

За спиной у ней тяжелые шаги, оглянулась — Федосей стоит. Безбородое лицо насупил, молча погрозил ей пальцем. Моталки сразу заметили: в кладовой на табельной доске первый штраф Маринке.

— Поздравляю, Маринка... наградил тебя безбородый!..— нарочито громко кричит Павка.

— Тише, услышит, и другим еще достанется... — так же громко остерегает Митревна.

На другой день Марья узнала о штрафе. Перетряхивая Маринкину постель, увидала книжку.

— Ах, подлая книжница, вишь она чем занимается, беса тешит! Ну, погоди же вот!..

Вечером, не говоря худого слова, затопила в каморке печку, и на глазах у Маринки «Святая в венце» мигом полетела в огонь.

Сгорела книжка, а Маринка не унывает: под сундуком есть другая. И в праздник, не дожидаясь, чтобы мать посылала, срядилась в церковь. Книжку за пазуху — и прямо на кладбище.

У густого куста бузины она села на бугорок могилы, развернула книжку. Из травы между могил выглядывают крупные незабудки, анютины глазки. В кусте задорно щебечут серенькие с желтенькими грудками птички. На платье ей прыгнул кузнечик, стрекочет.

И ей хочется радости, смеху, игры, а из книжки глядят черные неживые строчки. Скука, скука читать по складам. Сникла Маринка и упавшим голосом, с горечью тихо сказала:

— Тогда не научилась... а теперь-то... где уж там!..

Дома ее ждала радость. Отец сказал: завтра поставят за машину.

Сбылись Маринкины мечты. Сама себе не верила. Спасибо Павке, поучила, и вот она — наряду со старыми моталками, не отстает от них. И то сказать, почти девка, ростом догоняет мать, да и хитрости большой нет за машиной: качай подножку без оглядки тринадцать часов в сутки. Жалованье семь рублей в месяц. Куда какими большими деньгами кажутся они Маринке! Работа ее не тяготит. Привыкла к моталкам, и мил ей гомон и шум машин. Посмеивается сама над собой и весело кричит:

— Задень нитку на крючок, качай да песни пой, пока в глазах не потемнеет... Правда ведь, тетя Павлина?..

Федосей редко ронял слова, косо глядел на моталок и исподтишка примечал: у Павки и Митревны

языки стали долгие, говорят про него и мастера ненужные, вредные слова, а черноглазая часто и громко смеется. Но видит Федосей, что штрафами нельзя донимать всегда, при случае шепнул мастеру — и три старые моталки одна за другой вылетели из мотальной. Встревоженные бабы хмурятся, втихомолку ропщут:

— Плохие порядки, тягостно жить...

Так в тревогах, огорчениях и редкой радости Маринке пошел семнадцатый год. Немного худая, прямая, крепкая, как дубок. Грудь заметно припухла. Когда начинает говорить, круглое лицо стыдливо вспыхивает, румянец заливает желтенькие веснушки. Любила она смеяться, но от бестолковых окриков матери приучилась таиться и мало говорила — так же, как и отец. Не умела петь песни, плясать, и девки редко звали ее на вечеринки.

В праздник «Николы на Клязьме» большое гулянье, собирается народ из большого села Зуева и окрестных деревень. Девки все заранее готовят себе наряды к этому дню. В мотальной только и разговору об этом. Маринка дудит матери в уши:

— Д-д... ж-ж... Я, маменька, пойду на гулянье... Хочь погляжу...

Марья сперва заворчала:

— А де у тебя платье гулялыное? Люди, поди-ка, выпялятся — не подступись...

Раздумалась Марья: большая Маринка, работает, как никто, — надо срядить. Позвала на «Пески» в красную лавку. Первый раз дала ей волю самой выбирать себе на платье.

Мечутся Маринкины радостные глаза по пестрым ситцам. А торговец весь прилавок завалил кусками, каждый развертывает, да приговаривает:

— Клетчатый-то... клетчатый... не ситец, а малина... — Ухватил другие два конца в руки, высоко размахнул и крякнул: — Возьми этот — горохом красным по желтой земле, либо в розовую полоску по зеленому полю, — настоящий шелк. А бланжевый брильянтин в цветочках!. Любой бери, красавица... будешь носить да радоваться...

Маринка все переглядела, остановился глаз на красном ситце с коричневой фигурной каемочкой, — нет милей его.

— Купи, маменька, этот...

Марья недовольно ворчит:

— Не нашла хуже-то?.. Али солдат любит ясно, а дурак — красно?

Примеряет Маринка дома перед зеркалом свою покупку, сердце радуется, заглядывает она в материны недовольные глаза, говорит ласково:

— Сарафаном его, маменька, сшить бы... да с белой рубахой, а?.. Сшей...

У Марьи отошло было от сердца, а тут опять досада взяла.

— Да ты дура, ай нет?.. Это на гулянье-то... да еще на какое. Выйдет фабричная в сарафане, словно деревенщина, насмех хорошим людям... Там, чай, девки-то в кринолинах будут... Ты не думай, швейке отдам, наверху в колидоре, гоже шьет, сама не буду портить добро...

Шумят колеса, постукивает и скрипит машина. Шелест мотков сливается с гудом веретен. Налегая на подножку, Маринка мечтает о гулянье. Она в красном платье, на шее у ней любимые, переливчатые, синие бусы — бабкин подарок. На гулянье много-много глаз смотрят на нее, кто-то будто шепчет:

— Вот это девка!.. С головы до ног словно зорька румяная... — И еще что-то говорят про нее, а ей любо и радостно!

И было уже у Маринки удивленья и смеху: мать кринолин ей сделала к новому платью.

Кринолины люди делали с тонкими камышевыми обручами, а Марья — с железными: с двух кадушек они давно висели в балагане и уже заржавели.

Вшила их в старую юбку кверху два узких, а книзу два широких обруча. Смеется Маринка:

— Ой, маменька, да куда я в него выряжусь?.. Ха-ха! Да в жись не надену!..

— А ты не будь дурой упрямой... померь с новым-то платьем, — сердится Марья.

Надела Маринка, распушилась, на большой зонт стала похожа. Пошла Пелагеевне показаться.

Обрадовалась Пелагеевна, очки повесила на ухо, всплеснула руками:

— Ну, и снарядная ты, ягодка!..

Сгорбясь, тормошится вокруг, смахнула концом фартука пыль со скамейки.

Села Маринка неумеючи на обруч, он и встал возле ее носа. Платье поднялось, рубашка и ноги — все на виду. И чудно Маринке, и стыдно. А Пелагеевна будто не видит, говорит приветливо, поучает:

— Люблю я тебя, Маринушка, обстоятельная ты девчонка. Девушке всегда надо быть смирной да скромной — тише воды, ниже травы, — тем и добьешься жениха хорошего, с достатком да умного.

Заговаривает ее Пелагеевна разными чудесами. Слушает Маринка, а сама думает о том, что девчонки ушли на гулянье, а вот ей как быть? И не видела мать, как она ушла без кринолина.

На гуляньи у Маринки вся радость пропала. Народу в этом году собралось... — сроду она столько не видела. Парни ходят табунами, на девок глядят, зарятся. Девки в длинных да обористых шерстяных платьях, на платьях кружева нашиты зубцами и оборками. У которых подолы по земле волочатся, пыль из-под них стелется серым туманом.

Засмотрелась Маринка больше всего на платье с модной «паньей». «Панья» поверх юбки, вроде фартуков. Сзади — словно подушка с пышными подборами.

«Посидишь один раз — все изомнешь, изгадишь, — думает она. — А кринолинов!.. Батюшки, растопырились... Парень уж не рядом с девкой идет, а поодаль, слова потихоньку не скажешь, не услыхать».

Стоит Маринка в стороне, на все смотрит, тоскливо ей.

«Зачем я пришла? Платье на мне нескладное, неуклюжее. Баска с разрезами, обшитая каемкой, висит на широком поясе, будто лопухи какие».

Только собралась уходить, как к ней подошел парень. Волосы — лен, расчесаны на косой пробор, за руку берет.

— Пойдем, — говорит, — красавица, со мной в проходочку гулять. Может, из наших деревенских будешь?..

Маринку в жар даже бросило, растерялась, трясет головой.

— Не пойду... я не умею... чего пристаешь?..

Отвернулась, да боком в сторону...

«Ничего не умею... не научилась к разговорам... куда уж мне в хорошие люди!..» — идет дорогой и ругает себя.

В коридоре весело шумела артель парней. Косматая рябая девчонка, прыгая на одной половице, взглянула на Маринку, озорно и насмешливо крикнула:

— Маринка, надела новое платье милазору показать?.. Вон он идет... твой-то милазор!..

С гармонью в руках, высокий, румяный парень, табельщика сын, сдвинув картуз на ухо, направился к ней. Маринка не любит его, хвастливого, за приставанье. Шевельнула губами, юркнула в каморку, нарочно шибко хлопнула дверью.

Подошла плаксивая осень. Дорожал хлеб, товар не в ходу, — того и гляди, станет паровая. Петр был озабочен. Маринка каждый день слышала, как плачется мать.

— Батюшки, родимы... мать богородица, как прожить, мука-то эвона, три рубля пу-уд... когда это слыхано!.. Напасись-ка харчей на большую ораву...

Придет Маринка в мотальню, у моталок злые глаза, один разговор:

— Им что, богатеям, хозяевам, и от нашей нужды барыш. Работай задаром, а в лабаз ихний хоть хрест сымай, а жратву купи да деньги плати...

В казармах нужда, холод и голод. Ребятишки с большими, жадными глазами, оборванные, худые. Унылый дождь то и дело поливает старые, промозглые стены.

В эту лихую пору как-то неожиданно случилось событие, от которого Маринкина жизнь повернулась совсем по-другому.

После полночной смены загорелась мотальня. На улице первый снег, слякоть. Люди бледные, перепуганные. Шум, крик. Колокольный набат хватает за душу.

Маринка побежала на пожар, с перепугу обула разные ботинки и прямо бросилась к тому окну, где

стояла ее машина. Огонь бешено и радостно рвался из-под крыши и из окон. Глаза Маринки налиты страхом за ее машину.

— Сгорит, родимые... вытащил бы кто... боговы ангелы, сохраните, помогите... — лепечет побелевшими губами.

У подводы с бочкой народ сбился кучей. Ругаются. Гремят ведрами, брызгают в огонь из пожарной кишки. Тоскливо поглядела Маринка на широкого, безбородого Федосея. Он суетился около стоявших мужиков и, по-бабьи кривя губы, уговаривал:

— Братцы-мужики, помогайте!.. Ваше это дело... все под богом ходим...

Из толпы кто-то в засаленном картузе подал досадный голос:

— Сунься-ка сам с пустыми руками, чортова перечница!

— Гляди, как огонь-то жрет... в отделку, чисто сухари... — поддакнул другой, в шапке.

— Да-а, без задержки горит, в рот-те ноги... Грейтесь, милые, штрафу не будет... — гудит кто-то сзади насмешливо.

— Чай, и дома ведра-то есть... окаянные, погубители...

— Фабрика бы не занялась. Святители, куда денемся?.. — размахивая руками, вопят моталки.

Огонь прорвался через крышу, взвился золотым и красным полымем к низким облакам.

Маринка, заразившись отчаянием баб, и сама схватилась за голову и неистово крикнула:

— Машины... восподи, горят... Ой, моя-то, моя...

Кривобокая старуха с образом в руках стоит у сторожевой будки, крестится на огонь, всхлипывает:

— Матушка, неопалимая купина, угаси огонь-пламень... Подожгли невесть кто окаянные...

Обгорелая стена осела, далеко разбрасывая бесчисленные искры. Пожар утихал. Не спеша расходился народ, досадуя на пропавшую без сна смену.

— Ладно-то, мотальня отдельно стояла... — рассуждал Петр дорогой, идя с мужиками. — А ежели б казармы... Ну, и лети душа жареная и вареная, прямо к богу в рай.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БАБАМ ГОРЕ, ДЕВКАМ РАДОСТЬ

Марья сама дала согласие, когда Петр заговорил:

— Надо Маринку отправить в деревню, нечего ей околачиваться на фабричном дворе. На другую работу все равно не возьмут.

Заливает радость Маринку.

Принес ей отец сундучок маленький, — знакомый столяр смастерил. Уложила Маринка платки, какие были, ленты, бусы, кое-какую мелочь, лоскутки.

Разорилась Марья, купила ей баретки на три пуговки, с каблуками, ситцу на фартук да сатину на сарафан.

— Нечего, — говорит, — тебе, Маринка, там делать, сошьешь как ни то... Лето подходит... — А сама печальная, вздыхает.

Маринке тепло стало от такой заботы, удивляется, отчего раньше она этого не замечала. Даже расплакалась на прощанье.

Только бы в дорогу отправляться, — нежданно-негаданно Анка приехала из города. Подхватила Маринка у ней из рук мешок с носильной одеждой, положила на стул, глядит на отца с матерью; — рада сестру повидать, и боится, — не передумали бы, не остаться бы ей опять в постылой каморке.

Высокая Анка, складная, лицо аккуратное, только нет в нем румянца. Редкие веснушки кажутся черными.

— Чтой-то ты, Аненка, больно худа! Али хвораешь? — сказала Маринка и удивилась, что сама сразу угадала: не пристало ее Анкой звать.

У Аненки на тонких губах радостная улыбка. Оглядывает всех по череду, глаза темней Маринкиных туманятся, будто испуганные.

Села на сундук, нагнулась снять ботинки.

— Соскучилась я оченно по вас и устала с дороги. — Подняла глаза на Маринку. — А ты-то как переменилась, стала на девку похожа... — И голос у Аненки вялый, тягучий.

Маринка подумала:

«Не получшела Аненка в городе».

У Марьи сквозь радость в каждом слове забота кричит:

— Две невесты, отец, бог дал, выросли. Время чижолое, женихов надо, а с чем ты их замуж спихнешь? Сколько им надо припасть добра!.. И спать-то, вишь, негде.

Петр поднял густые брови, ласково оглядел обеих, непривычно весело говорит:

— Сразу наговорила, на возу не увезешь. Чему-нибудь да научилась, — кивнул на Аненку, — здорова будет — и заработает... Как раз Маринку отправляем, на ее месте и будет спать.

Родная серая изба старухой пригнулась к завалинке, напоминая тот давнишний день, когда в каморку пришла весть: померла бабка Лимпиада. Дрогнула Маринка, крепче ухватилась рукой за свою легкую ношу. Гнилые ступеньки крыльца приветливо скрипнули.

Маринка несмело улыбается у двери.

— Гляко-ся, гостья-то... Хре-есинка!.. — внезапно и ласково вскрикивает Васена. Лицо с голубыми глазами лучится мелкими морщинками.

«Все такая же прямая да русая», — подумала Маринка.

— Стосковалась я, хресна, больно стосковалась... Мотальня на фабрике сгорела... Аненка дома... А лес-то пахучий... и все бы я шла, шла по дороге...

Тетка Устинья у печки утирает мокрые руки фартуком, зеленые глаза ее улыбаются.

Постарела она, пожелтела. Постарела и печка большая, просторная: от угла два кирпича отвалились. У трубы под потолком все так же прусаки-тараканы из щели шмыгают. Верстак — у окна, и стол все тут же, и все, все, как было тогда, только пусто на лежанке.

Маринке взгрустнулось.

— Деда нет? А бабушка-то обо мне вспомнила?

Стук в дверь перебил разговор. Вошел дядя Федюха. Высокий, здоровый, черная бородка кажется точно нарочно пришитой. Лицо расплылось глуповатой улыбкой.

— Заявилась... Маринка... ишь, сколько годов...— Покарябал в голове, нашел еще слово: — А рядом наша новая изба. Поди-ка, глянь...

Пришли со двора Захар и Андрей. Повесили картузы рядом на гвозди у двери. Просто поглядели на Маринку, словно она всегда тут и была.

— Живы все там, на заводе? — спросил Захар, степенно одергивая кумачовую рубаху.

Андрей вытер рукавом потное лицо, снял с шеи соломинку, шутливо подмигнул Маринке.

— А работа как идет у отца? Поклон-от прислал?..

Маринка старается быть рассудительной и толковой, побледневшее лицо ее оживилось. Сперва говорит опять про свое больное:

— У нас, дяденька, мотальня сгорела, баб много без работы. Мужики все про войну толковали... которых угнали турку бить... Хлеб стал дорогой, а в конторе все штрафы да вычеты... плохое житье... у всех беднота.

Дядья хмурятся, тетки вздыхают.

На столе груда ржаных толстых лепешек и горшок квашеного молока. Маринка равнодушно жует лепешку, глаза лениво мигают... Усталость одолевает ослабевшее тело. Мягкий голос баюкает.

— Поди, хресинка, в нову избу, выспись, а на завтра руки найдут себе дела.

Маринка проснулась на изразцовой лежанке, долго смотрела и нерешительно спросила:

— Тетенька, ты здешняя, либо чужая?

На Маринку глянули пытливые серые глаза. Рябое лицо засмеялось, похорошело.

— Эва ты, гостья дорогая, еще не знаешь: я тебе тетка довожусь, Ненила, Федорова молодуха. Пятый год приведена в ихнюю семью. А Полечку-то вашу выдали замуж в Дальное, за фабричного. А у нас вишь какое угодье, — кивнула на машинку, — кроны со скальными — ау, на подволоку стащили...

Маринку потянуло к серым глазам, спрыгнула с лежанки, всплеснула руками:

— Милая тетенька, а моя-то машина... Ой-ой... в жисть не забуду, как горела...

Поставила босую ногу на подножку машины и просветлела. — Дай, я помотаю...

Тетка строго ее отстранила:

— Успеешь, сперва умойся, рукомойник на дворе...

Новая изба высунулась вперед, ближе к дороге в прямую слободу, оставляя позади старое строение и десяток избушек с широким лужком перед окнами.

Стоя на высоком крыльце, Маринка загляделась на солнечный лужок. Вон там, у березы, она играла с девчонками в камешки, — здесь, на приступочке, она когда-то сидела с чашкой, ждала молока. А там огород, вот и колодец. А где же дедов шалаш?

— Хресинка-а!.. может, на полдни со мной сходишь?

Маринке невмочь итти так же степенно, как крестной Васене. Ей охота прыгать через зеленые бугорки и бежать-бежать по темной тропинке, по густой пахучей траве, к стаду пестрых коров.

— Хресна, хресна, как хорошо!.. — звенит ее голос. — Там, на фабрике, мало солнца, черно... Скука... Корову доить я научусь, сама буду... А какая она красная, криворогая!

В обед за старым большим столом Маринка сидела рядом с Федором, напротив Ненилы.

Из глиняного блюда запах дразнит. Федор набил рот хлебом и надоедно толкает племянницу:

— Ешь-ешь, будешь свеж, тут коровья требуха с крупой, кишки, печонка, селезенка и еще чего-то бабы наклали... у вас, может, не варят такого хлебова?

С другого бока у Маринки сидит толстенькая пятилетняя Домашка и робко тянет Маринку за фартук:

— Ты, девка, не чузая, пойдем играть в догоняски... Я тоза не чузая...

Смешные слова Домашки сразу приохотили Маринку к ребятам. Полюбили ее за это тетки, и соседки стали хвалить.

— Вот девка-то гожа у Лексеевых... глядико-ся, приехала.

И пошли у Маринки веселые дни. Сначала хлопотливое утро с приветливой Васеной. В полдни торопли-

во идет на пастбище. Крепкие пальцы проворно работают, — молоко брызжет в подойник: узирк... узирк... А там в огороде, около гряд, не мало всякого дела, и все это на свободе, на солнце. И на машине Маринка охотно мотает. Весело с теткой Ненилой. Не спеша рассказывает Ненила для смеху какую-нибудь небылицу или поет заунывную песню. . горазда на это. Вечером игра в «догоняски». А ребят-то — со всего села!.. Полька... Ванька... Яшка... батюшки мои, не сосчитать их!

Прошел по улице Федюха.

Маринка услыхала разговор про него.

Востроглазая соседка Дуняха разливалась насмешкой:

— Федюха, король-то писаный, Ненилин, срядился, гляжу, в нову сибирку, кудри из-под хорошего картуза топырятся... Чисто жених невесту глядеть пошел по слободе... Смеху, родимые, на него... пра, ей-богу...

Бабы задвигались, переглянулись, зашептали.

— Ничто ему, ишь здоровяк... и, гляди, на что женили только?

— Поди-ка, радость кака молодухе... борони бог, несладко...

— Чего там с малоумным?.. Хочь она и непригожая...

До-темна пересыпали бабы чужие дела. Мигнула яркая звездочка. Маринка пошагала в избу.

Проходя по новым сеням, она растерянно остановилась, побледнела. Ненила лежит в углу сеней на своей кровати, лицо уткнула в подушку. Платок с головы сполз на спину, руками вцепилась в волосы. Сквозь рыдания вырываются горькие, едучие слова:

— Батюшки, свет ты мой ясный... доля ты моя, окаянная... куда от дурака денуся... родимые?.. Расступись хоть ночка темная... сокрой ты меня бесталанную...

Никогда еще Маринке не доводилось видеть такого бабьего горя, и не было у ней силы подойти к тетке, и не было таких ласковых слов ее утешить. Глотнула слезы, тихо ушла в избу. Постояла около машинки, вытряхнула из мешка большие мотки крас-

ной бумаги, разобрала их на делянки — мотать не хотелось. Мало времени прошло с тех пор, как она здесь, а уже почуяла то же знакомое бабье горе, что и там, в каморках. Но почему Ненила так убивается?.. Ласкаясь к тетке, стала терпеливо ждать, когда Ненила разговорится. Ждать пришлось недолго.

Федор вывел из калитки сивую лошадь, накинул ей на голову узду, повел в ночное. Следом за ним вышла Ненила, села рядом с Маринкой — строгая и складная. На чисто вымытом лице выгнулись густые брови, красивые серые глаза смотрели спокойно.

«А тетка совсем не плохая», — подумала Маринка и шутливо заговорила:

— Расскажи, тетенька, как ты выходила замуж...

У Ненилы глаза погрустнели.

— Дурынка ты больно, Марька, какую веселость захотела знать.

Ненила вздохнула, задушевно и просто заговорила.

— Ну, слушай, вот: нас три сестры. Я старшая, да, вишь, рябая, дурная, парни воротили рыло, не сватали. За вдовых мужиков и старых бобылей я не шла. Да и совсем не вязалась выходить замуж, а вторая сестра годами подпирала. На лицо и остовом она складная, от женихов отбою не было. С одним гуляла, хоть завтра к венцу, а замуж ее отдавать — я мешала. В обычае нету переступать через старшую сестру, да и грех большой. Сестра меня клянет: дорогу ей загородила. Отец меня ругает: «Не стряхнешь, — говорит, — урода с шеи». Мать богу молится, судьбу мне хорошую вымаливает и поедом ест, что я замуж нейду: третья, вишь, девка ростом догоняет нас обеих — останутся из-за меня вековухами. На всю волость слава; девки, вишь, бракованные, не берут замуж, покор отцу-матери... Девка сколь ни работает, а все она в тягость.

Маринка, смущенная, глядит на тетку. Рябое лицо Ненилы сморщилось от внутренней боли, щеки подергиваются. Словно сама себе, тихо продолжает она:

— Был в ту пору слух — лекаря заморские воспу излечивают. Ну, только, вишь, говорили, печать они антихристову вырезают на руке, и люди хоронились от лекарей. Мне по десятому году было, как воспой я изгадилась. Обревелась я, когда за твово дядю Федора

шла, а пошла, чтобы сестрам не мешать, и пуще не хотелось терпеть дома попреки за кусок. За знатье было, — дурковатый, думали, за дураком жить лучше, чем за пьяницей, а с ним ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди. И хуже нет, — в семье чужая: хошь убейся в работе — не замечают.

Ненила замолчала и жалеюще поглядела на Маринку:

— Как-то тебе доведется? Старшая сестра у тебя, вишь, хворая.

Маринка глотнула комом подступившую горечь, подвинулась ближе и живо сказала:

— Я, тетенька, и замуж-то не пойду.

Ненила подумала, посмотрела на небо, сказала, как всегда, спокойно:

— Полно молоть-то, глупая! Придет время, слюбишься с каким, — другое запоешь...

Дни бежали своим чередом, ровные, спокойные. На приволье, на свежем воздухе и сытых деревенских харчах Маринка выровнялась румяной, круглолицей, улыбистой девкой. Русые волосы, с завитком на широком лбу, причесанные на прямой пробор, стянуты в косу до пояса. С лица пропала прежняя скрытность. Глаза стали простые и ясные.

В один памятный день Ненила ушла с намотанными катушками к заглоде в Гремухино за пять верст. Машинка стояла с пустыми барашками. На Маринку напала скука, в голову лезли какие-то нудные мысли, чего-то хотелось, а чего — и сама не знала. Села у бокового открытого окна. Перед окном поле и широкая дорога. У канавы ребятишки возились с собакой. От кузницы два мужика повели каждый свою лошадь.

«Знать, подковали», — подумала Маринка.

Позади мужиков шли два парня, оба, что цыгане, черные. Парень, с длинной железиной в руке, издали блеснул белками и остановил на Маринке такие же, как и он сам, черные глаза. Маринка равнодушно на него посмотрела и отвернулась. На другой день утром она выглянула в окно как раз в то же время, — куз-

нецы шли на работу, — и тот же парень на нее оглянулся. Маринке это полюбилось.

Вечером захотелось узнать, блеснут ли его глаза опять на окно, стала стеречь, спрятавшись за косяк. Глаза блеснули, и Маринке стало смешно, какой он черный.

И так раз за разом заметила она, кузнецы ходят на работу и обратно домой в одно время. Каждый раз, поровнявшись с окнами, парень улыбается, показывая ровные зубы.

Иногда Маринка оставляла свое дело или нарочно, ради шутки, смотрела в окно. Он также смотрел, и Маринке казалось, что глаза у него необычно хорошие, ласковые... Незаметно для себя самой, целый день о них думала, и ей было весело. «Где он живет, как его зовут?..» — приходило на ум, и сейчас же с языка срывалось:

— Не все ли равно?..

Наблюдать парня вошло у ней в привычку, захотелось его увидеть вблизи. Но он как-то вдруг перестал ходить. Маринка заскучала.

Был праздник. Утро ясное, солнечное. В церкви служба у бокового престола. Девки с бабами стоят густой толпой. Между поклонов поглядывают одна на другую — в чем сряжены? Поворачивают голову на другую сторону, где стоят мужики, ищут глазами парней-женихов.

Маринка — в своем новом сатиновом сарафане, рукава белой миткальной рубашки дуются пузырями. Стоит она с Домашкой и Танькой впереди, близ клироса. Набожно крестится, шепчет молитву, изредка наклоняется к балующимся девчонкам, кивает на образа:

— Вот бог-то... посадит вас, баловниц, в огонь... за язык.

На клиросе с десяток деревенских певчих за гнусавым дьячком поют громко и разноголосо:

«Иже херуви-мы... херуви-мы...»

Дьячок потянулся к подсвечнику. Из рук его молитвослов глухо шлепнулся на пол. Маринка вздрогнула, оглянулась на певчих и — глазами встретилась с тем парнем. Вспыхнула, горячая краска залила щеки

и шею до самой косы. Сердце громко, испуганно застучало. Слова молитвы вылетели из головы.

В окно сбоку солнечный луч зацепил Маринкину голову, протянулся по народу золотым столбом к другому окну. И ей весело оттого, что день такой светлый и что он смотрит на ее косу, на алую ленту: ей слышался, из всех голосов певчих, его мягкий басовитый голос.

Дьякон трескуче возгласил с амвона:

— Преклоните главу, во-онме-ем...

Все, как трава от ветра, нагнулись, а Маринка стоит столбом, не смеет шелохнуться, спугнуть неведомую радость.

— Митька... про эту ты говорил?..

Маринка обернулась на голос и увидела, узнала того, кого звали Митькой. Это он ходит мимо окон. До дому шла молча, рассеянно, ничего не думала. Перед глазами стояло лицо Митьки. Немного продолговатое, но какое-то темное, загорелое, с пухлыми губами, большим ртом и складным крупным носом. Брови черны, как деготь, и такие же черные волосы свисают на лоб.

«Дурной, совсем дурной... теперь ни разу не взгляну, к окну не подойду...» — несчетное число раз твердит себе Маринка. «Дурной...» Но вот глаза-то... Таких ни у кого нет... От них сердце токает, щеки горят, и страшно, и радостно, и думать охота. О чем? Да обо всем: о ясном солнце, о радости, о счастье...

Иногда Маринку тянуло на дорогу, на гулянье, — встретиться с ним. Да не с кем было итти. Пристать к чужим девкам, незнакомым, боязно: не примут, высмеют. А время шло да шло. Подошла зима...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОТЕЦ

Петр с утра на втором этаже ткацкой возится с поломанным станком. Молоток, клещи, гайки на полу в беспорядке. В корпусе, вдоль и поперек, станки, шум и стук машин, шелест ремней. Люди непрерывно тянут ткацкую раму взад и вперед. Крутятся основы, бегают челноки.

Черноволосая ткачиха с мелкими морщинками у глаз безнадежно опустила руки, глядит на сбитый к затылку картуз Петра, на его вспотевший лоб и на свой скрипучий станок, который стоит другой день. Сердце у нее изныло, в уме высчитывает, сколько недовыработала и сколько будет вычету за прогул. Неловко подошла ближе к Петру, руку кладет ему на плечо, кричит на ухо:

— Сделай милость, Лексеич, учини его, холеру, как следует... на могорыч полштофа куплю.

Петр осмотрел раму шестеренки, поднял с полу молоток, постучал, подвинтил каретку челнока, клещи и гайки положил в карман и прокричал ткачихе тоже на ухо:

— Становись, работай!.. Не чинить бы его, а к чорту на свалку... в лом...

Перед шабашом вошел высокий, с бритым подбородком, смотритель Карл Францевич. Подошел к Петру, говорит голосом твердым:

— Ты карош работа, Петра... чертежи...

Лицо Петра засветилось самодовольством, он почтительно снял картуз.

— Видели, Карл Францевич? А насчет ключика-то опять соблаговолите...

Немец приветливо шевельнул светлыми усами, порылся в кармане пиджака:

— Утром та будет на места... карош... — подал дверной ключ Петру, еще кивнул — и скрылся.

Кабинет смотрителя — вроде маленькой конторы. Два тяжелых стула с высокими спинками. Широкий стол. На краю стола счеты с мелкими желтыми костяшками на красной проволоке, рядом широкая линейка, чертежный угольник, баночка с какой-то краской, письменный прибор.

У Петра глаза устремлены на большой лист белой толстой бумаги. В руке циркуль с тонким карандашом, Петр чертит им круги. Дюймами отмеряет, отмечает, где нужно. Сидит час, сидит и три, забыл про сон. Занялся Петр этим делом случайно. Увидал раз, как механик делает с машины чертеж, перенял, сам тоже начертил с машины, показал Шмидту. Тот одобрил. С этого и пошло.

Теперь Петр выдумал какую-то машину. Для нее и готовит чертеж. Пропадает он ночами и дело это держит в секрете. Даже Никифору никогда не обмолвился. «Разболтает спьяна, пойдут пересуды, дойдет до хозяина, — чорт знает, что выйдет», — думал Петр.

По окончании чертежей долго советовался с Карлом Францевичем, как их довести до дела.

— Можно Москва... Петра... Там смотреть надо... Карош нет... Мой ехать Москва надо... Взять чертежи твои... — уговорил немец, уважавший Петра за его охоту постигнуть всякое дело.

Петр домой пришел угрюмый. Дома никого не было. И ему хотелось еще раз посмотреть чертежи без помехи. Разложил их на кровати, стал пристально рассматривать. По привычке, вынул из кармана неизменный для слесаря складной фут. Руки его дрожали. Мысли ушли на фабрику, где бы могла стоять его будущая машина. Раздумывая об этом, он вдруг вспомнил о пустой каморке рядом. На другой день пошел к директору. Держа картуз в руках, рассказал о своей многосемейности и тесноте.

— Уж, будьте добры, Яков Савельич, прикажите занять рядом каморку, другую неделю пустует...

Директор посмотрел на него, большого, плечистого, и равнодушно сказал:

— Порядка, что ли, ты не знаешь, приятель? У всех по одной каморке, а тебе другую дать. Как же это?

— Да как же, Яков Савельич, дети большие, и к тому же вы сами понимаете...

Твердый взгляд Петра и простые слова пришлись по нраву директору. Через день в коридор пришел хожалый. Спесиво поглядывая на любопытных баб, отпер пустую каморку, а замок отдал Марье.

От неожиданности Марья испуганно выпучила глаза. Когда ушел хожалый, она перекрестилась: «Господи Исусе, в час бы добрый», — остановила проходившую соседку и похвасталась: «Простор нам дают, гляди-кося, милая, как люди о нас понимают...»

К вечеру она перетащила в каморку свою кровать. Больше Петр не велел ничего натаскивать и строго наказал держать язык за зубами. На этой же неделе

он принес из столярной в новую каморку небольшие строганные и склеенные штуки. И так в утайку стал носить каждый вечер.

В праздник, лишь только темнело, Петр запирался в каморку. Окна наглухо занавешивал шалью. Эта необычная занавеска наводила кое-кого на примету. Один раз Аненка загулялась дотемна. Проходя мимо своих окон, увидела, — от занавешенного окна отскочил старик Мелентий, по прозвищу «Иудушка». Аненка сказала про это отцу. Петр подумал, помотал головой:

— Ну, чорт с ним, старым хрычом! Чорт не выдаст, Иудушка, авось, не съест...

Дело с машиной у Петра шло на лад. Ходил веселый. На фабрике, смеясь, рассказывал немцу о своей удаче...

— Завертится, то-то обрадую хозяина: получай, мол, да знай наших.

Как-то невзначай Маринка зашла к нему в каморку и увидела — лампа висит не как обычно на стене, а на середине потолка, над головой отца, сидевшего у чудной машины с железным колесом, ящиками и крылышками. Шопотом спросила:

— На что тебе, тятенька, такая штука?

Петр, почесывая бороду, напустил на себя важность:

— Это не штука, а модель для большой машины... Только зря не болтай до поры...

А Марья не утерпела, успела разболтать за рюмочкой куме Иванихе:

— Машину мой-то делает, да ведь какую! Чтобы не паром, не водой работала... Вот ей богу: не паром, не водой. Сам сказывал. Такой машины еще не было. Я тебе по тайности сказываю, кумушка, а ты уж, гляди, чтобы никому.

Случилось в один праздник Петру с Марьей уйти в деревню Лаптевку. Мелентий, словно караулил их, только увидел, как пошли, живо подтянулся к окну и все своими глазами увидел. Подхватив полы ватного стариковского халата, зашлепал к хозяйскому дому. Хозяин Морозов, не забывший еще мужиковских привычек, по-простому, в кафтане ходил с подряд-

чиками по двору, останавливаясь поговорить с рабочими, да отругать кого надо. Мелентий указал на казарму, где жил Петр. Хозяин знал, в чем дело, подозвал сторожа: «Открой-ка, брат, то оконце». За углом мужики и бабы посмеивались над хозяином: сам не поленился заглянуть в каморку.

— Эко народ-баловник чем занимается!.. Ну-ка, слазай, сторож, сломай, что там есть...

Ничего не подозревая, Петр шел домой навеселе. Дорогой повстречался знакомый ткач и шутливо крикнул ему:

— Петр Алексеевич, к тебе хозяин в гости приходил. Честь делает хорошим слесарям, право!

На его шутку Петр махнул рукой и тоже пошутил:

— Ни фига, что был... Мы, братец, сами хозяева.

Еще в дверях своей каморки Петр увидел разруху и остолбенел.

Всю ночь валил мягкими хлопьями снег. Заровняло ямы, канавы, ко дворам пешеходные тропки, и куда ни глянь — все ослепительно бело: и поля, и крыши. Будто белые цветы, снег клочьями повис на ветках. На задворках стога сена покрылись белыми пуховыми шапками. От снежной свежести бодро и весело.

Маринка, в нанковой синей кацавейке, отбрасывает от калитки рыхлый снег. На раскрасневшемся лице тают снежинки. Она морщит мокрый нос, то и дело утирает рукавом и задумчиво поглядывает на дорогу.

Санные обозы легко ползут по укатанному следу.

Запорошенные снегом два воза с домашним обиходом свернули с дороги, едут прямо к избам.

Вглядывается Маринка и глазам не верит. Будто от какой беды упало сердце. Около воза идет отец в нагольной овчинной шубе, с ним рядом, помахивая кнутом, шагает чужой мужик. На возу сидит мать... На другом, на узлах и постелях, — Аненка и братишки...

Потирая еще холодные руки, Петр обвел глубоким взглядом избу, братьев и огорченно сказал:

— Крепился-крепился, ребята, не выдержал, махнул рукой на собачью фабричную жизнь. Свое время отработаешь с шести утра до семи вечера, опять гонят: то станки починить, то в паровой поправка. Дело дошло, захворал и не вышел на работу два дня, так насел мастер: «Пьянствовал ты», — говорит. Никакой веры нет. Записал прогул — неделю. А тут донесли хозяину: чертежом занимаюсь, машину зачал строить, в слесарной, вишь, бунтую, ну, и подвели под расчет. Слесарями прямо кидаются.

Маринка смотрит на отца непонимающими глазами: за какие чертежи он провинился, что это такое?.. Смотрит с сожалением на материно худое, бледное лицо. Сквозь слезы Марья говорит:

— Чего уж тут, харчей в лабазе путных нет... то гнилые, либо тухлые... Сваришь говядину — в чашке целая горсть червяков белых, каки уже это щи!.. Ребятишки — хилые, ни кровинушки, только и делов у них: озорство да табак. Избаловались. Разве это житье?.. Вот и надумали здесь пожить.

Андрей слушает и теребит бороду. Захар поковырял ногтем заплатку на коленке, качнул головой:

— Да, брат, дела... Семейство-то больно велико у нас, робятами полна изба... Не удумаешь, как тут...

Устинья сразу дело решила и отгородилась от новой семьи.

— Дыть что насильно-то удумывать? И невестке Марье горевать зря нечего. Поживут пока в особенку от нас, подыщут фатеру, либо какой домишко заколоченный подойдет... И в деревне люди живут.

Заколоченную избу скоро нашли на другом конце села, в широкой слободе, задворками к лесу. Изба в три окна, старая, без двора. Ступеньки из сеней вместо крыльца выходят в шалаш, крытый еловым хворостом.

Для Маринки началась скучная и тесная жизнь. Она заметно изменилась. На глазах легла непривычная забота. Около «хрестинки» научилась делать все аккуратно и чисто. С особым старанием охорашивала избу. Через день мыла, скребла пол. У косого зер-

кальца натыкала сушеных цветов, «желтых шапок». На подоконниках протянула тряпочки, повесила шкалики из-под вина, чтобы в них по тряпочкам стекала вода со стекол. В избе чисто и приглядно.

Спала Маринка на полу под самыми окнами. Часто продувала на мерзлом стекле проталинку; закрывала глаза, — и ей виделась кузница. Сердце начинало ёкать, мысли манили на Большедорожный тихий конец.

По утрам Маринка вставала вслед за Аненкой, чуть не со «вторых петухов». Аненка оказалась на работу жадная. Брала шить, что принесут, даже старье, за которое и цена-то пятачок.

Марья гремит дровами, горшками, к завтраку варит гречневую кашицу — «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой», в кашицу для духу кладет сушеный черный гриб, а то ложку постного масла. Харчи у Марьи были плохие. Кроме воскресенья, все дни оказывались постными пятницами.

За ночь в избе выдуло, в углах у половиц снежные «зайцы». Холодно. Марья, не выспавшись, деревянным голосом ворчит:

— Не больно, распускай лампу, до свету долго. Финогену сгорит бознать сколько...

На слободе слышно, как гудит небольшая паровая машина у Чубаркина на челночной фабрике. Покряхтывая, бегут на работу опоздавшие челночники.

Маринка зашла на крыльцо, посмотрела на задворку, — через огород одинокий след к изгороди. Там, прижавшись к сугробу, темнела сараюшка. На крыше из трубы, немного больше самоварной, курился слабый дымок.

В этой сараюшке Петр сам сделал окно, поставил горн, из старых досок смастерил верстак. В этой мастерской делает Петр для челноков спринки, пружинки для хозяйчиков. Изо дня в день Петр одиноко стучит молотком. В ушах стоит шум большой фабрики, напевы машин.

Подавленный думами, он не слыхал, как вошла Маринка. Валенки заснежены, в глазах мелькают веселые огоньки, от бега она тяжело дышит.

— Тятенька, обедать иди-и!.. Холодно у тебя, угарно... ты, чай, озяб.

Дождался Петр, когда Маринка ушла из мастерской, пошел не домой, а вдоль изгороди, к большой дороге, в ближайший кабак. Туда шел он каждый раз, как его одолевали грустные думы.

В кабаке у стойки топтался возчик в овчинном тулупе, два загулявших челночника и знакомый Петру маленький рябой мужичок, по прозванью «Гвоздок», хороший мастер-токарь.

— Я те по душам скажу, приятель, — повернулся к Петру Гвоздок, — отчего мы гуляем... На зло хозяевам. Вот причина... За получкой уж, как ни мало, и то кланяйся, будто нищий за ради Христа, по частям. Как это сладко нам, приятель, а? Ты тоже мастеровой человек...

Петр слушал, хмурил брови и вразумительно ответил:

— Силов у нас нет... вот что, братцы... серые мы, ну, и того... на нашей шее.... — Допил из косушки; захмелевший, вышел на улицу.

От снежной яркой белизны на него пахнуло волей, простором, и он без удержу бормочет:

— Ч-чорт с ними и с хозяевами... проживем... шею гнуть толстосумам... скорей сами без Петра подохнете... с-сукины сыны.

Иногда Петру давали заказы с больших фабрик, за работу получал он порядочно. Оживал он духом. Заломив картуз, ходил, прямой и высокий, засунув руки в карманы пиджака, и становился на вид таким, каким был раньше — фабричным слесарем. Покупал новые напильники, хорошие тиски. Завел свой точильный станок.

В такие дни Маринка забывала все невзгоды. Веселая, спешит она увидеть «хрестинку» и все семейство. К ним ее всегда тянет. Солнце там будто ярче

светит, и Маринка с девчонками летает вперегонки; ее подмывает бежать ближе к кузницам, и смеется она веселым смехом.

Марья тоже довольна, с Петром ласкова. Завела для дому кадушки, кринки, хвасталась сестре Химе:

— Коровушку собираюсь купить.

Петр, смеясь, наказывал:

— Ты, Машка, пирогов больше пеки да вари говядину жирную: кишки в брюхе помаслить, чтобы не ссохлись.

Но так было редко. Петра заедала тоска. Его тянуло в большую слесарню, к шумливому говору рабочего люда. Но искать место, стоять у фабричных ворот, кланяться, просить, — мешало самолюбие. И он чаще и чаще искал утешения в ближайшем кабаке, за полштофом сивухи, в компании с новыми приятелями — челночниками и токарем Гвоздком. Петр, крупный, плечистый, говорил им о дружной работе на большой фабрике, о своих делах. Приятели кивали, моргали, поддакивали. Рыжий целовальник, пересчитывая вырученные гроши, полушки, переводил алтыны на пятаки, думал:

«Мало ли о чем пьяная мастеровщина болтает! Дело не мое, знать не знаю...»

Как-то раз Петр встретился в трактире с хозяйчиком Чубаркиным. У хозяйчика колючие глазки, улыбочка медовая, сидит вдвоем с благообразным заглодой. На столике порожний полштоф. Завидя Петра, Чубаркин оскалился насмешкой:

— А, наше вам почтение, механику... А моей фабрике надо хорошего мастера. Шесть гривен дам, а, идет?..

Петр бросил на него сердитый взгляд, отвернулся.

— Иди к чорту и с фабрикой-то!

— Хо-хо... — опять пьяно засмеялся Чубаркин, — без нас не обойтись...

Не хотелось Петру кланяться малому хозяйчику, а пришлось все-таки. На больших фабриках пошла полоса затишья, надо было Мишку определять в чужие люди. Марья сама ходила просить.

— И куда нам таких? Чай, и работать не умеет... — ломался перед ней Чубаркин.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТАК БЫЛО

Мясоед в эту зиму выдался долгий — восемь недель. В селе справляют свадьбу за свадьбой.

В ту пору женили и выходили замуж все по родительской воле, как им приглянется и как выгодно было, со сватами да со свахаю. Сватаньем занимались люди ловкие да речистые, до могорыча охочие. Еще задолго до святок в каждой семье, у кого парень подошел годами, матери с отцами, дедушки-бабушки, женатые братья, замужние сестры всей семьей держат совет: этим ли мясоедом женить парня или до «Красной горки» погодить, и к кому засылать сватов? Разбирали девок-невест, чтобы была красивая да складная, работящая да смирная. Да чтобы взять невесту из хорошей, согласной семьи. Чтобы было не бесчестно породниться, было бы куда в гости въехать, молодому зятю погостить. Да чтобы приданого — одежи-платьев — взять побольше. Чтобы молодой жене было в чем на люди выйти...

Там, где невеста поспела на выданье, чтобы не засиделась в девках, родители ее судьбу поручают свахе. Сваха ходит из семьи в семью, где есть женихи, нахваливает невесту и ее приданое.

А в семье, где девка, как ждали женихов... Чтобы сваты не застали врасплох, не подумали о бедности, запасали вино и закуску, чай, сахар.

В избе наводили необычную чистоту и порядок. У зеркала вешали самое хорошее полотенце:

— У нас вот-де какое... да не последнее...

Девки-невесты в иное время сидят в избе за работой в худом сарафане, босые, часто, за недосугом, с нечесаной косой. В мясоед на всякий случай принаряжены. То и дело с любопытством и тревогой заглядывают через стекла на улицу: не идет ли кто безо время? И редкий день пройдет, чтобы не увидали сваху в праздничной шали, либо свата, подпоясанного цветным кушаком.

Невестина семья принимает всех сватов: от богатых и бедных женихов. Так уж заведено: плохой же-

них сватает — хорошему дорогу кажет. Чем больше женихов, тем больше девке чести. А за которого жениха отдать, — семья решит, обсудив его и по дому и по родне.

Бывает, что плачет девка: не по мысли жених. Не смотрят на слезы свахи и сваты, дело делают, с новой родней по рукам бьют, невесту утешают:

— Стерпится — слюбится. Поревешь — такая же станешь.

Жизнь Маринкина пошла полная тревог и мечтанья. Ночью думы не давали ей спать, волновали грудь необычным. Днем девичьи мечты подавлял невеселый домашний быт. В глаза бросались плохонькие занавески у окон, прорехи на линючих обоях, сгорбленная, насупленная мать, озабоченная походка отца.

В праздник у Маринки затаенные ожидания и редкие встречи с Митькой. Гулять по дороге она стыдилась, одежина плоха, да еще была причина — мясника сын, курносый Афонька, на досаду Маринки, стал к ней липнуть репьем, мешал гулять с Митькой.

Уходила домой, садилась под окном на лавочку, слушала бабье каляканье.

— Мы, бывалоча, из подворотни глядели на парней, не смели слова молвить, — говорит Матрена, женщина с пустыми глазами и морщинистым лицом. — Меня привели к мужу Якиму, — шестнадцати годов не было.

— Помалкивай, Матренушка, боле... — махнула на нее Сысоиха, — такого-то гневливого, как твой хозяин, поискать... Всем ведомо про твое житье: разе печкой только не бил... И пошло это, родимы бабы, нам с порани хомут надевали замуж-то... Разе горюшко пить?..

Матрена переступает с ноги на ногу, опять вмешивается:

— Дуры мы, знать, больно... нони девки-то у-ух каки стали; до двадцати годов гуляют невестами... А недоростки-то, глянешь, еще удалее...

Маринка слушает и краснеет. Марья тут же сидит,

разговор принимает за навет на своих девок. Утаивая Аненкины годы, начинает горячо доказывать:

— Ты, Матрена, заковыками не бай, моей Аненке можно гулять: только семнадцатый год пошел. Сейчас умереть, с Анны пророчицы семнадцатый.

Бабы брались высчитывать от разных событий. Сысоиха загибает пальцы, считает, сколько годов живут Юхины соседи в новой избе после пожара, когда Марью привели в венце в чужую семью. Кокина старуха выпростала из пазухи полушубка руку, считает, какого теленка принесла тогда их корова, которую в ту пору волк задрал. А Хима — скольких годов помер Марфин Еграшка, что родился вместе с Аненкой.

И по верному бабьему сгаду выходило, что Аненке перевалило за двадцать годов. Как раз будет остарком, женихи станут брезговать старой невестой. Марья и сама про это хорошо знала, оттого и прибирала к своим рукам деньги за шитье, и прижимала в харчах, в домашних расходах, и у пьяного Петра обшаривала карманы. Старательно собирала она приданое, клала в сундук то одно, то другое. Хотелось во что бы то ни стало выдать Аненку нынешней зимой замуж.

Протрезвившись, Петр высчитывал, сколько ему надо на железо, на угли, на свет.. денег не хватало. Тряс пустые карманы, поднималась брань:

— Все одно пропьешь, .. — кричала Марья, — а девок рядить надо... Кто их возьмет голых?.. Большая без покрова сидит, а Маринка-то пялится, того и гляди, жених намыкнется.

Хлопотала, заботилась Марья, а дело делалось не как хотелось.

В одно морозное, солнечное утро Маринка подметала пол. Аненка возилась с нитками. Пришла Марфа, сестра Марьи. Покряхтывая от холода, поставила на стол горшок молока.

— Принесла вам к чайку... Нони Устретенье, зима с летом встренулась. Солнце пойдет на лето, зима на мороз... — Участливо поглядела на Аненку. — Ой, девки, и не надо бы баять-то: плохую я вам весть принесла... Тебя-то, Аненка, гляди-ка, нейдут сватать за парня, с которым гуляешь. За дорогой на том конце невесту глядели... Сама вечор шла оттуда, видела.

У Маринки от неожиданности выпал веник из рук. Хотела что-то сказать, поперхнулась. Всегда бледная Аненка на слова тетки густо покраснела... Должно быть, она и раньше об этом догадывалась, да не верилось. Посмотрела на тетку: правду ли баит? Без слов поняла Аненка, что правду. На лице застыла горькая усмешка. Темный платочек ниже нахмурила на лоб:

— Не судьба, знать, Аненке... — дрогнул голос у Марьи.

Марфа сурово поглядела на сестру.

— Судьба не по лесу ходит, а по людям... люди бают: каков сучок, таково и яблочко. Может, Аненка ни в мать ни в отца, а люди обегают... Путем надо жить: вот тебе мой сказ...

После тетки Маринка весь день ходила как будто в воду опущенная. Болело сердце за Аненку.

Вечером примостилась с шитьем за перегородкой у столика. Тут и теплее, и свет никому не мешал. Все уснули крепким первым сном. Проворно клала Маринка стежок за стежком. На стене качался круглой медяшкой маятник часов. Оттеняя тишину, он скрипучим тиканьем наводил тоску. Марина беспокойно думает обо всем, а больше про Митьку: дом у них хороший, под железо и в четыре окна. У дяди его родного лавка, где продается всякая всячина. Старший брат взял жену с большим приданым. «А у меня?» На сердце дунул студеный сквозняк... «Не пара я ему... — прикидывает мыслями Маринка, — ни одежи, ни сряды. Вот это... — тряхнула в руках шитво, — только и будет хорошее платье, окрашенное из материна венчального». И слезы обиды упали из глаз Маринки на шерстяную бордовую оборку. В окно заглянула дородной молодухой круглоликая луна. Словно хотела порадовать чем, ласково кинула через верхнее стекло светлой полосой подсиненный рушник на стену. В тишине улицы издалека слышны по хрусткому снегу запоздалые шаги... прошли стороной, мимо, в конец. Опять тишина. Под окно кто-то подкрался. Постоял. Царапает стекло. У Маринки ёкнуло сердце. Продула ледок на стекле и сама себе не верит: Митька, шапка на затылке, сам улыбается, зубы бе-

леют, что снег. Глазами манит ее. Тихо, чтобы не скрипнули половицы, как была раздетая, вышла, стоит перед ним. Лунный свет серебрит сарафан, русую косу. На сердце тепло и светло.

Митька ласково обнял, заглядывает в карие глаза, целует в теплую щеку, в губы, любовно шепчет:

— Маринушка, любая... Голубушка, Марина...

Морозное небо будто раздвинулось. Звезды брызжут золотыми искрами... Нет, это не на небе... У Маринки в груди слабая искра вспыхнула жарким костром.

— Митька, любый... хороший... ладный...

Гладит его волосы ясные. Поцелуи жаркие, сладкие...

Скованная морозом спит слобода. Покрытая инеем, не шелохнется верба на прогоне. Напротив, у Химина двора, скрипнуло... кажется смотрит кто-то сквозь щель. И опять тихо... тихо... Полная луна светит, как днем; в прищурку завистливо улыбается на Маринку и Митьку. Жарко Маринке, щеки пылают. Не солнце ли греет, не весна ли с желтым цветом одуванчиком пришла? Не голубые ли колокольцы вызванивают: «Маринушка, любая, голубушка... Марина?..»

Шаги по сеням. Крякнул отец, идет по своей «нужде». Митька спрятался за угол. И снова тихо на улице...

Оттрезвонили, отгудели колокола семь дней пасхи. Вот и «Красная горка», Фомино воскресенье... Повенчали Настю с Кузькой, и других девок замуж выдали. Видела Маринка, как их в венцах по селу провели. Полная сладкой думой о Митьке, смотрит она на всех веселыми глазами, и кажется ей: во всем свете люди счастливые. И живет Маринка своей особой, радостной весной. Зеленеют лужки, щебечут пичужки. На задворке лес будто ей поет веселую песню. Для нее и лес и цветы — светлая радость.

— Здорова живешь, невестка! Вишь, в гости к вам надумала...

«Неужели моя судьба за Митькой быть?.. — трепетали ее мысли, будто листочки на яблоне. — Какая

же я невеста? Где у меня сряда-приданое? Восподи, да нам же и не надо ничего!..— Ты мне люб, Митька...— сказала вслух, и сама себя даже устыдилась.— Чтой-то я, батюшки? Ведь про это никому-никому нельзя говорить, даже виду не надо подавать... неровен час, сглазят еще...»

И Маринка берегла свою любовь, сердечную засуху, чтобы никто не знал, не сказал бы, что она вешается парню на шею, ежели к ней подойдет Митька. Она не ходит гулять с девками, а играет с девчонками в горелки. Ловит с ними жуков, и шибче всех звенит ее жизнерадостный смех.

Слобода наливается синевой вечера. Все улеглись спать в сенях. Аненка легла в чулане. В избе одна Маринка, задумчиво сидит у окна. Из проулка выскочил рыжий теленок. Испуганно шарахнулся от собаки, задравши хвост, разбежался к калитке, стукнулся лбом. Маринка рассмеялась. Девчонка Акулька бросила хворостинку, улыбнулась ей:

— Гуляешь, Маруня... спать пора...

Маринка проводила ее долгим взглядом, подумала:

«Не знает, дурочка, зачем я сижу...»

Вот, кряхтя и охая, по дорожке прошмыгнула кривоногая старуха Лукашина. Вслед за ней идут двое, один свернул в сторону, другой, Митька, подошел к окну.

— Пришел, мне так и чуялось...— негромко говорит Маринка и видит: Митька необычно веселый, глаза моргают, будто со сна, и берет он ее руку через окно, тянет к себе.

— Это я нарочно напился... Ну, чтобы смелее... Велю присылать к тебе сватов... Марина, голубушка, пойдешь за меня?— тихо и расслабленно шепчет он, заглядывая в потускневшие глаза Маринки.

Она сердито нахмурилась, спокойно и равнодушно говорит:

— Не люблю я пьяных, и, Митька любый, я никогда не пойду замуж за того, кто вино пьет. И за тебя пьяного не пойду...— сказала решительно, но голос дрогнул, и сникла.

— Эх, Маринка, любушка, не буду пить, вот ей-бо... святой хрест — не буду... Ну, пойдешь за ме-

ня?.. Ну, говори... У нас дом просторный... и мать у нас смирная... Большой брат за меня всегда встает... и мы, любушка, так же из церкви пойдем в венцах...— шепчет Митька, заглядывая в глаза ее, похожие на орехи, и тихонько снимает у ней с пальца колечко с красным глазком.

— Я люблю, Митька, убирать в доме, мыть полы, чтобы чисто было. Люблю и корову доить. И тебя, Митька, люблю... больно люблю...

И Митька целует ее раз и два... и оба, счастливые, радостные и молодые, как весна, забыли о том, самом важном, без чего девке не войти в чужую семью.

В избе нестерпимая жара. Сытые мухи лениво жужжат под потолком. На столе кипит самовар. Вокруг вся семья — целая застолица. Марья подала Петру чашку чая, сердито покивала на Серегу с Ванькой, ругнула Мишку. Аненке жалостливо сказала:

— Что мало пьешь? Давай налью еще чашечку...

С улицы зазвенел голос девчонки:

— Тетка Марья... к вам кто-то едет... глянь...

— Кто бы это такое?..— заглянула ближе всех сидевшая к окну Маринка и изумилась. Две сытые лошади повернули к ним. С возов разом спрыгнули небольшой сухонький старичок в широком картузе и невысокая толстая баба с круглым лицом, красным от жары. Оглянувшись вокруг себя, она певуче распорядилась:

— Сюда, к лавочке подведи лошадей, Яким Афанасьич! Нас из окон видно будет.

Маринка засмотрелась на незнакомую, вытиравшую о траву запыленные полусапожки. И только тогда заметила сидевшего на возу молодого парня, когда баба его позвала:

— Пойдем, Мокеюшка, в избу, отец один управит лошадей.

В избе же, как только они подъехали, Марья испуганно охнула:

— Батюшки... да ведь это Улита, двоюродная сестра! Уж не с женихом ли, про которого говорила?.. Аненка, ты бы принарядилась маненько... платок-то

хошь скинь..., Батюшки, как невзначай-то!.. Серега, беги живее в лавочку за баранками!.. — тормошилась Марья, прихорашивая на столе.

— Не взыщите, Петр Лексеич и Маша, что мы так недуманно, по-родному невесту у вас завернули поглядеть. Уж я говорю прямо, чтоб хорошо все было, по-хорошему... — ласково пела вошедшая Улита, усаживаясь на стул, и глазами улыбнулась на Маринку.

Петр от неожиданности замялся, крякает, с трудом подыскивая складные слова, неловко говорит:

— Милости просим... что ж, к нам всегда можно...

Марья старалась приветливо улыбаться: приглашает парня в сибирке.

— Сюда вот сядь... сюда, поближе... — фартуком обмахнула для него стул против Аненки. Улита одобрительно кивнула ему головой:

— Садись, Мокей Якимыч, да будь веселее, знаешь, за чем приехал...

Мокей сел, сдерживая задорную улыбку, и стал смотреть не на Аненку, а на Маринку.

Маринка сидит боком к окну, ровная, спокойная. Разрумянившись, допивает с блюдечка чай, доказывая этим: меня, мол, ваше дело не касается, и равнодушно глядит на дверь.

У порога раздалось стариковское: «Кхе-кхе»... Отец Мокея, держа в одной руке картуз и красный кушак, размашисто перекрестился и по обычаю поклонился всем в пояс; быстрыми серенькими глазами оглядел сидевших, и на привет Марьи: — Пожалуйте, Яким Афанасьич... садитесь, — сел просто и привычно на конец скамейки, рядом с Петром.

Затем торопливо потер сухими пальцами сереңькую, будто всклоченная пакля, бородку, как бы прочищая глотку, откашлялся опять: «Кхе-кхе...» — и ровным говорком посыпал:

— Так что заехали к вам, хозяин с хозяюшкой, по пути, к примеру положить, с базару, из города. Неспроста Улита Лукинична завезла, товарец у вас поглядеть, а вы посмотрите нашего покупателя... Я люблю безо всяких припасов, чтобы сразу, своим глазком, вот я какой...

Маринка внимательно смотрела на его худощавое,

в морщинках, лицо с большим красноватым носом. В короткой поддевочке нараспашку он казался ей чудным, не деревенским.

«Знать, лихой старик... вот попадет Аненка!..» — подумала и невольно улыбнулась.

Афанасьич поймал ее взгляд, пригладил торчавшие с боков лысины, будто рога, жидкие серые волосы, посмотрел на бледную Аненку, крякнул, перевел глаза в прищурку на полногрудую Маринку, и снова посыпался его говорок:

— Мы, любезные, к примеру положить, ищем не что-нибудь такое, как другие протчие, нам девка была бы по мысли. Так, сынок? — мотнул в сторону жениха, отчего лохматые рожки шевельнулись.

Жених вдруг вытянул лицо, свел одну щеку к глазу, часто похлопал веками, подергал головой и серьезно сказал:

— Гляди, тятенька... твоя воля...

Маринка насторожилась, забеспокоилась. Петр задумчиво вертит перед собой пустую чашку, исподлобья поглядывает на жениха и отца. Аненка только улыбнулась: жених ей с первого взгляда не полюбился. Марья ничего не заметила, гремит чашками, разливает чай.

— Кушайте, милые гости, у нас не в утайку, вот они девки без прикрас, какие есть.

Приговаривает, а сама поглядывает на самовар: чист ли он?

Между тем Улита догадалась, которая невеста по мысли, перекладывает около чашки две баранки, поет свое.

— Жених наш молодехонек. Ни вина не пьет, ни табаку в дому нет. И семья, Маша, только три человека, так что и говорить нечего, все хорошо, по-хорошему. Ну, и дай бог зачать дело под пару жениху за меньшую, за Маринку, — так, кажись, зовут?..

От неожиданности Марья даже глаза вытаращила и тут же спохватилась, сжала губы, покачала головой:

— У нас и на уме не было про нее. Ряд за большой, как водится, ее и рядим, сами знаете: не в обычае через большую... И то вышло не как у людей; гляденье без сродников.

Афанасий, сват, весело забегал маленькими глазками:

— А ты, Маша Петровна, делай попроще. Мой дядька, блаженной памяти, говаривал: девичий товар скоро портится, неча беречь. Одна замуж пойдет — другую за собой потянет... Так ай нет, сватьюшка, Петр Лексеич?.. — обернулся к нему и хлопнул по коленке.

Петр, не совсем довольный гостями, водит взглядом по своим девкам, видит: хоть обеих к венцу, будут ли, нет еще-то женихи, и согласился:

— Я тоже так думаю, невесте ежели охота, — пускай...

Маринка смутилась, густо покраснела до самой шеи.

«Неужели, — думает, — сладят за Мокея замуж! А Митька?»

Сердце забилось в тревоге. И Митька будто глянул откуда, и не его ли шопот слыхала: «Вот ей-бо, Марина... Вот те Христос, велю посватать»?

В груди у ней словно камень свалился, облегченно вздохнула: пускай калякают... скоро узнают другое... Лицо прояснилось, на сердце попрежнему тихо, спокойно. Не в украдку, не как приговоренная невеста, а смело, даже задорно стала разглядывать Мокея, жениха, и только тут увидела все до капельки. Светлые волосы подстрижены в кружок. Бледное продолговатое лицо его заметно тронуто редкой оспой. Серые глаза, взглядывая на нее из-под длинных ресниц, темнеют, делаются больше. Жених — деревенский парень, не плохой. И не может Маринка понять, отчего он так дурнился, — дергался. И не могла она забыть слова его отца, когда уходили:

— Кто знает, сойдемся, будем родня, сватьями... Дай нам, бог, святые угодники, совет да любовь... А про невесту, к примеру положить, девка не плохая... Дома с матерью посоветуемся, пришлем весть. А вы, сватьюшка, Петр Лексеич и Марья Петровна, подумайте, похлопочите: приданое было бы не плоше других, деньжонок поболе на свадьбу... Имейте в виду: один сын, наследник, к примеру положить...

Убаюканная говорком, Марья сдается и вправду думает:

«Хоть бы одну приделить... люди, кажись, хорошие».

Вслух поддакивает:

— Знамо, как водится, как люди станут коритьхвалить нашу невесту... Будет нам в силу, отдавать надо...

И еще Маринка слышала Улиты певучие слова:

— Жених, я тебе скажу, Маша, не парень, красная девка. Мать у него — мачеха — баба, каких мало на свете... ласковая, веселая... Счастье твое, если усватают...

В тот же день все на слободе узнали: Маринку смотрел жених из деревни. И никто не знает, как у ней беспокойно на сердце. Две недели не видала Митьку, и нет сватов от него. Отбилась от еды, побледнела. Марье казалось: ей жених Мокей по мысли, тоскует о нем. Всегда равнодушная, Марья теперь спрашивает:

— Что-то ты с лица спала, ай захворала?..

Вспыхивают печальные огоньки у Маринки в глазах.

— Ничего я, маменька, штой-то мне хворать? Выдумаешь...

От беспокойства нет ей мочи сидеть дома, одолевают всякие думы. Уходила в огород. Полет грядки, поливает капусту, лук, а в голове копошится неотвязно:

«Может, рассердился на что Митька. Может, захворал... А может, беда какая с ним...»

Мучительно хотелось ей узнать, но как, от кого?.. Кто ей скажет?..

В такой тревоге застала ее крестная Васена. Не улыбается Маринке крестная. Губы крепче в оборочку сжаты. В голубых глазах ласка, да не та, не прежняя, другая. Оглядела Маринку с головы до ног, вздохнула:

— Невеселые, крестнинка, разговоры идут... И сама я вечор была у Левоновых, неладно у них в дому. Митька пьянствует без просыпу, на работу не ходит: оттого, что домашние не хотят тебя сватать. По мысли ты им, да, вишь, нет у тебя одежи-приданого. И через большую бы взяли, да бесчестно супротив людей в свой дом привесть бедную, родней

незнатную. Дядя-лавочник нашел Митьке невесту в городе богатую. У ней, вишь, сундуки от добра ломятся, есть и серьги, брошки, кольца золотые... Своими глазами, хрестнинка, видела: лежит на кровати Митька пьянехонек. Жалко парня. Думала за тебя слово замолвить, да где уж там!.. Только по селу разболтают: со своей, дескать, хрестницей силом набивается. Другим женихам будет покор. А ты, желанная, не больно горюй: свою судьбу не обойдешь и конем не объедешь. Чем бог благословит, никто не отымет.

Не показала Маринка и виду, как больно сжалось сердце, а слезы душат, на глаза просятся... Не знает она, что делать, что и придумать. И не верится. — «Неужели, — думает, — отцу с матерью не жалко Митьку, и неужели ее мать будет копить добро только для Аненки?..» И у Маринки ожесточается сердце:

«Мне тоже восемнадцатый год... Только бы посватали, — я не буду молчать, и отец для меня ничего не пожалеет...»

От таких мыслей сердце Маринки затихло, не верила она в разговоры, что у Левоновых скоро будет свадьба. Ждет, знает: Митька не возьмет другую.

Подошел Петров день. Маринка срядилась в церковь, надеясь в такой праздник с певчими — увидеть Митьку. На паперти нарядные девки ее сторонятся. Услыхала Маринка, что после обедни будут две пары венчаться. Охота ей поглядеть, как поведут сразу две свадьбы. Стоит с девками под зелеными тополями у церковной ограды. Колокольный звон гулко заплавал над деревьями. Народ хлынул из церкви. Затем в золотистой ризе вышел священник с крестом в руке. Рядом с кривым дьячком дьякон машет кадилом, и все вместе поют что-то. За ними веселой толпой — свахи. Дружки ведут повенчанных молодых. В руках у молодых горят венчальные свечи. У каждой избы стоят бабы, смотрят, которые кланяются:

— Дай бог вам счастья... В добрый час чтобы...

И увидела Маринка: идет Митька рука об руку с городской невестой. Яркие лучи солнца искрятся, блещут на светлых венцах. Задрожало ее сердце, поблед-

нела, сжалась, что сухая береста. В глазах помутилось. Студеный сквозняк ворвался в сердце. Свету белого не взвидела Маринка, пошла домой.

Нет, не ветер то воет, не мятель несется по улице, то плачет Маринка за перегородкой у печки, горько рыдает, рекой разливается, и нету сил выплакать горе.

— Митька... Митька...— тихонько в слезах зовет жениха.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«ВСЕ ХОРОШО, ПО-ХОРОШЕМУ»

Время ли такое летнее солнечное, нутром ли Маринка крепкая, упрямая, а только поборола она невзгоду — тоску сердечную, девичью. Недаром люди говорят: время не лекарь, а болячки излечивает. Лицо у Маринки стало спокойным, щеки слегка зарумянились, лишь на лбу появилась, будто вкривь прорезана ниткой, узкая канавка, да скука застыла в глазах.

Ни Аненке ни матери невдомек, как переживала она бурный вихрь девичьего горя, молча, без жалобы; только отец, заглядывая в ее тоскливые глаза, вспоминал чернявого парня и догадывался о ее тоске.

Однажды Маринка вышла из дома посидеть под окном на лавочке — и засовестилась. На лавочке сидел незнакомый в желтом картузе, и вдруг он сказал так просто и приветливо:

— Здравствуйте! Я не помешаю тебе... Ну ничего, будем сидеть двое.— Он немного подвинулся, одернув серый пиджак.— Я вам родня, и знаю, тебя зовут Мариной, мне сестра Хима сказала.

Маринка села, молча разглядывая его.

Вот он каков — Павел Чугунчик! — так звала его тетка Хима. Голова круглая, тонкая шея, безусое лицо и руки синеватые, будто неживые.

— Разве не здесь живешь, далеко?..

Он важно сдвинул серые брови, негромко сказал:

— К отцу, к матери приехал, живу далеко в большом селе, там есть училище. Я учу ребят, учитель...

Маринка улыбнулась и, разглядывая в руках его большую голубую книжку с золотыми словами, спросила:

— Это у тебя псалтырь, что ли? На что тебе?..

Павел улыбнулся и заговорил так вразумительно:

— В этой книге хорошо написаны всякие песни — про деревенский народ.

Маринка изумленно вытаращила глаза:

— Как же это можно написать, как люди живут? Нешто в каждой избе доглядишь... — и она прикусила нижнюю губу, не рассмеяться бы.

На ее неверие он тоже усмехнулся.

— Давай, — говорит, — слушай, я тебе почитаю, коли не знаешь, о чем написано.

И, заложив ногу на ногу, стал читать певуче:

— Четвертый год, как я люблю
Меньшую дочь соседскую,
Пойдешь ли с ней на улицу,
Промеж себя ведут они
О чем-то речь, с руки кольцо
　　Дает он ей, с руки кольцо
　　У ней берет себе в обмен...

Уж не про нее ли эти слова написаны?.. А может, это Павел выдумал. Хитрый, знать, видел, подслушал, когда, что говорил ей Митька... Ах, если бы она сама умела читать такие голубые книжки... Смущаясь, придвинулась к нему ближе, просит:

— Ты, Павел, может почитаешь еще какую песню, почитай, а?..

Он не знает и ему непонятно, почему она волнуется; перекинул листы и неторопливо читает другое:

Где те ключи от счастья женского,
В какое море сброшены,
Какою рыбой сглотнуты,
И бог-то, знать, забыл...

Каждое слово падает Маринке на сердце горячими каплями... И представляется Маринке замужняя жизнь безысходной тесной неволей, без радости, с потерянными ключами от счастья...

Прошла зима долгая, нудная... Не красна, не радостна жизнь впереди. В тесной избе семь человек. Отец то и дело запивает. Мать бестолково кричит и ругается. Перед глазами вянет печальное лицо Аненки. Мишка большой, женят его, и будет она, Маринка, золовкой-колотовкой, а там вековушей, немилой снохам. Один выход — замуж итти за кого придется.

«Надо, надо выходить под защиту мужа, пристраиваться к своему месту...— обжигает горячая дума.— Но за кого?»

Жених Мокей. Что-то никаких вестей нет, а посулились... И Маринке чаще и чаще приходил он на разум.

Теперь она раздумывала о Мокее спокойно, сравнивая, что у ней и что там: семья три человека, стало быть, ни золовки ни деверьев. И вина он не пьет; житье, пожалуй, не плохое. И где-то в глубине души шевельнулось сожаление о себе: «Неужели я не полюбилась?..» И опять безнадежное: бесприданница, кому охота взять?.. А годы уходят, будут либо нет еще женихи?.. И долго и часто изливает Маринка свою душевную печаль по ночам в молитвах.

Нежданно-негаданно показался просвет, приехала сваха Улита с вестями. У калитки, как водится, набожно помолилась медному образку, шепотком попросила:

— Дай бог, час святой и спорый.

Переступила порог избы. Истово помолилась в передний угол, в пояс поклонилась отцу с матерью:

— Здорово живете, хозяин с хозяюшкой, с большими и с малыми детками, и всему вашему дому дай бог здоровья, чтобы хорошо все было, по-хорошему.

Марья для важности сдвинула брови к переносью, так же ей в пояс поклонилась:

— Добро пожаловать, свахонька Улита Лукинишна, чем богаты, тем и рады для хороших людей; милости просим за стол.

Загремела чайной посудой. Ваньку послала в мастерскую за Петром, а там и за родней на совет.

Первая пришла Васена, затем и все семейные. Пришли и тетки Марфа и Хима. Все расселись вдоль стен, глаза уставили в пол, слушают сваху.

— Порадеть приехала вашей-то красавице, наказ привезла от жениха, Мокея Якимыча, и от свата, Якима Афанасьича. Невеста им полюбилась и желательно им с вами породниться, и если вы желаете, то просят вас к себе, дом глядеть, — слащаво распевала сваха.

Петр на лежанке крутил ус, покрякивал:

— Не на что свадьбы справлять.

— Да, у нас, как сказать, chured-от за большой, — попыталась напомнить Марья.

Васена сочувственно посмотрела на нее и на Петра; прикидывая их слова к своим думам, неторопливо говорит:

— Жених невесте не бесчестье... мой совет — поехать. Котору ни то надо отдавать. Не у всех капиталы, нужда денежку родит.

Захар покарябал пальцами курчавую бороду, засомневался:

— Свадьба не шутка, только заведись. Запросят за невестой невесть чего..

— Что вы... что вы, сватьюшка!.. — замахала руками сваха, перебивая. — Много не спросят: после вашей семь невест объехали, все не по мысли... я уж вам, как по-родному... Так что все будет хорошо, по-хорошему.

Долго судили да рядили: затевать ли? Наконец порешили: через неделю ехать к жениху дом глядеть.

За хлопотами, за заботой Марья только один раз и спросила Маринку:

— Тебе, невеста, по мысли жених-то? Надо ай нет дело решать?

Маринка вспыхнула и сдержанно сказала:

— Мне что? Как хотите.. Жених не плохой...

Петр понял по ее лицу: охота итти за деревенского. Ниже и хмуро сдвинул брови. Ему думалось иметь зятя мастерового: всегда неразговорчивый, тут он нерешительно вмешался:

— Погодить бы надо затеваться да узнать раньше, что за люди. А то гляди, Маринка, твое дело...

Пришло время ехать к жениху, а Петр угрюмо буркнул Марье:

— Поезжай одна. Чего я там у куликов в болоте не видал?

— Как же это можно без отца? Что подумают люди? Уж насулились.

Уговорили его семейные, и на трех запряжках бойкие лошадки, потряхивая лентами в гривах, тридцать верст бежали, пофыркивая.

В деревне Заковырино, среди кривых и прямых избушек, из-за густого шиповника в палисаднике выглянули три окна под тесовой серой крышей. У ворот встречал сват Афанасьич.

Приезжие сватья, не входя в избу, посмотрели, что на дворе. Марья заглянула в хлев, в новеньку амбарушку; уставила глаза на Петра и Захара: как, дескать, на ваш взгляд? Андрей с Устиньей пересчитали кур, заглянули в закут на теленка. Васена погладила корову, зачем-то потыкала пальцами ей в бока. Ненила молча стояла у крыльца, хмурилась на Федора. Он запрокинул голову кверху, широко улыбался и манил с повети пестрого кота. Затем все вместе осмотрели сбрую и всю худобу домашнюю. В избе переглядели все дочиста, до самых горшков и кринок.

Афанасьич-сват засунул руки в карманы поддевки, словно петух подобрал крылья, ходит, покрякивает:

— Кхе-кхе... имейте в виду — один сын-наследник... Феклуша, колбаски-то нарежь побольше, судачка там, к примеру.

— Нам бога гневить нечем... Живем в продоволку... Вашей невесте тяготы не будет... — предсказывала, оправляя на себе гремучий ситец в полоску, пухлолицая, с ласковой улыбкой, женихова мачеха.

Петр молча пощипывал бороду, в раздумье глядел на черепяный рукомойник. Марья и все семейные остались довольны и домом, и угощением, и обходительной Феклушей. Помолились на образа, поздравили друг друга с согласным зачатием дела, а рукобитие, невесту пропивать, отложили до весны.

— Спешить нам некуда... тем временем исподволь с делами справитесь, по теплу да по солнышку отгуляем...

Важно, с улыбочкой провожала будущая свекровь.

Сватанье захватило все Маринкины мысли. Перемена жизни манила чем-то хорошим в образе сытой, улыбистой свекрови, нахваленной матерью. И забыла Маринка о дергающемся лице Мокея, и весь он уплыл куда-то. О том, как и с чем ее выдадут за него, старалась не думать. Теперь она боялась, не заупрямился бы отец. Да еще не раскорили бы ее, не расхаяли бы люди по лихости худой славой, либо каким художеством не навели поклеп на жениха, как и бывает зачастую при свадьбах.

Но вот прошли «сороки», прилетели грачи, прожурчали с гор потоки. Распаренные солнцем, полопались набухшие почки на вербе. В открытые окна видно всю слободу, шумливую, голосистую. От челночной фабрики стал доноситься, будто ребячья свистулька, гудок...

Радуясь теплу, налегке, раздетые, бегут на работу и с работы челночники — мужики и ребята. У ворот столяра Печуркина солнце золотит полную телегу новых граблей, наработанных за зиму для продажи на базар. Мимо окон хлопотливо шмыгают бабы. Иная не забудет напомнить другой:

— У Лексеевых, чай, скоро будет свадьба...

Лексеевы к свадьбе не готовились. Петра и Марью давила забота: жалко упускать жениха, а на приданое Маринке взять неоткуда. Об этом вслух не высказывались, а в остальном все, что говорилось и делалось, сводилось на Маринку; выходило будто по пословице: «не нравится, а дело вяжется»... Маринка совсем заслонила Аненку. Тихо, молчаливо рядом с ней делала Аненка свое дело, ни в какие разговоры не вмешивалась, жила чем-то своим, не высказывая ни горя ни радости.

Одним вечером вдруг она стала веселей. То на Маринку посмотрит, то бровью поведет на мать. Пришел отец, все уселись за столом. Аненка, волнуясь и краснея, высказалась:

— Пускай Маринка возьмет всю мою сряду и что ты, маменька, в сундук мне наклала... Я погуляю у ней на свадьбе. Надо, так дождусь и своей свадьбы...

Марья с Петром переглянулись и тут же почуяли, будто гора с плеч свалилась.

Маринка поглядела на Аненку удивленными глаза-

ми, на сердце тревога сразу утихла, и все, вместе со свадьбой, показалось ей неважным:

— Зря ты, Аненка, так-то... жениха мне совсем не жалко, если не возьмут... — сказала равнодушно и невольно почувствовала себя невестой, доживающей последние денечки в родительском доме.

В весенний день ясный у Лексеевых под окнами — толпа любопытных баб и ребятишек. Изба полна гостей и шумного говора. Приехал жених со сродниками. Уселись за стол. Бабы в платках-полушалках, мужики в поддевках, головы подстрижены в кружок, на прямой пробор. Тут и невестины сродники.

Маринка — задумчивая, в новом красном сарафане — сидит у перегородки, крутит пальцами конец шелкового пояса. Сваха Улита, в ковровой шали на плечах, подвела к ней женихову мать.

— Вот и невеста наша расхорошая! Гляди, Фекла Осиповна, какова будет на твой-то взгляд...

Фекла Осиповна в зеленом заграничном платке села рядом с Маринкой и сдержанно улыбнулась:

— Мокеюшке приглянулась, а по мне все гоже... Время будет, нагляжусь... — Из глубины глазных ямок востренькие синие шильца засверлили Маринку и каждое ее движение, и что и как в избе — примечала. И по мере того, как Маринка больше вспыхивала и краснела, глаза делались ласковей, лицо приветливо улыбалось.

— Так что, Феклуша, кхе-кхе... к примеру положить... и насчет другого там прочего погляди...

И сват Афанасьич хвастливо поглядывал на невесту и на своих родных и двоюродных: нашли, дескать, не промахнулись.

Марья, морща лоб, напряженно следила, чтобы все было по старине да по обычаю.. Поглядывая на жениха, сидевшего с высоким румяным троюродным братом, шепотком послала Маринку принести из сеней ведро с водой.

Маринка не спеша прошла с полным ведром по избе, этим доказывая сродникам, что она не хромая, не кривоногая.

Марья заставила ее разливать всем по чашке чая, чтобы сродники поглядели, не кривые ли у ней руки и все ли на руках пальцы. Подавая жениху до краев полную чашку, Маринка плеснула на новую скатерть, густо покраснела и смутилась.

Сваха, все время выжидавшая случая свести ее вместе с женихом, засмеялась:

— Неча, Петровна, мучить невесту! — Взяла Маринку за руку. — Поди-ка, милая, покажи, где у вас огород, и Мокей Якимыч с нами пойдет. — Поманила его пальцем: — Иди-ка, молодец, проводи нас...

Мокей только что покривился и неловко, боком пошел за ними. В огороде Улита оставила их одних, жених поговорил бы с невестой на «особинки», узнал, не картавая ли она, не заика ли...

За столом пошел свой разговор. Афанасьич потер красную горбинку носа, пригладил торчки вокруг лысины, начал первый:

— Так что, сватьюшка, Петр Лексеич и Марья Петровна, насчет одежи и разных там шелаболок-балаболок дело бабье. Вот о деньжонках, так уж мы намерены сотенкой помириться. Кхе-кхе... как сказать, к примеру...

Марья вытаращила глаза, приоткрыла рот.

Петра будто кипятком ошпарило, но он виду не доказал, шевельнул усами, улыбнулся:

— Мало ты, сват, запросил. Я ведь припас для тебя побольше...

Про себя подумал:

«Продать самого-то жениха, — дешевле дадут...»

Афанасьич понял насмешку, сам хитрой усмешкой скривил рот и тоже подумал:

«Мужик себе на уме, таких денег не даст».

Деловито посыпал:

— Я, сват, как по совести... надо бы побольше, — запрос, как говорится, в карман не лезет... у нас видел как...

Стал хвалиться своей исправностью, достатком. Невестины сродники: Захар, дядя Пахом, Химин Лазарь зашевелились... Андрея взял задор, выступил:

— Вы думаете: у нас сундуки пустые... Столько денег... да ежели разобраться..., и не за что...

— Не-ет, что там... поболе им... ишь!

— Мало ли что хотелось... уступить надо... сбавить.

Двоюродный дедушка Проша тряс бородой:

— Хи-хи... А... Гляди-ко, девку дай, и столько денег им, э-э... А хвастают: богатеи...

Галдели мужики, а сами знали: денег не дашь — и свадьбы не видать.

Спорили горячо. Махали руками, перекорялись, торговались, как на базаре за новую соху.

Между тем Марья повела сватьев в чулан. Открыла сундук крашеный и обитую белой жестью укладку.

— Глядите, свахоньки, худо ли, хорошо ли, отдаем дочь не голую, это вот ей будничная одежонка, куда уж ее в люди... — откинула на крышку две-три одежины. Серенький мех воротника, будто драная кошка, повис между сундуков.

— А вот это ей в приданое... — Вынула из укладки и бережно разложила: пальто суконное да дипломат атласный с куницами, на мехах, зимнее. Пальто плисовое да свое суконное и пальтушка короткая, все на вате — осеннее. Одежда летняя — одно пальто из трика, другое из ее, Марьина, шелковое штофное, и две кофты сатиновые. На плетюху с разным тряпьем Марья выложила наряды, а сваха насчитала:

— Восемь платьев и два сарафана, ситцевые, шерстяные и барежевые. Два десятка головных платков ситцевых, шерстяных и три шелковых, пятнадцать рубах холщевых и миткальных... Десять полотенцев с кружевами и разными строчками. Салфетка на стол вязаная и две пары столечников, да утирка холста серого.

Умиляясь на чужое добро, свахи чуть не на свет глядели три нижние юбки миткальные с кружевами и прошивками.

— Рукодельница невеста... — прошамкала старая кривая тетка женихова. Нахмуренная Феклуша прояснилась, на ее похвалу тряхнула головой, так что в ушах на длинных подвесках сережки звякнули. А тетка ухватилась за розовую ситцевую юбку на вате, прощупывает от подола до пояса, крутит головой:

— Не тонка ли, баю, для зимнего-то время... как думаешь, сваха?

Сваха Улита держит крышку сундука, улыбается на молодуху в шелковом казаке, гладит она большую шаль в клетку и говорит приземистой Феклушиной сестре:

— Больно гожа, зимой рыло закутать любо, мягкая...

Востроглазая бойкая сродница развернула три полушалка с кистями, примеряет к себе. Разгоряченная Марья раскинула поверх всего три простыни миткальные, тоже с кружевами и прошивками, и хвастливо сказала:

— Это парадные у нас, сватьюшки, не как-нибудь, кровную дочь не обидим; про хорошее время, в годовой праздник, есть чего на постель постелить...

— Так, так... видим... — покачивает головой новая родня.

Марья разошлась, вытащила одеяла на вате и покрыла добро. Тут же она глубоко вздохнула:

— Ну, а там, на дне в сундуках, глядеть нечего... Чулки вон три пары, башмаков две пары, да лапти новые, первое время на покос ходить... И все, милые сватьюшки, новое, ненадеванное... — и еще добавила Марья, хвалясь и жалея: — Ведь всю жисть тут отдаем...

Феклуша опять покачала головой.

— Маловато, сватьюшка Маша, маловато... У других невест, поглядишь, сундуки ломятся... Надо прибавочки... Сама знаешь, за любой девкой дают добра больше...

И вместе с мужиками в избе, долго, до пота торговались, божились и крестились... Все же сладили, по рукам ударили...

Для Маринки весь этот день с дразнящим пением скворцов в огороде, с длинной зеленой задворкой, по которой она шла с Мокеем, собрался в пестрый веселый узел. В памяти у ней остались немногие слова Мокея.

Стали они во дворе на крыльце, смотрят друг другу в глаза. Мокей смахнул с бахромы ее серой кофты муху, пытливо спросил:

— Отцово хозяйство, Марина, будет мое и твое... ты мне по мысли, пойдешь за меня?..

У Маринки на сердце пусто и тихо.

— Какой ты чудной! Знамо, пойду... У вас там хорошо, маменька полюбилась...

И Мокей взял ее руку в свою, так и в избу пошли...

Все сродники приветливо мотнули им головой, чинно стали перед образами, помолились. Усадили Маринку с Мокеем рядом за стол, и началось пирование: «невесты пропой».

— С нареченным вас женихом...

— А вас с нареченной невестой...— летело весело из окон на улицу.

У Петра забота. Свату Афанасию надо выдать пятьдесят рублей, как уговорились на «рукобитье». Денег не мало, где их взять? «Неужели,— думает,— опять кориться Чубаркину, просить вперед за Мишкину выработку? Чорт знает... А ведь придется!»

Запасенный для двора лес продали. Купили кое-какие добавки в приданое. Петр расщедрился — даже браслетку дутую купил. Еще купили новый киот с «золотым виноградом» иконе казанской в благословенье Маринке. Церковному причту за венчанье приготовили подарки — всем по платку, попу лучший, шерстяной. Также прикупили даров родителям жениха да каждому сродннку. И все это надо, как заведено по обычаю...

События идут для Маринки словно во сне. Каждый вечер собираются девки-сродницы, шьют, что ей необходимо к свадьбе. Аненка показывает. В первый же праздник, как водится, приехал жених с гостинцами, с парнями. Девки шитье в сторону, отряхнулись, приободрились. Он от порога в угол молится, а они песней его величают:

> Летел голубь через прорубь ко сизой голубке...
> Как зашел-пришел свет Мокей Акимыч
> Во девичий терем.
> Брал за белы руки да свет Марину любушку..,
> Ты пойдем, пойдем, душа красна девица,
> Во зеленый во садочек..,

Парни на гармони наигрывают. Пошли пляски, песни до утренней зари.

Хима выгнала корову, подойник поставила у калитки, позвала соседку. Подошли еще бабы. Указывает глазами на Лексееву избу Хима:

— Всю ночь, милые, не давали спать. Акулька с Катькой только пришли, по карману гостинцев принесли. Жених, вишь, бо-ольшие два узла привез! За песню девкам целковый целый дал. А уж и на подвенешное платье привез!.. Девчонки бают: фуляр желтый жаром горит, и в коробушке.

— Уж больно-то не нахваливай... — отмахнулась бабка Лукинична. — Мужик-то, что у нас был из ихней деревни, баил: вся родня женихова — мужики-злыдни, так и прозвали их: Ерцовы. Вось погляди — на девичник приедут...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПРОВОДЫ В НЕВОЛЮ

За несколько дней до девичника жених Мокей со своим «дружкой» — двоюродным братом, молодым, русым мужиком, на большой белой лошади объезжали ближние деревни, созывали по родству и порядку сродников. В каждой избе Мокей кланялся в пояс со словами:

— Пожалуйте, дядюшка, тетушка, братцы и сестрицы, к нам на веселье, на пир пировать.

Сродники в ответ ему тоже кланялись:

— Спасибо на чести, не минуем вашей хлеба-соли...

В субботу парни с женихом идут по деревне, поют ему песню:

Уж ты, молодость моя молодецкая,
Ты когда же прошла, прокатилася,
А со мной, молодцом, не простилася?

У невесты за «дружку» дядя Андрей. С ним Петр обошел в селе своих сродников, с такими же поклонами, приветствиями: звали на девичник. Родни немало, и девок собралось десятка полтора в светлых барежевых и кисейных платьях, на голове и на груди у каждой по цветку.

Аненка, нарядная и веселая, приколола Маринке на голову венок мелких матерчатых цветков. В розовом барежевом сарафане села Маринка на свое почетное невестино место в переднем углу за стол, покрытый белым столечником.

Баб и девчонок налезло половина избы — поглазеть. Приплелась с того конца и хромая бабка Лукашина, тискается наперед.

— Как же, милая, последние часочки красуется Маринушка... Дайте глянуть... Бывало, песни девки станут петь...

Девичник — последний девичий день... Подруги провожают невесту в замужнюю жизнь...

— Чу, не жених ли со сродниками едет?.. — кому-то послышалось.

Девки переглянулись, приосанились. Запевала голосистая Акулька, покашляла в платочек, и заунывно полилась песня:

Как от те-е-ерема до те-е-ерема,
А от вы-со-око-го, от но-ова-го-о
З-оло-тые были вы-ыхо-ды-ы
И по-се-е-реб-ре-енные ле-есенки-и...

Голова невесты склонилась ниже, подбородок дрожит. Девки, как одна, вздохнули и дружно подхватили:

Как по этим ли по выходам...
По серебряным по лесенкам
Шла душа ли красна девица...
Она шла, все двери растворила,
А сама ли слезно всплакала...
Уж ты, мать моя, маменька,
Уж ты, мать моя, государыня,
Ты взойди-ка, маменька, в мою нову горницу,
Ты во девичью уборницу,
Ты сядь-ка, моя маменька, на мое большое место,
Покрасуйся, моя маменька, на мою ли косу русую,
На мою ли красу девичью...
Уж недолго-то мне, маменька,
Во косе мне красоваться...
От субботы до субботы, во субботу — вечер девичий,
В воскресенье день разлучный... день разлучный:
Разлучат меня молоду с отцом да с матерью,
Со сестрами, со братцами,
С подружками, голубушками...

Грустный напев и слова величания теребят сердце Маринки, головой упала она на стол, горько рыдает,

плечи судорожно вздрагивают, Аненка, вся в слезах, обняла ее, унимает:

— Полно, Марина... полно... Ну, почто?.. так не надо...

У девок тоже на глазах слезы.

Марья с утра тревожно глядела на Маринку. В мыслях вертелось: была Маринка, шустрая девчонка... а стала Мариной... и уходит от них... Уткнула лицо в фартук, всхлипывает:

— Маринка... дочка... милая.

И все бабы, вспоминая свои девичники, прослезились...

На улице зашумели ребятишки, закричали:

— Едут!.. Едут!..

Жених с дружкой — на пороге. Петр и семейные радушно встречают сродников. Некоторые в избе не помещаются, остаются в сенях. Женихов дружка берет жениха за руку, подводит к невесте. Та со склоненной головой не шелохнется. У Аненки в руке чайное блюдечко; воровато поглядывает она на жениха. Он молча пожал плечами, тряхнул длинной черной полой кафтанчика, полез в карман — и на блюдечке зазвенело серебро: выкуп за невесту. Аненка встала. За ней — и все девки. Жених поцеловал невесту, сел рядом. Тут и дружка и все гости сидят. Девки сбились в кучу у бокового окна, величают свекровь и свекра Афанасьича.

У сударя у Якима Афанасьича голова и борода
Золотиста и волниста, кудрява, кудрява...
Государыня Феклуша золотым гребешком
Ее чешет, приговаривает:
«Вейтесь, кудри, вейтесь, шелковые...
На призору молодцам, молодцам...»

Афанасьич, в шелковой жилетке, пригладил волосы вокруг лысины, подмигнул модничавшей Феклуше: «Не скупись, мол, — пример кажи...» И на блюдечке у Домашки шевельнулась желтенькая бумажка с царским орлом.

Каждую пару — мужа с женой — девки величают особой песней. Девкам щедро кладут серебрушки и медяшки на ленты, на перстеньки.

Ненила обносит на подносе всех чаем и жениховыми гостинцами.

Петр в кругу баб, покачиваясь, норовил плясать под свою песню:

Как у наших у ворот
Молодушек табунок...
Ай люли, табунок...

Махал руками и кричал:

— Машка... чтобы всем было довольно!..

Веселый отец, песни, нарядные гости радовали Маринку. Ей хотелось смеяться, петь и плясать «мятелицу»; она умеет, только и надо, что под гармонь кружиться. Но ей полагалось, как и всем невестам, сидеть с женихом под руку, шептаться с ним «носок в носок», ласково-любовно, чтобы люди видели и про них говорили: «Словно голуби сизокрылые воркуют-милуются...»

— Мокеюшка, давай и мы плясать...— ласкается Марина.

Мокей скучливо тянет:

— Ну, чего там толпиться?.. Хорошо, что ли?..

Встал на «мятелицу» нехотя. Все больше сидел и молчал. И Маринка заметила: Мокей не был такой простой и веселый, как другие. Говорил он и ступал с оглядкой, подумавши...

До пастушьего рожка гуляли гости: занялась заря, сели ужинать. Маринка сидит с женихом в переднем углу, усталая, чужая. Только и ласки было от Мокея, когда надевал ей на палец обручальное кольцо, да на прощанье поцеловал покрепче.

Спать ей не хотелось. Стоит у окна, задумчивым взглядом провожает уезжающих, нареченных сродников.

Мокей после других вывел со двора свою лошадь под уздцы и без причины совал ей кулаки в губы. Лошадь, большая, белая, вся вздрагивает и робко пятится от него. У Маринки тоскливо захолонуло сердце...

Июньское прозрачное утро. К Лексеевой избе только что подкатили, гремя бубенцами, пара лошадей с широким тарантасом и две лошади, запряженные в телеги. Под дугами, привязанные за кольца, трепались с красными разводами белые платки. С тарантаса и телег

спрыгнули все свахи, дружка и дядя Демьян. У свах на голове пришпилены красные ленты. У дружки и дяди ленты на картузах.

Ребятишки мигом обступили, цапаются за колеса, трогают и заглядывают в морды потным лошадям. Из окон выглядывают бабы, перекликаются:

— Раненько приехали!.. Штой-то подвод много?..

Кричит баба в кумачовом повойнике:

— Значит, сразу увезут... и невесту и приданое...

Отзывается соседка из другого окна:

— Матренка, слетай, глянь: чего там?

Девчонка срывается с завалинки, бегом несется, потряхивая светлой косицей.

В избе у Лексеевых сборы и аханье. Пришли семейные и тетеньки, собрались и девки. Маринка, бледная, растерянная, в белом платке сидит за столом. Рядом брат Серега продает ее косу.

Дружка подносит ему в поклон на тарелке полштоф вина и деньги — выкуп за косу. Серега принимает тарелку, берет деньги, целует сестру, с ее головы платок кладет на тарелку.

Свахи торопятся увозить приданое... Аненка с ключами сидит на сундуке, Акулька с Домашкой — на увязанной Марининой перине с подушками. Дружка кладет на тарелку выкуп, подносит девкам, берет ключи и вместе с Демьяном и Петром выносят на телеги сундуки, постель и узлы.

Зеркала большого не пришлось купить, взяли на время у Химы.

От невесты свахами расселись на возы две родственницы.

Ненила держит зеркало стойком на виду, и, как водится, по всем слободам в селе, с песнями поехали показать, какое приданое везут.

Дядя Демьян поправил на картузе ленты, дернул вожжами, и по дугами затрепались пестрые платки. Свахи встали на телегах, помахивая платочком и приплясывая, голосисто заливались:

По Тверской-Ямской да по Коломенской
Едет миленький, да мил на троечке,
С колокольчиком да со бубенчиком...

В избе на минуту стало тихо и пусто, и всем было грустно. Сидят молча. Марья, заплаканная, постелила среди пола, ближе к выходу чистую дерюгу; как бы боясь спугнуть минутную тишину, тихо говорит Петру:

— Отец, да что же ты сидишь?.. Ай не знаешь: благословлять надо! Сымай икону-то!

Сама взяла в обе руки ковригу хлеба, на ней кучка соли. Стала на край дерюги. Петр вынул из киота икону казанской и, держа в руках, стал рядом с Марьей.

Маринка подошла к отцу с матерью и, как учила крестная, сделала, перекрестясь, три земных поклона, поцеловала икону, потом поклонилась отцу и матери в ноги и поцеловала их.

Затем Петр и Марья переменились местами, и Маринка снова кланялась и целовала.

И так же в деревне Заковырине благословляли к венцу жениха.

Последний обряд — срядить невесту. Улита-сваха торопит:

— Попроворней, девки, справляйтесь! Лошади отдохнули, надо спешить...

Маринка в одной рубашке горестно смотрит на Домашку, стоящую перед ней с новыми ботинками.

— Чулок-от перва надевай на правую ногу... неравно в лихой след попадешь, чтобы вреда не было, — напоминает Марья.

Девки запаслись булавками: полсотни их на бумажке.

— По самому подолу втыкайте, по изнанке, хрестнахрест... — учит Васена.

— Мама, а на что булавки?.. — спрашивает Домашка, разглядывая на венчальных свечах белые восковые цветочки.

— От колдовства... — опередила Устинья. — Мало ли лиходеев всяких! Пустят лихую немочь на невесту либо килу. А в церкви опасней всего, и пуще под венцом сделают какую порчу. А ты, Маринушка, когда будет поп водить круг налоя, все три раза погляди на своего-то жениха. Это чтоб люб тебе один муж был на всю жисть...

— Не мешай, тетка Устинья, невесту рядить, расстраивать разговором... — сердились девки.

В подвенечном жёлтом платье Маринка будто сразу выросла, возмужала. На бледном лице заиграл, как на зреющем яблоке, легкий румянец. Грустные глаза смотрели доверчиво, просто. Хима подалась к ней, дернула за рукав, шепчет строго:

— Будет поп в церкви к налою подводить, первая норови стать правой ногой на подножье, чтобы не муж над тобой, а ты над ним верховодила. Слышишь?..

Подошла и тетка Марфа, тихо говорит:

— Совет мой тебе напоследках: в чужих людях, родная, будь послушной и покорливой, жисть-то с молодых годов ой-ой как хитра... и пуще всего бойся, желанная, не допускай, Маруня, первого кулака мужнина... Лихо раз ему осмелиться, а там и не уймешь...

— Свечи-то не забыть бы, батюшка!.. Еще-то чего?.. — суетилась Марья.

— Дары-то попам... подножья...

Васена дает Маринке сверток в беленькой тряпочке:

— На-а, вот, хресинка, положь в пазуху «сон богородицы»: каждой невесте пригодно иметь под венцом. На всю жисть она, матушка, дает охрану и помогу от злых наветов, от гневливого мужа и от всякой беды.

— Бабы, сестрица, сами рядились бы... не опоздайте ехать на свадьбу-то... Серега? Где он? Ему с образом ехать. Ох, скружилась я... — И Марья опускает руки, и сейчас же опять: — А коробушка-то где с цветками, что привез жених?..

Цветы у Аненки, приколола их невесте на голову и отвела глаза к полу. Под окном, — в запряге пара лошадей нетерпеливо двигает тарантасом.

Перед выходом все присели. В последний раз Маринка сидит за столом с девками. Запели прощальную песню:

Ты-ы, ре-ека ли моя, ре-ечи-инька-а...
Ты-ы, ре-ека-а ли моя, бы-ыстра-а-а-я...
Те-ечет речка, не сколы-ыне-ется-а-а...
С бе-ере-ежками не сровня-ается-а...
У нас гордая барыня, свет девица Мари-ина-а...
Она плачет, как река льется...
Возрыдает, как волна бьется...
Проклинает чужу сторону, вспоминает отца с матерью..
«Ты, злодей, злодей, чужая сторона,
Разлучаешь с отцом, с матерью меня...

В эту минуту Маринка забыла все свои горести, вынесенные с детства, жалеет тесную избу, немилую работу около сестры, бестолково-ворчливую мать и всех-всех жалеет, а девки поют:

Унесло ли, развеяло со двора три кораблика...
Первый-то кораблик с сундуками дубовыми,
А второй кораблик с периной пуховою,
Третий-то кораблик с душою красной девицей.
Ее маменька ворчала: «Воротись, дочка милая...
Не забыла ли ты троих ключей,
Троих ключей, трое золоты...
На шелковом поясе?..»
«Не забыла я, маменька, не забыла, государыня,
Трое ключей, трое золоты.
А забыла я, маменька,
Волю тятенькину, негу маменькину...

Близкая разлука и песня надрывают душу Марины. Последнее прощанье, горестное, слезное. Дружка берет ее за руку, выводит из-за стола, сквозь рыданья мать причитает:

— Милая ты наша доченька... Ох, да и куда же мы тебя снаряжаем?.. Куда уходишь, наша радость ясная?.. Да в какую дальнюю сторонушку провожаем?.. И для кого же тебя, родная доченька, ростили, холили?..

Вопит-закатывается мать, рыдает у ней на плече невеста.

С плачем разнимает их крестная. Отец пыхтит, целует на прощанье дочь и невольно смахивает с глаз скупую, мужичью слезинку.

Захар посморкался в платок, вышел на улицу... Всем надо плакать по обычаю... Если девка невестой не поплачет, — всю жизнь будет плакаться... И нет ни у кого на лице веселой улыбки, радости в глазах.

Солнце скатилось с середины на край неба; потянуло прохладой. По дороге, в облаке пыли, пара лошадок бойко пробежала тридцать верст. Промелькнуло озеро, кривая улочка погоста, и разгоряченная пара с платками под дугой остановилась у церковной сторожки. У ограды гулянье, в деревне празднуют престол «восьмая пятница».

— Невесту привезли... Невесту... знать, богатая... — шумят ребятишки.

Гуляющие повалили в церковь.

Там уже стояли нарядные жениховы сродницы. И как только Маринка вошла, деревенские певчие грянули:

«Гряди, гряди от Ливана невеста... Приди, приди, голубица моя...»

Настороженная Маринка чутко прислушивалась к незнакомым словам. От десятков любопытных глаз она загорелась румянцем, нагнула голову и одним глазом увидела: высокий черноволосый священник подошел направо к жениху, подвел его к налою близ двери. Затем взял и ее за руку, поставил рядом, и Маринке показалось: жених чуть наклонил к ней голову.

— Благослови, влады-ыко... — задребезжал старый дьякон.

— Благословен бог и ныне-е... — прогудел священник и стал молиться, глядя в книгу.

Маринка тоже, шепча за ним, прилежно молилась, поминая церковных пастырей, царя...

— И о ныне брачущихся, рабе Мокее и рабе Марине-е... — гудит священник.

Маринка поймала имя жениха, вспомнила: «Надо креститься и кланяться с ним враз: ладнее будем жить». Стала следить: ежели он замешкается крестясь, — ждала с поднятой рукой.

Дьякон перестал читать ектенью, священник повернулся к ним с молитвой:

— Боже вечный, рассеивающий и собирающий в соединение, благослови рабы твоя Мокея и Марину, наставляя на дело благое, отцу, и сыну, и святому духу, — и, глядя жениху в глаза, спросил: — Волей ли своей берешь жену? Не обещался ли другой?

У Маринки кровь с лица отошла к сердцу, сейчас и ее спросит. Губы похолодели:

«Митька...» — шевельнулось внутри. Слышит она шопот Мокея:

— Нет, не обещался...

А ей как сказать?.. Бог-от видит от престола... богородица все знает... Что, что сказать?.. «Не обещалась» — бога обманешь... «Обещалась» сказать, — венчать не станет, — думает Маринка.

— Волей ли идешь замуж? Не обещалась ли другому? — твердо спрашивает батюшка, так же глядя ей в глаза.

От страха перед богом, перед всеми угодниками на образах у Маринки побежали по спине холодные мурашки. Побелевшими губами шевельнула:

— Иду... волей...

Батюшка не разобрал слов, взмахнул широким крестом:

— И ныне и присно, и во веки веков аминь... — и, сдвинув брови, сказал: — Давайте ваши кольца...

И, держа кольца в своей руке, перекрестил обоих.

Обрученных потом заставили поменяться кольцами три раза.

Затем повели их к другому налою, против «царских» дверей. Провожатые сродники тоже двинулись. Толпа любопытных расступилась, в глаза Марине бросился розовый коленкор подножья, разостланный против налоя, и тут же ей вспомнился наказ тетки: стать на него первой.

«Нет, так не надо... — шевелится мысль. — Надо делать по-богову... Муж, его надо почитать, он набольший... хозяин... а чтобы я командовала, это грех большой, это я слыхала... да и зачем мне?..»

Марина нарочно на шаг отстала от Мокея...

Певчие поют что-то часто, будто веселую песню. Священник зажег венчальные свечи, благословил ими новобрачных, дал их в руки, и она, стоя на розовом подножье, горячо шептала богородице, чтобы послала ей хорошую жизнь.

К огорчению Маринки, она не могла запомнить, что говорил поп, в голове вертелась дума о посоленной корочке в кармане: корочку дала мать, чтобы она съела ее после венца натощак вместе с мужем — «для согласного житья». А когда Маринка почувствовала, как тяжелый венец лег ей на голову, — ее сердце дрогнуло. Отчего — уразуметь не могла. Солнце повисло над самыми окнами. Яркие лучи его затемняли горевшие свечи, играли радугой на стеклах образов. На душе у Маринки также стало светло, тихо и торжественно.

Робея перед плоской серебряной чашей в руке свя-

щенника, пила она после жениха три раза разбавленное теплой водой красное вино, и ей стало весело.

Священник отмахнул полу ризы, взял ее руку и руку Мокея в свою, вместе с дьяконом запел: «Исаия, ликуй», — и повел вокруг налоя. Окружили три раза, и каждый раз Маринка взглядывала веселыми глазами на Мокея.

За спиной слышался шопот:

— Гожа невеста, паря... да пра... Во... где-то сыскали такую Ерцевы...

Маринка и не заметила, как дьякон стал около налоя и во все горло начал читать «Апостола». Внимательно следившая за молитвами, она пропустила первые слова, а затем уловила:

— Му-уж, яко глаза це-еркви-и... — и опять какая-то назойливая дума мешала слушать, как дьякон трубит во всю мочь: — И да убоится жена своего му-ужа-а... и, яко агница, да покорится ему-у...

«На что он это читает?..» — силится понять Маринка.

— Поцелуй жену, а ты поцелуй мужа, — сказал поп ей и Мокею.

Венчанье кончилось. Молодые пошли прикладываться к иконам. И Маринка, полная умиления и тихой грусти, с любовью целовала кряду стекла, глядя на «угодников». Дьячок ходил по церкви, гасил огни.

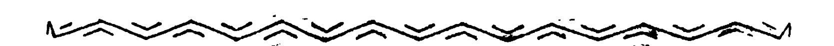
Молодых ждала тройка с кумачовым свадебным платком и колокольцем под дугой.

Светло улыбаясь, Маринка посмотрела на заалевшее вечернее небо, на дорогу к деревне Заковырино, доверчиво заглянула Мокею в глаза. Лошади взяли с места. Зазвенел колокольчик. Засмеялись бубенцы...

Из кустов близ дороги, густых и пышно-зеленых, белоснежные цветы молодого деревца калины приветливо кивают ей, провожая на новую жизнь. А ветерок, подувая в лицо, пел ей бабки Лимпиады вещее слово:

«Как жить доведется бабой — укажет судьба...»

Книга вторая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

МУЖ

Праздник. Солнце перешло за полдень. Жарко. Пригретые ветлы и рябины дремлют у серых изб деревни Заковырино. У ворот и на задворках у сараев копошатся люди. По дороге тарахтит воз с дровами. Возле Буланки, помахивая хвостом, бежит рыжий жеребенок. Против ерцевской избы он вдруг громко заржал: «И-и-гого!..» — и спугнул девчонок, обрывавших сквозь решетку палисадника красноватые и розовые цветы шиповника. За зеленью открылось окно, блеснула лысина, раздалось по-козлиному:

— Я-я вот вас, дьяволята!..

— Мы, дяденька Афанасьич, вашу молоду-ую поглядеть...

И девчонки с плутоватыми рожицами и задорным криком убежали.

Палисадник против окон тянется до широкого прогона.

Из двора в заднюю калитку вышла Марина. На лице тень смущенья и грусти. От яркого солнечного света сдвинула ниже на лоб белый кисейный платок, пробралась в гуще малинника, села на скамейку у дощатого

столика, прилаженного на кольях. Прислушалась. В тишине над цветами жужжат пчелы.

После свадьбы прошло недели две. Свекровь ласково сверлит ее синими глазами, свекор глядит на нее, как на новое дорогое украшение в доме, и не раз, она слышала, хвастал деревенским: «Не молодая, а золото! Веселая, словистая». И никто ничем ее не обидел, а вот ей грустно.

Муж Мокей в эти дни будто влип в нее; люба она ему: куда бы ни глянула, ловит ее взгляд. Куда ни ступит она, он за ней, либо сам тянет ее на задворки гулять. А то... в сарай, на сено... И от этого ей только досада. Другие идут замуж, в этом находят какую-то сладость. Почему же, думает она, ей нет радости и что-то давит сердце?

Чует Марина — Мокей упорный и любит, чтобы все было только по нем, и все он к ней льнет, а ей охота побыть одной, отдохнуть, привыкнуть... И она по-детски, горько плакала и не слыхала, как калитка тихо отворилась, вошел Мокей.

— Ты чего, Марина, тут ревешь, про что?

— Так, сама не знаю, чего-то лихо...

И сильнее заплакала.

Мокей тревожно поглядел на боковое окно избы и заговорил шопотом, ласково обнял:

— Не плачь, утрись. Неравно увидит маменька — глаза наплаканы, что мне скажет? И люди заметят, какой пойдет разговор?.. А ну-ка, улыбнись, засмейся...

Он стащил надвинутый платок; блеснули серебряные сережки.

Марина засмеялась, показывая ровные, со щербинкой мелкие зубы. Щеки были похожи на краснобокие яблоки. Положенная вокруг головы русая ровная коса изменила девичье лицо: оно казалось круглее, полнее, привлекательнее. Глядя на Мокея, умытые слезами карие глаза доверчиво распахнулись. Мокей, улыбаясь, перебирал пальцами у нее на шее синие бусы, сладко сюсюкая:

— Агу-у, цветочек, Маринушка... Развеселилась, ягодка ненаглядная... Ну, пойдем гулять в поле. Ишь, комары...

И задавил одного на ее руке, размазав кровь ярким пятном.

Недалеко березовый лесок. Марина вдыхала горьковато-сладкий запах полыни и клевера, и в сердце вливалась тихая радость. Въявь сбылись девичьи мечты, — муж не плохой: ни вина ни табаку. А кругом лес, поле. Издали донеслось «ку-ку».

— Мокеюшка, считай! Кукушка, кукушка, много ли мне годо-ов жить?..

Из чащи прямо перед ними вынырнул молодой парень, неся на плече слегу, только что срубленную и очищенную от сучков. В глазах его мелькнуло удивленье; он остановился и приветливо кивнул:

— Здорово! Это ты, Мокейник, со своей... Что бы крикнуть и меня даве...

— А ты, Труха, думал — попался со слегой... — пошутил Мокей, но, уловив приветливый и удивленный взгляд парня на Марину, неприязненно добавил: — Вали, тащи, благо десятский не видал...

Труха, перекладывая слегу на другое плечо, лукаво усмехнулся.

— Ну, авось... А гоже вам гулять...

Труха оглянулся по сторонам и осторожно зашагал к задворкам.

Марина припомнила: это Трофим, товарищ Мокея, сухопарый, бесцветный, на ее свадьбе всех забавлял пляской.

Она звонко сказала ему вслед:

— Ха-ха... как он плясал-то, Мокеюшка, помнишь, у нас на свадьбе?

Мокей отвернулся и рывком бросил:

— А ты, знать, все на него только и глядела...

А Марина весело откровенничала:

— Как не глядеть! И все глядели да удивлялись: пляшет, рюмка стоит на голове — не падает, и вино не разливается. Он, должно быть, веселый, хороший парень, правда?

— Ишь ты, полюбился, — нахмурился Мокей. — Не про него ли и плакала? Скушно, может, погулять с ним охота, так догонь, он недалеко...

Марине думалось — муж шутит. На лице опять играл задорный смех, но глянула на посеревшее, хму-

рое лицо мужа и притихла. Посмотрела на лес, на небо, повертела на пальце обручальное кольцо, вздохнула:

— Домой, может, пора?..

Мокей, подергивая головой, пошел молча. Марина не знала, что говорить, и крутила конец платка. Подошли к реке.

От легкого ветерка река вздрагивала серебристой чешуей; на мели, засучив портчонки, мальчишки удочками и корзинками ловят мелкую рыбешку. Невдалеке, на круче берега, вразброс, — с десяток крохотных бань, что топятся по-черному. Пестрят сарафаны, рубахи, — поют песни, играют в гармонь. За углами бань стоят парами. Здесь гулянье. Марина с Мокеем молча постояли, посмотрели и пошли к дому другой дорогой.

Почти от самой колеи зеленели полосы овса, репы и цветущей картошки. Солнце щедро поливало золотой пылью колосистую рожь. Там и тут среди колосьев голубели васильки. Тревога Марины рассеялась: она опять по-ребячьи зарадовалась:

— Цветов-то сколько, васильков!.. Мокеюшка, гляди!.. Синенькие... Давай рвать...

Она лазила по межам за какими-то еще розовыми цветами и все радовалась, рассыпая веселый смех. От этого смеха прошла хмурь и у Мокея; он рвал цветы наперегонки, а потом, неловко сутулясь, сунул ей цветы:

— Ну, вот... куда их денешь?

— Знаю — куда. Мокеюшка, милый, давай сядем вот тут.

Она распустила подол цветистого сарафана и упала на траву. Быстро подбирая цветок к цветку, заплела венок.

Мокею не хотелось показать, что он ей угождает; он зачем-то потоптался поодаль, нехотя подошел и сел возле, потянул за сарафан, засмеялся. Усмехнулась и она, надела ему на голову венок и шутливо ахнула:

— Какой же ты красивый, Мокеюшка!

Доплела другой венок, надела себе на голову и быстро встала.

— Идем к дому...

Пошли рука в руку, засмеялись. Крохотная размолвка не оставила и следа, и Марина, довольная, раскраснелась. Через заднюю калитку прошли двором на улицу.

У ворот, возле кудрявой рябины гулянка. С лавочки у палисадника приветливо шевельнулись им навстречу лохматые торчки вокруг лысины.

— Дети-то наши... Феклуша-а...

На другой лавочке, у амбара, Феклуша кивнула:

— А чего же им, Афанасьич, пускай милуются.

Марина не ожидала людей. Краснея, прячась за Мокея, стыдилась; оба в венках, и солнце косым лучом ударяет прямо на них.

Сидевшая на лужке головастая соседка подобрала под себя босые ноги и льстивыми словами подлаживается к Афанасьичу:

— На ваших молодых загляденье. Сноха-то, ишь, красивая, лучше в деревне нет!..

— Она и на дело горазда, шитье какое надо приноси, Настюха. Груняшке Коровиной фартук сшила с оборкой, с карманом, — нахваливала Феклуша, стряхивая дернинку с подола нового платья.

Марина села рядом со свекровью. Перебирая завязки зеленого фартука, застенчиво взглядывала на мужиков.

Ей не хотелось слушать их разговор, хотелось узнать, кто верезжит песню у ворот четырехоконного дома Коровина. Мысли ее перебивает мерное «тук-тук»: это Мокей правит косу.

Вспомнился Труха; шевельнув бровью, Марина подумала: «Не надо было говорить про него, — Мокей за что-то осердился».

И к этому же вспомнилось: вот недавно свекровь вынула из сундука все рубашки Мокея и сказала ей: «Убери в свой, Марина. Это теперь твоя забота про мужа», — и послала ее в баню с Мокеем.

Мокей тогда вымылся, развернул чистую рубашку, взглянул на застегнутый ворот, молча, рывком оторвал две пуговицы.

Вспомнила Марина, как это было, и на лице ее мелькнула досада.

Дома сказала об этом свекрови. «Самой надо дога-

дываться — расстегнуть. Жене, да кланяться он будет. Не для того женился», — сказала при Мокее. По его самодовольной улыбке Марина тогда же поняла: она сама виновата.

И так же, как тогда, вздохнула сейчас и подумала о другом деле. Мокей не любит квасу, а воду для него к обеду носит отец с родничка. А ведь это надо ей самой делать... И Марина твердо решила носить воду, не дожидаясь, когда ей скажут об этом.

Солнце скатилось за крыши; сквозь синее облако торчали огненными пальцами догоравшие красные лучи. На конце деревни замычали коровы. Все поднялись встречать скотину.

Стоя у калитки, Афанасьич крикнул во двор:

— Мокеюшка!.. Кхе-кхе... Прошлись бы с Мариной до ужина, чего тут!..

На траву пала роса. Во дворах вечерние хлопотливые перестуки. Мокей вынул из кармана штанов беленький платочек, утер тонкий прямой нос, спрятал обратно, насыпал Марине в обе руки подсолнухов; пошли на конец деревни к хороводу.

Марина издали завидела Труху: в середине девок идет с гармонью; сбоку глянула на Мокея. Он тоже видит, торопливо грызет подсолнухи, плюет шелуху и, смеясь, говорит ей:

— Наглядывайся, вон он идет...

В смехе слышалось что-то нехорошее, Марина смутилась.

Мокей, не доходя до Трофима, повернул обратно. На берегу в хороводе горланили:

Пойдемте, девицы, во зеленый во садок,
Ай, люшеньки-люли, во зеленый сад гулять.
Нарвемте, девицы, хмелю ярового,
Наварим, девицы, пива молодого,
Ай, люшеньки-люли, пива молодого.
Мы пива напьемся и все пьяны будем...

На Марину вдруг напало желание повеселиться при народе, походить с песней по кругу с Мокеем, так же, как и все, посмеиваясь, помахать платочком. Но она не смеет этого сделать и молча идет за мужем.

— Мокеюшка, ты за что-то осердился, скажи? — спросила робко уже у самой двери в избу.

— Сама-то не смыслишь?..

В этот вечер Марина долго молилась, собирала мысли, как ей приноравливаться к мужу, как угадывать, что ему любо. Ей хотелось плакать, и она сердилась на себя, что не знает, как угадать его желания. Мокей лежал на боку, и перед закрытыми его глазами отрывками проносился нынешний день. Он был доволен, что не дал жене воли. «Надо и впредь ухо востро держать. Ишь, развеселилась!»

Раннее утро. Окна открыты. Дверь в сени тоже настежь. С утренним холодком в окна слабо, но приятно наносит запах цветущей липы.

Марина у печки, засучив рукава, учится на небольшом столике раскатывать ржаное тесто на лепешки.

— Маменька, пожалуй, не успеть столько лепешек испечь нашим косцам, — покос-от у нас большой.

— Поторопимся, а неравно и подождут, — отозвалась свекровь, — покос-от еще невправдашний. Да и чего там — полторы души на двух мужиков? Разделим лужок на все двадцать дворов, скосим на полоски, к другому поедем, за день и привезем по острамку. Потому, знать, в наших местах бабы не косят и пахать не умеют, — нас, Маринушка, родима земелька плохо кормит: песчаная, тощая, так одно званье — земли круг деревни. Придут праздники, базар кое-где; ежели наши мужики уедут торговать, глядишь — рублишка али поменьше, все барыш. Мать-то твоя, чай, тебе говорила.

Да, Марина это знала, но чем торгуют — не знала; ей тогда было все равно.

Феклуша поясняет:

— У покойницы, первой жены Яким Афанасьича, дядя троюродный в городу, он тоже покойник... Ну, так вот у дядиных лавка красная; остатки там, лоскут какой он и берет по сходной цене. И торговать-то он тоже у них наловчился; грамотный ведь он: гляди-ка, евандель читает, библию там. В приходе его почитают. Померла жена, оставила ему Мокея пяти годков, девочку Дашеньку семи; перво-то время и забросил он крестьянство, к ним ушел жить, к дядиным, а там женился на мне, опять пришел в деревню... Вот я тебе

и вырастила мужа. Отец к ремеслу его отдал было, строгать там из досок какие-то штуки. Гляди — в шкапу солоница новая: это Мокеюшка сделал; а больше он и не захотел. Тут тятенька и приучил его торговать.

Провожая глазами дым из печки в трубу, Марина задумчиво спросила:

— Маменька, отчего Мокеева мать умерла?

Феклуша достала из-под печки кочергу, загребла жар, посажала лепешки и уклончиво сказала:

— Вздумалось, знать, ей так, либо время пришло умирать. Да и все умрем...

Марина, поправляя на голове пучок, подошла к кривому зеркалу.

Афанасьич из сеней насмешливо крикнул:

— Что за молодая: не привезла свово, глядится в свекровьино. Кхе-кхе... Хоть бы от людей-то. Чего думают отец с матерью?..

Он взял Марину за плечи и придвинул к печке.

— Вот куда глядись, ядрена-калена... У вас только на посулах и хвастают... — кхе-кхе... богачи фабричные...

— Да, тятенька... — и голос Марины задрожал, — отец мне говорил: как будут деньги, пуще всего купит зеркало...

Феклуша от печки вороватo:

— Хи-хи... вишь, как услужает... А посулу, Яким, три года ждут. Пущай себе, авось мое не изглядит...

Поставила на стол стопку лепешек; сметана на тарелочку течет.

— Садитесь, пока горячие... Вы, Мокей, как ездили на побывку к теще, не молвили ей, беззаботные, оттоль гребешка — и то не дали.

Мокей слизал с пальцев сметану, толкнул Марину:

— Ешь, бери вот этот кусок. — И, хмуря брови на отца, буркнул: — Купят, дай срок, справятся. А ты бы, маменька, тогда настаивала.

Марина не раз уже слыхала насмешливые намеки и упреки. Не привыкшая к ласкам, считала их за заботу о себе и изо всей силы хотела угодить свекрови. Видела — Феклуша любит чистоту, и Марина старалась быть ловкой, проворно мыла, наводила порядок в

доме. Выстиранные рубахи, сарафан выкатает, вычинит, кладет свекрови на кровать.

— Убери, маменька.

И, поглядывая веселыми глазами на свекра, угадывает его привычку, так же покрывает ведро с водой «от нечистого» лучинками крест-накрест и на каждом шагу называет: «тятенька» да «тятенька».

Одна у Марины забота: не хватает чего-то в ее замужестве. Но улавливала за длинными ресницами ласку Мокея, и забывалась набегавшая порывами хмурь его; она чувствовала к нему нежность, и день ото дня он становился ей ближе, роднее...

И вот теперь сидит она в своем чулане на кровати, светлая, покорная. От шевелившихся веток за окном солнце играет на розовых наволочках взбитых подушек, положенных парно одна на другую. Светлый луч, задевая ее лицо, греет вышитый край полотенца, висит под образом...

Забывшись, Марина выпустила из рук осколок зеркальца, умиленно глядит на потолок, на широкую доску. На ней много святых, от давности потемневших, облупленных. Стала на колени у кровати, мигая, крестится, шепчет и кланяется.

Мокей неслышно подкрался к открытому окну, неожиданно крикнул:

— Что ты делаешь?..

Марина вздрогнула. Закрасневшись, сделала вид — чего-то ищет под кроватью.

— Хочу прибрать тут, Мокеюшка... Сапоги твои новы не найду.

Мокей подался в окно, ласкает глазами:

— Ладно, сапоги... Я видел, как ты богу ябедничала... Иди-ка сюда, одна малинка уже кра-асненькая...

Марина чувствует себя маленькой, счастливой девочкой, тянется к нему и весело, задорно смеется.

— Чудной ты только, Мокеюшка. Любо мне, вот бы завсегда так...

Петров пост. Дни солнечные, неторопливые. Вдоль Заковырина, поскрипывая немазанными колесами, еле тащится поджарая лошадь. Мужик в шапке свесил бо-

сые ноги, моргает кособоким избушкам и зевает во весь рот — не выспался. Марина у окна с шитьем: понадобились рубахи и портки мужу и свекру. В решетке палисадника мелькают картузы; это спешат на работу за реку в самоткацкую фабрику.

Не глядя в окно, Марина знает: после них идут другие ткачи и две девки-сестры, обе Дуньки; меньшую прозвали «Малышкой». Все расходятся к «заглодам» — дорабатывать основы на ручных станках.

Деревня Заковырино богата «заглодами», — думает Марина, пришивая пуговицу; трое имеют на задворках по фабричке.

На ум пришло ей житье у бабки в селе. Тетка Устинья, мотая шелк, плакалась: «Совсем заглоды, аспиды, заглодали народ, на-ко, сколько им отходит от нашей выработки!..»

Десятский в армяке и опорках оповещал:

— Эй, молодуха! Батюшка с поборами приехал. Скажи там своим старикам.

Марина встрепенулась, высунулась в окно. Ребятишки живо обступили воз, глаза таращат на попа. Из каждой калитки бабы плетутся с горшком либо с черепушкой, жадливо выплескивают сметану в поповскую кадушку.

Марина вдруг увидела: к воротам подходила ее мать...

У порога Марья отряхнула старую сатиновую кофту и бережно повесила ее на душник. Устало села на стул и торопливо гуторила:

— Эка даль-то какая... батюшки, насилу дошла... Ну, здорово живете, сватьюшки! — заботливо поглядела на Марину. — Навестить пришла. Как дела-то, молодайка? Привыкаешь?.. Гляди, у меня отца с матерью почитай пуще всего. Мокеюшка пошел куда-то, у ворот встретился...

Марина обрадовалась матери, не знала, что и говорить, взяла веник, заметает пол. Феклушка, обдергивая узкий в груди казак, покрыла стол новым столечником, достала из шкафика божницы связку баранок, мягко улыбнулась.

— У нас, сватья Марья, привыкать-то больно нечего, живем по-простому, впредовольку. Работой не за-

неволена. Марине жить да радоваться только. Недуг вот часто меня стал расшибать...

Марья удивленно подняла брови; серые глаза тупо посмотрели на полнотелую сватью, вздохнула.

— С чего бы это?.. Али спишь мало, али что?..

Афанасьич потер нос и, одернув кубовую рубаху, сладенько заговорил:

— Ты, Марья Петровна, достойна всякого уваженья. Мне с самого началу полюбилась, заботливая, а должок вот справлять мешкаете. Видишь, к примеру положить...— махнул рукой на стену,— у старухи есть во что глядеться... Имейте в виду: к нам посторонние ходят, а украшения чтобы,— нам бесчестно,— молодая не привезла...

Раньше Марина не любила мать за бестолковую брань; теперь, прислушиваясь к едкому, хвастливому голосу свекра, чувствовала, как до боли сердца стало ее жаль. Лицо у матери, истомленное, бледное, подергивается, она собирается заплакать и говорит виновато:

— Как можно забыть, сват!.. Истратились больно. Ночи не сплю от заботы, вишь, стосковалась. Впервой пришла, а вы тут...

И она часто заморгала, утирая ладонью покрасневшие глаза.

Утром, провожая Марью, Афанасьич долго и ласково прощался.

Довольный, что сам успел все выгвоздить сватье, заложив руки за спину, ходит по избе, распевает:

— Боже, паки увидел еси безумие мое и грех мой, и паки возвеселился дух мой...

Заглянув в судницу, кричит:

— Феклуша-а... де ты там?.. Я вот вижу у тебя на кринках дощечки две больно гожи, снесу-ка я их утри к Боговому... У Мокея с Мариной нет ангелов-хранителей, вог он и напишет им по образку...

Феклуша вылезла из подполья, устало и сердито брякнула на лавку корчагу со сметаной и заворчала себе под нос:

— Старый грех, на дню семь пятниц,— то бранится ни к чему, а то к богу за пазуху лезет...— А вслух

сказала: — Мало у тебя образков? Только деньгам перевод, да покрышек на горшки не напасешься.

Афанасьич рассердился, расшвырял за печку старую обувку, надел новые сапоги и кафтанчик, ушел к обедне в монастырь.

Мокей давно на реке удит рыбу.

Марина, домывая сени, выставила шайки с водой на крыльцо и, отжимая мочалку, вспомнила: свекровь, уходя куда-то, наказала: «Перемой, Марина, говядина там у нас осталась после свадьбы, да посоли, уложь в кадушку, спусти в погреб; в анбарушке вымети. . .» Марине надо торопиться, у свекрови глазки колючие. . .

Прямо над деревней незаметно повисла густая серая туча, заслонила солнце, и вмиг припустил ливень. Закрывая окно, Марина слышит — кто-то крикнул:

— На сходку даве повещали. . . Каки там дела, кто знает?

— Луга делить, вестимо. . Утре косить! . .

— Тычки припасай, косы! . .

В самый ливень в избу вошел отец Марины, Петр, большой, плечистый, и сразу заговорил:

— Фу ты, братец мой, я — от дождя, а он за мной.

Марина даже испугалась, подумала: недавно мать была, что-нибудь случилось нехорошее. Помогая ему снять мокрую бекешку, старалась говорить ровнее.

— На лежанку, а ты, тятенька, обсохни.

Афанасьич рад был гостю, с хозяйского места привечает:

— Ай да свет, Петр Лексеич, милости просим, каким это манером?

Утирая короткую бороду и усы, Петр, усмехаясь, говорит:

— В волость ходил паспорт менять и сюда надумал. Близ деревни совсем сбился: туда дорога, сюда дорога, где искать? А они вот тут и сидят, кулики болотные, за кочками.

Марина сразу почуяла: не по мысли свекру такие шутливые слова. Нос у него начал краснеть; морщась, глядит на отцовы отрепанные рукава и хвастливо кивает Мокею:

— Угости-ка, сынок, тестя, к примеру, согревательным, там я припас в божнице, яко в Кане Галилейской, кхе-кхе... Феклуша, обедать, что ль, аль что-нибудь дай...

И спесиво растянул ноги под стол.

Наливая тестю вино в стакан, Мокей усмешливо щурит глаза; голос у него сухой:

— Пей, тятенька, за этим добром в люди выходим...

Афанасьич побарабанил дрожавшими пальцами и намекнул.

— Ты вот, Петр Лексеич, говоришь — кулики мы. Вестимо, наше дело не с вами: вы — народ мастеровой, смышленый, да дело с вами водить барыша нет...

Петр с двух стаканов захмелел. Мысли ворочаются туже. Вспоминаются недостатки. Долг хозяйчику, — и неловко в пиджаке сальном, и смешно на задор свата. Водит голубыми глазами по избе, на образ усмехнулся.

— Молельня, словно у архирея... Ты, сват, небось, с богами все о барышах толкуешь... — Вдруг, сердясь, он нахмурил брови, поглядел на Якима в упор. — А мной чем недоволен? Или я у тебя что зажилил или плохо чего Марине справил? Сват ты мне или нет, по совести?..

Видит Марина: распалился свекор, как ужаленный, в чулан поскакал, оттуда вынес ее подушку, треплет перед носом отца, горячится:

— Это разве подушка?.. Тоща, мала... Мой дяденька, блаженной памяти, сноху приводил — подушки-то в подъем... в обхват... пуховые... А это? Соплей перешибить...

Потряс за уголок и на кровать швырнул.

У Петра ни в одном глазу нет и хмелинки. Мотает головой, посмеиваясь.

— Ах ты, кулик болотный, как есть кулик! У него там дяденька где-то, а ты кто, у тебя что?.. — Встал со стула, пошел к двери. — Эх, дела, дела, братец ты мой... До ветру хоть выйти, где у вас там?..

Говор смолк. В окна барабанит дождь. Печной медный душник светится, будто рыжий глаз кота Шустрого.

Феклуша с Мокеем куда-то вышли. В избе скука.

Стыдно Марине за свекра. Грустно за отца, и самой сиротливо; кажется ей — в семье все недобрые. Осторожным шагом подошла к столу, столечник поправила, да тут и присела. Спрятав лицо в фартук, тихонько заплакала.

Афанасьич в суднице. Намывая руки, гремит рукомойником. Где-то внутри взмыла жалость к Марине. Подошел и по-отцовски обнял за шею, унимает голосом сладким:

— Чтой-то ты, Марина, сейчас и разревелась?.. Ох ты, золото! Да разве мы тебе что?.. Для тебя все стараемся, а ты на-ко вот!..

Год первый замужний — год молодой, задорный, и было все вновь. Грустное навернется — уходит, скоро забывается. И Марине ли, веселой нравом и полной здоровья, грустить, когда жизнь впереди незнамая, неизведанная? Дни такие жаркие, звенят золотом спелой ржи, солнце всю захватывает лаской, жарит спину и голову, а колосья усатые, приветливо шелестя, кланяются.

И никто Марину не гнал жать, а вот самой захотелось — пускай свекор не хвастает. Взяла серп под фартук и на задворки за изгородь. Трава высокая, сочная; легко учиться жать. По первому разу навихляла руку до боли, другой раз обрезала.

Мокей увидал на руке замотку, пожалел:

— Надо было тебе.. И одним много ль там делов? Ступай вяжи за мной снопы...

Во ржи трескучие зудят чиркуны. Над головой порхают белые бабочки. Солнце жарит спину, печет голову. Пот по всему телу ползет струйками. Во рту сохнет. Через полосу цветущей картошки на жниве с серпами в руках гнутся бабы, мужики и подростки. Вырастают копны снопов, сложенные в кресты; там и тут в межах, завернутые в тряпье, плаксиво увякают ребятишки. Страда деревенская, летняя...

— Бог помочь вам, молодые! — крикнула Куропатка, останавливаясь с Феклушей на конце полосы.

Марина разогнула спину. Кинула серп и вытирает рукой крупный пот на лице.

— Плоха ноне рожь, тоща... — сокрушается Феклуша. — Ты гляди-ка, на самой широкой полосе нажали с дедушкой только семь хресток, а на этой и трех не нажнешь...

— Чай, не из годов бедовать, а завсегда-то много ль больше? — покорно вздохнула Куропатка, затыкая за пояс блестевший серп.

— А сколько, маменька, с креста ржи намолотишь? — спросила Маринка.

— Глядя — какая рожь, а то и меры не возьмешь, если урожай плохой. Мокеюшка, тут дожнете ежели, после идите к нам на зелены кочки, неравно полоску да клинышек ноне и выхватим... Бывать по ведрышку.

Заглоды с помощью безлошадных прежде всех управились со жнитвом, и возы со снопами заскрипели в деревню.

Пришлые на заработки молотильщики из малоземельных деревень дружно на заглодовых гумнах, вымолачивая рожь, затокали цепами: то-то мы... то-то мы...

Марина не умеет еще молотить. Прежде осмотрела свой цеп-палку: не больно толстая, лосная, — не мало побывала в руках... На конце прикреплен толстый здоровый ремень, к нему, что журавлиный нос, приделана дубовая тяжелая колотушка.

Взмахнет своим цепом рядом с мужем Марина, и выходит у нее однозвучно: то-ток..

Свекор покрикивает:

— Приноравливайся, как у всех! Бей, чтобы в лад: то-то мы...

Феклуша с граблями ворочала обмолоченные снопы. На гумне росла куча ржи. Афанасьич дергался в разные стороны и крякал:

— Кхе-кхе... маловато, балушка... Неумолотна рожь... Дай бог — с полторы души намолотить десятка два мер... Это на четырех-то едоков! На мельнице, ядрена-калена, останется с меры по пяти фунтиков...

— Ну... не гневи бога... у людей и меньше... — устало отдуваясь, брюзжит Феклуша. — Марина, опять свое затокала! Гляди, как я...

Марина смотрит на гумно Степана: там трое молотят по-другому. Посредине гумна вдоль прилажено на

старых пнях толстое бревно. Придерживая сноп одной рукой, колосьями на бревно, другой рукой колотят по колосьям скалкой.

— Цепов, что ль, у них нет, тятенька? — спросила Марина. — Так, пожалуй, вдвое тяжелее молотить...

Афанасьич вздернул головой, ткнул цепом в сноп из-под руки Феклуши, прикрикнул:

— Нашла время разговаривать. Кому как сподручно, так и прилаживается... А ты все как по макушке долбишь — ток-ток...

«И когда он только бывает на месте, злыдень? — думает Марина. — Весь измотается, пока страда, — овес поспеет, жать, молотить. А там придет время отаву косить, картофель копать, сучки из лесу возить... И останутся от свекра кости да нос»...

Солнце повисло над леском; появились длинные тени; ветерок принес вечернюю свежесть; с писком гоняются комары.

Провожая мужа на подторжье, Марина взглянула на свекра и чуть не рассмеялась. Не успели они отъехать от ворот, на улице показалась длинноносая старуха Гусиха; свекор вдруг скривил рот, и нос его побагровел. Натянув вожжи, злобно крикнул:

— Эй, Гусиха, старая карга!.. Ты что долг не отдаешь, колдунья? Во свадьбу еще лоскут на рубашонку взяла, нищенкой прикинулась, ведьма гундосая... Все позору ждешь, чорт бы тебя съел с требухой!..

Растерянно оглядываясь, старуха не знала, во двор ли ей обратно шмыгнуть или к Афанасьичу подойти. Кланялась вслед уезжавшим, гундосила:

— Отдам, родимый!.. Вот как перед богом провалиться, нужда все!.. — И в сторону Марины махнула рукой: — Ну, уехал, унес его бес, вот жила-то...

И Гусиха, рассмешив Марину и сама смеясь во весь беззубый рот, закрестилась.

Спать Марина легла в первый раз после свадьбы одна, свободно, по-девичьи растянулась, зевнула. Постель, казалось, по-особому обласкала возмужавшее крепкое тело. Ухмыляясь чему-то, распустила косу.

За открытым окном, в густоте сумерек, шелестят листья на деревьях. С неба ярко светит луна. Марина долго смотрит на далекие звезды. На сердце у нее тишина. Слышит: Феклуша заперла калитку, потом и дверь в сенях, похлопала ладонью подушку, прикрикнула:

— Шла бы ты, Марина, утре к Тихону на богомолье, баб с ребятишками много пойдет. Мокея там увидишь...

Марине почему-то вспомнился поп, в одной рубашке подошла к порогу, спросила:

— Маменька, чтой-то все про попа толкуют, сказала бы мне?..

Феклуша, зевая, покрестила рот. Накрывшись одеялом, негромко заговорила:

— Жаден он, поп-то, больно. Летось это было, в наш престольный праздник Пятницу-Прасковею... Базар также вот собрался у церкви, из других приходов народ понаехал. Посля обедни поп с дьяками пошел с крестом базар святить, доход в церковную кружку собирать. К нам подошел, я тоже в тот раз на базар пришла. Яким Афанасьич в кружку положил что надо. В руки попу дал два гривенника на всю братию; любит он ведь супротив других похвалиться. Попу мало показалось. «На церковной земле, говорит, торгуете, давай еще!..» Дело в спор. Афанасьич, не будь дурак, картуз с головы, крестится. «Не от чего дать: товару одна охапка да платков ситцевых десяток; а ты, — говорит попу, — выманиваешь, как цыган». Народ толпится, слушает. А платки, родима Маринушка, хорошие, цветастые, висели на шестике прямо над головой. Поп-от сдернул один, да и в карман... «Добром, говорит, не даешь — сам возьму». И пошел прочь брызгать святой водой по народу. Афанасьич крик поднял: «Глядите, православные, на глазах у всех поп платок украл... Будьте свидетели!» Дядя Селифонт из Худышина, — допреж он у нас старостой ходил, наша деревня совокупна с ними: «Неуж, баит, будем терпеть такого пастыря?..» Тут и все заорали: «Иди, Афанасьич, к благочинному с прошением, давно терпим от попа, многим он согрубил». И сам-то Афанасьич: «В жись, говорит, ему, косматому, не уступлю, до владыки дойду;

дайте, православные, приговор». Всем миром в ту пору и порешили: итти ему ходоком в Питер.

Марина села на порог, прислонясь головой к косяку, задумалась. Недоверчиво и с любопытством спросила:

— Питер этот, маменька, чай, далеко, поди, на краю света?

Феклуша, отмахнувшись от комара, сказала поучительно:

— До краю, родима Маринушка, пожалуй, будет подальше. Мы живем на самой середке. По солнышку видно: как полдень, сейчас и стоит над нашим Заковыриным. А ехал тятенька Афанасьич до-олго... Питер-от, баит, уму непостижимо: один дворец без малого с нашу деревню. Семь ден он выходил в ихнюю коцисторию святейшую. Хлопотал, до владыки бы его допустили. Ну, вышло разрешение к преосвященному архирею. Все едино, вишь, что владыко, что он. Стааренький, баит, старикашка, седой, и лик андельский, и клюшка в руках вся в золоте, с камнями самоцветными. Пал Афанасьич перед ним на колени и прошенье подал. Архирей благословил его: «Мир и благодать пускай будет над вашим приходом». Так и сказал и бумагу такую дал к благочинному — попа бы другого поставил. Вот и ждем. Теперя и благочинный то и дело шлет поклоны тятеньке, почет оказывает. Приход-от наш для попов больно доходный... Да вот утре пойдешь, увидишь. Ну, спать пора. Чу, петухи орут!

Чуть только заалело небо, Марина срядилась на богомолье. Красный сарафан, чтобы не хлопал по пяткам, подоткнула. Башмаки связала мочалкой, понесла в руках. День начался жаркий, тихий. В голубом платке, узлом на затылок. Марина, молодая, румяная, весело улыбалась на задорную птичью перекличку в лесу.

Прошла большую деревню Балаболино, ручную ткацкую фабрику, контору в три окна. Невдалеке блеснуло широкое озеро; свернула с дороги на тропинку к берегу. У самой воды наклонились густые ветви. Между ними на плотике куча людей; по воде гулко разносится церковное пение.

Марина догадалась: только что кончился молебен: попы гуськом сошли на берег, и сейчас же на плотике поднялась суматоха.

Бабы торопливо снимали с ребят рубашонки, швыряли их в озеро и тут же окунали ребят грудных и большеньких. Поднялся плач, визг. Рубашонки, взмахнув белыми и пестрыми утками, быстро садились на зелено-грязную воду и незаметно тонули.

— Шла бы купаться к плотику. Эй, молодуха!..

— Не умею, тетка, плавать, да и боюсь... — ответила Марина, подошла к ней и села рядом.

— Гляжу я, тетенька, и не знаю, зачем бабы рубашонки с ребят швыряют в воду, и сами в рубахах и голые бултыхаются. А вон эти, гляди-ка, на ветлы вешают, кои близко, — вон-вон... по сучкам-то лезут...

— Издавна так, молодуха. Пожалуй, и не помнит в округе никто, с коих пор. Сама-то я сирота, с бабушкой выросла. Еще только смыслить стала, помню, старая она была, с клюшкой по кусочки ходила, — мир нас кормил. Да не в этом дело. А вот, как подойдет этот праздник, Тихонов день, бабушка и зачнет мне рассказывать про свое житье-бытье: «Помни, дескать, Оленка, на моей жисти господне чудо прилучилось»... Жисть-то она всю прожила у попа стряпухой. Знает, как он чудо выдумал: вышел будто чем свет на улицу и видит на том самом плотике ребятенка махонького. Рубашонка на ем снегу белого, на головке венчик золотой. Поболтал он, баит, ножками в воде, распустил крылышки, окунулся и пропал бесследно, а рубашонка на плоту осталась. Поп-от и взял ее. Образок на ветлу привесил. Народ и повалил робят купать для здоровья, затем и рубашонки в озеро кидают, со всякой хворью, немочью, как поп велел. А уж вешают, сами, гляди, не знают — на что...

— А ребятишки, тетенька, после тово выздоравливают? А поп нешто один видел это чудо?.. — спросила удивленная Марина.

У тетки глаза стали колючие. Поднялась с места и строго так:

— Эх ты, молодо-пресно!.. Здоровья, знамо, всем охота, да бог мало кому подает... Теперь вот идет

слух нехороший: кутейники церковные балуют, граблями вылавливают эти рубашонки по ночам... Иная мать и новеньку кинет... уф, день-от нони больно жаркий, так и палит...

И, махнув рукой, баба пошла к церкви. Поднялась и Марина.

Солнце спустилось к реке. Марина отдыхает после богомолья на лавочке у палисадника. Посмеиваясь с мачехой, грызут подсолнушки. Поскрипывая новыми башмаками, девки в модных платьях, с казаками, идут к баням гулять. На задворке пискнула гармонь; парни туда же за девками, разноголосо подпевая:

Журавли вы долгоноги...
Не нашли своей дороги...

Напротив у Коровиных хлопнула калитка. В новом клетчатом платье вышла дочь заглоды, издали крикнула:

— Марина, пойдем гулять!.. Чай, скука сидеть!..

Марина скучливо позевала, думая, итти или нет. В глазах зарябила река, тихая, ясная. За рекой бескрайный монастырский луг. Так и кажется Марине, будто пахнет рекой и цветами, и ей хочется посидеть на берегу, поглядеть, как солнце спрячется за реку, и послушать девичьи песни, гармонь. Глянула на свекровь.

— Маменька, я пойду с Грушкой?..

Феклуша будто не слыхала, молча глядела куда-то в сторону.

Марина опять сказала:

— Я пойду...

На ходу о чем-то с Грушкой болтали и весело смеялись. Поодаль от бань сели на крутом берегу.

Сидят на лужке девки, грызут подсолнухи, к ним привалились парни.

Русокудрый, курносый, старательно выпевал под гармонь:

А мы шли стороной...
Боронили бороной...
Борона железная,
Поцелуй, любезная...

А вот поднялась пара, обнявшись, пошли к бане. Там визг и смех.

Марина такого гулянья не видывала. Сорвала травинку, помахала ею по лицу и, глядя на широкое веснущатое лицо Груняши, спросила:

— Чтой-то они ушли, зачем?

Груняша плутовато забегала глазами, посмотрела на Марину и засмеялась. Подумала: «Вот чудная, притворяется».

— Такой уж обычай: девка с парнем гуляет наособенки. А ты нешто не знала?

Марине это показалось нехорошим, зазорным. Она перестала смеяться. «Так же вот и Мокей гулял, и... все, все так...» Марина хрустнула пальцами, поднялась.

Груняша уставилась на нее.

— Нешто уходишь? Чтой-то скоро?..

— Так, уж домой надо.

Феклуша все еще сидела одна у амбара и думала: «Молодуху надо сразу проучить, ишь, самоволька»...

На пришедшую Марину строго посмотрела.

Марина поняла, свекровь сердится, и, глядя ей в глаза, нерешительно спросила:

— Маменька, воды, что ли, припасть на чай?

Феклуша, не ответив, сурово сжала губы.

В сумерки приехали с базара. Марина обрадовалась, встретила на крыльце Мокея ласково и крепко поцеловала, заторопилась разогревать самовар.

Феклуша многозначительно поглядела на гремевшую у печи Марину, важно расселась под образами на стульях, с мягкой усмешкой спросила:

— Ты, сынок, Мокеюшка, дозволяешь своей жене без тебя ходить гулять?

Марина сразу уловила в голосе что-то колючее. Екнуло сердце. Лицо мужа, до того веселое, дернулось, посерело.

— Нет, маменька, я ей ничего не говорил...

— Ну, так вот, родимый, я тебе объявляю: она без тебя ходила на гулянье; ты ей муж, теперь, как знаешь...

Слова мачехи дернули самолюбивую жилку Мокея. Он озлился, засопел, не глядя на жену, отвернулся к окну.

Марина не поспела возразить что-либо свекрови. Побледневшее лицо спрятала за печку.

Самовар закипел. Разливая чай, Марина робко поглядывала на мужа: не рассказать ли самой, как она ходила на гулянье?

Помешал Афанасьич. Убравши лошадь, вошел в избу, приглаживая лысину, рассыпал свой говорок:

— Слава те, Христу, вот мы и дома, кхе-кхе! Не торговля, Феклуша, ноне была, а торговлишка, хрен ей цена. Не народ стал, к примеру положить, — змеи летучие: боятся на пятак купить. Боговая баба на грех навела... На-ко, убери выручку...

Феклуша не спеша пошарила в кармане, вынула на медной цепочке ключик. Отперла шкаф, положила туда кожаный кошель, заперла, ключик опять сунула в карман.

Мокей молча выпил одну чашку, опрокинул ее на блюдечко, вышел из избы.

Справляя вечернюю уборку, Марина надеялась перед сном все ему рассказать, помириться. Мокей не стал ужинать, завозился в чулане.

В окно кралась ненастная ночь. В небе глухо гремело. Марина проворно оправила для мужа постель, любовно и ласково заглянула ему в глаза. Мокей швырнул с себя жилетку на окно, оттолкнул Марину, злобно прошипел:

— Уйди прочь, гулена, сволочь!.. — и уткнулся в подушку. Марина вышла на крыльцо, глотает обидные слезы. В ушах отдается впервые брошенное ей поганое слово и громкое постукиванье лбом об пол: это свекор в сенях молится богу, — сейчас с Феклушей уложатся спать...

— Марина... кхе-кхе... чего там? Иди... запру сени... — слышит она как будто издали.

Тихо прошла в свой чулан. Мокей лежит на краю кровати, притворяясь, сонно храпит.

Нахлынули тоскливые думы на Марину.

Плохо, плохо она сделала, теперь сама знает, без мужа не надо бы ей, молодухе, быть там, где девки с парнями. Но разве она это знала? Ну, как же ей быть?.. Вскинула глаза на потресканный образ, дрогнули мысли. «Господи, укрепи, научи...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЖЕНА ДА УБОИТСЯ...

Первый крепкий заморозок. Брезжит туманный рассвет. В холодном небе над Заковыриным, вытянувшись косым клином, летит стая журавлей. На крышах из труб закурился дымок. Резко хлопнула чья-то калитка. Закоулком торопливо прошмыгнули старик и какая-то девчонка. Трава, блестя стеклышками инея, хрустит под ногами. Закутанная клетчатой шалью, Марина остановилась у плетня. Проводив глазами поздний полет журавлей, пригнув сучок безлистного дерева, сорвала ветку что кумач спелой рябины. Кидая в рот по ягодке, подошла к бревенчатой фабричке, приплюснутой к земле соломенной крышей. От давнего времени солома почернела, местами спустилась, оставляя дыры, а местами желтела свежей соломой. Рядом с новым четырехоконным домом заглоды крыша фабрички казалась рваным зипуном на горбатой старухе. В фабричке тесно и сумрачно. Две лампешки коптят ржавым огоньком под серым потолком.

Сбросив с головы шаль на оконце и нагибаясь между двумя старыми стенами, Марина зацепила за гвоздь сарафаном. Всегда аккуратная, сейчас даже не взглянув, велика ли дырка, стала улаживать свой расшатанный стан, хмуря широкие брови, и вспомнила, как настойчиво доказывала дома, что ей необходимо научиться работать на стану не ради выработки, а так, на случай нужды. И не сразу она это придумала, а ночей десяток не спавши.

Работать никто в семье не умеет, и ей, пожалуй, не велят. Муж строптивый, набалован мачехой, ни к какой работе охоты не имеет. И когда, недель пять тому назад, Марина сказала о своих думах, он почесал спину, вычистил пальцем тонкие ноздри, заглянул ей в глаза и, усмехаясь, сказал:

— Ты правду нешто, Марина, ай нарочно?.. Хм... вот дуреха!..

Желая ее посмешить, погладил по голове:

— Разумная больно... И мне, стало быть, жить за тобой?..

Марина на этот раз не засмеялась и не обиделась. Твердо глядя на мужа, плотнее жалась к печке. Ждала, что скажет свекор: воля-то его.

Афанасьич захлопнул кожаную книгу, заморгал красными веками и, покрякав, сказал по-книжному:

— Кхе-кхе... Тут уж, сынок, неча вскую шататися во языцех. А я хвалю бабу за ухватку: во всякое дело, ежели к примеру... Только бесчестно будет — из нашего дома, а пускай хоть зиму поработает, потешится, и люди поглядят... Дескать, эва, не хочу пирога, давай корку сухую.

И вот сейчас за станом Марине кажется — слышит Феклушкин обидчивый голос:

— Пущай молодая отлынивает от домашних делов, а я бессменно у стряпни. Коли что, вы там и в приказчики бы который поступили. Без ее-то работы до сегодня, поди, не кормились... А там, гляди, и ребенок...

От мысли о ребенке Марина встрепенулась, одернув сарафан, провела рукой по округленному животу, подумала: «Ну, ничего, авось не скоро...» и, улыбнувшись, осмотрела шелковый уток, картон, ремизы. Затянула покрепче веревку двухпудового груза, налегая правой ногой на подножку, закачала и тут же обеими руками потянула ткацкую раму. Р-раз! .. — тяжко стукнула рама, и заскрипели, задвигались батаны, медленно повернулся навой с суровой основой...

— Слышь, Марина. Основу будешь присыкать, молви... я подсоблю коли... Вон и дедушке я присыкаю...

Марина оторвала взгляд от бегавшего впустую челнока, взглянула на стан седенького старичка Кускова, — вырабатывает он толстый, плотный молескин.

— Спасибо, Куличок... Там видно будет.

Вправила шелковину в челнок. Блестящий он, изношенный, затоньшал полозок. Подумала в починку бы его, к дяде Захару с Андреем. И опять качает ногой и двигает руками, внимательно следя, как деревяжка-погонялка водит челнок. Пощелкивая, бегает он от края до края, выкладывая шелковый манер на бумажной основе.

День, отмерив свои часы, пропускает в оконца сероватую мглу вечера. Станы постукивают устало. В помещении полутьма, но жечь огонь ткачи еще медлят.

Степан Куропаткин, отойдя от своего стана, положил ей руку на плечо, высвистнул через рассеченную губу:

— Дельная ты, Марина, баба складная. Мало время сгодя взаправдашная будешь ткачиха... Иди-ка домой к мужу, посумерничай...

— И вправду, дядя Степан, домой разве... — и, вскинув на голову шаль, Марина шмыгнула за дверь.

На улице изморозь. Зябко ежась, вошла она в избу и еще раз пошаркала у порога вытертые в сенях башмаки. Мокей строгал какую-то дощечку. На приход жены протер глаза кулаком и, как бы спросонья, лениво спросил:

— Ну, что, Марина, отработалась ай нет?

Увидев у него в руках инструмент, Марина обрадовалась — никак хочет работать?

— Как хошь, Мокеюшка, пожалуй, не пойду на засидку, утре доработать успею. Чижолая больно. Уток плохой, то и дело перебои, забракуют, гляди, основу... А матерья-то... эх!.. — и Марина щелкнула языком, — полоски шелковые и цветочки... Кто-то будет в таких платьях? — И как бы невзначай спросила:

— Ты, знать, за работку свою принялся? Вырезал бы мне какой ящичек...

Мокей засунул руки за пояс, прищурился.

— Ишь, захотела, на чтой-то он тебе понадобился?

Взглянув из судницы и плохо скрывая свое недовольство, Феклуша заохала:

— Ох, уж эта работка! Ни к чему, одно с нее беспокойство...

За чаем, поблескивая глазами, Марина рассказывает:

— Заглода наш Онисим в контору ездил к фабриканту в Балаболино. За основы денег привез, мужики сказывают.

Убирая в божницу восковую свечу, Афанасьич встрепенулся:

— Кхе-кхе... я уж того, невестка, схожу утре сам, к примеру, погляжу, как он там разочтет.

В своем помещении, тут же у станков, мусоля пальцами сальные бумажки и поводя грачиным носом, как бы обнюхивая, заглода роздал деньги ткачам на руки.

Зелененькую и несколько рублевых бумажек Афанасьич зажал в кулак и хвастливо подмигнул:

— Верно ли сочел... осина стоеросовая? Имей в виду, дома проверю.

Тощее безбородое лицо заглоды скривилось. Выкатывая белесые глазки, ехидно ругнул:

— А ты ладно... снохач... Туда же еще... бахвалится!..

Афанасьич озадачился: это его так при народе?

Дома, сбросив с себя ватную курточку, загремел счетами.

— Это, как же, сынок, — с Успенья две основы сработано, а деньги, вишь ты, мало? По скольку же за аршин дают?

Мокей только что пришел со двора. Прикинул в уме.

— В целой основе сорок аршин; по пятачку ежели за каждый, вон ты и считай, сколько за две основы, за помещенье отходит по копейке с аршина, полкопейки за топливо...

Слушая сына, Афанасьич смекнул барыши заглоды от ткачей и нетерпеливо дернулся:

— Ах, он колдун... сколько денег сгребает!.. Вот ты и гляди... Не работамши... А, каково? — Крякнув, он повесил счеты на гвоздик, одернул рубаху и истово перекрестился. — Ну и нам, слава те Христу, как раз на праздник.

У колодца бабы завистливо гудели:

— Ты гляко-ся, родима-а... Молодая-то у Ерцевых, а? Счастье людям, — ишь сколько нащелкала!..

— Да-а, бабоньки, им деньги к деньгам так и лезут...

— У нас наработают хоть на нужду-у... какой целковый... а тут сами торговые...

— У кого солдатчина подошла — забота, а им — и горя мало. Один сын... ослободился...

Афанасьич решил, кому ехать на базар в город.

— Так что, к примеру положить, пущай ты, Марина с Мокеем.

— Некрутов поглядите там, — шепнула Феклуша. — У приема жеребьевка, в солдаты брить. Бабы понаедут реветь, соплями кидаться...

День и ночь валил снег. Утром, чуть свет, выехали на санях. То и дело перегоняют подводы с рекрутами. Марина топорщится на своем возу, вертит головой, заглядывая в бабьи лица. Сонливые. Угрюмые. Безнадежно тоскливые. Равнодушные. За думами не заметила она, как въехали в широкую улицу города, и воз остановился на площади.

Мокей ловко сдвинул шапку на макушку, стащил с саней узел, растрепал ситцевые лоскуты на рогожу.

А Марина? Какая она торговка, — ни счесть, ни смерить. Стоит, на народ глазами хлопает. Мать ее в этот раз приехала с сестрой Химой. Впервые отроду Марина в трактире чай пила с ними. Калач купила за пятак на дорогу. Пошли к приему и туда же зовут Марину.

— Пусти уж, Мокей Якимыч, жену с нами поглядеть.

Лицо у Мокея заботно-веселое; он тряхнул головой:

— Мне что, пускай идет ненадолго.

За сбором на площади множество мужиков и баб со всех волостей, со своими рекрутами. Головы девок цветут пестрыми шалями; они провожают своих женихов, каждая с тайной надеждой на счастливый жребий для своего избранника.

Суровый, громовой голос вызвал рекрутов. Один за другим отрывались с места, неверно шагают на крыльцо. Последним скрылся за темной крашеной дверью длинный, тонкий парень.

Холодный ветер щиплет нос, щеки. Мужики хлопают рукавицами, колотят ногу об ногу... Бабы сморкаются, вытирая пальцы полой. У Марины озябли ноги. Переступая, незаметно отошла от своих.

— Ло-об!.. Принят!.. — грянул голос, и щекастый парень, как ошпаренный, влетел на крыльцо.

Марине жалко его и сиротливо стоящую с ним девку. Он совсем посинел. Держа в руке шапку, другой вцепился в загривок и безнадежно, хрипло взревел:

— Го-оден! Забрили, братцы, в солдаты. Пропади душа на семь годов... Шабаш!

И сразмаху хлопнул шапкой о землю.

Мужики, подбадривая, говорили:

— Ничего... царска служба... Она тебе погладит в зубы... угонит за край света... годов на пятнадцать!

— Придешь отмуштрован, спасибо скажешь солдатской выучке...

И тут же с крыльца, что петух крыльями, размахивая руками, курносый парень радостно захлебывается:

— Забракова-али. Негоден. Мать ты распречестная! Старому ай молодому богу молиться?

И затопал вприсядку:

И-их, гармошка-матушка...
Слаще хлеба-мякушка...

— Ох-х... слава те!.. Желанненький... воскресился, — пробираясь к нему, вздохнула радостно и шумно, отирая заплаканные глаза, рябая молодуха.

«Ишь ты, вот счастливая, не иначе — ладно живут...» Марина вспомнила про Мокея: думалось, итти надо, заругает, а то...

Из приема еще выходят рекруты — одни красные, бледные, выпуча глаза, шапки на затылок, другие с поникшей головой.

Сзади тетки слышен голос Дарьи. Оглянулась: идет с сыном Захаркой под руку, горестно вопит:

— И куда же мы тебя снаряжа-аем, соколик ты на-аш? И куда же тебя провожаем, кормилец ты на-аш?..

— Завыли, что коровы... Эх, дьяволы!.. Все одно околеете. Эва, семь годов солдатчины... Дождись кормильца!.. — гудит злой голос в бобровой шапке...

— Да полно тебе душу выворачивать, обормот!.. Прости осподи... — взвыла баба в ковровой шали.

В густой толпе неистово грохает бубен, звенят трензеля, ревут гармони. Марину потянуло в народ, поглядеть.

В кругу забритых рекрутов двое выбивались из последних сил, выделывая ногами на снегу хитрые кренделя и отчаянно припевая:

И-их, милая моя, я тебя потешу...
И-их, свою сумку и мешок на тебя повешу..

В толпе уханье, смех, присвистывания, а там, за народом, надрываются девичьи голоса:

Распрокля-атая маши-ина...
Мово дру-га утащи-ила-а а...

— Маменька! Тетка! Эва где вы, а я-то вас ищу! — обрадовалась Марина.

Поддергиваясь в плохонькой шубенке и моргая озябшими веками, Хима смотрит во все глаза на Марину, румяную, складную бабу, в пальто с серым воротником.

— Счастье твое, племянинка... Я все думаю... Солдатчины не боишься, муж не питуха: ни зеленого, никакого... он что девка красная... — на ходу тарантит Хима, завязывая шаль узлом назад. — Меня даже зависть берет. За что, Марья, вам бог дал?

— За простоту... А то за что же?.. — буркнула Марья, подпрыгивая от холода.

Марине боязно: прогуляла долго, и теперь затемнеют глаза мужа... И почему про это не думалось там? Вот Оганька ревет, убивается за Яшку... Стала бы она так за Мокея? Сердце молчало...

Еще засветло собрались Марина с Мокеем. Тридцать верст до дому, вряд только к полночи доехать.

Поднялась мятель. Марина засунула ноги в валенках поглубже в сено. Поверх плисового пальто сермяжный халат. Жмется к молчаливому мужу, ждет, когда чего спросит.

Двух верст не проехали, перегоняя пешеходов; вдруг позади крик:

— Э-эй, землячка, постой! Эй, подвези-и!..

На беду Марине бугор снегу намело на дороге, лошадь пошла шагом. Не успел Мокей нахлестать, два парня, размахивая полами, догнали, и оба ввалились в сани. От них крепко несло вином.

Марина узнала парней из своего села; сразу прошибла лихорадка, обожгло страхом: что подумает муж? Мокей обозлился: «Так смело навалиться на чужой воз!.. Чорт их знает, кто они такие! Вези-ка

двоих ни за что, ни про что! А все жена виновата...» Ему было жалко лошадь. Запотела, пар от нее валит столбом.

А парни спьяну Марину пытают:

— Ты что же это? Не узнала, чать, своих деревенских? Али с мужем едешь, зазналась, и ни слова не молвишь?.. Немая что ль?..

Один дергает Мокея за халат:

— Ты, парень, свояк, прокати, что ль, хорошенько. Ах, чорт, ишь, молчальник... А то слезай, сами будем править.

Проехали версты три. Парни озябли, спрыгнули... Мокей распахнул тулуп, непутем дернул лошадь, нахлестывая, где попало. Обернулся к Марине, а она молчит — ни жива ни мертва. Видит: лицо его посинело, глаза налиты гневом; шипит ей холодными губами прямо в лицо:

— Это что? Твои кобели, шленда непутная?..

Марина взмолилась:

— Мокеюшка, родной, это с нашей слободы чужие!..

Едва успела сказать, он со всего размаха ей кулаком по голове:

— Ах ты, подлая!.. Даже не спросилась, приманила. Пожалуйте, везите... То-то ты и убежать надысь от меня хотела. Ишь, тряслась до коих пор!.. Много у тебя их, гулена?.. Говори, сволочь!

Схватил ее за шиворот, трясет и бьет.

— Вот тебе, вот тебе, гулена! Знай...

Марина прикусила губы и вся задеревенела, — не чувствует боли.

А мятель все крутит и крутит злее. Ветер забирается в рукава, за пазуху. С воем встряхивает волосы из-под сбитой шали; снегом лепит в глаза.

Не слышит Марина ветра, не чувствует холода. Слышит, как дрожит ее сердце. Не от слов, не от обиды, а от страху за первый кулак. И ветер гудит в уши, будто выговаривает тетки Марфы слова: «Бойся, родная племянинка, первого кулака мужа; лихо ему осмелиться!..»

...Началось это после обеда. Мокей с отцом уехали в Худышкино на помочь — бревна возить. С этого часу до темна Марина от родовых схваток волосы на голове стала рвать. На ночь глядя пришел в гости дядя Демьян из Носовки.

Бабка Гусиха ворчала:

— В баню бы родильницу, Фекла Осиповна. Родить при чужом — попритчится, ежели глаз дурной.

— Уж не знаю, бабушка Авдотья, ночь больно, да и не топлено в бане, холодно!..

Глядит Феклуша на чистую дерюгу на вымытом полу и думает: «Загваздают теперь, — народ неаккуратный. Всяко и от родильницы...» И бабке на ухо:

— Сучки-то припасены там...

— Ну, и давай с богом.

Набросили Марине шаль на голову, пальтушку на плечи и повели на задворки.

В бане — два шага вдоль, поперек — полтора. На потолке висит сажа, в пазах — снежные зайцы. Феклуша кладет сучки в печку; дым весь валит в баню, вздохнуть нечем. От холода вдвое гнет Марину, распирает живот, некуда ей головушку приклонить... руками рвет ворот рубахи, кричит не своим голосом.

Подхватили ее Феклуша с Гусихой под руки. Сколько времени держали — самим невдомек... Так, стоя, и родила Марина первого ребенка.

Чуть живая, осунувшаяся, с провалившимися глазами, пошевелилась Марина на кровати, силится понять, как в чулане очутилась и зачем зыбка висит у кровати.

Слышит: шумит самовар, гремят чашки. Бабка Гусиха гундосит:

— Ну, дай бог и со внучкой... Отец-то не рад, знать, дочке...

Афанасьич приветливо крякнул:

— Хорош молодец, только девочки отец, как говорится, к примеру...

Марина проснулась, бодро повернула голову. У изголовья сидит Мокей; лицо его сладко улыбается, глаза смотрят виновато и ласково.

— Проснулась, Маруня-баруня... Возьми вон пискунью к себе, вишь, принесла какую!.. — кивнул на сверток под боком.

Шутливые слова мужа и ласковый голос не обрадовали Марину.

Афанасьич за столом долго рылся в святцах, ворочая листы, выискивая подходящую святую, именем которой и назвать бы новорожденную. Наконец, крякнув, он сообщил Феклуше:

— Тут три сестры великомученицы, имена у них сходные: Инна, Пинна и Римма.

Феклуша, хмурясь, прикрыла чашку и недовольно высказала:

— Мудруешь ты, дедушка, имена басурманские это, разве новый поп станет хрестить? И ни к чему нам такие мудреные!..

Афанасьичу думалось выхвалиться. Слово поперек не полюбилось. Поцарапал пальцем нос, с сердцем сунул на стол святцы.

— Дура, что ты разумишь?.. Книгу святые отцы написали. Попу скажу слово — имей, дескать, в виду — и охрестят Минкой... Все-таки особое супротив деревенских... Как ты думаешь, повитуха?

От неожиданности Гусиха вздрогнула, почесала грудь, утерла рот и угодливо помотала головой:

— Это дело твое, родимый, как знаешь. Ты ведь, что купец грозный, а мое дело повитушье. Спасибо за чайку...

На другой день Феклуша наставляет Марину:

— Чего лежать-то, родима, от лежанья только кровь застаивается, а теперь она в тебе разгульная, ей ходу надо, вот ты и похаживай, разгоняй ее. Ребятенка привыкай опрятать. Рубахи стирать время, дела-то рук наших ждут!..

Марина не смеет ослушаться, хлопочет рядом со свекровью у печки, стараясь во всем угодить. Ночью встает на каждый писк ребенка, кормит, укачивает. Не высыпается, голова кружится, ноги дрожат, трясется над корытом, торопливо отжимая рубаху, кричит:

— Мокеюшка! Качни, что ль, зыбку, я сейчас. Нешто не слышишь — плачет?

Мокей хмуро:

— Как же, возьму... стану руки марать. Где это ты видела, чтобы мужик да с ребенком?.. Ишь, пискунья... надо больно.

«Вот оно что! — подумала Марина. — Не знала, что мужики считают за позор взять ребенка на руки». И, раздражаясь, брякнула:

— И, подумаешь, ты барин какой! Завсегда руки свободные... Так-то и всяк дурак сумеет.

По лицу Мокея поползла серая тень...

— Это я-то дурак? Хм!.. Вот так ловко... Ай да жена! Сроду не был дураком, а жена обзывает... Спасибо... Ну-ну, ладно... погоди...

Сердито громыхнув сапогами, он ушел собирать воз на базар.

С полной кошелкой замерзшего белья Марина потрепала по улице, сзади подгонял ее ветер; у своего двора подумала — зря она обругала мужа.

За чаем Феклушка, охая, журила невестку:

— Прямо от корыта, горячая, да на речку!.. Рьяная больно — в полсапожках, небось. Долго ли ноги али еще чего застудить?

Афанасьич, нагрызывая щипчиками кусочки сахару, упрекнул:

— Кхе-кхе... К примеру... Кабы отец работу имел, сапоги в приданое дал бы... Мастеровщина пьяная...

Перезябшая, усталая Марина обиделась за отца: — «Вот уже второй год тревожат», — и заступилась:

— И вино вот отец пьет, и живет плохо, а все его на селе уважают...

Афанасьич заерзал на скамье.

— Распелась!.. Либо врешь, либо хвастаешь, кхе-кхе... Хвастуна, к примеру, не различишь с богатеем: всего много, от себя, дескать, сбираем...

Покраснев до ушей, Марина хотела крикнуть, заплакать, но сдержалась и, переложив Минку на другую руку, высказала:

— Врать-то мне надо больно... Что ли, я врала сроду или слову нету места?..

Разливая чай, Феклуша молча усмехнулась.

Мокей удивился смелости жены и равнодушно обронил:

— Надо было тебе перечить отцу?.. Разбойчилась!.. Сиди да помалкивай. Знай свой шесток — корыто и горшок...

Примолкнув, Марина проглотила обиду. Свекровь не замолвила за нее ни слова. Муж не заступился. Совсем одна она, как ворона в курином табуне... И первый раз почувствовала себя чужой в мужниной семье, ленивой, хвальбистой.

Никогда не была Марина такой вялой и убитой. Не радовало ее ни ласковое солнце, ни зеленая лужайка с веселым стрекотом кузнечиков, ни жужжание пчел; не веселило заботливое покрикивание баб на полднях: «Стой, стой, Красавка!..» «Ну-ну, не балуй, Пестрянка!..»

Горького-то горького немало на ее долюшку пало!

— Совсем у нашей молодухи норов изгадился: сопит, ни слова от нее, ни смеху... От робят, что ли, уж так?..— слышит Марина голос Феклуши.

— И правду, маменька, третий год лишь доходит — двое ребят; от них и за стан не сядешь и никуда тебе,— отозвалась Марина и про себя подумала: «Видно, в одной шкуре не проживешь, живи да приноравливайся...»

Только и радости — Ванюшка. Щечки и губки его розовеют, что морковка ядреная, нежная, глазки, что вишенки карие. С ним и новая работа, новые хлопоты. Обрядила сынишку в красную шапочку и фуфаечку, и, делясь своей забавой, Марина ластится к мужу:

— Глянь, Мокеюшка, что грибок-подосиновичек! Эх, да и хорошенький!..

Люб и Мокею сын, нередко подходит к зыбке, посмеиваясь, трогает подбородочек, гулькает. Да нет у него веры к жене, и не может он забыть слова «дурак» и, желая ей досадить, не глядя, качает головой:

— Хм... хорошо, да не в отца, а в прохожего, знать, молодца!

У Марины дрогнули брови; слегка побледнев, она улыбнулась.

— Ну что — не в отца... Словечка-то ласкового у тебя не найдется разве для сына?.. Тятенька с маменькой говорят: он весь в мать... вылитый... Нешто плохо? Ты и Минку не любишь; она в тебя, и носик дедушкин горбится. Гляди-ка, беленькая, хорошенькая. Оттого что мать здоровая, молошная, и дети крепкие!

Мокей не спускал глаз с жены. Спокойно смотрели на него карие глаза, и губы свежие вздрагивали. И тут же лениво подумал: «Может, и правду жена говорит...» и, довольный, пряча усмешку, ткнул ей пальцем в круглую грудь:

— Гляди, шут, — мокрая... молоко течет... На реку уйду, а ты няньчи...

В избу хлынул запах земли, шиповника — и говорливый бабий шум. У амбарушки, под кудрявой рябиной, собралась гулянка; слышнее всех голос Васенки Сороки. Подмывает и Марину выйти к ним.

Ванюшку укачала, вышла на улицу и сразу сощурилась от яркого солнца. Куропатка, кивая Марине, радушно промолвила:

— Примыкай и ты, молодуха, к нашему сборищу. Может, что хорошее молвишь?

От угла Куропаткиной избы показалась Стешка Кулик, издали кричит несуразное.

— Спорина вам на гулянье дай бог!.. Эй, бабы, ха-ха! Я ведь на богомолье ходила... душа выйди, не вру!..

Подошла ближе, потянула Гусиху за платок.

— Ну-ка, повитуха, подайся, я тут сяду. И чего я видела в монастыре, ба-абы, родимые!.. Вот смеху-то.

— Пришла это я вечор, — тараторила Кулик, — ко всенощной еще не звонили. Народ на кладбище идет, и я за ним. Вижу, с могилы этого святого песочек берут, кто в грамотку, кто в бутылку, либо в платочек узелком завязывают. И кружка тут, деньги в нее кладут... «На что-то, бай, вам песок?» — спрашиваю. «Ото всякой, вишь, болести исцеление, — монах сказывал... — отвечают мне, — у кого ломота в костях, у кого глаза там, зубы. У кого болят они, зубы-то, прямо тут и кладут в рот песок». Покуда я там ходила, памятники, хресты дорогие переглядела, отдохнула маненько, на могиле святого бугорка-то и нет: весь песок растаскали. Ну, бай, за ночь-то, гляди, и выйдут мощи, — полагают православные. Сама тоже песочку в узелок завязала. Ночь-от насилу проспала: у них, где странники ночуют, клопы больно заели. Рано

встала, да прямо к этой могилке. Вижу: все так же она, как вечор, — ямкой, а мощей чтобы — и знаку нет. Ну, поглядеть страсть как хотелось, как они будут выходить. Села я тут на скамейку под кустом. Солнышко стало показываться. Сижу, подремываю... До обедни долго, церква заперта... И только, родимые, идет монах высокий, в черной одежде, и борода черная, два ведра в руках с песком желтым несет. Высыпал этот песок на могилу святого и ушел...

Марина подумала: «Врет, поди, рябая кукушка...»

И Феклуша, подманивая к себе белявую Минку, недоверчиво усмехнулась:

— Заливай, заливай, Кулик!

А Стешка строго так:

— Вы, может, бабы, не поверите, а я перед истинным, вот на месте провалиться, — сама видела. И так же вот думаю: на чтой-то монах засыпал яму? А он опять несет. Подошла я к нему, спросила: «Где ты, святой отец, песок этот берешь? На что его сюда?» А он, родимые, веселый такой, засмеялся да прямо так и сказал: «Во-он там, за оградой. Видишь, на могиле весь растаскали. После обедни найдет народ-богомольцы, разберут и этот».

И Кулик совсем неожиданно загрохотала: — Ха-ха!.. Ловко ведь они, монахи... А бабы верят...

Афимья с Устихой враз закрестились.

— Осподи Сусе... Да чтой-то они, супостаты?.. А ежели святой их скрючит?..

— Неужели монахи обман делают и бога не боятся? — спросила Марина. Но вспомнила про Ванюшку, да в избу бегом.

В праздник «Мокрый спас» вся жизнь Ерцевых перевернулась переменой — почетом, и совсем неожиданно.

С утра Афанасьич ушел с мужиками в волость на сход. Перед вечером Марина со двора услышала голос свекра, выглянула в калитку. Мужики идут со схода, Афанасьич впереди, размахивая полами, с визгом ругает старосту:

— Имей в виду, православные, эстолько недоимки накопили! Ах, он, стервец!..

Марина удивилась: с чего это свекор такой?..

По ступенькам крыльца идет Афанасьич вразвалку. Смотрит на Феклушу, улыбаясь, крестится.

— Благодарение богу, Феклуша, старостой меня посадили на три года. Совокупно свои и худышинские мужики. К примеру положить, почет какой ни на есть, и жалованья, имей в виду, пятнадцать рубликов в год... А ты бы шла сапоги мне стащила, голова садовая...

С этого дня и пошла мимо Марины жизнь словно та и словно не та, как вчера и как позавчера... Феклуша озабоченно роется в сундуке, ходит по избе и квохчет наседкой.

— Рубашку надень, Яким Афанасьич, кумачову, на кровати припасена. И жилетку. Куда ее беречь? Коли что, в сундуке еще атласная, после мово Поликарпа покойника.

Собираясь к колодцу, Феклуша сделала перед зеркалом улыбку умильную и голову обрядила в новый барежевый платок.

— Старостиха вышла, гляди-ка...— кивали бабы.

— И не байте, родимы, нешто думано... я старостихой буду?

— Да, да, о восподи, хоть бы картофий-то уродился!— думая о своем, вздыхают бабы, подставляя линючие спины нежаркому солнцу.

Из года в годы идет так, никакой разницы не видишь.

Афанасьич пробирался по весенней теплыни из волости от старшины после душевного разговору. Поблескивая лаковым козырьком, картуз бодро сидит на его лысине; кафтанчик нараспашку, с лица он веселый, даже улыбается. Так и охота ему сказать хоть бы вот этим жаворонкам, певуньям поднебесным, или кустам при дороге, а может быть, и даже лужище, через которую он перешагнул: «Ладно быть старостой, ух, как ладно!.. Только, знамо, умеючи».

Улыбнулся Афанасьич, почесал под картузом,

вспомнил. Исправник — не кое-кто, лестно быть на примете. В гостях не сплоховал он, Афанасьич, поймал случай, сговорился с фабрикантом — высчитывать оброк с выработки. Тут и пошло дело. На лист бумаги выписал всех ткачей по фамильям. «Ерестр» вышел не плохой. В контору подал. А там и на самоткацкую таким же манером, с этаким с «ерестром». «Благодарение богу, — перекрестился Афанасьич, на солнышко глядя, — два года лишь старостой, время не видать, как идет, и не задаром. Недоимки скостил большую половину, что принял от прежнего старосты. Которых мужиков и в «холодную» пришлось посадить на трое суток...» Ну, что делать, ревели бабы, правда, и кляли на чем свет стоит: «Оставили, дескать, без рубах и сапог, — кричат, — подавился бы этим «ерестром». Ерец проклятый!..» Это его-то... кхе-кхе... кхе... Афанасьича... Кричали мужики, так же вот, к примеру, ругались где-то позадь сараев... Ну, да ведь надо иметь в виду — исправник-от что сказал? «Мозговитый ты, говорит, мужичок, — первый староста, что догадался собирать по «ерестру»...

Не спеша шагал, про домашнее думал. Дела, как есть, неплохие. Мокей, к примеру положить, идет по следам его, бога гневить нечем. Невестка Марина — безответная и работает споро. Ребятишки вот... Что ни год, то прибавка. Много ли времени прошло, а четвертый, вишь, в дороге. Не нынче — завтра бог даст. Многонько! Оно хошь бог-от на всяку долю подает, а все же, кхе-кхе... кто его знает... Домик-от подошел вот дешево, дурак мужик продал... бродяжить, вишь, ему лучше... Ну, а нам и слава богу: с барышом можно продать... В случае чего и Мокею с семьей угол готов...

Подходя к Заковыркину, поглядел на крайнюю избушку Кускова старика, мотнул головой: «Ослаб дед, не работает; из «ерестра» надо выкинуть. Худобу какую — коровенки аль самоваришка нет ли? — придется в счет поставить»...

Зашарил глазами по другим избам, в которых ткачей нет. У одних ворот мужик ладит телегу на новые колеса: увидал он старосту, плюнул «куда-то» — и сам за угол. Афанасьич пальцы в бороденку воткнул, подумал:

«Ишь, крутой чорт, и на старых бы поездил, на что-то новые переда завел»...

Через дорогу на глаза попалась старая борона, кое-где без зубьев, на плетне висит. У завалинки новая припасена, крякнул:

— Кхе-кхе... Тоже по осени придется в счет поставить за недоимку. Поборонят и на старенькой...

Бабка Гусиха, сутулясь, как-то боком проковыляла через дорогу к окну и суетливо поманила рукой.

— Выдь-ка, Марина, на улицу... Где Осиповна? Васенку на дворе муж бьет, ужли не слышите?

Марина испуганно прикусила губу.

— Чтой-то он, батюшки, вот наказанье-то!

Подхватила Настенку, да на улицу.

У ворот Пелагеи Лаптевой глазеют соседки. На дворе беготня, плач, причитанье:

— Микитушка, родной, за что?.. Азият ты, окаянный, хоть детей-то пожалей!.. Ой! смертынька, родимы!..

Марина поглядела на мужиков у ветел, взмолилась:

— Пахом!.. Юхим!.. Дядя Семен!.. Хоть бы вы поленом в ворота постращали его да поругали. Пропадает баба без заступы.

Шевеля бровями, Пахом оглядел Марину с головы до ног и, усмехаясь в бороду, сказал поучительно:

— Бог дал во владенье жену, надо ж коли и поучить...

— Каб душа у вас была, а то — голик вставлен... Хо-хо!..

Семен, кивнув на ворота, тоже высказал шутливо:

— Бьем ведь лошадь, пошто плохо везет, а почему и жену не побить, ежели захотелось? Бают: курица — не птица, баба — не человек...

Густое синее облако набежало на ясное весеннее солнце. Толкутся, гудят комары, пищат в уши жалобной песней, нагоняя тоску. И тоска темная, беспросветная обуяла баб; понурясь, побрели к своим дворам, и каждая тяжело вздохнула: жалко, жалко бойкую «Сороку»... А чего ты поделаешь, коли бог наделил долей горькой...

Вдали блеснула зарница; ветерок затрепал, зашумел по деревьям. Спустилась теплая синяя ночь.

На этой же неделе вышла Марина к колодцу. У баб переполох. Бегают от ворот к воротам, шепчутся, головами мотают. Бабка Гусиха у колодца, соскребая слезы с морщин, рассказывает:

— Васенка-то... ведь убежала, родимы бабыньки... Реве-ет... воем-воет тетка Палага... Третий день, баит, нет Сороки... Зять-от Микита ждал-ждал, вишь, не придет ли, а утресь, баит, поехал искать к матери ее в Пупыркино, за реку.

По дороге, поднимая пыль, во всю прыть проскакали мальчишки; куры испуганно шарахнулись в подворотню...

Минка под окном, дергая свою косичку с мышиный хвостик, орет во весь рот: «Ма-ма! Хрестинка!..»

Ванюшка прибил ее прутом и, облизывая сопливые губы, залез на свое любимое местечко под стол и поет свою любимую песенку: «Па-аю-уда-а...»

Пришел Афанасьич, разозлясь на мальчишек за то, что оборвали цветки на рябине, шагает по избе, ругается.

— Разорались, чертенята... что содом подняли. Ишь, дьяволенок, куда забрался! — кинул взгляд на Ванюшку. — Феклуша-а! — заглянул в судницу и, увидя Марину, вытряхнул свое зло: — Живо шугану всех за реку в избушку, ядрена-калена!

Свекор ушел. Стук шагов его проглотила калитка. У Марины защемило сердце.

С тех пор, как купили какую-то избушку, сколько раз свекор грозил их выгнать! А вот надысь поругались с Мокеем. Да и как не поругаться? Каждый год, с тех пор, как ее привели, — семейные усчитывали, есть ли за год прибавка в дому, и всякий раз оказывалось — что-нибудь да остается. А к летошней пасхе — на-ко вот! — не дочли даже рублей полсотни. Все передумали... переворотили. Ситец штуками уже возили возом. И базары были частые, и дома лишнего ничего не заводили. Никуда не тратились, а нехватка получалась. «Дело не спроста», — крякал тогда свекор. Шушукался с Феклушей и ругался. И нос у него краснел, как

свекла. А Марина была спокойна, непричастна она к этому делу. Деньги в шкафчике. Ключик у свекрови в кармане... Мокей нешто?.. В брани свекор кричит:

— Что кривишь рыло, чортов сын?

Мокей, — как сейчас видит Марина, — даже позеленел весь.

— То-то, — говорит отцу, — ты на чорта и похож!..

Упрямый Мокей: где бы смолчать, а он нарочно нос задирает да хихикает, чтобы позлить.

Грустно было Марине в праздник. Свекор все бранится с Мокеем и злится на нее. Так уж, видно, с Феклушей порешили: в нехватке денег виновата сноха. Ну, что же, правда ни в год, ни в два узнается, пускай, — люди разве не увидят?..

Марина выглянула на улицу, — беда, знать, у кого... Ребятишки неизвестно откуда взялись, воробьями полетели на крик к Лаптевым. Марина хватилась своих ребят, вышла поискать. У Лаптевых набилось полон двор людей, кто-то машет руками, кричит...

Приехал Кержак из лесу, да прямо сюда... И вот... А почто-то он в чужой двор? Случилось чего? Микитка с Сорокой в гости, чу, поехали...

Юхим вышел из избы встревоженный и сердитый. Гусиха выскочила ему под ноги.

— Мертвеца, бают, ты привез... Юхим, кормилец, скажи толком...

Юхим, хмуря брови, потряс бородой.

— Ну-те-ка, дай срок оправиться.

Он снял шапку, вытер мокрый лоб и бороду, покашлял:

— Вот теперь и расскажу, на какую оказию, едят мухи, для праздника бог навел... Надрал я это в лесу моху, в одном месте, думаю, еще нет ли где, поискать. Только слышу — вроде вопит кто. Сова либо филин, а может, думаю, чья душа грешная мается. Жуть взяла, задрал лошадь к дороге, домой штобы. Опять слышу, жалостно так рычит. Схватило за сердце, что, заедят тя мухи, думаю. Похрестился да тронул на голос. Издали вроде шишига представился. Подъехал ближе. Батюшки, да ведь это наша Сорока у муравьишника к елке привязана! Ну, бабы, едят вас мухи, мужик — мужик я, а и то весь сомлел, глядя

на нее. В одной рубахе она и чисто вся искусана муравьями... Веревку топором скорее, да ее на руках и оттащил. Кто тебя, говорю? А у нее уж силов нет сказать, что. Едва понял. В гости, вишь, лесом поехали. Микита связал ей руки, содрал сарафан, да и к елке. «Это тебе, баит ей, за то, — не ходи на сход». Сам взял и уехал один. Поискал я там сарафан, да, видно, с собой он захватил. Вот и все, едят вас мухи с комарами... А вы тут — мертвеца-а!..

Подошел канун праздника «казанской». Знойный день клонился к вечеру. Прибранные, в чистых сарафанах, крестьянки собирались против старостиной избы на бревнах покалякать о своих делах.

Подошла и Марина с грудным на руках, и повитуха Гусиха подкатилась:

— Послухать, баю, про что на сходне ноне будут гаметь.

— И слухать неча, пока бороды обкусают, — махнула рукой Куличиха, — вишь, набычились, мозгуют.

Старики и глота шумели, — молебствовать для праздника надо, мужики которые не согласны, — на подати, вишь, деньги нужны. Неизвестно, до чего бы догамелись, негодно пришлось решать необычное дело...

Близко к окнам изб понуро, но решительно шагала Васена Сорока. Вскинули бабы глазами, вздохнули. Домна Заглодина, догадываясь, зачем она, усмехнулась:

— Ума, знать, решилась Сорока, и в завету нет, чтобы на мир баба выходила.

— Донял муж до печонки, вот и вышла, — огрызнулась Кулик.

Лицо Васены посинелое. Черный платок в нахмурку, сарафан теткин. Стала близ мужиков. Скорбным взглядом обвела сход. Голову виновато клонит к земле и тихим голосом просит:

— Заступитесь, православные, моченьки нет, обороните от кулаков мужа... — И слезы в три ручья по щекам, и ждет слова доброго, крепкого.

Опешили мужики, все знают про озорство Микитки,

сидит он тут с краю на бревнах, весь красный, и прячет глаза под лохматые брови.

«Дать ежели его бабе потачку, — думают мужики, — каждая затем на мир пойдет...»

Заскребли в затылках, глядят на Сороку. Брови круто сведены, губы крепко сжаты... Развели руками, — что ей молвить? Как тут быть?..

В каком законе про бабу написано? Дядя Маркел глаза в землю воткнул, поцарапал макушку, нашел.

— В церковной книге, бают, написано: — муж венцом венчан законный, и над женой его полная воля...

Выдавил такие слова и бороду погладил.

Дедушка Кусков, седенький, юркий, выставил вперед руки с кривыми пальцами и тоже подпел:

— Сам осподь бабу возлюбил. Свой хрест повелел носить ей со смирением. Вот что батюшка поп сказывал.

«Что это они все про одно ладят?» — думала Марина, и тянет ее к Сороке, одиноко стоит она у обглоданной ветелки.

Обнять бы Васену за шею и ласково пожалеть, — не горюй-де, родная, ты не одна обижена... некуда бабе податься. Смотрит на свекра-старосту — неужели не заступится?..

Пощипывая реденькую бороденку, он испытующе смотрит на сход и тоже руки развел, словно кожаную книгу раскрыл и в тишине резким голосом проскрипел:

— Что может сход порешить, ежели святой апостол при венчании гласит: Аще жена да убоится своего мужа, яко единая плоть его. Ну так вот, православные, имейте в виду, по писанию так и понимать надо...

Стешку Кулика словно жаром подхватило, махая руками не хуже мужиков, загамела:

— Глот ты, дядя Маркел... Не затем Васенка вышла за Микитку, да вы заставили. Глоты вы все, долдоны сиволапые... Все глоты...

На подмогу Куличихе подкатилась Настюха.

— Постой-ка, ты не так баишь, я сама. — Вы, православные, указали бы, где правду искать. Моченьки нет — тяжко жить. Коли Васена вышла на мир! по-богову-то, мы и сами знаем да мало толку видим.

И все бабы разом зашумели позадь мужиков.

— Та-ак. Вота!. А то ишь там!.. У бабы души нет, голик, бают...

Раскоряча ноги, поднялся Микитка, отвесил низкий поклон мужикам.

— Спасибо, мир честной!.. — И, ковыряя в носу, подошел к жене, угрюмо позвал:

— Идем что ли домой... Хуже пьяной на люди вышла!..

У Марины закружилась голова, показалось, что всех словно громом ушибло, стоят остолбенелые.

Дома Марина по-особому, боязливо посмотрела на мужа...

Феклуша за печкой сердито и шибко поворачивает:

— Цацкаются... Только и знают — родить да рядить. Напасись добра на такую яму проваленную!

Марина сидит у перегородки чулана, грудью кормит Володьку. Укор попал на больное место: не сладко ей достаются дети. В груди завозился озорной червяк. Сама, не сознавая как, язык распустила:

— Что ты говоришь, маменька? Нужда, что ль, какая застигла от детей? Али мы с Мокеем положа руки сидим? Гляди-ка, сундуки у тебя пухнут от добра, платок — не платок носишь, — заграничные все.

От помину про сундук Феклуша так вся и загорелась. С кувшином в руках вышла из судницы, сверкая глазами, повысила голос:

— Ты мне, сношка, не указка... Глядела, что ли, видела в моем сундуке?

Марина не уступала:

— Видела. Ты забыла закрыть, а я поглядела: наверху два платка новые.

Сказала и ушла в свой чулан. Раздумалась: не в платье ведь дело; надо бы ей про деньги сказать, да не сумела. Ну, думает, знать так греху и быть.

Пришли мужики из поля. Феклуша на дворе дожидается.

— Гляди-ка, Афанасьич, по сундукам у нас лазают, житья скоро не дадут...

Тут и поднялась пыль до неба.

— Во оно, фабричное, змеиное, ваше отродье! — кричит Афанасьич, ничего не разобравши. — Духу чтобы вашего не было, сундучники!

Мокей словно этого только и ждал.

— Не ори, — говорит, а сам весь дергается, — тоже разозлился. — Ничего твоего не брали, да и не возьмем.

Думал этим сгрозить отцу, а он бегает по избе и по двору, всех чертей собирает, кричит:

— Поживи, иди, чортов сын, — избушка давно дожидается.

Марине бы надо в ноги пасть свекру со свекровью, прощения просить, а Мокей сгоряча сходил за чужой лошадью. Обнялись с женой последний раз на дворе, да оба и взревели. Девять годов прожили, как поженились, и грустно покидать отцовский дом. Положили на телегу сундуки — приданое Марины, посажали ребят и выехали — один сын у отца, наследник, сам-шестой, без всякого надела...

— На мир бы шел... Куда ему, старику? — жалевши, кричал сосед Степан.

Маркел гудел:

— А где такой порядок, — из деревни бы выехал и надел с тобой? Мокей-то... может, он и по доброй воле...

Марина задворками пошла: непереносно ей встречать жалостливые взгляды и поклоны деревенских.

За околицей Гусиха кричит:

— Прощай, Марина Петровна... Поклон тебе от Васены. Дай-ка я провожу тебя... Знаешь ай нет? На богомолье она ведь, Сорока, ушла... Гляди-ка, кинула дом, детей... Пошептала мне в утайку: «По всему, вишь, свету буду странствовать. Тут уж, баит, нету воли мужней; нельзя сочесть беглой, чтобы по этапу гнать. Богу молиться — нет никому запрету». Вишь, она до чего дозналась!

— Стало быть, ей, бабушка, лихо больно, — грустно сказала Марина. — Жить после того, что было, с мужем как же тут?

Марина уже отъехала, а старуха все стоит, как побитая грозой ветла на перепутье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗАМУЖЕМ ПРОЖИТЬ—НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Когда въехала в свой новый дом в слободе Макаренко, захолонуло у Марины сердце: тесно, черно и неуютно после вдового мужика Мелехи — пьяницы. Печь большая, обломанная, за печкой заулочек с разным сором и рухлядью. На закопченном потолке неприглядно торчит ржавый крюк, на случай зыбку повесить.

Облокотясь на стол, полный щелей, долго сидела Марина на скамье, — с тревожным недоуменьем в карих глазах, — обдумывая, с чего начинать новую жизнь. Мокей успел захватить от отца узел лоскутков да плохонький самоваришко — вот и весь достаток.

Продали на харчи шаль большую — Маринино приданое. Не спится Марине по ночам, гадает она, чем ребят накормить. С мужем каждый раз перекор.

— Селедку давай ноне купим, большая, семь копеек стоит, голову можно во щи, — почесывая за воротом, заговорил Мокей.

Не согласна Марина, трясет головой.

— Баранок лучше купим, на копейку только дороже. Разделим ребятам, а нам как-нибудь...

Полезла рукой за рубаху, почесала спину, брезгливо показала Мокею:

— Гляди-ка, нужда да забота вошью напала, — никогда этого не было. Неужели не справимся?

На улицу Мокей вышел смело в праздничном кафтанчике, от своего угла напористо посмотрел на соседние дома, ровные, опрятные, под тесом.

«Соседи хорошие, — думал, — дельные набойщики и тамбурщики, и место хорошее: со всех деревень с моста через реку — дорога одна по слободе».

И мысли Мокея, забегая вперед, предвидят деловую толчею на конце Макаренки. Заломив картуз, потер он крутой лоб, смотрит на крышу свою: труба развалилась, дым не идет.

— Здравствуй, сосед наш!.. На владение свое любуешься?

Мокей обернулся. Перед ним стояли соседи — набойщики, братья Круглины... Меньшой, чернявый,

тщедушный и ростом невысок, почесывая шею и пряча глаза под ноги, звал:

— Идем, что ль, Сергей?

— Сейчас, Мишка... Да ты ступай сам, — кивнул старший брат.

Не отвечая на привет, Мокей хотел показать, что он не кто-нибудь, а настоящий житель. Пощипывая подбородок, непринужденно ответил:

— Да-а... Вот гляжу, стройку надо заводить, скучно так-то без двора.

Сергей чему-то засмеялся, так что Марине, рубившей у сеней сучки, послышалось — блеет где-то овца. На слова мужа горько усмехнулась:

— С пустым-то местом построишься! Хвастаешь, как отец...

Опять продали платок ковровый и два шелковых. Принес Мокей обоев дешевеньких и мелу кулек. Подергивая щекой и принижая веселый голос, сказал:

— Ты, мать, тут с уборкой — ладно? — как-нибудь без меня. А я в город поеду с кабатчиком Левоном, зовет для помоги.

Кольнуло что-то Марину, с досадой заворчала:

— Ладно, авось и сама управлюсь... Вон одежонка твоя за печкой, чего ищешь?

Хватилась ребят, — куда убежали. Выглянула в окошко боковое: трое под окном, на усадьбе чужой у дубка молодого играют. Тут же и яблоня растет кривая, в пустоцвете. За изгородью, у соседнего колодца ребят целая ватага, там слышен и Ванюшкин голос.

Принимаясь за уборку, поглядела на себя — словно кубышка, толстая, круглая. К утру потолок был побелен, засветились и стены светлыми, розовыми обоями. На вымытых окнах из желтого ситцу занавески на две стороны повесила, и засмеялся солнечный луч по избушке, зайцем играя на зеркале в простенке...

«А народ-от, гляди-ка, снует мимо окон то в картузах, то в платках... И откуда это, батюшки? — дивится Марина. — Знать, им делать нечего. Суета какая супротив Заковырина!»

Мокей ей всю дорогу толковал: рядом с ихней усадьбой платочно-набивная фабрика хозяина Ва-

ляева. Затосковало сердце по фабрике, по фабричном шуме.

Взяв ведра, к колодцу пошла, потянуло на усадьбу свою взглянуть. Тут и там мусор, черепки накиданы, крапива до подоконника растет. На другой полосе усадьбы избушка Сидора — соседа — задом стояла к их избушке, так что эта половина усадьбы тянется до самой улицы. Заглянула Марина на дворик — на кособоком крылечке стоит Сидорова молодая жена Нюшка, тут и теща его грузная, старая. У крылечка высокая стойка вроде скамейки. По краям острые шпильки. На шпильках нацеплен платок большой, цветистый. Тут же висит моток шерсти. За стойкой сидят в плохоньких рубашонках мальчик и девочка лет семи. Вытянут из мотка нитку шерсти и проворно так худенькими ручонками навязывают на край платка бахрому в три клетки.

— Ах и мать ты родная, да какой красивый платок! — ахнула Марина.

В своем домишке Марина разгоревалась — пришел ее час. Мучась на лежанке, вспоминает Гусихино слово: «Трудна гора — бабьи роды, да забывчива». И вот пятый раз приходится одолевать эту гору, добытую без радости. А ночь такая долгая, сумная, лишь к утру по избушке залился тоненький крик: «У-ва-а-ва-а!..»

Перекрестилась Долдониха-повитуха, высоченная, сказала приветно:

— Вот и прибыль в новоселье. Сашкой, поди, назовешь ее?

Марина только рукой махнула нерадостно.

— Пускай как будет... Надоели больно, баушка: что ни год, то сосунок... На печь бы мне, озябла я.

И только бы Марине отдохнуть, соснуть, пятеро глоток:

— Ма-а-ма-а! Ма-а-ма-а!..

Мокей приехал из города вечером. Мимолетно взглянув на стены и люльку, равнодушно сказал:

— Чтой-то ты, Марина, поспешила распростаться! Не успел оглянуться, — и прибыль, и новые расходы...

Марина, бледная, упрекнула:

— А ты ишь какой легкий! Не болит, не горит у тебя. Что бы спросить, как я тут одна-то, да пожалеть... — И, проглотив обиду, села с ним рядом на скамейке и заботливо спросила: — По-хорошему, что ль, разочел Левон? Ведь долго с ним ездил...

Взглянув на Ванюшку, спавшего на краю печки, Мокей сердито швырнул сапог к порогу и нехотя ответил:

— Считаться с Левоном не приходится... Такой человек к хорошему разу годится. Лошадь дает торговать ездить, да еще три рубля... эва на столе, возьми и помалкивай...

От стен пахнет новыми обоями, а от белой печки — сырой глиной. Над ошостком сохнут рваные рубашки; на полу восемь ручонок ковыряются в плошке с нечищенной картошкой. Мокей смотрит на свой выводок, ковыряет в носу и упорно молчит.

Раздражаясь, Марина толкнула его в бок.

— Что же ты, Мокеюшка, молчком сидишь и бог знат чего думаешь?.. Радостно, что ли, мне? Ворота бы нам поставить, загородиться с улицы... Давай продадим мое пальто атласное с куницами, да амбарушечку бы рядом с воротами...

Мокей сразу оживился; серые глаза вспыхнули лаской: угадала жена его мысли... Тепло поглядел на нее, забормотал:

— Что ж, давай, у тебя их два пальто. В сундуке будет просторней... А там бог даст...

А Марина все думает: куда потянуть три рубля? Горшков нет. Корыта нет. Да и мало ли еще чего нет? Чашек чайных тоже только две.

Утром солнце по привычке заглянуло в избушку.

На Поповку надо сходить: кашу варить не в чем. Завязывая трешницу в уголок носового платка, Марина сказала дочке:

— Минка, ты никуда не бегай, сиди у люльки, качай Саньку, я на базар уйду...

Высовывая из-под одеяла худенькие ноги, восьмилетняя Минка захныкала:

— Да-а, мам... Ванька и Володька драться будут... кричать...

— Не будут. Вон веревка, — приду, отжарю...

Идет Марина по слободе и примечает, кто где живет. Напротив них, через дорогу, — Авдей Лысый с женой Натальей. Наискось в трехоконном старом доме живет мытельщик Лука Жилкин, молодой и пьяница. Жену его зовут Аленой. На задворках у них — избушка в два оконца Катюшки Крупы. Дверка худых сеней приперта колышком... Рядом с Нефедовой избой новый дом Кузиных. Часовенка среди улицы, против кабачишка Левона.

Неподалеку большой серый дом хозяина Семёна Семеновича. Видела его раз Марина, — высокий он, тонкий, нос «пяткой», на носу синие очки. Глаз один бельмистый. Противный вдовец. Рабочие его одни татары. На задворках, за речушкой, виднеется его химический заводик. Еще-то и некогда Марине разглядывать. Торопилась.

До Поповки близко. Улица там прямая, и лавки со всячиной. Купила два горшка, крупы осьмую меры, луку зеленого на три копейки целую охапку. Захотелось другой улицей пройти, посмотреть, что за Поповка такая. Идет, торопится. На дома смотрит. Немало их здесь больших да хороших. Догнала старика горбатого, указала на большой желтый дом, спросила, чей такой. Старик снял шапку, поглядел на нее и тоже спросил:

— Видать, не здешняя ты, молодица? Это не дом, это дума. Понимаешь — дума?.. Староста здесь, городской голова, стало быть, чиновники какие, церковный староста, полицейские. Все тут сидят и думают, да с делами управляются, а раньше ты прошла — больница белая... Трахтир большой «Завей горе». Прозвание такое по особому событию... Только мне надо итти, я уж пойду за обедню.

Марина свое думает: нашел ли Мокей плотников — дворишко обстроить бы, а там уж как-нибудь.

— Эй, хозяин важный!.. Выходи колодец чистить... — крикнул сосед, и новая калитка Мокеевых звякнула щеколдой.

Убирая на новом дворе метелку за крыльцо, Мокей усмехнулся:

«Вот те и обстроился. В чужой деревне стал наряду с людьми... — Почесал спину, посмотрел на солнце — невысоко оно забралось, — подумал: — Надо ли итти? И другие воду берут... Нет, уж пойду, колодец рядом, что свой».

Мужики недружелюбно поглядели на Мокеево худощавое, тонконосое лицо, на латаные штаны его. Авдей Лысый поставил ведро, посмеиваясь, погладил желтую, точно мочало, бороду:

— Да ведь он домосед, сосед... Это наше дело — на фабрике. Ну, а тут для праздника...

— Тут ручки можно и в брючки... — угрюмо ввернул Мишка, глядя в сторону.

Мокей дернул щекой, подвинулся к нему ближе, засмеялся в лицо:

— А ты дело делай, благо взялся, — работник, соплей перешибить... Марина, вынеси два ведра и сама выходи...

Марина на дворе с ребенком на руках развешивает на жердочку мокрое лаханье, радуясь на свое хозяйство, думает:

«Что там одежа, коли есть амбарушечка, как хотелось, и банька из старых бревнышек у задних ворот окошечком на усадьбу поглядывает? По двору петушок с курицей погуливают. Ребятишки, перемытые в баньке, на солнышке в песке копаются».

Настёнка, беленькая, миловидная, четырех годков, вырядилась в дипломатишко, рукоделье матери, засунула одну руку в карман, другую за пазуху, как это делают девки, и поет ребячьим голоском:

Потеляла я колечко,
Потеляла я любовь...

Любо Марине, указала Мокею:

— Гляди-ка, отец, какое веселье! Подумают люди — мы богачи.

Мокей, хмурясь, потряс головой.

— Нашла чем радоваться, делать-то нечего...

Уж несколько дней он не в себе. За столом хмурит лоб на постные щи. Ни с кем не говорит, все задумывается. В голове его день и ночь неотвязно: перебиваться на послугах у Левона толку мало и дешево,

деньжонок бы где призанять. Товарищку иметь побольше. Поймать случай удачный, да в люди выйти... Перетаскивая на дворе чурки и щепы под навес, бродит он в худых опорках туда и сюда, и все ему мерещится — он взавправдашний купец. Стоит на базаре в своей настоящей палатке. У него уже не лоскут на рогоже, а стопками на полках куски красного товара, платки шерстяные кучей... И видится ему: дом его — полная чаша. Тарантас... саночки... Тут и почет.

А у Марины мысли простые: работать надо, за лето прожились до последнего гроша. Взглянув на Мокея, спокойно сказала:

— Хорошо бы тебе, Мокеюшка, пределиться на фабрику. Ты ведь резчик по работе, как раз тут годишься, и ходить близко...

Мокей хмыкнул. Совсем не про то у него на разуме. Шагая по одной половице и дергая щекой, упрямо ответил:

— Торговлей прокормимся.

— Много барыша от охапки лоскута? — заспорила Марина. — Перебиваемся с хлеба на квас. Это в деревне — хлеб свой, корова там... ну, и жить можно. А тут, за что ни хватись, все в люди покатись...

С досадой кинула на печку мокрое лаханье: связала грудная по рукам и ногам, самой бы на фабрику. Семья семь человек; обуть, одеть, прокормить — никакого приданого не хватит.

Однажды Мокей вернулся домой веселый, посвистывая. Марина сразу подумала: не спроста это он. Подсел к ней рядом и деловито и ласково сказал.

— Ты знаешь, Марина, на Поповке цирк строят. Пойдем с тобой смотреть, разные представления там будут показывать...

Цирк ей представился чудной двухэтажной каруселью, и там всякие диковины. Вздохнув, потрясла головой.

— Да-а... пожалуй, пойдем... Мы ведь с тобой богачи. А поглядеть бы не плохо, сроду ничего не видала хорошего.

И сам Мокей мало чего видел, но его не это заботило, и не в цирке было дело.

Мокей вдруг поцарапал нос, — это напомнило Марине свекра, но она сейчас же забыла про сходство, услышав уверенный голос:

— Хочу амбарушку переделать, дверь на улицу прорубить, лавку бакалейную открою. Дорога мимо нас трахтовая, да и фабрика близко. Дело, думаю, пойдет.

Марина широко открыла глаза.

— Чем же это ты возьмешься? Разве у тебя денег много?

Мокей давно надумал чем взяться. Осторожно согнал с головы жены муху, ответил:

— Давай продадим твою одежу летнюю. Тебе на что? Некуда тебе ходить. Наживем, бог даст, другую.

Жалко Марине одежу, а знает: возражать мужу — все одно сделает по-своему, и, не сдержась, с досадой упрекнула:

— Задумал дело с пустым-то местом. Задницу бы надо приплюхнуть покрепче к работе. Люди, поглядишь, — на фабрику, а ты, рвань несчастная, по каруселям-балаганам гулять. Да я и дам одежу на эдакие дела истратить?

Мокей не стал слушать, дернулся с места, заругался:

— Разошлась... разнылась... Не знают с твое-то, чорт! Только на грех наводить... Думаешь, как сама непутная...

И сразу смолк, увидев у Марины слезы. Схватил торопливо картуз и вышел через заднюю калитку на задворки. И сразу озяб. Воздух по-осеннему холодный и сырой. Около самой баньки лужа замерзла. Для чего-то пробивая ее сапогом, Мокей думал о жене:

«Дура, чорт!.. Хотел ее порадовать, а дело вон как вышло... Не охота жить по-хорошему, упрямая... Ну, пускай, поревет, такая же станет... Время пока еще терпит...»

Подошел праздник. Вечером Мокей рядится в праздничный дипломат и говорит:

— Я все же, мать, в цирк пойду, а ты как?

У Марины екнуло сердце, стало жалко себя, окинула взглядом тесную избушку, показалось все у них

серо, неприглядно и скучно. Не хочется выказывать грусти, а грустно ей оттого, что нельзя от ребят уйти. Погладила по головкам Володьку и Саньку и коротко ответила:

— Ты видишь — как. Чего спрашиваешь?..

Втянулся Мокей ходить в цирк каждый день.

— Удивительные там фокусы выделывают. Прямо скоморох какой... — бурчит он, напяливая на себя овчинную шубу. — Ты запрись не то покрепче...

Взяло Марину горе; гремя у печки ухватом, разразилась:

— На что это ты надеешься, Мокей? Расходился! У детей рубашонки с плеч валятся, а ты ишь... Хуже пьяницы деньги переводишь... Разум-от потерял, знать...

— А твое дело указывать?.. — накинулся Мокей, отшвыривая ногой дырявый сапожонок Ванюшки.

У порога, рядом, Минкины башмаки каши просят. Понизив голос, Мокей хмыкнул:

— Хм!.. За самые дешевые билеты хожу, и не зря: нонче самовар станут разыгрывать. Плохо ли будет, ежели принесу?

Самовар достался солдатке фабричной. Мокей пожалел, да не очень. Назавтра корову станут разыгрывать. Сам он видел — красная, рогастая... Похваляясь, говорит Марине:

— Перестать ходить никак нельзя. Вдруг да мне достанется, все убытки покроет. Да еще... Эх, к разу бы в оборот дела на бакалейку...

Марина уже не смеет перечить. Строчит, трудит глаза над шитьем, мурлычет что-то под нос и часто, выронив привычную слезу, тут же и засыпает...

В этот вечер народ шел со смены. Кто-то крикнул в окно:

— Молодица!.. наказ из Заковырина — побывать чтобы... Свекор хворает, скажи мужу...

Весть бедовая испугала Марину, и все плохое за свекром позабылось.

Вошел Мокей, по неровной походке Марина поняла — корова ему не досталась.

И не быть бы Мокею счастья, да несчастье помогло.

Отец лежит при смерти... «Эй, сын, навести!» На эту весть у Мокея оказалось свое неотложное дело, — отговорился:

— Поди, чай, и не умрет. Сходи ты, Марина.

Свекра Марина застала на последнем дыханье.

Феклушка не испугалась смерти Афанасьича; лицо ее горестно сморщилось, больше от вскрика Марины; складывая на груди руки покойника, старуха качала головой:

— Вот так-то и мучился, царство ему небесное... И все радетель угоднику Миколаю венец сулился купить. Не хотелось умирать, пресветлый ему рай... Имущество разделили с ним пополам. Надел лесовой. Сто рублей вам отказал на помин души... Отдай вот Мокею. — И Феклуша безнадежно заохала: — Охо-хо-о!.. Вот она, и жисть наша вся тут.

Мариной овладела усталость; ее тянуло к теплу, к лежанке, а мысли торопили: «Домой!.. Дела там... ребята...»

Слушая от жены добрую весть о наследстве, Мокей с радостной дрожью в руках пересчитал деньги, спрятал их под постель, потер руки, хрустнул пальцами и, притворяясь равнодушным, процедил:

— Что ж... не плохо.. .На поправку и это годится...

Праздник. Вечер теплый. Солнце уползло на край неба. От дворов потянулись длинные тени. Мокей сидит под окном на лавочке. У дворов шумят ребятишки. Из открытых окон доносятся голоса. Вон у Жилкиных гремят чайными чашками. На лавочке у палисадника большого серого дома Семен Семеныча сидят нарядные сестры и племянницы, шелушат подсолнухи и громко смеются. Марина вышла с ребенком. Только что уселась рядом с мужем, — с дороги к ним подошел Семен Семеныч, приподнял картуз. Голова седая, только бородка черная

— Доброго здоровья, муж и жена! Гуляете? Что-то тебя, Марина Петровна, давно не видно?

Марина не ожидала увидеть хозяина, смутилась.

— Здравствуй, Семен Семеныч! Вечер хороший, вышла на люди.

Сказала и ушла во двор.

И по тому, как хозяин разглядывал Марину, а она покраснела, Мокею сразу ударило в голову: сколько ден ходил он в цирк и сколько ночей оставалась она одна! Да одна ли? И представилось ему: лишь только он уйдет, а кривой хозяин шасть к ним в избу. Сейчас, не иначе, сговорились повидаться.

Мокей колюче посмотрел вслед уходившей жене. Вскоре вернулся в избу и прямо к ней:

— Что, повидалась? Нарочно вышла, — позвал... Рада, увидала кривого... вся разомлела, даже здравствовалась с ним... Хм... подлая!.. Завела... ей мужа мало... Ах ты, срамница красномордая!.. — И хлестнул ее по щеке, потом по другой. — Сво-о-л... мать... тв..!

У Марины потускнели глаза. Не выдержала нахлынувшей горькой обиды, зажала лицо ладонями, уныло завыла:

— За что... за что мне такая обида? За что ты меня мучишь, Мокей Якимыч?..

Ночью Мокей жарко целовал и ласкал Марину. Грудь ее давила тоска, девичество казалось ей светлым, хорошим сном. И тоскуя, долго не могла уснуть...

Чуть свет пришла бабка Долдониха, бубнит:

— Девчонку я вам привела, хозяева, сиротку, десять годков. Возьмите заместо няньки. Вон она у двери стоит. Дарька, чего ты не смеешь, глаза в рукава хоронишь?

С первых же слов Долдонихи Марина замахала рукой:

— Что ты, бабушка!.. Да с чего ты взяла? От своих голова кругом, а тут чужую... Да ни за что...

Пощипывая подбородок, Мокей видит и вроде как не видит девчонку, а сам думает: «При шитье и нянька не помеха, да и дело доброе получится...»

— Руками, Марина, не болько махай. Девчонка не махонькая, к тому же сиротка. Куска, что ли, ей у нас не хватит?

... Зима с первых же дней хрустнула морозом, застеклила реки, озерки, завьюжила мятелями, поземками, обрядила деревья белоснежным цветом, на крыши накидала пуховые белые шали. В короткие, с птичий носок, дни, в длинные тоскливые ночи проделала зима все свои хитрости и стала «Спиридоном-поворотом».

В это утро низкое зимнее солнце легло на избы холодным румянцем, заглянуло в окно и уголком легло на полку с посудой.

Позванивая пружиной, плывет спокойно и дремотно Дарькино:

— О-о-о!.. Ба-а-бай!..

Мокей пришел со двора с намороженным ведром, зябко крякнул и, утирая нос рукавицей, кивнул Марине:

— Вот так мороз, мать, — в рот ему кол!

Ротастая голубоглазая Дарька шепчется с Минкой:

— В училище уходишь. Беленькая ты, прямо седуля...

Марина разогнула от шитья спину.

— Ну вы, подружки, чего шушукаетесь? Ты, Дарька, совсем закачала Машонку, давай-ка самоваром займись...

Косясь на Мокея, Дарька улыбнулась ей во весь рот.

— Знамо, теть Марина, я мигом справлю, вот гляди, — и, болтанув еще раз люльку, загремела у печки.

За чаем, обжигаясь горячим ржаным пирогом, Мокей поглядывал на десятилетнюю рослую Дарьку.

«Способная девчонка, прижилась за год, выровнялась, сиротка».

И в глубине его серых глаз сверкнул огонек.

До полдня провозилась Марина за мытьем полов, и заботы не было о ребятах: нянька с ними. Кстати взялась в чулане прибрать. Слышит, Мокей прошел в избу. Управилась наконец, с горшком молока в руках осторожно отворила дверь, взглянула и стала на пороге, как пришибленная. Мокей стоит на лежанке, щекочет, играет с Дарькой-сироткой. На печке с краю лежит она и верезжит от Мокеевых рук. Подбирая слюни, мурлычит он котом блудливым:

— Ну-ка... где она тут?.. Ишь, завалилась... Ну-ка... где-е...

Молотками заколотилось у Марины сердце: все поняла.

— Ах, кот проклятый! Стряхнул нужду... в чужой кувшин баловать...

Повернулся Мокей, увидал — жена тут, и спрыгнул скорей с лежанки, весь красный. Делает вид, — ищет чего-то.

— Ну и чорт! Кудай-то он запропал... а? Ты, Марина, не видела картуза?

У Марины без думы твердо и громко сорвалось:

— Бесстыдник! Думай, что делаешь. Свои девчонки есть. — А руки ходуном ходят, — так бы и хлестнула горшком в харю мужа. Стыдно при няньке срам заводить, сорвала с себя шаль, бросила за печку. Взгляд упал на Володьку, всплеснула руками:

— Господи, детей-то шестеро... О-о, головушка ты моя, голова-а!..

Марине жалко Дарью-сиротку. Привыкла, помога в работе, а придется отослать к тетке.

Марина спешила управиться до сумерек. Только что отжала последнюю рубаху, в дверь просунулась голова Акулины. Она покрутила носом и зашептала:

— А я к тебе, Марина. Хотела решетца попросить, да уж так и быть... Твой-то хозяин, знать, поздно приходит от кабатчика. Вот тут третьёводни вижу в потемочках — отошел от своей баньки и к Сидорову дворишку, и Нюшка тут у сараюшки. Я, грешница, подслушала у их двора... Хаханьки у них там... Вечор тоже...

Марине показалось, — на лицо ее нависла паутина; она отмахнулась, — чего, думает, ей надо? — и, вскипев, обрезала:

— Ну, это ты, тетка Акулина, врешь. Да и какое твое дело мутить, вота-а?.. Баба ты степенная, а тоже...

Как ни упиралась Марина словами и бранью с мужем, не раз была и бита, а все же амбарушечка стала бакалейкой, и пришлось Марине стать торговкой. Бы-

ло чудно и стыдно торговать, и думалось: не живи, как хочется, а живи, как муж захочет...

Двигает Марина локтями, меряет, вешает, весами гремит и мысленно прикладывает, чего сколько отпустила и много ли за что получить.

Все ушли. Наконец-то! Изо дня в день так...

Летит в избу и прямо к печке суется. Каша подгорела, щи убежали. Горшки, кринки немытые на нее глянули. Минка с Ванюшкой в училище. Володька с Настёнкой песни поют. В зыбке посинела от плача годовалая Машонка. Глянула на мать жалобными глазенками. Дрогнуло у Марины сердце.

В лавчонку опять стучат, надо бежать. А Мокей и не торопится, сидит в трактире «Завей горе» с Левоном и торговцами, чай распивает. Куды, думает, спешить — в бакалейке не чужой, свой человек. Ему что, Мокею? У него одно дело: пришел с Поповки и прямо за прилавок.

Заслышав голос хозяйки, замычала корова, — не поена и без корма. Дети голодные. Санька бесперечь куксится:

— Ма-ама-а... водиськи... ма-ам..

К ночи захрипела, еле глотает с ложечки. На другой день свернуло девчонку, как и не было. Даже не верится Марине, что умерла. Так и слышится лепет: «Ма-ам, водиськи!» Скорбит сердце: не приголубила, не приласкала напоследках.

Мокей даже доволен: одна умерла; указывает на ребят, стоящих у гробика с широко открытыми глазами, уговаривает:

— Нечего, Мариша, хныкать, хватит и тех, что остались. А этой последний расход — вынесем с попом, по-хорошему.

Снесли Саньку на кладбище, в этот же день Настёнка захворала. Также глоточку захватило, хрипит. Пуще запечалилась Марина, боится за любимую девчонку, а Настёнке, что ни день, все хуже. Ночи не спит, глаза от слез не просыхают. Пристает к Мокею:

— Отец, неужели помрет? Ну, энта — бог с ней, а Настёнка зачем? Полечить бы чем, чего дожидаемся?

Жалко и Мокею. Ходил в фабричную больницу и, глядя на пожелтевшее личико, теребил бородку...

— Ах ты, Настёнка! А... кто же нам песню споет? — И показывает в золоте конфетку: — На-ко вот тебе.

К вечеру пришел доктор, крупный, сытый. Посмотрел на девчонку, на лежанке лежит, задыхается, и сразу отрезал:

— Поздно пришли, дифтерит у нее. Болезнь прилипчивая. Убирайте и других детей куда подальше...

На улице сыплется снег. Злой ветер в трубе завывает, тепло из печки уносит. Пусто и сумно в избе у Мокеевых. Ребята в Заковырине. Ночь долгая, темная. Настёнка уже неделю мается. Спинка дочерна-синяя. Глазки помутнели, остановились. Синие потрескавшиеся губы не закрывают ротик. Язык потемневший, сухой, на хлебную корку похожий. Изболелось сердце у Марины, убивается; родила, болела, растила девчонку, ночей не спала. Нет силы ей терпеть, припала к изголовью хворой, слезно завопила:

— Голубок мой, Настёнка, дочка веселенькая... Или я в суете нашей тебя не доглядела... или я сама виновата в твоей тяжкой немочи...

В лавке два мужика, фабричные, молодые, зубоскалят.

— Одна-одинехонька, торговка, чай, скука; а мы тут, разгуляем тебя. Дай-ка нам папирос «Трезвончику»...

Не любит Марина трепаться с мужиками; от досады покраснела, не глядя, молча сунула на прилавок пачку «Трезвона». Заслышав на дворе скрип телеги и фырканье лошади, сделала веселое лицо, мужа встречать.

Втаскивая заколоченный ящик, Мокей, больше, чем надо, от натуги пыхтел:

— Фу-у ты... дьявол, какой чижолый!..

Поставил ящик у ларя, пытливо взглянул на закуривших мужиков и на жену и буркнул:

— Иди домой, один управлюсь. Раскраснелась морда!

Марина вспыхнула и молча поплелась из лавки. Она сердилась на себя:

«Как побитая собака пошла, даже сказать ничего

не сумела... Господи, хоть на люди не выходи!» Чует сердце — на горе, на беду ей эта бакалейка. И, стараясь успокоить себя, забыться, таскала воду скотине и в баню, мыла ребят, стирала, чинила одежду, ожесточенно брякала чугунами, горшками... И не слыхала, как в избу вошел чужой, похожий на брата ее Мишку.

К ней доходили кое-какие вести. Он бросил жену и ребенка, куда-то скрылся. Мокей часто попрекал Марину братом-бродягой, попрекал непутной породой. Неужели этот высокий, сухой и плечистый мужик — брат Михайла? Голова его и лоб напоминали отца. Карие глаза над большим носом пытливо смотрели на Марину, некрупную, круглолицую бабу в заношенном сарафане. Она кормила детей кашей.

— Не узнаешь, Марина? Рада ли, нет ли, а привечай брата. Забрел по случайности поглядеть, как сестра живет.

Положил на лежанку картуз, окинул глазами стены и сам сел.

— Эх, устал я... Значит, ничего поживаешь, сестра?

Родной знакомый голос всполошил Марину. Все попреки мужа позабылись, засыпала его словами:

— Откуда ты, Мишка, что снег на голову? Думалось, ты пропал совсем. Жену, Тумбочку, небось, видел... Ребенок, поди, вырос? А мне что? Живу... Эва кормилец мой, помощник растет... — указала на Ванюшку. — Другой где-то бегает. Да много их, — зыбка, видишь, не выходит из избы... А Тумбочка твоя все на фабрике работает.

Слова Марины оборвались, про себя с горечью подумала: «А я-то, на-ко, — торговка». И, вздыхая, покрыла она стол белым столечником, поставила тарелку с колбасой, положила связку баранок.

Ванюшка давно оторвался от книжки. Стоит против Михайлы и по-детски пристально вглядывается в его порыжелый плохой пиджак, стоптанные сапоги. Заложив руки за спинку, как взрослый, спросил:

— Это наш дядя? Плохой больно... Чего ты умеешь работать?

Михайла засмеялся, посмотрел пристально в пытливые глаза крепкого, рослого парнишки. «Экий смель-

чак! — подумал. — Враньем тут не отвертишься», — и, как бы оправдываясь, объяснил:

— Слесарь я морозовский, шагал далеко, — вот и того... Ты, сестра, поискала бы, наверное, есть лишнее пальтишко у твоего-то благоверного.

Ванюшке дядя полюбился: говорит и глаза его смеются. Сел рядом за стол, пристает:

— Нет, ты, дядя, скажи, был далеко, чего ты там делал?

Усмехнувшись, Михайла сжал в горсти баранку, хряснул на мелкие кусочки и, придумывая понятные слова, стал говорить, как большому:

— Слонялся по фабрикам, пытал, как в иных местах мастеровщина живет, чем дышит... И на вашей фабрике потолкался... Везде одинаково нашему брату — собачья жизнь, понял? Да, пожалуй, еще мал. Что, — девять, говоришь, доходит?

— Ему все надо знать, во все книжки заглянет... — перебила Марина. — Сам-от ты, наверно, к жене ближе приделишься?

Приглядываясь к сестре, Михайла жевал колбасу и сквозь зубы цедил:

— О жене заскучал, вот и пришел. А работа... к другой работе пристал, что вольная птица. Знаешь, есть голуби такие, с письмом летают... Эх, дела, дела! Одни живут — от работы дохнут, другие — сыты, покедова нельзя...

Пришел Мокей из лавочки, сразу узнал шурина, одним взглядом оценил родню, спесиво поглядел на тарелку. Не обращая внимания на неласковый взгляд мужа, Марина собралась ему шепнуть: дать, мол, что ли, какую одежонку? Но Мокей шагнул за печку, заметил вслух:

— Рвань... Шляется бродяга белосветный... Носит чорт...

Поглядывая на отца и дядю, Ванюшка заметил: рука Михайлы с куском колбасы дрогнула, а глаза загорелись насмешкой. Он фыркнул Мокею в спину:

— Фу-ты, ну-ты!.. Разбогател — и нос в потолок... А ты поздоровайся, зять, как хозяин, нечего с тебя взять. Заглодья порода... — И резко отодвинул тарелку, встал и шагнул к двери: — прощай, сестра!

А ты, Ванюшка, вырастай, да не будь в отца, понял? Приглядывайся...— И хлопнул дверью.

На улице дождь, под окном топырятся мокрые деревья; по серо-грязной дороге Михайла ссутулясь пошел в конец слободы.

Все это произошло так скоро, — Ванюшка только рот разинул, посмотрел на мать. У нее дрожали губы, и лицо, до того простое, приветливое, стало дурным и сердитым. С укором в глазах Марина сказала мужу:

— В кои-то веки брат пришел... — И, не договорив, всхлипнула.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СВОЯ РУБАХА БЛИЖЕ...

Дни бежали, что ручей мутный, — с нуждой, с заботой, в суете торговой. Незаметно месяцы завернулись в годы... Минке — четырнадцать, Ванюшке — двенадцать. В одну осень скарлатина-воровка утащила еще девчонку. Народился Петька, а за ним Клавдюшка крохотная. Опять стало шестеро. Хворала Марина, очень хворала. Ученая повитуха сказала: родить больше не будет. Марина легко вздохнула: шутка ли, десять раз родила!

Позапрошлой весной, лишь дороги обсохли, случилось событие, прогремевшее на всю Макаренку...

Кабатчик Левон приехал из города еле живой.

Ухаживая за новой рыжей лошадью, Мокей охал, жалел Левона и шептался с Семен Семенычем.

— Вот едят мухи с комарами... Не было печали, черти накачали...

Марина не дознавалась, зачем Левон в город ездил, отчего помирает, и не верила слободским бабам. Ругаясь, бабы судачили:

— Захирел аспид... За «святыми дарами», — врут, ай нет, — ездил с попом. Для причастия целую, вишь, бочку возил. Надорвался, как на телегу вкатывал. Поколеет авось...

Помер Левон, и кабачишко захирел. Замок на двери заржавел, и дорожка заросла травою.

У Мокеевых это время отмечено. Большая новая лавка стоит в одну стену с избушкой, и дверь в нее

прорублена со стеклянным окошечком. Желанное дело Мокея вертится мельницей на попутном ветру.

Не врал Семен Семеныч про него: «Ты-де, Мокей, мужик лобастый, из рук дело не вывернется», — и не догадывался хозяин, до чего у Мокея ум изворотлив. Дело ведет чище Левона-покойника. Не берет за вино, чай-сахар, верит на книжку, знает — мужик семью оставит без хлеба, а за вино выплатит... Крепко, доходно, и бабам не обидно: на книжку все харчи забирают с охотой.

Почуяв в себе крепкость и достаток, Мокей вспомнил про бога. Как праздник, рядится к заутрене. У Марины с вечера душа не на месте. Все надо хозяину-мужу припасти: одежу, сапоги, чтобы все было под рукой. Угодливо спрашивает:

— Кафтанчик или еще чего наденешь, Мокей Якимыч?

Мокей думает и холодно бросает:

— А ты не знаешь? Первый раз, что ли?

Знает Марина: строг он стал не в меру, не угадаешь, как потрафить. И сама она стала угрюмая, неласковая до детей, всегда с одной заботой о хозяине-муже. Вздыхает и думает: картуз новый, платочек носовой не забыть бы... Лавка, да дома семь душ и корова... И всякие-то, всякие делишки к ее рукам липнут. Кто знает, когда она спать ложится?

В церкви Мокей стоит на особом месте, со всеми торговцами, рядом с Терентьем Обглодовым и почетным трактирщиком — длинноногим, что журавль, Егор Егорычем Дранкиным. Лицо у Мокея довольное: от умиления ноздри его вздрагивают... Свечи к образам подает через народ толстые.

— Угоднику Николаю передайте...

А сам думает: по святому писанию, угодник большую милость имеет к торговцам.

— Аллилуия!.. Алли-лу-ия-я!.. — перебивают певчие Мокеевы мысли.

На амвон вышел долгогривый дьякон, поминает родителей за упокой и за здравие:

— Ефрема, Фому, Феклу, Епифанья-а!..

Торговцы сели на лавочку, тут у стенки, где канун стоит с кутьей и свечами. Самое время поговорить о торговых делах, — о купле-продаже и о своих барышах.

Плешивый Дранкин завел белки на большеглазого Спаса и свою душу открывает:

— Ну, торговая шатия... прямо говорю: с трактиром у меня беда-а... Доходу, примерно, хоть закрывай, всего капитала не наскребешь сотен пяток...

Мокей пригнулся к его уху:

— Уступи, Егор Егорыч, винца ящичка два, бутылок и полбутылок. Деньги сразу отдам. — И тут же к Обглодову шепотком: — получка будет на-днях фабричным, товаришку всякого пришли побольше. Да гляди, не насчитывай лишнего, а то не буду покупать, — знай...

Прижимая сухие ручки к сердцу, мыльный торгаш суетливо обращается к Мокею и седому иконописному старику:

— Мыльца, сальца у меня... Якимыч... Матвеич... возьми, а? Ну, пудяшку, ящичек... Возьми, Ерцев, а? В кредит... У тебя уйдет...

— Па-аки... паки-и-и... помолимся о благовернейшем... благочестивейшем... и самодержавнейшем-м-м...

Мокей, набожно кланяясь, думает: «Прижать его надо с мылом, в полцены отдаст; чорт с ним, своя рубаха ближе... — Пальцами достает каменные плиты. — О го-осподи, помоги...»

И тут же думой забегает домой: отперла ли жена лавку или нет?

С припухшими веками, невыспавшаяся, в красном платье и при фартуке, Марина вышла в лавку и, задевая подолом мешок с крупой, отодвинула ящик с табаком, отворила широкую дверь на улицу и все так же, как всегда, вздыхая, повела глазами на передние полки. Нерумяная заря вдали над рекой отсвечивает на стеклянной посуде с вином и настойкой. А четвертные с хмельным угаром Мокей спрятал под прилавок: пускай, мол, ждут до получек и престольных праздников. И, довольно потирая руки, сказал ей с большой важностью:

— Называется эта стеклянная лавочка не как-нибудь, а «ренсковый погреб».

Марине тридцать два года; кажись, ум-разум имеет, а долгое время не могла сообразить, почему — «погреб»; а «ренсковый» не вдруг и выговорила, весь язык изломала.

Пришел старый хозяин ихней избушки, Мелеха-пьяница, просто назвал — кабак... и с улыбкой знатока указал рукой на полку:

— Дай-ка мне, хозяюшка, посудинку с царским орлом за двугривенный, отковырни, да что-нибудь на язык поядреней.

У Марины все под рукой; торопливо откупорив штопором, булькает в чашку. Винный дух ей душу мутит. Разум давит Мокеев наказ: «Распивочно в ренсковом не дозволено. Наливай, кто спросит, да с оглядкой, на штраф не налети».

Мелеха допил вино, злобно плюнул под ноги и буркнул:

— Я такого живоглота в свое время краской умыл в мастерской, в душу его... И гуляю который год... и буду гулять... Нейду работать на них, и не пойду. А вы что? Мазурики. На вот, мол, кормилец-хозяин, бей по шее. Эх вы-ы... голь перекатная!..

Марине жалко Мелеху — в отрепанном дипломатишке он, в опорках. Русая борода с сединой, глаза голубые, гневные, поблескивают. Не зная, чем выразить сочувствие, Марина грустно ответила:

— Жизнь бранью не поправить, Мелеха... Кабы что другое придумали...

Мелеха пристально посмотрел на нее, вытер ладонью бороду и, усмехаясь, ответил:

— А то нет... Не думаем нешто... Эх ты-ы, индюшка торговая!

Мокей на задворке, что-то соображая, ровным шагом вымеряет прилегавшую к его избушке Сидорову усадьбу. Баловливый ветерок шевелит волосы «под польку». Сапоги у Мокея скрипят новым скрипом.

— Сосед! Мокей Якимыч!.. Топчешь нашу землю,

а в гости не зовешь... Ха-ха!.. Сколько годов живем, хоть бы разок позвал.

Мокей, откинув ногой гнилое бревнышко, оглянулся. Нюшка, с узлом на спине, идет из конторы. Молодцевато закрутив усы, загнул голову на бок и вызывающе улыбнулся.

— Что ж, я не прочь... Милости просим, Анна Стигнеевна, к нам в гости, хи-хи...

Сбросив узел к ногам в баретках с пуговками и причесывая волосы зеленой гребенкой, Нюшка посмотрела на Нефедова рыжего Степку и сказала громко:

— Насмех-то нечего... У-у, кобель нескладный!.. А то приходи вечерком да гостинцев приноси...

Мокей нагнулся, собрал под дубком старых желудей с листвой и игриво швырнул в ее сторону.

— Мокей Якимыч, да что же ты тут пропал? За харчами из деревни приехали... Соли надо. Иди подтащи куль!

На голос Марины Мокей на минуту смутился и зачастил:

— Сейчас, сейчас, цветочек.

И сейчас же спохватился: Нюшка подумает — он боится жены. И уже строго, махнув рукой, крикнул:

— А ты не можешь сама? У меня не одно дело, позови Ванюшку.

Марина все поняла и, вспыхнув с досады, пошлепала башмаками с растрепанной резинкой назад в лавку. Ни за что рассердилась на весноватого парня.

— Ну, держи, что ль, мешок, — я соли насыплю...

Схватила за углы пятипудовый куль с солью, рывком приподняв, поставила к прилавку, насыпала в мешок, положила на весы.

Со двора досадный голос мужа:

— Путем, путем вешай. Не видишь, куды гиря поднялась?

У Марины дрогнули от обиды руки. Ее раздражает и веселый голос Нюшки, раздражает и Клавдюшкин плач, и злобный лай собаки. А Мокей дразнит ее, цыкая и кидая щепками и камешками. Вдруг обозлясь, он схватил палку и хватил ею по глазу. Собака с воем спряталась в конуру. Марина, испугавшись входив-

шего разгоряченного мужа, с надутой жилой на лбу, юркнула на двор. У конуры тихо позвала:

— Цыганка!.. Цыганка!..

Взглянув мокрым ушибленным глазом, Цыганка жалобно взвизгнула. Жалость к собаке, обида на себя и непонятная тяжесть на сердце — все собралось у Марины в одну мысль: «Вот она, жизнь-то собачья...»

В лавке заскрипели сапогами, вошли двое полицейских. Марина поняла — это «крючки».

Стала в тени под навес. Щелкнуло кольцо калитки. Чему-то смеясь, вошла Минка с охапкой травы для коровы.

— Минушка, поставь самовар, я сейчас приду, — сказала и, заглянув за дверь, подумала: «Эка усищи-то!»

Один в серой шинели сразу подошел налево к полке, сняв бутылку, ногтем отковырял сюргуч. Нюхает, проверяя градусы. Другой, со шпорами на сапогах, низенький и толстый, словно беременная баба, при сабле, стрельнул глазами на патент в рамке за стеклом, заорал:

— Это что, кабак, что ли, здесь? Распивают! Орут на улице! Безобразие! Нарушение! Протокол!

У Мокея тряслись поджилки. Без картуза, угодливо взглянул на щекастое лицо, завернул две бутылки дорогой наливки, низко кланяется:

— Это на пробу, ваше благородь... свеженькая для пробы... Будьте благонадежны, вашебродь, и в следующий раз, вашебродь, с нашим полным удовольствием... А что касается улицы, это — первый раз, по случайности...

В шинели, «нос дырками наружу», подхватил сверток, запрятал в карман.

Закручивая усищи, похожие на бараньи рога, толстый уже за порогом, — все еще орал:

— Помнить надо! Смотри, голубчик! В другой раз — протокол! Штраф!

Выпроводив с почтительной улыбкой полицейских, Мокей ехидно хмыкнул:

— Хи... фараоны... побирухи!.. Лопайте!.. Ма-

рина! где ты там? Видела, сам околоточный, чорт, прилез... Ну, да это на лучшее... Теперь смело делай дело.

Мокей стал в дверях. От удовольствия, что хорошо обошелся с начальством, он торопливо зашелушил подсолнухи; желая пошутить, еще раз крикнул:

— Марина! — И, усмехаясь, указал ей кивком на дом Семен Семеныча. — Вон, погляди, сидит твой-от кривой!

Что сказать Марине на издевку? Молча посмотрела ему в глаза и до боли прикусила губу. Горечь сосет Марине грудь. Хотелось пить, да нельзя было уйти. В обед шибче торговля: кто идет за булками, кто за хлебом. Прошли набойщики, ткачи. Мытельщик Жилкин рачьими глазами прицелился на вывеску «Рентсковый», полез в один карман отрепанной куртки, потом в другой, потряс карманы штанов и плюнул:

— Тьфу! Нету... Ну, чорт с ней! Торчит тоже... вы-ы-веска!.. Эй, Мишуха, Тихоня, нет ли взаймы?

Мишку Круглина за угрюмую молчаливость в мастерской набойщики прозвали «Тихоней». На окнах его новой избы — белые занавески; мастер — его кум; начальство — родня, и Тихоня важничает. Не глядя на Жилкина, угрюмо отозвался:

— Нету!..

Жилкин выругался:

— Чтоб у тебя, Тихони, и не было! Чортов кум!.. Мокеич, может, поверишь табачку?

Мокеич сдунул с губы остренькую шелушинку и, усмехаясь, крутнул головой.

— Ла-адно. Почему не дать? Приходи в получку.

Увидал Сидора, поманил.

Щуплый, несмелый Сидор быстро заковылял на кривых ногах. Пряча в улыбке свои мысли, Мокей простовато спросил:

— Ты что, сосед, в мою лавку не ходишь? Гляди-ка, селедки какие я привез! Погоди, дам на пробу. — И, вытянув из кадушки за хвост серебристую, с руку толщиною, рыбу, крякнул: настоящая белорыбица.

Сидор глотнул слюну. Поглядывая на Ванюшку, что торчал за прилавком, и ковыряя ладонь в желтой и синей краске, уклончиво ответил:

— Селедка — хорошее дело... Бывают деньги — Полька бегает в твою лавочку кое-за-чем...

Мокей усмехнулся.

— Что там — кое-за-чем, да — когда деньги! Я тебе, как хорошему соседу, буду верить на книжку; бери все харчи, — ровней все пойдет. Ванюшка, дай-ка бумаги!..

От обилия слюны Сидор закашлялся, подумал: «Верно говорит — перед концом месяца всегда голодаем...» — и, передохнув от кашля и вытерев ладонь о заплату штанов, недоверчиво спросил:

— Так-таки и дашь, мать честная? А вдруг да на книжку наберу не по жалованью?..

Завернув селедку в клочок серой бумаги и держа ее перед Сидором, Мокей засмеялся:

— Экий ты чудак! Бери, коли дают... Для начала на-ко вот еще половинку, спрысни...

От такой «милости» Сидор, смущаясь, промямлил:

— Ну и сосед!.. Дай бог здоровья! Нюшка-то моя как обрадуется!

Взял селедку и вино, всем нутром крикнул:

— Спасибо!..

Завертывая кусок мыла Катюшке Крупе, Марина подивилась сама себе:

«С чего это Мокей распростел так?»

Вытирая руки рогожей, Мокей, как ни в чем не бывало, хлопает глазами и, улыбаясь, говорит жене:

— Дельце я одно надумал с Сидором уладить. Ты, Мариша, с Нюшкой там как подружнее, — платьице бы, что ли, сшила ей даром.

Краска залила Марине лицо, подбородок задрожал. Чтой-то он, смеется над ней, как над дурой? Ловок, умен издеваться. Коли надо что, так — «Мариша, Маришенька» припевает. И не зная зачем, сунула за ящик бутылку, расковыренную фараоном.

— За чтой-то я на нее стану работать? Али делов у меня мало?

— Экая бестолочь! Нельзя слово сказать, сейчас и на дыбы! — отмахнулся Мокей. — А ты не ори, а слушай, — самой же полюбится. Земельку его, усадебку,

я надумал как-то приладить себе: хороший кусок и в улицу. Ну, так это для приманки... Поняла?

В голове Марины шевельнулась недобрая мысль против затеи мужа, и, глядя ему в лицо, она выпалила:

— Ты, Мокей Якимыч, стало быть, на чужую кучу глаза пучишь. Тебе надо, а ему как? У него дети. От первой жены Игнашка уж большой.

В глазах Мокея сверкнул зеленый огонек. Слова жены пришлись ему не по шерсти; брякая на весах чугунной гирькой, осадил:

— А нам какое дело до этого? Надо гнуть, что самим на пользу... Тебе что говорят, то и делай, а с такими словами убирайся к чорту!.. — Мокей сердито швырнул гирю в курицу, подбиравшую у двери рассоренную крупу, и сейчас же засмеялся: — Входите, входите!.. Не бойсь.

Вошли бородатые деревенские мужики с мешками, променять овес на белую муку.

Вечером Мокей запер лавку, задал лошади корма и, смягчась, пояснил:

— Ты пойми, Марина: денег у нас пока нет. Задумай Сидор по своей нужде продавать землю — Нефед сосед, и то денежки выложит... Клочок этот, что у нашей избы, что у него — под боком. Надо дело обделывать потихоньку, исподтишка: Сидору бы невздогадь и соседям не в примету...

Оправляя на ночь мужу подушку, Марина думала свое:

«Может, Сидор никогда и не подумает продавать, а ей бы с Нюшкой дружить, шашни, что ли, ихние покрывать... Нуждалась я очень!»

И тут же виделся на купленной земле под окном садик свой, и представлялись в садике ребятишки — не свои, а Сидоровы — Семка и Полька, каких видела, когда только что приехали: тощие, затомленные, крохотными ручонками работают... К сердцу подступила жалость и недовольство против мужа. Обрадованная его сну и тому, что ей не надо насиловать себя ненужной для нее лаской, Марина без нужды возилась с горшком и, качая люльку, слышала, как Сидор, шагая домой, пьяно кричал у колодца:

— Сосед-ед!.. Благодетель ты мой! Мокеич, милый, мать ты распречистая! Дай бог здоровья!

— Ну, иди, иди! Чего тута?.. — гудел грубоватый голос Сидоровой тещи.

День праздничный прошел с гостями суматошно. В избушке пахло белыми пирогами. Горячие, они горкой румянились на столе. Стояли бутылки. Кипел самовар... Мокей покупал у Сидора усадьбу.

Размахивая руками, Сидор кричал:

— Верно, сосед Мокей Якимыч, сам знаешь, как надо, по-богову чтобы... Темный я человек, слепой... три хреста поставил, что-нибудь да значит бумага... Знаю, не обидишь. Проход, проезд Сидору не забыли написать? Верю! На тебе рубаха, и на мне чтобы. Вот мой сказ!..

Мокей, сладко улыбаясь, тряс головой.

— Сказал слово, Сидор Сидорыч, так и знай: полсотни забирай по книжке и на корову полторы красных. По усадьбе ходи, езди; что твое, что мое — вместе. Бери-ка, выпей еще стаканчик!

Нюшка раскраснелась, обмахивалась платочком, смеялась:

— Ты мне, Марина Петровна, чаю погоди. Я конфеточек да орешков погрызу... Земля-то чего-нибудь да стоит... Ха-ха... постой, я песенку спою... Новая, хорошая песня, — и дребезжала:

Три девицы шли гулять,
Шли гулять... Да-а!

И дергала Мокея за рукав:

— Не жадничай, сосед! Налей еше рюмочку красненького... Жисть-то моя больно скучна с кривоногим стариком...

В конце месяца — получка. Марине — забота: дня три в лавке быть с утра до ночи. На Макаренке получка — большой праздник и бабья беда.

У ворот из конторы бойкие голоса:

— Получку получила, Лукерья-а?

Лукерья, набойщикова жена, чернобровая, многодетная, всегда с каким-нибудь знаком от побоев, под-

тряхнула на спине узел с добрую копну, и лицо ее расплылось в добродушную улыбку:

— Получила, милая Анфисушка... получи-ла... Уф, месяц-от какой долгий показался!.. Самого бы вот Наума укараулить, думаю... В свисток с деньгами — прямо домой, да отчесть, что куда. А рассчитано на каждый день у нас шесть-от гривен заработку, — по гривеннику на душу не приходится. Не угляди — и пропьет Наум половину... Хорошо, твой-от Макар не пьет... Вон, гляди, везут к Мокеевым!

С дороги к лавке, оставляя на лужке след, повернул нагруженный воз. День субботний. Ребята бегут из училища. Минка и Ванюшка прошмыгнули мимо воза в калитку.

Мокей в синей рубашке, картуз на затылок, размахивая руками, кричит:

— Сюда тащи! Это на двор... Ящики там... Баранки сюда. Постой, постой... это тут оставь.

Две деревенские бабы, переглядываясь, вздыхают:

— Господи-и, добра-то сколько, Авдотья! А?..

— Ты чего там прохлаждаешься? — завидя Марину, кричит Мокей. — Не видишь, тут дело... Указывать, что ли?..

С мешком и книжкой в руках Тарасиха все время наблюдает Мокея: сухой он, жилистый, нетерпеливый. И она ворчит:

— Чисто на работницу орет. Гляди-ка, милая, хошь бы назвал как!

Крупа шутливо огрызнулась:

— На то он и хозяин, старая карга...

Наталья, пригибаясь к ее уху, ехидно кивнула на Марину:

— А синяк-от третьяводнись на лбу был, не видала?

Марина торопливо откидывала с прохода во дворе пустые ящики, солому и, вся потная, вернулась за прилавок, чтобы вешать, завертывать, отпускать. В голове — невеселые мысли. За что это ее муж при народе так? Или она не добытчица, или не помога ему и меньше его работает? Марина волновалась, глаза ее горели, щеки зарумянились. Из-под платка на лоб выбился русый завиток.

Макар, сын Тарасихи, поглядывая на ее подвижные руки и завязывая в белую столечницу покупку, выругался:

— Пес тебя знает, Мокей, что твоя за баба! Ребят куча, тихие, умные, и всякое дело ей к руке. Иной раз идете с ней прогуляться, — любо глядеть, а тут кидаешься по-собачьему...

Мокей не слышит, — сидит на ящике верхом с зубилом, стучит молотком, спешит. Отодрал крышку, вынул бутылку с вином, посмотрел на свет, подскочил к двери и, отворяя, крикнул:

— Ванюшка! Живо сюда, выбирай из ящика бутылки!

Взглянув исподлобья на отца, Ванюшка сунул книжку в ранец, толкнул стоявшую у люльки Минку, поддразнил: «У, седая!..» — и нехотя поплелся к отцу.

— Чего чешешься? Про гулянье думаешь? Выбирай из соломы и ставь на полку!.. Где Володька? — стукнув громко досками, Мокей выглянул на улицу. — Володька-а! Марш в лавку, живее.

Шестилетний Володька, тощий и бледный, с глазами, как у матери, беспечно гремя бабками в подоле, подбежал и недоуменно смотрит на отца. Дергая щекой, Мокей нагнулся к сыну.

— Ну, что уставился? Выноси пустую посуду, бутылки, шкалики. Во-он там ящик на дворе в углу... А ты что, сапожница, деньги, что ли, принесла с получки?..

Хмуря темные брови, невысокая русая женщина вскинула на него голубые глаза.

— Гляжу вот — командуешь больно... — И, разгибая брови, подала книжку: — Подочти, да крупы манной дай ребенку.

Серые глаза Мокея встретились с голубыми; он опустил голову, облизнул губы, пощелкивая на счетах и, вешая в бумажном мешке крупу, незаметно сунул большую в золоте конфетку...

Марина, заметив, подумала: «За получку это он...»

Не дождавшись свистка, забежал кочегар. За ним, сутулясь и тяжело дыша, веснущатый смазывальщик Ероша; второпях Ероша выкрикнул:

— Дайте нам скорее по мерзавчику, перед получкой бы зажгло...

И на прилавок бросил картуз и деньги. Бабы завозились...

— Чего там с ними, пьяницами, ватажиться! Вешай баранок связку...

— Давай масла. Подсчитывай книжки!.. С фабрики сейчас нагрянут, а ты стой тут, жди!..

Оповещая баб-домоседок, загудел гудок, завыл, — фабричная-де сила идет. И артель казарменных рабочих привалила на Мокеевы задворки. Другие — прямо в лавку...

— Якимыч, с тепленькими!.. Ну-ка, давай нам четвертушку во зеленые лузя... Вот они, денежки... едят тя мухи с комарами...

— Три половинки на нашу братью и два фунта колбасы, — кидает на прилавок трешницу слесарь в худых опорках.

— И нам, красавица, вынеси троечку «смирновки» и бутылку рябиновой.

— Чего ты, Авдей, троечку? Давай четвертуху.

Из-за спины лысого Авдея глядят рачьи глаза:

— Да мне-ка дай мерзавчика, издеся в чашечку, да колбаски отрежь.

— На-ка, получай, эй, хозяин!

— Перед ужином для аппетита развития нельзя ли поскорей соточку? Слышь, хозяева.

Голова Марины кружится. Непонятное слово «развитие» мешает сосчитать, сколько надо дать сдачи. Смотрит на мужа.

Глаза Мокея смеются, шевелится острая седая бородка. С тонким лицом, тощий, крепкий, смекалистый, стоит за прилавком со штопором в руке, ловко откупоривает. Наливает вино в чашки, получает деньги, угощает...

— Ну-ка, ну-ка, хвати для здоровья... А ты, Юдохин, чего? Пей, пока вино есть... Ванюшка!.. Убежал чертенок... Минка! Вынеси на задворки чашку, две... три... и штопор там...

В лавке звон посуды, толкотня, выкрики: «Давай!», «Получай!»...

Ванюшка сидит у кровати, решает задачу. Услы-

хал, что опять зовут, швырнул книжку, толкается между покупателями. Подает вино, бутылки... сотку, чашку, пряник на закуску. Бегает на задворки, позванивая посудой.

За дверью хныкают ребята: нынче обеда нет. Лицо Марины застыло. Платок сбился набок. «Пропади они пропадом, эти дела... Это не жисть, а проваленная яма...» Всегда тошнотный винный дух. Брань. Мутные глаза, пьяный смех. А за дверью тоненький плач.

Марина все думает: вот они, дети, шесть душ, им надо не мало; для них она должна все переносить, не покладая рук работать. Гремит на весах, заворачивает покупки в бумагу, брякает железной мерой, насыпая крупу. У прилавка — бородатые, впалощекие, чернявые, в платках, картузах, пропахшие фабрикой, железом и потом рубахи.

В небе догорает край заходящего солнца. Ласкают теплые сумерки. В тишине вечера гудят вдали соборные колокола на всенощную. На задворках Мокеевых пьяный говор. Песни. Под яблонькой залихватски орут под гармонику:

Устюшкина мать собиралась умирать...
Ух ты, ух ты, полбутылочка моя!..
Умирать — не умерла и винца не продала...

В лавке, топая ногой в сапоге с оторванной подошвой, Сидор норовит всех перекричать:

— Я ведь ему как! Бери, говорю, Якимыч, мою землю... И бумагу он сам состряпал... И проезд, и чтобы ежели когда мне... — И лез к Мокею, протягивая через прилавок руку.

Мокей перестал щелкать на счетах.

— Ладно, ладно... Экий ты какой, Сидор Сидорыч!.. Бутылку вам аль две? — совал ему откупоренную бутылку и горсть мелких пряников, незаметно выталкивая к двери в темноту... — Идите, идите... на холодок... на холодок. Там и проезд и все.

Все ушли. В лавке затихло.

Мокей считал деньги. Улучив минутку, Марина сказала:

— Запиши, Мокей Якимыч, — отпускала я тут которым, а то забуду.

Мокей укоряет:

— Мальчик я тебе — записывать. И не стыдно — хвалилась: в училищу ходила, а что умеешь, что можешь?

Нудное выражение с лица Марины исчезло. Глаза загорелись, голос задрожал.

— А когда мне... Да что ты, не знаешь? Ну, не умею... Нюшке вот запиши. Чтой-то она больно разошлась. Узлина какой нахватала всего!..

Мокей тряхнул головой.

— А тебе что, жалко? Пускай набирает, для нас же лучше.

От кривой яблоньки донеслось певуче:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом...

Голос оборвался, визгливый и тонкий. Где-то послышались ругань, бабий плач. В небе, что свечи, мигали звезды. Слобода тонула в дремотно-темном покое.

У Марины свои дела. На столе куски хлеба, колбасы. Лужа пролитой воды. Кринка с прокислым молоком. Просыпана соль. Ужинали кто как хотел. Марина убрала. Повозилась с пеленками, заглянула в люльку. Клавдюшка, всхлипывая, шевелила губенками соску. Минка в платье уснула возле, на полу. Ребята расползлись по всем углам, спят. В мозгу у Марины неотступно сверлит упрек мужа. На душе тоска. Нехватает у нее уменья записывать. Что же ей слушать брань и стыдиться? Неужели, взаправду, она хуже его? Нет, она добьется своего. Авось одолеет, и это дело из рук не вывернется... «Господи, спать, спать!..» Издерганная за весь день, завязала мокрым платком разболевшуюся голову, вздыхает и ложится на край кровати, с подцепкой от люльки на руке.

Однажды, выкидывая из лавки порожние ящики, Мокей удивился:

— Ты, Ванюшка, уж из школы пришел? Иди-ка посиди тут, я уйду ненадолго.

Мокея вызвали в училище, и он недоумевал, зачем он там понадобился... Зорко приглядываясь на встречных, на богатые дома, думал: надо посоветоваться с Обглодовым и Дранчиными, высчитать с ними, сколько ему припасать на новый дом; они-то уж знают... и Мокей уносился мыслями, что и как он будет строить.

Обратно пришел взбудораженный вместе с Семен Семенычем и прямо в лавку. Не сдерживая лихой досады, махал рукой перед его носом.

— Каково это? Учитель вызывал! Пришел, а там другой отец сидит со свертком сукна. Совсем, говорит учитель, Ванька не учится; нанять, говорит, особливо надо учить, либо к начальнику иди... Ах ты, батюшки, до чего мальчишка избаловался — стыд!.. Куда теперь его? В пастухи, больше некуда... Видишь, до чего твое баловство довело! — ткнул пальцем Марину, молчаливо смотревшую себе под ноги. — Пошел к начальнику; тут живет, при училище; стряпуха его большую белорыбицу несет на подносе, смеется; подарок, говорит, от ученика... Вот оно как!.. От таких подарков порток не удержишь...

Не обращая внимания на Марину, Семен Семеныч слушал и ухмылялся. На вскрик Мокея забарабанил палкой.

— Да ты чего раскипятился и орешь? В министры, что ль, мальчишку готовишь? Умеет считать, писать, ну и ладно. Есть другой, Володька, коли хочешь ученого. А Ваньке и дома дело, что хорошая фабрика. Поставь за прилавком — вот тебе и работник готов. Я бы на твоем месте и не ахнул.

Скрывая про это самое свои давнишние мысли, Мокей почесал за ухом, покривился и, подлаживаясь к хозяину, весело хмыкнул:

— Хм... ты как ловко надоумил!.. У человека умного и слова — золото. Оно вправду: не бознать, какие ученья у купцов, а в делах тыщами ворочают... Без учителей, и сам выведу Ваньку в люди... Из него, знаю, толк будет... — похвастался Мокей.

И участь тринадцатилетнего мальчика была решена. Не дождавшись экзамена, ранец его забросили в чулан...

Ванюшка при белом фартуке, с утра до ночи, вертится в торговой суете, и будни и праздник. Как вечер, у двери лавки торчит рыжая голова Тимки. Озираясь, не увидал бы Мокей, воровато манит рукой и тихо зовет:

— Ваньк! идем на реку... Уйдут из лавки, а ты за удочками в лес.

Охота Ванюшке погулять, но хмуро, деловито взглядывает на Тимку.

— Чего пристаешь? Иди сам.

И, повернувшись к товарищу спиной, сует в рот пряник. Хочется ему побегать, повозиться с Тимкой, да крепко держит строгий отцовский наказ: «Будешь ты у меня, оболтус, бегать — я тебе задам!..» Слова: «оболтус», «лоботряс», «пастух» — вошли у Мокея в привычку.

Жаркое солнце висит над Макаренкой. По небу плывут розоватые, легкие, что пух, облака. День праздничный, безденежный, выпить не на что. Мужики в чистых рубахах. Бабы в цветных платках у ворот и под окнами ладно греются на солнце, отдыхают. Парни по улице лениво наигрывают в гармонику. Девки верезжат песни.

Почесывая голые коленки, Володька морщит ребячье лицо, не спуская с матери карих глаз, и нетерпеливо ждет.

— Словно ты, Володька, заморыш у меня: тощий да синий... Молоко не пьешь, вот умрешь, а то... — говорит Марина, починяя ему штанишки и поглядывая в окно.

У двора Авдеева ребята-подростки гурьбой играют в бабки, в городки; тут шум, смех. Мокей в новом картузе ходит по дорожке, разгуливая мимо дома и лавки, посмеивается, с девками, с бабами заигрывает. К ним вьюном вьются его ласковые слова. Дойдет до лавки, самодовольно ухмыльнется на сына-работника, думает: «Ничего, пускай привыкает, человеком будет»...

Тимка Конопатый орет на всю улицу:

— Ваня! Мокеев!.. Иди с нами... Какую мы штуку удумали!

— У него отец злой. Эй, ребята, я один раз видел, ка-ак он хлестнет Ваньку по щеке, — озорно крикнул востроносый тощий мальчишка, — и все убежали на луг к реке...

Чует Марина сердцем материнским: охота Ванюшке побежать на зов товарищей, к играм, на приволье улицы, на луг цветистый, на солнце; нудно ему выстаивать бесконечные часы за прилавком, — отвешивать, отмеривать, угощать пьяных. Не вытерпела, сунула Володьке штаны, шумнула в окно:

— Мокей Якимыч, не бознать сколько делов в лавке, пустил бы Ванюшку...

Мокей бросил из горсти подсолнухи курам, заглянул в окно.

— Тебе что хотца? Чтобы он по улицам лоботрясничал?

Его голос отнял у Марины язык и смелость. Мучит ее обида за свою беспомощность, неумение защитить сына. Зла она на мужа, заедающего детство Ванюшки...

Мягкий летний вечер, спустились сумерки.

За ужином видит Марина в глазах сына недетское упрямство. Не лег в избе спать. Впервые ушел в сарай, на сено. Мокей догадался. Среди ночи слышит Марина: Мокей ругается: «Баловница! Потатчица!» сыплет брань вслед ушедшему гулять «сукину» сыну. Тяжелым гнетом навалился на Марину сон, и как будто въявь слышится ей жалобный плачущий крик.

Заалело небо; под горой на конце заиграл пастух. Марина вышла доить корову. На дворе, на приступке, видит — валяется ременный чересседельник в медных бляхах. Догадалась: то Мокей учил ночью сына-работника...

Гремя саблей, в лавку ввалился полицейский. Повел грязно-кудельной бородкой, косым глазом глядит на потолок, другим на полку с вином.

— Здесь, кажись... — подступил к Мокею. — Ты, что ль, самый хозяин будешь? — Вытащил из-за пазухи

сальную книжку, а из нее вынул бумагу и, грозно навеся лохматые брови, подал: — Распишись!..

Почесывая бородку, Мокей заюлил глазами в печатные черные буквы:

«Повестка по делу с Анной Сидоровой...»

Рука с карандашом дрогнула, и дернулся глаз. Отворотясь от Ванюшки, проворно засунул повестку в карман, злобно скрипнул зубами: «Стерва!.. Попомню я тебе.. В жизни не забуду».

Два дня ходил темнее тучи. Все о чем-то думал, собирал по двору старые доски, стучал топором, заострял концы. Готовые доски складывал в кучу у бани. Во вторник пришел с Поповки, угрюмо сказал:

— На богомолье я, Марина, надумал сходить в Берлюковскую пустынь. Управишься одна с Ванюшкой. Дня в три обернусь. Ежели кто будет спрашивать меня, так и говори: богу, мол, ушел молиться...

И, оглядываясь на дома, Мокей пошел с узелком подмышкой.

Весь этот день Акулине не терпелось: не знает, поди, Марина, сказать бы ей правду... Подкараулила ее у колодца, жалеючи съязвила.

— Ну и Мокей твой, в тюрьму ведь это он пошел. За Семку Сидорова отсиживать трое суток. Избил вишь его Мокей. Нюшка к доктору ходила. Ну, он и признал побои.

Марина не поверила.

— Выдумывай, тетка Акулина.

С богомолья Мокей пришел в субботу вечером.

Мокей долго шептался с Жилкиным. Дал ему вина бутылку. С Мариной побуркал о домашнем и ни слова не сказал, хорошо ли помолился; сам и баню вытопил. На полке в горячем пару хлестался до «вареного мяса». Дома выпил бутылку клюквенного морсу. Молча срядился в теплую одежину. Опять во дворе гремел досками. Марине казалось — он и спать не ложился и будто что-то стерег, поглядывая на Сидоров двор.

Нюшке с матерью в это утро хорошо спалось. Как только ушел Сидор на работу, — не слыхали они ни

стука топоров, приколачивающих доски, ни разговору вороватого Мокея с Жилкиным, — собралась Нюшка к колодцу. В одной юбке и рубахе безрукавной отворила калитку и стала, протирая глаза от удивления и испуга. Прямо перед двориком будто в одну ночь вырос забор из остроконечных досок, отгораживая проданную землю. Кинула глазами влево: там Мокеева усадьба, а перед самыми окнами — фабричный плотный забор дощатый. Выход только один: вправо, на Нефедову усадьбу. Заметалась Нюшка, вспомнила Мокееву угрозу. Сунулась к Нефеду. Он моет руки, только что пришел с работы.

— Дядь Нефед, гляди-ка, что сосед наш натворил! Что нам теперь делать?

Рыжее лицо Нефеда еще больше побурело, он сердито шугнул:

— Думали сами, что делали. Чего теперь орать? Твое дело молодое, ступай, спроси Мокея.

Сидор чуть не прошел с работы свой переулочек, — не узнал по дощатому забору и, ошпаренный, не заходя домой, двинулся отяжелевшими ногами в лавку. С горечью и укором спросил Мокея:

— Ты что же, сосед, сразу и загородился, по какой причине? А где проход, проезд, как уговорились?

Засунув руки в карманы пиджака, Мокей, поскрипывая сапогами, насмешливо хмыкнул:

— А где хочешь, Сидор Сидорыч, там и ходи. Мне-то какое дело, хи-хи...

Щуплый, со впалыми щеками, в отрепанной курточке, расставя кривые ноги, Сидор мял картуз пальцами со въевшейся краской и говорил убитым голосом:

— Разве это по-богову так делать? Сам знаешь, дровец, сенца воз, где провесть? Эх, Мокеич, Мокеич! Или у тебя своих нет ребят, или перед людьми не совестно? Ведь мы нищие...

От хихиканья мужа по спине Марины пополз холодок.

Ванюшка за прилавком отвернулся. Хмурясь, уставился он, не моргая, на стопу баранок. И видел он пред собой лицо дяди Михайлы, и слышался его вну-

шающий голос: «Не понял? Приглядывайся...» Ванюшка внимательно посмотрел на отца, и отец стал ему вдруг совсем чужим. Мокей говорил с Сидором, юлил глазами, что кот, когда печонку слизнул, ухмылялся, шевелил серой бородкой.

— Эх, Сидор Сидорыч, нашел я нужным — и загородил на всякий случай. Хошь, стаканчик поднесу? Тебе на работу ведь надо?..

У Сидора на глазах стариковские слезы:

— Нечестно так. Вот как перед богом, считал тебя за отца родного. А ты хочешь глаза мне залить горькой слезой. Подумай, Якимыч, что я — ворон, через крышу должон летать со двора? Давай-ка сделаемся по чести, а то ведь и до суда ежели дойдет...

У Мокея засмеялись глаза, знает бумагу он, крепко сделал за безграмотного Сидора: доверился тот ему и копию не хотел даже брать. С готовностью ответил:

— Подай, подай в суд! Копию с бумаги я тебе дал. Не подаю вот я на тебя; почесь полсотни долгу по книжке, посчитай-ка.

Бессилен Сидор. Нет у него больше слов. Согнулся и молча, понуро смотрит в пол.

Жалко Марине мужика кривоногого. Тяжело поднялась и молча пошла по своим делам. Не лежало ее сердце к Сидорову двору и к Нюшке, а теперь навалилась новая забота. Не могла равнодушно смотреть на забор, и стыдно было за мужа.

По Макаренке пошли толки, пересуды.

— Гляди-ка! Облапошил богатый бедняка. В город индо ездил Сидор, жалобу в суд подавал на Мокея.

— Ну, да ведь суд разберет дело. Свинья не съест, коли бог не выдаст... Поживем, увидим...

Нюшка под окном Нефедовых разливалась в слезах:

— Он думал, что хитер... Обманул Сидора, — не умеет, дескать, читать, писать... Денег у него много на аблакатов... а у нас — правда; правда дороже...

Мокей прислушивался и думал свою думу. Совет Семена Семеныча прикидывал к делу, не прогадать бы,

думалось. Раза два ходил вечером на Поповку. Наконец позвал жену:

— Сходим, Мариша, в одно место, прогуляемся.

Марина уставилась на него.

— Зачем? Что такое?

— Затакала! Зовут, стало быть, надо... — И Мокей отвел глаза в сторону.

Дорогой часто и надоедливо хмыкал.

На Дровяной улице, в большом доме, сели на стулья в светлой комнате. Глаза Марины пробежали по столу с зеленым сукном и по высокой крашеной конторке с большой книгой. Остановились на крупных зеленых листьях, густо росших в низкой и широкой кадушке. Неслышно вошел в белую дверь высокий старик с белой бородой в черном сюртуке. Марина уставила глаза на белоснежный крахмальный воротничок на тонкой, как у гуся, шее. Старик зорко и колюче ощупал ее глазами.

— Твоей жене вот тут только подписаться надо... — садясь за конторку, указал старик на книгу и на бумагу.

— Да, да... — угодливо задакал Мокей и толкнул Марину в бок: — Иди, напиши, как умеешь, свое имя...

От неожиданности Марина опешила, на лбу выступило красное пятно; она подумала несуразицу: уж не учить ли ее будет старик? Вот еще! Так она и согласилась... Но подошла к конторке.

Старик сунул ей в руку готовое перо, ткнул тонким холеным пальцем в книгу и в лист бумаги.

— Вот тут пиши!

Голос спокойный, мягкий, властный. Сдвинув брови, Марина прикусила кончик языка и выписала два раза свое имя печатными буквами.

— Теперь иди домой, Марина, я приду после.

У Мокея голос ласковый, сладкий.

«Только и всего?..» — подумала Марина и не спеша пошла по серому половику с синей каемкой. На улице облегченно вздохнула. Зачем приводил ее Мокей к этому старику, для чего ей надо было царапать в книге, — об этом ей не хотелось думать. Спрашивать

Мокея не к чему: он все равно не скажет. Так и осталось это для нее тайной.

Суда ждать пришлось недолго. В этот день Тарасихин Макар судился с братом, — наследство делили.

— Присудили было Мокею, слышь, — Макар сказывает, — в двухнедельный срок убрать сутяжный забор и дать Сидору проезд, — пересказывала Тарасиха бабам у колодца.. — Только тут, милые бабоньки, и вынул Мокей, вишь, другую бумагу. В ней углядели судьи: землю-то Сидорову он и заложил жене. Не он, а Марина, вишь, загородила, раз ее земля...

— Да ну-у?.. — Долдониха, тараща глаза, даже руками хлопнула по бокам. — Вот так тихоня Марина, гля-ко-ся!..

Бабы закудахтали:

— Да как же у них теперь?

— А Марина-то как же? Ей куда?..

Рябая Тарасиха утерла подслеповатые глаза концом фартука, мотнула головой.

— Судьи даже удивились... — и, улыбаясь, приврала: — «Вот так, — бают судьи, — башка ловкая!..» Это у Мокея... Теперь дело запутано. Нельзя судить. До другого раза отложили суд. Мокей аблаката нанял, и Сидору, правда ай нет, указали тут аблаката. Теперь уж сами аблакаты будут играть, чья возьмет...

У мужиков дорогой на фабрику только и разговору, что о суде. Дело нешуточное, всех задело. Переслушав рассказы от Макара, уверяли:

— Знамо, возьмет тот, чья правда. Сидорова правда в огне не горит и в воде не утонет...

— А, не дай бог, проиграет — казна обдерет, что липку.

— Сено уж продал. Денежки аблакату вперед подай. Тут, робя, дело в заковыках... — засмеялся один. — Правда, что хитер Мокей: земля ни его ни Сидорова. Пока разберут. Да судьям куда спешить? Аблакат нарошно дело оттянет. Ну, купчая войдет в силу. Вот и вся загвоздка... Забор как поставлен, так и будет стоять...

Не слыхала Марина таких речей и не знала, что муж дело на нее взвалил. Слышит только — набойщи-

ки каждый день у проулка кричат, чтобы Мокей слышал:

— Сидор, ну, как твой благодетель? Запрятал в клетку. Ты пузырь воздушный приспособь. Заберись в него на своем дворишке и сразу лети через все заборы прямо на фабрику, и отца своего родного захвати. Ха-ха-ха-ха!..

Смеялись, но все же уверяли:

— Ничего, суд вторичный разберет. Твое дело правое, и аблакату к тому же, что израсходуешь, Мокей выплатит.

Сидор и сам надеялся на правое дело и на вторичный суд. Но недели шли за неделями. Мокей опять на суд не явился.

Адвокат требовал платы. Пока что и когда суд дело решит, а расход шел невидимый, гербовый. Сидор тянулся из последнего: что можно продать было, продано. На книжку Мокей в лавке больше не давал, в конторе под выработку вперед все забрали.

Подходила осень. Нюшка глаз не кажет на улицу. Ребятишки ее грязные, одичалые, воровато оглядываясь, все бегают куда-то.

Акулина заикнулась Марине:

— Сын Игнашка Сидоров вот тут был с фабрики Рябовской, токарничает он там... И-их... ругал вас: и обдиралы-то и толстосумы... И отца тоже ругал: зачем землю продал? А пуще всех мачеху Нюшку чистил всякими словами. По кусочки ребятишки-то бегают. Сидор — на работу, а они — на Поповку, собирать...

Марина отмахнулась:

— Молчи, тетка Акулина. Вся душа измоталась. Вижу, знаю, да что мне делать?

Ранним утром перед праздником, объезжая сутяжный забор, Сидор вывел под уздцы лошадь по Нефедовой усадьбе на дорогу. На телеге чужие мужик и баба. К задку привязана Нюшкина коровенка однорогая.

— Али продали? Что-то без время, вроде, — спросила Акулина в окно.

Кривоногий, нечесаный Сидор полез рукой под картуз.

— Деньжонки понадобились. Чай, ругаете, что я по вашей усадьбе; ну, да последний, может, раз...

— Ехай, ехай!.. Я вот сейчас выйду... Экие глупые! Продали свою Буренку и ревут...

Двое ребятишек Нюшкины, голопузые, машут прутиками. Корова отмахивается хвостом. Дергая веревку, упирается.

— Иди... иди... безлогая Буленка... иди... Бааба, ой, залка!.. Хы-ы... хы-ы-ы...—ревут малыши.

Полька и Семка, подростки, у изгороди утирают глаза. Вышла понурая Нюшка, косо глядит на открытое окно Мокеевых. У тещи платок с заплатой на макушке, старая, грузная, что копна сена гнилого, застигнутого непогодой, мотает головой и надорванным голосом вопит:

— О-ой... кормилица-а... ма-атушка!.. Буреенушка-а!..

Марина подошла к окну и всплеснула руками:

«Ведь это мы... Ведь это мы их разоряем. Сидоровы благодетели!..»

От жалости и злобы на мужа, словно ошалев, кинулась на двор. Мокей тут и есть,—дергая цепь, зудит Цыганку. Марина схватила его за руку.

— Что мы наделали, Мокей Якимыч? Что ты делаешь?.. Стыд-то, стыд какой!.. Они все ревут... все!..

Мокей снял картуз, вытер ладонью потный лоб и, глядя на блестевшие глаза жены, улыбнулся.

— Чего сама орешь? Иди реви ты с ними.. жалельница. Всех не ужалеешь... Своя рубаха ближе!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЧЕРЕЗ ЗОЛОТО СЛЕЗЫ ЛЬЮТСЯ

Марина в бордовом платье с оборкой вышла на широкое, с фигурным балясником крыльцо нового дома. Она провожает Володьку в город учиться. Мокей на лошади ждет у избы Нефеда, а она все наказывает:

— Ни о чем ты, Володька, не думай, с плохими мальчишками не балуй пуще всего... Гляди-ко, отец...

Двенадцатилетний Володька нетерпеливо шевельнул бровями, тряхнул головой, и сразу мелькнуло в нем сходство с отцом; молча пошел и скрылся на улице...

А Марина все стоит, глазами, затуманенными слезой, провожает сына, — и вспомнила один весенний день. Володька не сдал экзамена, и за это, исхлестав его ремнем, Мокей топал ногами и кричал: «Я тебя, лентяй, выучу!..» Володька сцепил руки у груди, дрожал и плакал. Мокей стоял перед ней с кулаками и снова кричал: «Ты, баловница, дураками делаешь детей... Ни разу не поучишь». И лил на нее с детьми помои бранных слов... Тогда она озлобилась на мужа, на самое себя, и в порыве озлобления схватила веревку и сама избила Володьку... больно... на глазах мужа. С тех пор она не может забыть Володькиных полудетских глаз, полных мольбы и слез...

Покусывая губы, Марина не замечает, как слезинка скатилась по ее бледным щекам. Отворила калитку в палисадник. Место изменилось. От яблоньки и следа не осталось. Широкий дом выпятился на улицу, щеголяя перед соседними домишками, окнастый, с резным крашеным забором палисадника, под зеленой крышей. Все в доме изменилось, все здесь под богатую руку. Только нет у Марины никакой охоты, не хочется вырядиться, ни пойти в гости хоть к Обглодовым. Не раз их с Мокеем звали. Но в богатом доме надо быть умной, говорливой, а ума у нее хватало только про себя. Говорливой быть разучилась. В короткий досуг и пошла бы к бабам на лавочку, но и они ей стали чужие. Либо они при ней молчат, либо ей говорить нечего. Тоска!.. Взялась опять за шитье, девчонок хорошо приучать к ремеслу, и самой легче: хоть и дома, а у мужа на глазах реже.

Но Марина, видно, не умеет жить. Нейдет с мужем в одну стать, не пялит из себя богатую. Нежиться бы ей, нежиться по утрам с мужем, а ей все некогда, все у нее дела... Ходит с подоткнутым подолом.

— Ты мне не под характер... Я ли тебя не ле-

лею?..— сказал ей муж на рассвете в одно утро и выгнал ее на улицу, а дверь запер.

Пастух играл на рожке веселое. Бабы хлопали калитками, выпуская скотину, а она, сорокалетняя, в сарафанишке, прижалась тогда в уголок у двери, скулила, что щенок, оплакивая свою неразумную головушку.

— Марина Петровна, я на речку пойду. Альбо после обеда? — спрашивает из кухни несмелый голос.

Марина сунула стружки в печурку, взглянула на ширококостную, угловатую в плечах работницу, недавно нанятую Мокеем.

— Хочешь, Дуня, так иди. Белья не так много, скоро сходишь. Обед сама соберу...— ответила Марина.

Дверь со стеклом отворена. Ванюшка в черной рубашке под ремень чистит медную чашку весов. Фабричный человек с седеющей бородкой нетвердо стоит на ногах, хлопает его по плечу:

— Хороший ты парень, Иван Мокеич, душевный! Я тебе прямо говорю, слышишь?..

Мальчишечье лицо Ванюшки улыбается, и голос воркует:

— Слышу... ладно... Ты лучше сядь, Лука Федорыч, вот на ящик... Выпей морсу клюквенного.

С улицы вышел чем-то осерженный Мокей, молча кивнул чужому. Марина притворила дверь, но все же долетели до нее сердитые слова:

— Занялся не делом, оболтус... пастух... Бочку надо бы от керосину выпростать...

Смущенное, красное лицо Ванюшки проплыло мимо стекла. Из передней горницы выбежала Клавдюшка с детским испугом в синих глазах.

— Ма-ма! Петька бьется!

И споткнулась об угол потертого половика.

Семилетний Петька машет мочальной плеткой:

— Всех лендочек буду бить... во как!.. Всех!!

Клавдюшка, теребя в ухе серебряную сережку, закатилась смехом:

— Лендочек... Петька, дурачок, э-э, не умеешь сказать девочек!..

Марина нагнулась, поправила половик, пригрозила:

— Ну-у... не орите!.. Не маленькие. Тихо!

Дети большие, а разве она знает их желанья, у кого что на душе, кто чем живет?

Из кухни потянул дух гречневой жареной каши. За столом ребята гремят ложками. Пришли плотник и Мокей. Лицо Мокея постарело. На щеках, ближе к ушам, кожа легла двумя морщинами.

Собирая на стол, Марина положила плотнику, как чужому человеку, ложку, которой он всегда ел, и ломоть хлеба, выбрав поаккуратнее; поставила полное блюдо щей и, сев рядом с Мокеем, спокойно сказала:

— Ешь, Захар! Протрясся, небось, с утра.

Мокей вытер свою ложку углом белого столечника, подозрительно посмотрел, словно впервой видит кудрявого, пригожего мужика, усердно жевавшего кусок говядины, и значительно крякнул:

— Много тебе, Захар, пилить? Надолго хватит?

Марина сразу поняла, — голос мужа царапкий и притворно веселый. «Что-то ему не по нутру», — подумала и растерянно, боком взглянула на гладенько причесанную голову мужа. Обдумывая, чем он недоволен, посмотрела на Минку, молчаливо сидевшую напротив с ребятами.

Плотник положил ложку на стол, вытер рот рукавом рубахи и добродушно коротко ответил:

— Спешу, хозяин. Жена, небось, ждет, да и по деревне стосковался.

Захар управился с кашей, не глядя на образ, перекрестил грудь, вскинул на плечи свою сермяжину и ушел. Ребята понесли кости Дружку.

У Мокея на лбу вздулась синяя жила. Он подошел к Марине, пожирая ее глазами:

— Тебе что, плотник нужен?

Марина взглянула в его позеленевшие глаза, и у нее кольнуло сердце; она отшатнулась.

— Что ты выдумал, Мокей Якимыч? Да к чему ты это?..

— А вот узнаешь, непутная баба... подлая!.. — ощерясь, замахал Мокей кулаками. — Не понимаю я, плотнику и ложка особая... Плотнику и хлеб помягче... А муж корки сухие грызи!.. Вот и получай!.. — и полетели на Марину оплеухи.

Ванюшка ждал обеда, глаза его мелькнули в око-

шечко двери. Привалясь к печке, Марина загораживалась руками от ударов, тихо вскрикивала и гнулась ниже.

Пришла Дуня с речки. Мокей хлопнул дверью и скрылся в лавку. Прежде всего Марина забоялась — придет Ванюшка обедать, увидит побои; легла на кровать, голову зарыла в подушки. Лицо болело, в голове трещало.

Перед вечером Марина посмотрелась в зеркало: под левым глазом синяк, на подбородке широкая царапина В голове тупая боль, и в сердце стыд — как она покажется своей работнице и как скроет от детей, что отец ее избил?..

Заперев лавку, Мокей ушел к Семену Семенычу.

Пришел поздно, тихо разул сапоги. Лежа в постели, Марина слушала, как на дороге парни играли на гармошке, а девки верезжали:

Ох, бедна я, бедна!..
Плохо я одета...
Никто замуж меня
Не берет за это...

На проулке громко кричал Сидор.

— Мокей, заглода, дьявол, богатей, на вот, сними иди хрест!..

В просонках Марине виделась Мокеева белая рубашка у кровати; он прислушивался, спит ли она.

«Жалеет», — промелькнула мысль, заволакиваясь сном.

А он двинулся в горницу, где спала Дуня.

Семен Семеныч сидит на опрокинутой железной мере, очками на Мокея поблескивает.

— Ну что? — спрашивает. — Как дела с Сидором? Закончился суд?

В глазах Мокея скользнула угодливость. Почесывая тонкий нос, неторопливо ответил:

— Что Сидор? Избушку свою продает. Срок подошел — в казну платить гербовый расход. Дурак он, Сидор. Захотел тягаться! Я дал его адвокату, что надо. Оба адвоката и играли в мою руку, а с Сидора брали. Не захотел Нефед купить его избушку. Ходил,

вишь, в контору Сидор, набивался хозяину. Ну, разве тот свяжется? Да и кому нужно связаться с его гнилушками в заду?.. Надавал я сто рублей, половину за долг зачел. Продам на дрова, выручу обратно...

Семен Семеныч одобрительно тряхнул головой. Очки съехали со своего места, поправил, как надо.

— Значит, мой совет тебе на пользу. А с женой поладите, чай, свои...

Марина заглянула в лавку. Ванюшка вешает муку деревенской бабе в полушубке. Мокей читает газету. Пошла на свою усадьбу. Стала у Сидорова садика. Чрез плетень видно, — на завалинке сидит Сидор, согнутый, локти уперлись на острые коленки. Плакал Сидор, всхлипывая, прощался с насиженным местом.

Не доводилось видеть Марине такого горя и слез мужичьих.

Телегу с сундучками и разной домашней рухлядью тянула поджарая лошадь на усадьбу Нефеда и гнула голову к высокой сочной траве.

Марина невольно спряталась за тюлевую занавеску, холодными пальцами потирая пылающий лоб. От стыда или от горя и слез Нюшка зажала лицо платком. Теща заняла половину телеги. Грузная, старая, Марине показалась она страшной в своем старушечьем горе. Вытягивая руку к обширному, окнастому дому, выла и пророчила:

— Будьте вы прокляты, аспиды! И дом ваш будь трижды проклят! По бревнышку, по камешку развалится. Не будет вам проку! Подавитесь, трижды проклятые!..

Лицо Марины исказилось болью. В груди захолодело, заныло. Думать устала. В бессилье хотелось плакать, рыдать, душа кричала: «Не плачь! Ты не смеешь плакать! Ты участница чужого горя. Ты сидишь на мягком стуле... Ты тюлем загораживаешь свою совесть!.. Ты! Ты!» Больно и тупо в поникшей больной голове.

— Теть Марина... а теть? Я ухожу... Спасибо тебе за ласку и за все... Да не убивайся ты понапрасну так, слышь, болезная?..

Марина подняла голову и глазами, полными слез, посмотрела на работницу. С узелком в руках стояла крепкая, широколицая деревенская девушка, простая и жалостливая. Теплота серых глаз коснулась сердца Марины. Облегченно вздохнула и тихо сказала:

— Прощай, Дуня... милая...

В праздничный день Мокей сходил на Поповку, принес решето крупных зеленых слив, поставил в кухне на открытое окно.

Ухмыляясь, Мокей пошутил:

— Вот тебе, жена, ешь — не хочу, вари варенье... Я ведь не в тебя — злой: кого обижу, зла не помню...

Марина взяла одну зрелую сливу и покачала головой:

— Ты говоришь, — на варенье. Да нечто я когда варила? Не умевши, только добро изгажу.

Мокей и сам видел впервые такие сливы, взял их, на людей глядя, думал жене угодить, а она, вишь, насмехается. Он вспыхнул, что береста на огне.

— Почему это тебе не сварить? Морду воротишь, так я живо сколочу, чтобы прямо... Нет же тебе, чорту, ничего! — И плюнул прямо ей в лицо.

Не успев отшатнуться от плевка, Марина вытирала лицо. Руки тряслись, сердце прыгало воробьем, она глотала слезы. Взяла решето, думает: «Хоть бы Петька с Клавдюнькой поели...» И на что ей надо было говорить Мокею!.. Только что успела поставить решето на стол, в кухню вслед за ней влетел разозленный Мокей.

— Ты что делаешь? На что взяла? Надо мной мудровать? Будет, помудровала... Ишь, она не ученая... — И хлесть всей ладонью по щеке, потом вцепился в волосы. — Я те проучу... Ты у меня будешь уметь... будешь знать, до всего будешь дознаваться...

Оплеванная, избитая, Марина согнула спину. Обида жгла сердце. Умереть бы вот, умереть, что ли... На пятом десятке до чего дожила!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДЕТИ

День этот начался для Марины необычайно. Собираясь в лавку, она заглянула в окно, мимо их дома проходили мужики из Чижей, и с ними узнала брата Михаила. Марина удивилась и обрадовалась, вышла навстречу.

— Сюда иди, Мишуха, сюда! Гость пришел, Мокей Якимыч.

Мокей укладывал на полу рядом с «мерзавчиками» пачки папирос. Взглянув на гостя, буркнул:

— Бродяга!.. Тоже форсит!.. — И протянул Марине бутылку с вином. — На вот, угощай, самовар ставь...

У Михайлы сапоги начищены, скрипят. Из кармана нового пиджака торчит уголок белого платочка. Посмотрел на Мокея, усмехнулся:

— Что косишься, зять? Я ведь не за куском к тебе пришел, а сестру навестить, так что не бойся. А ты, Марина, не хлопочи. Постарела ты что-то в своем новом угодье, заморщинилась. А Ванюшка как тут?

Входя в горницу, Михайла кивнул на царей:

— Вишь, наворочали... А это что? — шмыгнул ногой по ковру. — В старье, что ль, ухватили купеческие ощурки?

Марина покраснела, но не сдалась и задорно, молодым голосом укорила:

— Злой ты, брат, стал. С чего это?.. У нас все не плохо... Ванюшка, знать, выбег на задворки. Хошь — иди погляди, как у нас там, а я самовар сготовлю.

На дворе залаял Дружок. Пришла Минка с подругами. Сели за круглый стол играть в карты. Марина забеспокоилась. Ванюшки в лавке нет, не заругал бы отец. Наставила трубу на самовар, вышла на задворки. Солнце пряталось далеко налево, за ветлу. Тянуло сыростью. У беседки на траве вразвалку резались мужики на деньги в «свои козыри». Мишка Круглин заглядывал через изгородь.

— Чего он тут, Тихоня, выслеживает?..— подумала Марина и остановилась у бани.

На завалинке сидит брат, Ванюшка пригнулся к нему, смотрит в руках его книжку. Ворочая листы, Михайла толкует:

— Вот, Ванька, какие надо читать! Учил ты закон божий поповский. Тут тоже закон,— какой нам нужен. Почитаешь — поймешь себя и других. Видишь, книжка называется «Капитал»?

«Господи помилуй, чтой-то какое слово на книжку? К чему?» — мелькнуло в уме у Марины. Пошла к забору, подбирая в фартук из травы — где сотку, где бутылку.

Ванюшка слушал дядю, повертывая в руках книжку в коричневой обложке.

— Парень тут славный есть,— говорил Михайла,— Васька Чумазов, в казарме. С ним бы ты, Ванюшка, сдружился, и книжку ему тогда отдай, да аккуратнее: за нее, знаешь...— Михайла поднялся с завалинки, потянулся, посмотрел на Ванюшкино лицо, молодое, открытое, в глазах упрямый огонек, нагнулся к его уху и тихо сказал: — За-арестуют за книжку...

Подходя к ним, Марина заметила — Ванюшка вспыхнул, покраснел, глаза закруглились; он шевельнул губами, будто хотел что-то спросить, но увидал мать, сунул книжку за пазуху и убежал.

— Озяб ты, знать, Мишуха... Иди погрейся чайком! — позвала Марина.

— Спасибо, сестра. Другой раз, может, зайду. К знакомым тут надо, недалеко.

Михайла взял у нее картуз, нахлобучил его до ушей и, уходя, добавил:

— А Ванюшка у тебя удался, это верно... Прощай! Неведомо, зайду ли еще когда ..

Марина опешила даже, глядя на уходившего брата. Второпях громко наказывала:

— Пойдешь в село — поклон хочь матери передай. Груше своей, Тумбочке, кланяйся! Экий ты, право!..

Весь этот день Марина думала:

«Не спроста Михайла был так наскоро. Что-нибудь да не так...»

В субботу Мокей задумал не отпирать лавки. Ради своих именин ушел в церковь. А Ванюшка рад: лавка заперта на весь день. Ему свобода, сидит в кустах у берега, веселыми глазами следит за удочкой. И журчит голос Ванюшки:

— Ти-имк! Вчера Васька Чумазов приходил в лавку, звал гулять к фабрике французской...

— Ну и ладно, — невидимо где отзывался Тимка. — У тебя, Ванек, нонешний день праздник, какой бывает только два раза в год, знаешь — какой! Я вот думаю, давай зальемся туда на весь вечер... У-ух!

И в воду шлепнулся ком земли, из кустов показалась рыжая голова Тимки.

— Искупаться бы, что ль?

— Ни фига не ловится, хоть бы насмех один ершик. — И Ванюшка свернул удочку. — Давай пойдем, а удочки в кусты. Может, опять вернемся.

Тимка застегнул ворот бумазейной серой рубахи, со штанов общипал колючки репейника и, загибая голову, посмотрел, куда Ванюшка прячет удочки.

— Не украдут. Идем!.. — дернул его Ванюшка за пояс, и оба, пятнадцатилетние, беззаботные, посвистывая, пошли в ногу.

— А у вас, Ванек, обедают... — толкнул его в бок Тимка. — Говядину жареную едят, небось, и кисель с медом. Давай вернемся, а? — И Тимка засопел, морща веснущатый нос.

— Вот он обед, в карманах, рыжая пятница... Осталась еще колбаса и пирог, с говядиной. — Тимка отломил кусок да в рот.

— Отца боишься, — прыгая через канаву, дразнил Тимка.

Пошли по Дворянской улице. Считая глазами на дороге галок, Тимка высказывал свои мысли:

— Я так думаю, Ванек, слышишь, на чорта живут богатые? Не работают. Вот твой отец. Что он работает? Нет, он деньги на деньги зашибает, и ты у него — работник и его боишься, потому работать ничего не умеешь. А что в лавке сидишь, так это — фю-ю-ю!.. — свистнул Тимка. — Это подработка под отцову дудку... Вот я как понимаю... — И повысил мальчишеский голос: — Мой отец работает на фабри-

ке, и я его не боюсь, потому сам набойщик. И все думаю, — без богатых кабы жить... Что ты на это скажешь?

Ванюшка молчал, ему обидно, что между ними разница. Тимка гордится отцом и идет, куда захочет, а он ушел украдкой. Но у него есть книжка такая, он в ней понял кое-что, понял, что такое «эксплоатация», захотелось похвастаться этим словом. Он ответил:

— Чего мне, брат Тимошка, думать? Это называется таким словом — «эксплоатация».

Тимка снова свистнул и засмеялся:

— Вот так словище ты, Ваня, вывез! Сразбегу не перепрыгнешь и не вдруг раскусишь. Я сразу понял по-своему: «платация» — это есть плутня. Плутуют хозяева; значит, и отец твой, стало быть, плутует.

Ванюшка рассердился:

— Ну тебя к чорту, Тимошка! Завел разговор про отцов. Думаешь, я так ничего и не знаю... Ужо пойдем, я тебе скажу...

Дошли до Поповки и молча завернули в трактир «Завей горе», полный людского шума и гама. В углу у окна увидели Ваську Чумазова и Егорку с веселыми выпученными глазами.

— Вот чорт, как вы к разу пришли!.. — вскочил Васька, гремя табуреткой. — Тимошка, лезь сюда! Чаю хочешь? Ванек! садись с дядей Павлом! А там и гулять пойдем.

Первый раз Ванюшка с мужиками в трактире. Придвинул стул, неловко сел, касаясь сального пиджака дяди Павла, и, приободрясь, подсчитал глазами сидевших: их семеро... Пьют вино, о чем-то рассуждают... Трясут бородами, хмурятся. Безбородый, кудрявый кого-то выругал: «Подлецы, подлюги!» — и кулаком стукнул по столу. Глаза у всех сердито загорелись. Лысый, с черной бородой, толкнул дядю Павла и потянулся к бутылке.

— Давай-ка, работяга Фока, хлебнем еще «боговой слезки» за упокой, что ль, крепости Порт-Артура... Да-а... вот оно... — И, задевая на столе белый пузатый чайник, черными от гари пальцами взял стакан.

Васька с Тимошкой тоже чокнулись. Ванюшка немного отодвинулся, вслушиваясь в разговор, посмотрел на худощавого Фоку: знакомый кочегар, видел его где-то...

— Так-то вот... Загнали нашего брата воевать в эту самую Японию... — говорит вполголоса Фоке сосед, хмуря серые брови. — Шапками, вишь, закидаем этих самых... А сами наши, — черные души, только и знают, что крепости и солдат продавать.

Кочегар мотнул головой Павлу: слыхал?

— Ну еще бы!.. Они, слышь, японцы, пушек, пулеметов навозили, а наш енерал Куропаткин целый поезд образов пригнал на войну: молитесь, солдатики, пушечное мясо, в раю лежать сподручнее...

Ванюшка подумал: «Не за то ли Куропаткина крестом наградили?»

— Хм!.. Дела... — хмыкнул безбородый, оскаля зубы. — Знать бы наверно, в газетах, поди, не пишут...

— Надо бы тебе — в газетах, еще чего захотел! — разозлился кудрявый, заправляя циркуль в боковой карман пиджака. — Поди в четвертую казарму, там два раненых прибыли. Самовидцы. Вся енеральская свора, говорят, играет в руку японцам, лафа им — в карман. Видимое дело — войну проиграли.

Пуча веселые глаза, восемнадцатилетний Егорка старался казаться настоящим мужиком и говорил деловито:

— Слышь, Ванек, про войну толкуют. Утрут нос японцы нашему царю-батюшке... А это даром не пройдет. У нас на фабрике только про то и разговору... Припомнит рабочий люд ко времени. Гляди, что-то будет...

Не успел Ванюшка сказать: «Я, мол, знаю, читал в газетах», лысый заругался.

— Ну вы, колоброды, слесарята! Не больно там... Знай наших, отшивай чужих.

И серые глаза обдали Ванюшку холодом.

Чувствуя, что все на него смотрят, Ванюшка отвернулся, начал отряхивать с коленок штанов грязь, прилипшую на реке.

Чумазый поспешил на выручку.

— Где ты увидел, дядя Фока, чужих? Ванек ежели, дак это мой приятель, давно его знаю, в училище мы с ним, и ты не думай что-нибудь такое...

— Погоди, щегленок... — поглаживая черную бороду, остановил лысый. — Откуда взялся этот тятенькин сынок, знаю, видал. И ни к чему он в нашей компании, вот и все... Верно, Фока?

Кочегар, замуслив зубами бумажный вертунок с табаком, угрюмо ворочал языком:

— Оно верно... По рукам видать, не нашего поля ягода... А все же может сказать, пошто сидит тут красной девкой... — Уставил на Ванюшку корявый палец. — Я, дескать, умник и вина вашего не хочу...

Ванюшка обиделся, покраснел, блюдце с чаем в руке плеснулось, поставил на стол и с мальчишеским задором заговорил:

— Что мои руки? Понимаю, почему говорите — чужой. Или я не работаю? Или надо мной нет хозяина?

Фока чего-то наговаривал Тимке, потом хлопнул его по плечу.

— Постой, Фока, погоди... — увернулся Тимка. — Правду Ванек сказал. Верно, он праздник видит только два раза в году, а вино-то пить... Эх, Ванек, давай, выпей стакашек!

Ванюшка каждый день у вина, и ему был тошен винный запах. Насмотрелся он на пьяных, и были они ему противны. Но тут хотелось показать, что он ихний, мужичий, потянулся и он за стаканом. Выпил до дна и закашлялся.

— Ловко, разлюли малина!.. Уважил Ванек, — заорал Васька, и голос его потонул в пьяном шуме гуляк...

За другим столом двое пьяных орали несуразное. Вертлявая бабенка трескуче распевала новую песню:

Дует, дует ветерок
Из трактира в кабачок...

Слова фабричных мужиков казались захмелевшему Ванюшке страшной обидой, никчемушняя песня сердила: ему хотелось быть на улице и хотелось говорить с фабричными, что он все понимает, читает газеты...

Совсем захмелевший, на улице он орал с Тимкой:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-ет...

Близ полночи Ванюшка, неуверенно хлопнув дверью, неверными шагами прошел в свою комнату. Марина только что забылась сном, но сразу же открыла глаза и по тому, как он, цепляясь за что-то, стаскивал с ног сапоги и чего-то шарил впотьмах, поняла: сын пришел пьяный. Ванюшка икнул и закашлялся. Проснулся Мокей и сразу загремел бранью:

— Что, стервец, али обожрался?.. Чертище, оболтус!.. Дорвался... ссукин... па-стух!..

Ванюшка застучал стулом. Слышно, твердо встал на ноги и твердо выговорил каждое слово:

— Да, обожрался, отец. Это ты верно угадал. Хлебом твоим обожрался — больше некуда...

Марина похолодела. Слова безответного сына показались ей страшными, вот сейчас муж встанет, и случится что-то нехорошее. Но Мокей лежал, не шевелясь.

Марина проснулась по привычке, — еще пастух не хлопал кнутом. Убрала раскиданные сапоги сына, повесила одежду, — любит, чтобы все было на месте и чисто.

Собирая на стол, Марина думала, что надо бы поругать сына: с эдаких пор тянет на худое дело. Но вгляделась в бледное лицо и посиневшие губы, — и стало жалко. Тихо сказала:

— Иди выпей крепкого чаю... Экий ты, Ванюшка, право!.. Застиг себе хвори... Не хорошо, ведь, плохо, а?..

Ванюшка отмахнулся:

— Не говори, мать, и уходи... Без тебя лихо...

Чай пить не стал. В голове его звенело и неясно вспоминалась пирушка. Сплевывая во рту противную горечь, старательно чистил метлой, убирая на дворе. Взвалил на плечи мешок подсолнухов, понес в лавку. В дверях столкнулся с отцом.

— Тише! Аль пьян еще? Ломишься... Чем ты недоволен? Говори... Я тебя хозяином сделал, все тебе доверил, а ты отца позоришь... Сделай, оболтус, еще раз так — выгоню!

На шум в лавке Марина вышла, молча посмотрела на сына. Бледный лоб его покраснел, темные брови упрямо нависли. Твердо и бесстрашно ответил:

— Нехорошо тебе ругаться, как извозчик. И не забывай, отец, я из оболтусов вырос. И не след тебе кричать на меня, как на батрака, а на мать — словно на поденщицу... Эко угрозил — выгоню!.. — И, не глядя на отца, вышел на двор.

У Мокея на висках вздулись синие жилы, ноздри зашевелились, и он погрозил Марине:

— Радуйся, потворщица!.. Вырастила озорника... Из училища выгнали, — хоть бы чему выучился...

Марине стало обидно за сына, у нее задрожали руки и глотку перехватило.

— Врешь, мы сами виноваты... не давали ему учиться... Мы отняли у него радость... Гляди, — не улыбнется, бывало, не поиграет с ребятами... Мы обездолили парня!.. — выкрикнула она со слезами, позабыв о своей покорности, и сейчас же испугалась: не сорвал бы за это муж свое зло на Ванюшке?

Солнце редко показывается; воздух сырой и холодный; деревья печально качают голыми прутьями. В окнах двойные рамы замазаны замазкой, за ними длинные и темные вечера. Чуть слышен фабричный гудок. И сердито воет ветер.

У Ванюшки непривычно строгое лицо, брови сведены. Отпустил наскоро товар, — теперь в лавку реже стали заходить, — отвязал фартук и повесил его у двери...

Мокей молча посмотрел на уходившего сына, сунул нос в газету, — досиживает вечер до девяти.

На обычном своем месте сидит Семен Семеныч, подбородком скучливо уперся в конец палки. От нечего делать спрашивает Мокея:

— А твои дела как? Что Володька? Много ли за него платишь?

Копая в носу пальцем, Мокей вспомнил приятное, усмехаясь, ответил:

— Ничего, учится... Был я у него, как ездил в город. Одежду — форму купил ему. Поглядел — мальчишки бегут в училище, пуговицы золоты-ые... Эх! — крякнул Мокей, — хорошо-о... дорого, да мило..,

Хозяин, зябко ежась, застегнул нижнюю пуговицу пальто и, подхваливая Мокея, загудел:

— Вот, вот, чорт! Учи, знай, — тебе, вахлаку, ученого и надо...

Порыв ветра распахнул дверь, огонь в лампе мигнул. Мимо лавки, качаясь, промелькнула темная тень, на дворе завыл Дружок.

Марина не удивилась, — в полутемную прихожую вошел незнакомый худощавый человек и сразу шагнул в комнату Ванюшки. Сын сказал ей — придут товарищи. Она не спросила, какие, откуда. Сложила шитье, спрятала его в комод. На часах шесть. Посмотрела в окошечко двери: кривой стоит рядом с нарумяненной девкой, дергает ее за рукав.

Тугая дверь впустила еще двоих: один — чернявый, с непокорным чубом из-под картуза, другой — с веселыми глазами. Оба приветливо кивнули ей, словно знакомой. Улыбаясь, Марина загремела самоваром, не заметила, как Клавдюшка перестала играть с котенком и юркнула под Ванюшкину кровать у самой двери. Пришел и Ванюшка, а с ним еще двое...

— Сюда проходите! Темновато тут, ну, да ладно. Посвети, мать!..

Голос сына веселый, теплый. Марина радуется: Ванюшка стал жить по-человечески. С чашками в руках вошла в комнату. Рядом с сыном сидит большеголовый, с русой бородой. Это ее удивило: разве он сыну товарищ?.. И забоялась чего-то...

Окна плотно завешены. Огонек пятилинейной лампочки слабый. Разговор тихий, осторожный. Послушать, о чем говорят, ни к чему ей, да и какое ей дело? Ведь не ругаются, не пьянствуют! ну, и пускай. Ванюшка сам знает, — зачем они ему, товарищи. Это ее успокоило, и она делает свое дело в кухне...

Постарела Марина заметно. Углы губ опустились. У бровей к носу две канавки обозначались. Глаза боязливо-грустные остановились на Клавдюшке, та вынырнула из-под кровати.

— Ма-ма... мам! Говорят-то они чего там чужие!.. Про царя говорят, вот ей-богу, про царя... Я слышала...

Поглаживая головку девочки, Марина усмехалась:

— Экая ты выдумка! Да почто он им нужен, царь-от?.. Горазда ты в пять годов выдумывать да божиться, научилась где-то... До царя, милая Клавчонка, дале-еко... а до бога высо-око... Иди-ка лучше спать ложись. Петька, гляди, скоро выспится.

Собирая ужин, Марина ласково провожала глазами товарищей Ванюшки. Тихо и незаметно один за другим разошлись. Тишина. Марина рада. Сейчас у нее на уме Володька: скорей бы дошить ему рубашки... Вот пройдет базарная суматоха... С Мокеем уж сговорились, как ей поехать в город... И скоро-скоро она увидит сына...

Идут недели. Проходят месяцы. Наконец Марина собралась в город.

Вылезая из вагона, она вздохнула. «Вот и приехала... и Володька тут где-то близко. Шутка нешто — два года не видела!..» И сердце ее зарадовалось и тому, что скоро увидит сына, и тому, что она первый раз приехала в такой большой город — и на машине... С узлом в руках остановилась у вокзала на площади и растерялась. С неба сыпался снег. Кричали извозчики. «Народу так много, словно на большом базаре», — подумалось ей. Кричат, суетятся, спешат, и каждый со своей ношей расходятся по своей дороге...

Марина пошла вправо, как толковал Мокей, на остановку конки. И все, что она видела, было ей удивительно: и железные рельсы по улицам, и эти с народом окнастые конки — с большую избушку; Марина все старалась угадать, в которую конку ей влезать, и боялась, — народу в каждой полно. Сидят и на крышах. Это ей показалось уж совсем чудно. Скамьи во всю крышу, люди сидят на две стороны, и все им видно. Она слышит — у нее за спиной парни сговариваются:

— На крыше дешевле: три копейки до главной больницы. Едем, Федька!..

И оба полезли по узенькой лестнице.

Хотелось и Марине на крышу, но там мест уже не было. Ледяной ветер поддувал под ноги, и было хо-

лодно стоять в суконном пальто на овечьем меху, и скорее хотелось увидать сына.

— Ты, тетка, чего ждешь? Тебе куда? — спросил мужичок в рукавицах, с веселыми глазами и с котомкой за спиной.

— Я-то? — откликнулась Марина, поддерживая узел, и вдруг чему-то обрадовалась. — К сыну я, дядь, к сыну, мне, стало быть, по этой улице надо, мимо желтой церкви к самому большому училищу.

— Ага, к сыну... Это дело хорошее, — к сыну... Иди, иди, тетка, к сыну... — И словоохотливый мужичок в рукавицах весело засмеялся.

«Чудной!..» — подумала Марина и пошла пешком, перехватывая узел в другую руку. Ей вспомнилось, с какой заботой ухаживала она за тестом, выпекая сдобный кулич Володьке в гостинец, и радовалась — кулич вышел на славу: большой, румяный... Да и не один кулич в узлу, насовала она туда конфет и чего-то еще.

«В чужих людях живет... Похудел, небось, Володька... — думается ей. — Обижают мальчишки, пожалуй: молчаливый он да смирный...»

Остановилась против бородача с метлой.

— Дяденька, это где тут будет самое большое училище насупротив собора?

— Сбилась ты, тетка... Зайди в этот проулочек, а там опять пойдешь... ну, и опять спроси...

Марина заторопилась, версты две с гаком прошла. Вечер спускается. В больших домах — она теперь заметила, что дома большие, — огоньки засветились. Узел. обе руки оттянул. «Ничего, — думает, — мальчишку жалко. Отдохну там. Сама гостинцы выложу. То-то рад будет! Плачет, может, сердечный, мать ждет...» В кривом переулке терпеливо покрутилась туда и сюда. В пуховой шали идет женщина навстречу. И ее спросила.

— Эх ты, милая, деревня, знать! — взмахнула руками проходившая. — Поверни во-он за энтот дом, тут тебе и есть собор.

В высоком белом доме под ногами что-то мягкое, не слышно шагов. Во весь простенок зеркало. Медный подсвечник на столе. Горит свеча. Тишина, словно

ночью в лесу. И Марина опять растерялась, не знает, сесть ей или стоять. Из двери в дверь промелькнули золотые пуговицы кудрявого паренька.

— Вам кого?

— Володьку... такого Володьку...— заторопилась Марина.

Где-то вдали жужжат голоса, смех, и слышно ей, как токает сердце, и теплота в груди разливается,— вот сейчас выбежит, с глазами, как у матери, и повиснет на шее.

Опять в двери золотые пуговицы и к ней ближе... неторопливо, ровным шагом. Кто это? Володька? Нет, это не он... Лицо сухое застыло, не дрогнет улыбкой, лаской. Но сходство родное, отцово...

— Володька, это ты? Неужели не рад? Как ты живешь? — вырвался крик Марины.

— Тише, мама, услышат,— здесь казенное... Ты это мне? Я сейчас!..— Взял узел. Ни поцелуя и... ни-ни...

Мать подалась за сыном к двери.

— Нет, ты не ходи, туда нельзя... Там мы спим...

Замелькали пуговицы, хлопнула дверь. Марина одна. А за дверью где-то ходят, смеются над ней, деревенщиной... Марина это чувствует и старается не дышать, не шевелиться...

— Ты, мама, все стоишь? У нас сейчас ужин,— тебе пора уходить!..

— Я... я...— залепетала Марина,— хотела поглядеть, где ты тут живешь, Володенька, и посидеть там, отдохнуть, и сказать тебе что-то, Володенька...

Володьке четырнадцать лет, он смотрит в сторону, хмурый. Марина чует: он стыдится ее. У двери в щель смотрят чистенькие, холеные его товарищи. Смотрят на мать: в суконной шубе, подпоясана чем-то. Голова обернута клетчатым теплым платком... Мальчишки хихикают. «Их матери приходят сюда в ковровых шалях, в шляпах... в перчатках...» — думает Володька, и Марина догадывается о его мыслях и чувствует — жизнь ее отошла куда-то. Ей холодно, грустно. В голове тупо и больно... Перед ней не Володька, нет. А кто же? Может, Мокей? Да, да... муж, Мокей... Тот же холодный, далекий взгляд...

Давно вечер. Горят фонари. На небе звезды. Марина одна на улице. У нее нет в городе сына... Она не сумела вырастить сына. Не было времени научить его быть сыном...

Снег валит крупными хлопьями на голову, на плечи, на мокрое лицо. Снег тает и не спеша ползет по щекам вместе со слезами... Незаметно дошла до вокзала. Люди куда-то спешат, бегут, спотыкаются... А куда ей торопиться? Жила, спешила и не догадалась — дети сами по себе выросли, малые не давали спать, а большие...

И в вагоне Марине не спится, она вздыхает и думает: «Вот Минку сватает жених из города...» В памяти ее остался, как плесень, тогдашний, нудный, бестолковый день. С полдня до вечера прели они с Мокеем с новыми сватьями, за чаем толковали не о пригодности жениха и невесты, а о деньгах, тянули речь, что упрямого барана за рога. Жениху — пожилому, усатому — хотелось взять молоденькую Минку и с ней побольше денег. Мокею по мысли — жених, служащий в городе, и он торговался по-купечески, шутил, смеялся, уходил к двери и опять садился за стол. Хлопал жениха по коленке, и начиналась речь с начала: у него, Мокея, вишь столько денег нет... И Марина неловко твердила за мужем неправду.

— Денег взять негде.

Весной выдали Минку замуж за бравого усатого щеголя, и с ней ушло все наследство после Феклуши, умершей уже с год.

Свадьба немало принесла Марине заботы и огорчений.

По первому разу, как приехали «молодые» в гости, Минка, шелестя шелковой юбкой, принюхиваясь и подергивая щекой, как отец, кивнула матери:

— А-а... здравствуйте!..

И важно прошла в чистую горницу.

От ее сухого голоса и напущенной важности Марина вдруг почувствовала — для Минки она была и осталась чужой. Это сознание придавило ее бессильной горечью, душевной болью.

Мокей гордился городским зятем. Минку называл «Минна Мокеевна» и норовил все делать по-богатому, суетился, нетерпеливо хмурился на Марину. А она торопилась, сбивалась с толку, не могла потрафить даже колбасу как следует нарезать.

— Добро только гадишь... Чего ты умеешь!.. Иди прочь! — шипел Мокей и сам стал нарезать ломтики, что листочки тоненькие.

За обедом Марина не посадила Клавдюшку и Петьку, чтобы не мешали гостям, и, делая сладкую улыбку, угощала:

— Кушайте, гости дорогие! Не знала, что вы любите, наварила похлебку с курицей...

Минка дернула головой, — задрожали в ушах сережки, обронила, усмехаясь:

— Скажешь тоже, мать! Вот деревня — «похлебка»!.. «Суп» — люди говорят...

Ванюшка глазами усмехнулся матери, кивнул на сестру, фыркнул. Марина прикусила губы. Ей стало обидно и жалко себя. Не умеет сказать слова, а дочь вдруг стала такая умная. Подвинула зятю горчицу и молча, тупо улыбаясь, уставилась на его руку, с кольцом на пальце.

Шевеля длинными усами, зять неловко лазил ложкой в общее блюдо. Мокей угодливо егозил:

— Ты, Арсюша, косточку тащи, тащи... Во-во! Эх, ножку-то... ножку бери да с горчичкой... — лез пальцами и помогал ему поддеть ножку.

«Не привык, знать... Отдельное зятю надо — тарелку, что ль, и всем придется тарелки... Возни-то сколько!» — тяжело думала Марина и, незаметно вздыхая, ловила на себе Ванюшкин теплый взгляд. И оттого ей делалось легче.

За чаем Марина приглядывалась к Минне Мокеевне: она ли это, та Минка, робкая, незаметная Седуля? Погромыхивая ложечкой в чашке и потряхивая сережками, ведет с отцом умные разговоры:

— У нас в городе интересно очень. Обедню часто служит сам митрополит. Шапка у него золотая, на горшок похожа. И тоже очень интересно: вагоны по рельсам возят лошади... Я даже ездила до тюрьмы... Так, просто каталась. Люди сидят в тюрьме какие-то

особенные... Социалистами у нас их называют... Интересно очень...

Мокей щелкает на зубах орехи и, откидывая на стол скорлупу, поддакивает:

— Вредные люди завелись. На чужую кучу глаза пучат, не живется путем...

— А-а... ска-ажите!.. — пренебрежительно тянет Минка и играет висюльками золотой браслетки, хвастая подарком мужа.

Зять щурит масляно-черные глазки на недопитую бутылку с красным вином, похваляется:

— Мало ли где бывает такая шваль. У нас работает все народ порядочный... Офицера, начальники...

У Мокея разгорелись глаза; порывисто поднимаясь, он двинул стул.

— Да ведь тут, Арсюша, дело-то в чем... Погоди, вот сперва выпей рюмочку из этой бутылки...

Вечером Марина еще больше дивится на Минну Мокеевну. Она хочет надеть другие ботинки — и сердится на мужа:

— Болван! Не может найти, где мои чулки! Самой, что ли, искать?.. Свинья!..

И он нашел чулки и согнулся вдвое, надевает ей ботинки. Марина даже присела к столу и голову уронила на ладони.

«Батюшки!.. Да что же такое?.. Только-только вышла замуж и так мудрует! На-ко, он — ботинки ей, а она слова какие!.. Да что же это, да как же это?.. И откуда взялося!..»

Минка, подергивая левой щекой, холодно смотрит через голову согнутого над ее ногой мужа и нюхает надушенный платочек. И Марина узнает: от дедушки это, дедушкин нос и повадка его, не из родни дочь, — в родню.

Утром раненько, провожая гостей, Марина разгоревалась: другой кусок оторвался от сердца.

— Чтой-то ты, мать! — увидал Ванюшка на щеках ее слезы. — Не плачь! Есть про что! Фря городская приехала...

Проснулся Ванюшка, лишь пастух заиграл в рожок. Открыл окно и уж третий час сидит у стола над книж-

кой. Марина заглянула к нему в дверь и увидела на стене в рамке за стеклом старика волосатого, седого, с широкой бородой. Глаза его показались Марине живыми, пронзительно прямо смотрят на нее, словно угадывая, что она за человек. Ванюшка с карандашом в руке нагнулся. Черная рубашка распоясана, ворот расстегнут; глаза светятся серьезной думой. Прочитал в книжке и торопливо записал на белый листок по-своему:

«Рассеянность в разные места сламывает силу рабочих, а объединенность увеличивает ихнюю силу».

Перекинул страницу, задумался над другими строчками. В открытое окно солнце бросило на пол светлую полосу. Ванюшка наступил на нее, подошел к кровати, и коричневая обложка, блеснув золотым словом «Капитал», скрылась под подушкой. Ванюшка стал против седого старика и, улыбаясь, подмигнул ему:

— Так-то, дедушка, заучил твое!

— Ваня, это кто-такой, важный? Где ты его взял?

Ванюшка обернулся к матери.

— Это старик-учитель, Карл Маркс... Большой человек.

Марина еще раз недоверчиво посмотрела на густые, копной, волосы и бороду старика.

— Ишь ты, зовут как хитрено!

День не торговый. Мокей ушел к обедне. С улицы доносится шум праздничного утра и беготня в палисаднике Петьки с Клавдюшкой. В окно всунулась голова в картузе, и парень крикнул:

— Ванек! Пойдем! Наши там берегом прошли...

Ванюшка обернулся, хотел рассердиться, но засмеялся.

— Здорово шутовик Чумазый испугал... Ну, чего ты, Васька? Лезь сюда! — потянул он парня. — Я один тут, Тимку жду. Пошамаем и пойдем. Мать пироги пекла...

«Хороший парень Васька Чумазов, веселый!» — припомнила Марина, принесла на тарелке пирогов, спросила:

— Может, самовар вам? Я сейчас...

— Нет, мать, не надо, — остановил Ванюшка, — мы всухомятку...

Набивая в рот пирога, Васька торопливо говорил:

— Десять нас собралось. Ну, там из Чижов придут. С фабрики которые. И к Заковыркину двинемся. Книжку захватишь, Ванек? Ну, то-то. На лужке почитаем. Поговорим с парнями. Ладно? Егорка сюда бы не забрел. А Тимка? Да, отец твой-что?

Ванюшка вспомнил слова дяди: «Заарестуют!», перестал ворочать скулами и возбужденно ответил:

— Не знаю. Мне думается, отцу все равно, хоть я на голове ходи, только бы помогал в наживе. А мне, Васька, тошно от этой жизни, и ничего не страшно. Понял я, где корень неправды, и отец дороги мне не загородит...

Сад разводить Мокей взялся по-настоящему. Усадьбу загородил от Нефеда дощатым забором. Распланoвал землю. Добыл за деньги кустов смородины, молодых яблонь. И время проводит больше в саду, чем в лавке.

Ванюшке этого и надо. Лавка, что двор проходной. Проезжие, прохожие заходят покупать. Кто они, откуда, чьи, куда уходят? Угадай-ка всех.

Незаметно приходят товарищи. Спросят коробочку спичек, а Ваня скажет покупателю нужное слово, прикуривая, объяснит, расскажет — и нет товарища.

Марина взяла себя в руки, делала вид, что не слышит издевок мужа. У нее было чем жить — двое детей малолетних и Ванюшка. Приглядываясь к его товарищам, разбирала их по-своему. Не плохие, все фабричные, а вот эти двое придут в лавку, топчутся по полчаса, совсем незнакомые. Один молодой и смешной, в бабьих ботинках, глаза озорные, веселые. Другого она и раньше видала, — приходил с Мелехой, угрюмый, рябой, борода редковатая, черная. Слыхала — фабричные его зовут «Буян». За злой язык его на фабриках не держали, и Марина дивилась, что Ванюшка с ним водится. Пришел Абдул и тоже здоровается за руку, и дельно так с ним разговаривает.

«Добряк Ванюшка, — думает она, — значит, и «эти» ему товарищи, только зачем он без нужды гремит ве-

сами? Разговаривая, свешал хлеб, мыло и опять положил на свое место».

Вошел Макар, плотник. Ванюшка при нем делает вид, будто он «этих» совсем не знает. Дал им по пачке папирос, звяк мелочью сдачи, и они ушли.

Марине хотелось знать правду. Ушел Макар, она спросила:

— Ваня, не то и эти твои?..

Ванюшка подал нищему старику две баранки, дождался, когда он уйдет, и тихо сказал:

— Да, приходили мои товарищи. Но ты, мать, знай, в лавке они тебе чужие, все незнакомые... особенно без меня. Поняла?

Голос сына твердый, упрямый. В душу Марины закралось беспокойство. Потирая пальцами переносицу, она думала: «Хорошие товарищи не прячутся. Этот рябой, он, может, на худое дело...» И ответила:

— Нет, не поняла. А на что они тебе в утайку?

Ванюшка посмотрел на расстроенное лицо матери, не зная, как объяснить ей. А объяснить надо: мать нужна, без нее не обойдешься. И, жалея ее, ласково сказал:

— Мама, ты не бойся, об этом мы потолкуем вечером. — И без ужина ушел куда-то.

Марина думала: «Товарищи сына тихие, это хорошо, а какие дела в утайку?» Перед глазами угрюмый рябой, — от таких добра не жди; может, это тот самый, которые делают деньги фальшивые... Таких, она знает, угоняют в каторгу. А в каторге этой, говорят люди, небо с овчинку покажется...

Поглядывая на образ, Марина взмолилась за сына: «Господи, избавь от лукавого... пронеси беду бедовскую...» Ждала его, готовая к слезам и уговорам.

Ванюшка пришел веселый, из-за пазухи под ремнем вынул коричневую книжку, положил на стол, прикрыл картузом и, посмеиваясь, говорит:

— Ты, мать, хотела знать, зачем в утайку. Ну, так слушай. Собираемся мы и толкуем о порядках. Порядки в жизни плохие: рабочий народ обездолен богатыми, живут бедно, в темноте, в обиде, нуждой задавлены. Нет правды в порядках, нет просвету для рабочих...

Марина, не мигая, смотрит на сына: «Чтой-то он, какое ему дело?.. Ишь, заступник выискался!..» Вымеряя шагами горницу, он говорит ей много такого, чего она совсем не понимает, и ей досадно, что мальчишка суется не в свое дело. «Ну, что толку — собираются, удумывают что-то...» — и, вздохнув, сказала:

— Порядки, Ваня, не переделаешь, порядки и жизнь богом установлены, уж какие есть. Ты сам-то нужды не имеешь...

У Ванюшки загорелись глаза, ему хотелось крикнуть: «Мать, да ведь ты не в нужде живешь, а тебе сладко?» — но он сдержался и сказал спокойно:

— Не о себе только думать надо. Ты сама знаешь, какая жизнь рабочих. А твоя? Отец колотит и ни во что тебя не ставит... — На минуту смолк и намекнул о Сидоре: — Ты видела — рядом, на твоих глазах неправда задавила бедняка. В утайку мы собираемся толковать, как бороться с неправдой и чтобы порядки другие были. А за это сажают в тюрьму. Поняла?

В глазах Марины отразились непонимание и испуг. Она развела руками и тихо, боясь, чтобы не услыхали, спросила:

— И тебя в тюрьму посадят?

Ванюшка тряхнул головой:

— Знамо, посадят... — Он подошел к столу, поднял с полу Петькин кнут, положил на окно и, улыбаясь, успокоил: — Посадят, но это не скоро... А ты, мать, не бойся и не думай, что товарищи плохие. Люди не от себя плохи, а от нужды и обиды.

Ванюшка редко говорил с Мариной: чем он живет, что у него на душе — она не знала. Она привыкла говорить и слышать сухие, обыденные слова. Теперь с непонятной тревогой смотрела на сына во все глаза, ловила каждое слово и дивилась: говорит он душевно, с горечью и... жалеет ее. Ей не верится, что за доброе дело сажают в тюрьму.

— Ваня, как это ты одумал? А отец-то? Разве отца не боишься?.. Ведь оно-то... — и не договорила.

Ванюшка уперся коленом на стул. Задернул занавеску плотнее. Отошел, засовывая пальцы за ремень, и сказал просто:

— Волков бояться — в лес не надо ходить.

Марина вздохнула, подумала о товарищах сына: «Чудные, право, за других себя не жалеют... На-ко вот, пойми, дело какое!..»

Это дело, непонятное ей, незаметно, день ото дня, вливалось в ее жизнь. О муже уж не думалось, появилась новая забота — о товарищах Ванюшки. Откуда-то совсем незнакомые входят из лавки в дом. Тихо сидят в комнате сына, ночуют; уйдет один, приходят другие. Марина знает — в утайку они. Стараясь ободрить, вежливо зовет одного, когда знает, что Мокей не увидит:

— Иди-ка, мил человек, пообедай, — небось, горяченького хочешь.

Кудрявая голова вскидывается от книжки; серые бойкие глаза опасливо косятся в окно. К столу идет нетвердо. Рубаха давно не мыта. Обувка на ногах худая. Марина морщит лоб, будто сама в этом виновата.

— Издали, что ль, вы откуда? Замучены так или работой доняли?

Человек молодой совестится, поправляя худой ворот рубашки, с легкой улыбкой бурчит:

— Нет, так вот пришлось...

По острому взгляду Марина догадывается: он думает о чем-то своем, важном и очень ему нужном. Спрашивает сына:

— Ваня, откуда взялся у тебя такой товарищ. Худой да почернелый — смотреть жалко!

Ванюшка отводит веселые глаза в сторону, думает: «Сказать матери: он, мол, из тюрьмы выпущен, — она испугается». И, пощипывая на верхней губе еще несуществующие усы, нагибаясь к ее уху, тихо говорит:

— Из больницы он только что вышел. Пускай отдохнет да поправится. Колбаски ему надо побольше, да лепешки пеки сдобней... — А сам посмеивается.

Скучный товарищ: сидит молчком да книжки читает. «Что у него за хворь такая? — думает Марина. — Обносился весь в больнице...» Припасла перемену белья. Глядь — он уж в Ванюшкину рубашку черную обрядился. Она даже не видала, куда и когда ушел.

— Ваня, одной рубашки твоей черной нехватает, не знаю где...

— Ладно, товарищ в одно место только сходит, я ему и штаны дал, — сказал Ваня и губы сжал — не рассмеяться бы. Марина с укором головой качает, а самой радостно.

— Эх ты, Ваня!..

Знает она это «одно место»: не одна уж рубашка загуляла. Добрый очень, жальливый к товарищам. И беспокоится Марина за своего Ваню: сидит он до полночной поры и все в книжке чего-то вычитывает. Смущает ее эта книжка, хотелось самой посмотреть, но он всегда ее прячет.

Однажды утром убирала Марина в комнате сына, и книжка под подушкой попала ей в руки. Глаза сразу воткнулись на крупные золотистые буквы. Дома никого нет. Присела к столу, палец заегозил по коричневой обложке; зашептала по складам: «Како... он... ка... ка...» Поморгала, подумала. Еще раз пошептала и удивленно разинула рот: «Чтой-то, батюшки, прочитала! Ка-пи-та-л...» Она знает: капитал — это в торговле, когда надо наживать деньги, и, чем больше наживать, тем больше будет расти капитал. Но книжку трудно прочитать: больно тоненькие строчки. Весь день Марина раздумывала, почему книга Ванюшкина так называется... Вечером пришел сын из лавки, она спросила его, что ее мучило.

Ванюшка подумал, как бы ему сказать половчее, посмотрел матери в глаза, объяснил шутливо:

— В книжке капитал такой неразменный: кто эту книжку читает, у того капитал растет в голове. Чем больше читать, тем больше капитала в голове... Поняла, мать? Чем больше грамотных людей, тем скорее капитал развивается. А в книжке капитал все целый... Понятно?.. — И Ванюшка весело рассмеялся над своей правдивой шуткой.

Марина задумалась. Так вот оно что! Век-от она прожила ни за нюх табаку. Чем голова ее набита? Каким капиталом? Колотушками... лихими думами... И забота о неграмотности обняла наболевшее сердце горечью, забота о днях ее жизни, похожих на кочки в болоте, бессмысленно ушедших, без пользы и без толку до самой старости...

В одну плаксивую и недужно-холодную осень обшивалкам сбавили цену на платки. На Макаренке никто этому не удивился.

— Зимнее время подходит. Кому нужны платки? В запас хозяин кладет, убытки терпит... — говорили в конторе.

— Ничего не поделаешь, коли так... — грустно соглашались обшивалки. — Обычно дело — воля хозяйская, а наша нужда — только бы работу давали...

Набойщикам обещали прибавки, вместо прибавки стали работать на полчаса дольше. В лавку редко сойдутся трое — пяток, сердитые, ворчливые.

— Праздник Рождество скоро, сапогов теплых нет, на дрова нехватает, — брюзжит Кузя Серый, поглядывая на обмызганную шапку Макара.

— Зато хозяину тепло... — нешибко отзывается Ванюшка, разделяя широким ножом ковригу хлеба.

Мишка Тихоня, потряхивая на мочалке фунт баранок, смотрит исподлобья, шипит:

— Сытые ведь, чего же надо... В своих домах...

Макар живет насупротив Мишки, через дорогу, окно в окно. Не любит он угрюмого Мишку и злится на его шипенье.

— Ну тебя к чорту и со словами, мастеров кум... Развесил занавески на окнах — и сыт... Подлые...

— Говорить надо дело, — по привычке горячится Силуан. — Что же мы, в самом деле, такие бессильные, что ли?.. Небось, хозяева себе ни в чем не откажут, поперек, вширь ползут, тепло им, как говорит Иван Мокеич.

«На-ко вот, как сына величают...» — с гордостью подумала Марина, забирая хлеб на ужин.

— А ежели молчком все будем, скоро и до сумы дойдем... На наши копейки монастыри, мощи там разные, а дети наши чахнут — ни молока ни каши досыта, — устало бормочет ткач Анисим из казармы.

Соскребая ножом с бутылки ярлык, Мокей невозмутимо хмыкает:

— Хм... горячатся чего-то, ноют... Придет Рождество — винца свеженького выпьем... Хва-атит!..

Жилкин озлился:

— Без вина не знаешь, куда получку потянуть. У вас хва-а-тит, растуды вас, толстосумы! Может, первый и молиться пойдешь тухлым мощам... Кому мощи — праздник, а кому — хрк... тьфу!..

Все эти разговоры слышала Марина. Хорошо знала она — фабричные порядки давят рабочих, это верно. И она с мужем тоже на чужое живут Но ей некогда думать об этом, надо готовиться к празднику. Как и все, она целыми днями мыла и чистила. Дом большой, все до рук касается. Ждала гостей. Последнее время с утра до ночи топталась в лавке. Кто идет, кто едет, все надо и вина и всякой всячины.

В первый день праздника, сразу после чая, Ванюшка ушел с Тимкой до ночи. Не успела Марина чашки со стола убрать, пришли полицейские, пять человек. Старшой впереди. Расправил на щеках баки с хорошие метелки, приставил руку к козырьку, гаркнул:

— С праздником, ваша милость! Здравия желаем на многие лета и с детками, на пользу царю и отечеству...

Марине казалось — Мокей взлетел на седьмые небеса от такой чести. Хвастливо обнес полицию вином по два чайных стакана и «сухими» дал красненькую... После полиции веселый, добродушный ходил по горницам, улыбаясь, подмигивал на оборку праздничного платья жены:

— Дела... красота!.. Вот дела, Марина: зятя-то нет, не приехал и Володька... Н-да-а... Может, к новому году. Как ты думаешь?

Марина была рада, что не приехали: хлопот меньше. А все же хотелось повидать своих, скучливо перемывала чашки, не знала, что мужу сказать. Так и ответила:

— Не знаю...

Гости не приехали и в новый год. Мокей охал:

— Ах, съездить бы надо... хошь к Володьке. А дни торговые... А!.. Как быть-то?

Ванюшка чем-то озабочен. Марина это знает по его порывистой походке и вспыхивающим глазам. Когда отец сказал «съездить», он как бы невзначай уронил:

— Пусти, я поеду... — и спрятал глаза под ресницами. Мокей не вдруг на это согласился. Обдумывая, молчал до вечера. За ужином, присаливая тоненький ломтик свинины, благодушно разговорился:

— Съездить тебе, Иван, надо к Володьке. Кстати, город поглядишь и все такое...

Марина одна видела, какой радостью вспыхнули глаза сына, и опять поняла: обрадовался он не тому, что Володьку увидит, нет. Отец не знает его дел, а она сразу догадалась: у сына есть дело до тех, приезжавших товарищей.

Вечерами Петька с Клавдюшкой на лежанке тихо спорили:

— Придут нонче чужие-то?

— Как же тебе!.. — тряслась светлая косичка. — Вани нет, знают — в городе. А тятенька нешто нуждался в их?

«Глупые!» — улыбалась Марина и жарче калила лежанку. Сыплется снег. Трещит мороз. В лавке сборище. Под потолком лампа горит во всю мочь. Накурено. От печки железной жарко и тяжко...

— Дыхнуть, братцы, нечем...

Никто не взглянул в этот раз на хмельную приманку в бутылках. Толпятся. Кто приходит за чаем, остаются.

— А чего это тут, а? — вытаскивает за хвост селедку из кадушки ткач Анисим.

— Слушай! Глухой, что ль?..

Марина порывалась в лавку за маслом, да куда там! Полно... Наум высокий у двери вытягивается еще выше. Голос его угрюмо гудит:

— Та-ак это не брешут, Иван Мокеич, — в Питербурхе народу людского много положено?

Ванюшка утром приехал из города и повторяет то, что уже говорил после обеда сменным, приходившим на работу.

— Это неслыханное, невиданное, тов... — заикнулся Ванюшка и поправился: — братцы. Так вот, братцы, ездили городские парни наши в Питер, видели... Рабочие пошли к царю просить облегченья жизни. Невмоготу стало. Беднота за ними повышла тоже,

просить милости. Шли со всех закоулков, переулков старики, бабы с детьми. Поп с крестом впереди...

— Поглядеть царя куда неплохо, — поглаживая лысину, гуднул про себя Авдей.

— Дворец я видел в Москве, — ввязался голос пошибче.

— Тише, Кондрашка! Слыхали твое, — одернул ткач.

Мужики фабричные, хмурясь, слушали о том, как народ на площади перед дворцом выстроился. Люди зябли, пели молитву, «Боже, царя храни... сильный и славный царь православный»... А мороз трещал, хватал за уши, за руки...

Жилкин невольно вынул из кармана красные руки, посмотрел: рукава отрепанные плохо их закрывают, и холод от двери ищет в ветхой одежонке, где потеплее:

— Поп, его зовут Гапон... — говорит Ванюшка под горячим взглядом мужиков, — сам он, поп, ходил на фабрики, подговаривал рабочих итти к царю с нуждой. А царь-то, ему что? Дал приказ выставить два полка казаков, встретить рабочих. Народ без шапок...

Ванюшка проглотил слюну, вытер губы и, забывшись, звонко крикнул:

— Товарищи! Попы нам говорят: царь — бог земной. Он, этот бог, махнул рукой, — пали, дескать!.. — Молодой голос Ванюшки сорвался, сказал медленно: — И солдаты... враз стрельнули из сотен ружей. Передних всех положили. Которые побежали, за ними пули вдогонку. Лошади топтали ногами... Казаки били нагайками...

— О-ох-х ты-ы... — вздохнули мужичьи груди.

— Ба-атюшки-и! Вот страсти-то!.. Чай, кри-ики, пла-ач... — взвыла баба в выношенной до дыр шали.

У Ванюшки лицо горит. Глаза устремлены на рабочие руки, они сжимаются в кулаки. Мокей, покусывая палец, дивится на сына: ловко поет, нахватался где-то...

— Нет, постой. Ежели нашего брата столько положить, что ж это, братцы, будет?

— Бывает и больше, Наум, — воля царева, спина мужикова... — ответил Макар.

Мокей сказал успокоительно:

— Что зря кричать? Газет что-то третий день не шлют, там уж правду напишут, коли что было...

— Пра-авду!.. — опять обозлился Силуан. — Это, братцы, надо обмозговать всем миром, в чем тут загвоздка... — и махнул рукой: — Айдате по домам, на печку, чай пить.

«Нет, не пойдете вы чай пить... — подумал Ванюшка, — загвоздка эта крепко вас зацепила».

Дорогой Силуан сказал:

— Куда к чорту домой, нельзя же так, братцы! Постреляли — да и ладно?.. Идем в казармы, соберем других, потолкуем.

В такую непогоду какая собака побежит по улице? Так нет же: стукнула калитка, — товарищи приходят. Воротники подняты до ушей. Шапки нахлобучены до глаз. К удивлению Марины, вошла женщина, стащила с головы шаль: женщина молодая; за ней еще одна. Марина решила, что они к ней, да не успела спросить их — зачем. Вошел Ванюшка, а с ним еще двое. Марина их знает: с того конца слободы Андрей Пустов и фабричный Захаров. На удивленье Марины — сын, смеясь, сказал про женщин:

— Ничего, мать, это наши...

Марина даже рот разинула: и это товарищи? Да к чему же товарищи бабы?

В комнате стало тесно. Сидят все на полу в чистой горнице, без огня, разговор тихий и строгий. Марина не гремит чашками, — не до чаю впотьмах.

— Надо с другими сорганизоваться... — говорит густой голос мужчины.

— Женщин бы побольше... тогда бы дело скорее пошло... — Это говорит баба.

Охота Марине посидеть возле них, послушать, что они говорят, и не смеет, не понимает она, и сказать сама не может, а на сына дивится. Смелый стал и отца не боится, словно ему так и надо. «Листовки печатать, говорит, необходимо...» Нет, а бабы-то, а? И обернулась, подошел сын, шепчет:

— Выди, мать, на улицу, не дозорит ли кто за домом, и приди скажи... А если кто спросит: «Нет ли

картошки?», — скажи: «Есть, да не луплена», и ничего еще не говори, ежели сюда в дом пойдет...

Ветер завывал, и мятель Марину хлестала. Подошел с поднятым до ушей воротником, спросил «картошки», и другой — в валенках... и неизвестно откуда взялась в шали, тоже так спросила... Марине пришли новые мысли. «Что ж, думает, всё ей так и бояться Мокея?.. Надо не ронять голову. Эва бабы, которые и живут и ходят сами, куда захотели. Ах, ты, господи, а она-то сиднем сидит, и все ни в честь, ни в радость...» И захотелось ей сходить бы куда, показать мужу: вот, мол, и она, как люди, пошла, куда ей надо.

Случай для этого скоро нашелся. В лавке разговорилась с одной женщиной, с другого конца Макаренки, — из парного молока кисель она умеет варить с сахаром и с клеем.

— Сваришь, — говорит, — застынет в посудине и выложится высокой колобушкой на тарелку.

Марине давно хотелось сготовить чего-нибудь получше ребятам для праздника. Собралась к этой женщине, узнать хорошенько, как варить, пошла и забыла мужу сказаться.

Бабье дело, сошлись, — тары-бары, самовар на столе. Ласковая женщина, словоохочая: постой да погоди!.. Марине трудно отказаться от ласки, отогрелась душа. Время шло незаметно. Дорогой обратно кольнуло сердце, вспомнила, что наделала, — не спросилась!..

Пришла домой. Обед надо собирать. Мокей квас полюбил. Влезла в подполье в лавке. Пришел Мокей, увидал жену, — по лестнице из ямы вылезает, да загремел на нее:

— Где ты была? Куда тебя носило без спросу, с-сволочь? Тебе противно мужа спроситься? Али надо было к какому?.. Такая-разэдакая!..

У Марины сжалось, застыло сердце. Посыпались кулаки со стороны на сторону. Куда платок, куда шпильки из косы полетели. От колотушек потемнело в глазах. Хоть в яму обратно вались. А кричать — уж куда там...

Подскочил Ванюшка, загородил собой мать и сам закричал:

— Ты что, отец, делаешь? За что? Не стыдно? Как чуть — и на кулаки? В лавке народ, а ты!..

Обеда никто не собрал. Ребята бегали с куском. Мокей сыт: натешился. Торопливо шелушил подсолнухи. У Марины от кулаков гудело в ушах. Не было слез; дрожало застывшее сердце; дрожала каждая жилка. До вечера ходила оглушенная, приниженная. Ребята пугливо притихли. В комнатах тоскливая тишина. Цари со стены зловеще глядели и молчали. Ужин Марина справила. Все убрала, перемыла посуду. Вяло, задумчиво разделась, легла на кровать, сторонясь от мужа, чувствуя — сердце ее начало непутем часто и шибко стучать, — изгадилось сердце...

Сцепила зубы. Душил смех... И как-то безвольно захихикала... И шибче, шибче... Никак не удержаться... И, хихикая, заплакала, зарыдала... И хохотала... хохотала и плакала долго, без передышки...

Мокей сперва ухмылялся, слушал, потом испугался. Вскочил с постели, залепетал:

— Что с тобой, Марина? Что ты?.. Опомнись, Мариша! Господи Сусе... Сотвори молитву, Марина, сотвори... Осп... сус...

Подошел Ванюшка. В белой рубашке, распоясанный, бледный, с сухими глазами и голосом строгим обрушился на отца:

— Полно врать, отец, какая молитва! Молись сам! Воды надо... воды холодной...

А Марина все рыдала и хохотала.

— Так жить нельзя, — угрюмо сказал утром Ванюшка.

«Нельзя», — отозвалось в больной голове Марины. Нескладная голова. Нельзя шевельнуть мозгами, сейчас и заболит, все и забудешь, что думала.

Опустилась Марина, нет у нее сил, день ходит вялая, ночью бессонница. Как-то собралась с духом, сказала мужу, что неможется ей. Мокей посмотрел: жена все такая же, круглолицая, румяная. Только глаза невеселые, — дуется, стало быть... Хвори ни в чем не видно. Глядя в сторону, сказал:

— Мало ли у кого что болит: поболит и перестанет.

Перед получкой Мокей поехал на Поповку, а Марина пошла к доктору. Где и как его найти, растолковала Анфиса, — тут же на слободе и живет, а она до сей поры и не знала.

Пришла Марина к доктору. Лысый, высокий. Глаза большие, черные, добрые. Он ее знает, — кухарка ихняя часто ходит в лавку.

Сперва доктор все выспрашивал простое, житейское, и голова в какое время болит. Заставил расстегнуть казак.

— Ничего, ничего... Мне надо познакомиться с твоим сердцем...

Слушал долго. Заставил вздыхать, не дышать. Дал капель и наказал:

— Пользуйся ими только, когда будет совсем лихо, и опять приходи, коли будет надо...

Дорогой Марина крепко держала в кулаке бутылочку с лекарством и с беленькой бумажкой, вспомнила свою примету: если болит сердце, — это к радости. Пришла домой и удивилась: Ванюшка возится в кухне со стряпней, устроил на шестке у заслонки печурку из двух кирпичей и что-то варит. Подкладывая щепки, пыхтит, раздувает, заботливо поглядывая в кастрюлю.

Марина спросила:

— Чтой-то у тебя, Ваня, тут будет?

Сын сдвинул брови. Поправил кастрюлю. Сажей запачкал пальцы, поплевал на них, вытер фартуком. Приставил к носу, нюхнул и загадочно ответил:

— Суп...

Осторожно снял кастрюлю, вылил из нее в железное корытце. Укрыл газетой, спрятал под стол и заторопился в лавку.

Вечером удивленью Марины не было конца. В корытце застыл густой синий студень. На скамейке стопа белых листов. Окно завешено черной шалью. Дверь на крючке. Ванюшка при белом фартуке, словно знахарь какой, ворожей. Наложит на студень лист, хвать — на нем пéчатные слова. Наложит — и готово. Наложит — и готово... На скамейке уж целая куча таких листов лежит. Марина даже остолбенела от такой оказии.

— Да что же это такое, Ваня?.. Как же это так делается?

Сын посмотрел на окно, на дверь, осторожно сказал:

— Не дивись, мать, зря не следует и болтать про то, чтобы ни слуху ни духу... Давай складывать в кучу. Это прокламации, их нужно скорее.

Марине послышалось: «проклинации»; она покачала головой: нехорошее слово!.. С легкой дрожью в руках принялась подбирать и укладывать в стопку. Незаметно отложила один листок, — посмотреть, может, и сама как разберет по складам... Чего доброго, не нажить бы с ними беды?.. Бумага вышла вся, и корытце исчезло под половицей. Не дожидаясь ужина, Ванюшка ушел, и листов не оказалось.

«Унес», — решила Марина. Вышла в лавку за баранками ребятам. Два мужика пьют вино и рассказывают о чем-то Мокею.

— Злые мы все стали, Мокеич. Скажи, пожалуйста, живем, работаем и все чего-то боимся, как сукины сыны.. Эх, дела, дела!.. Хуже давишних...

— Пей, Тереха, авось, когда за разум возьмемся, не все так будет...

Длинноногий Тереха утирает мокрую бороду и что-то думает.

— А ты валяй, пей! — погоняет Мокей, поглядывая на жену.

«Стара стала», — подумал он, сравнивая ее с только что вошедшей сапожницей.

Марина посмотрела на часы: еще только восьмой, до десяти долго. Загремела подойником. Все переделала, подоила, процедила, убрала кринки. Постелила ребятам постель. Присела в кухне к столу. Разложила прокламацию. На верхней строчке буквы покрупнее на нее смотрят. Не вдруг с ними нашепталась Марина. Глаза заломило, — устали они смотреть в одно место. Наконец собрала три слова: «Пр-о-ле-та-и в-се-х с-т-ра-н... со...со...» и сама по-своему договорила: «собирайтесь»... Облокотилась на стол, задумалась: «Листы эти велят собираться, а куда, зачем? Пойми-ка, что оно — это «пролетарье»?.. Листы сын унес, стало быть, товарищи знают и те женщины знают; они,

верно, и должны собираться». Марина вздохнула, дело важное, не иначе; потому и в утайку. Забежала новая мысль, и губы ее растянулись улыбкой, с гордостью подумала: и она тоже немножко с ними... не бабье дело, а вот... ловко ведь...

Вошел муж... Хорошо, что не заглянул, а то бы — кто его знает, что было...

Отговаривалась от чтения, а дела и шитье все же отходили в сторону. Полюбила Марина темными вечерами подбирать листы. Укладывая их в стопку, посмеивалась:

— А ведь ловко, Ваня! Раз — и готово «собирайтесь», раз — и готово еще «собирайтесь»!

И сердце ее, волнуясь, отдыхало возле сына.

Как-то после чая у колодца Акулина пытливо спросила Марину:

— Чтой-то тебя, соседка, не видно? Али захворала? Похудела как!.. Слышали мы, тебя Мокей бил, а Алену Лука пьяный тоже трепал... — И не дала Марине ответить, про свое заговорила: — Ноне захворать и похудеть недолго, — время-то какое! Степка мой вот тут принес какой-то листок, пес его знает, где он взял, вертел на цыгарки. Нефед увидел и взбеленился. Листок-то вредный. Смутьяны какие-то нагадили про царя и про хозяина. Швырнул его Нефед в печку, сам и не спал всю ночь, все кряхтел.

«Уж не проклинация ли?..» — подумала Марина и спросила:

— А какой это такой листок, тетка Акулина, что его сразу да и в печку?

Акулина пососала губы, оттянутые в беззубый рот, повертела головой на стороны, придвинулась ближе, заметила:

— У Крупы спроси. Она больше знает. Болтала вот тут у нас в лавочке, — правду ли, — кто-то, вишь, ехал на Поповку, у трахтира «Завей горе» целый мешок с листами потерял; народ, знамо, озорники, расхватили и на заборах везде налепили. У фабричных ворот сторожу на будку приляпали. Татарам в заведении на воротах целых два листа примазали. Семен Семеныч всех татар разнес. «Нужна, — кричит, — вам эта поскуда? У меня чтобы тихо, смирно!..» Мужики в фабрику

натаскали этих листов, да и прячут. За них, Нефед сказывал, попадает так, что всех родителей помянешь.

Марина не показала и виду, что встревожена; уверенно поддакнула.

Вечером зашел Ванюшка в кухню. Она спросила:

— Ваня, разве это вредное на листах «собирайтесь»? Акулина-то что говорит!

Рассказала, что слышала.

Ванюшка посмеялся и серьезно сказал:

— Вредные листки — это правда, только не всем. Фабричным они нужны, и за них не только меня, тебя — и то могут в тюрьму посадить.

Слова сына Марина приняла за шутку.

— Ты врешь, Ваня, меня стращаешь. Сам-то смотри, коли, будь повороватей.

От слободских не укрылась кучка парней, товарищей Ванюшки; среди них ни пьяных нигде не видно, ни в церковь не ходят, как добрые люди. «Смутьянами», «пустобрехами» их называли.

Акулина на лавочке шепнула бабам:

— Шнырят к соседям какие-то в потемках...

Кто-то обмолвился про сходку на кладбище. Ванюшку Мокеева помянули... И пошла молва вертеть хвостом, что сорока, из дому в дом. Дошла молва куда надо.

В этот вечер по улице гулял сердитый ветер. Мороз трещал по углам. Мокей запер лавку раньше, понес деньги за красное вино трактирщику Дранкину. Ванюшка прибрал в комнате, что надо, надел валенки, ушел.

На крыльце вдруг затопали, застучали. Марина не чаяла беды, отперла и обомлела. Полиция. Четверо, ничего не говоря, прут прямо в дом.

— Дома никого нет, куда же вы?.. — залепетала Марина. С перепугу и пальтушку даже кверху мехом накинула на плечи.

— Вас и не спрашивают, — словно в бочку дунул басом толстый полицейский, красный, как из бани, и сразу повернул налево в комнату Ванюшки и почему-то сразу же заглянул под стол. И все восемь

глаз заегозили по углам. Ретивый и юркий, в расстегнутой шинели, встряхнул за угол постель Ванюшки. Кривоногий урядник нюхнул пыль, с треском чихнул, выругался: «Э, с-сволочь!..» На окне книжки растрепал, швырнул на пол. Один под кровать полез, сапоги оттуда выкинул старые. Толстый собрал в столе бумажки и книжки, сунул их в свою кожаную сумку.

Марина в прихожей трясется от страха, — не заглянул бы в кухню, под половицу, где корытце спрятано.

Вошел Мокей и выпучил глаза: обыск, роются. У притолоки, загораживая вход в комнату, рыжий полицейский по знакомству толкнул его в бок, — нет, дескать, опасного, не бойся.

— Да-а... ловкий молодец, улепетнул сам... — бурчал толстый, швыряя ногой Ванюшкины грязные носки.

Мокей заглядывал ему в глаза, — помни, дескать, за нами не пропадет, — закланялся:

— Ваше благородь, у нас все честно, благородно... Все, ваша милость, в порядке.

Рассерженный неудачным обыском, урядник рявкнул:

— Впоследствии узнаем и без вас.

Звякнули сабли, ушли.

Онемевшая от испуга Марина отвернулась от пристального взгляда мужа. Мокей отшвырнул ногой порванную книжку и глухим голосом выругался по привычке: — Стервец!

Он слышал разговоры про сына, но не верил им: некогда, думает, ему заниматься такими делами, и озлился на полицию.

«Фараоны придираются... К празднику подачку, знать, надо здоровую. Раз ничего не нашли, значит зря, ни при чем тут сын...»

Утром ничего не сказал Ванюшке, только пристально посмотрел на его спокойное лицо и буркнул:

— Поаккуратнее болтайся!..

У Нефедовых с вечера знали, какие гости были у соседей: Акулина на своем дворе услыхала шум, поглядела.

Утром, как только проводила Нефеда на работу, заторопилась она к Семен-Семеновичевым... Разболтала бабам. Высокая, сухая, с хитрым лицом старуха прямо сказала:

— Сама Марина — потатчица. Гордячка! Сроду не пойдет на нашу лавочку.....

Семен Семеныч тут же идет навестить приятеля. Притворяя дверь, с ехидной улыбочкой спрашивает:

— Ну, как дела, Мокей? Как Ванька? Листки, это, пожалуй, — его рук дело? Покопались тупорылые?..

Улыбка не понравилась Мокею. Лицо его задергалось.

«Хитрый чорт, лиса одноглазая!..» — подумал и оглянулся, где Ванюшка? На дворе заколачивает ящик с посудой. Мокей кивнул туда.

— Ну, что я сделаю с ним? Ведь погубить хочет отца... — и безнадежно развел руками.

Оба, хозяин и гость, задумались.

В руке Мокея гирька, тихонько брякает ею по прилавку.

Семен Семеныч думает свое: «Не попался парень, и ладно. Острастка полиции все же на-руку, — можно поприжать своих татар, смирнее будут». Глазами подмигнул Мокею.

— А ты что больно соскучился? Ведь ничего не нашли... Пускай вперед твой Ванька остерегается..

Прибирая в комнате, Ваня посмотрел на мать в стареньком платье, — усталая она, грустная, — и ласково спросил ее:

— Здорово, мать, испугалась обыска?

Марина не хотела с ним говорить, — сердилась: ушел сам, а тут, — как хочешь, но ответила:

— Страсть испугалась, хошь бы на месте умереть, вот до чего! Наделали, Ваня, шуму, теперь боюсь и на улицу выходить, — засмеют соседи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РВУТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ЦЕПИ

Весна улыбается теплым ясным утром. Взошло солнце и, играя в белых волнистых облаках, поплыло вдоль Макаренки.

Давно фабричные прошли на фабрику, а слободские в огородах копаются, гряды под рассаду готовят.

Марина в саду, согнутая над грядкой, обрывает

у клубники ненужные ползущие отростки и высчитывает: подходит май месяц, тут она и будет именинница. Сколько же ей стукнет годков? Годы следы оставили. Спина мозжит. Лицо поблекло, завяло. Перебирая разные события в жизни, разогнула спину. Задумчиво-грустными глазами оглянулась на буйную зелень, на цветущие яблони. Вспомнила свою далекую молодость, вздохнула. Сорок девятую весну встречает, и совсем, совсем необычно.

В этом году не думается о стряпне, о пирогах, как-то на отлете стала жить от заведенных порядков и привычек. До этого года не знала, чем отличается от других дней день Первого мая. Ходили в праздник в лес в одиночку или семьями, пили вино под кустом, угощались едой и пьяные ругались, либо орали песни. В этом году совсем, совсем по-другому... Вместо стряпни пирогов она тормошится около сына, укладывает, что блины, стопкой печатные листы и сладко волнуется...

И ей уж не в диковину — к Ванюшке часто приходят нездешние товарищи в чистых пиджаках, задумчиво-строгие либо с веселыми глазами. Беседуют с сыном в комнате, готовятся к Маю. О чем говорят, это до нее не касается. Раз услыхала — сына назвали «Максим»; тихонько засмеялась: «Чудные, право, окрестили для чего-то другим именем...» Подавая товарищам чай, услыхала неслыханное слово «комитет». Ну и пускай, — дело ихнее...

И ничуть ее не удивляет, что в лавку повадился сторож фабричный, высокий да тонкий, Никола. Двигая седой редкой бородкой, ухмыляется на покупателей:

— Вот так спасибо Ивану Мокеичу... Табачишку всегда дает, первеющего... — А сам ловко из рук Ванюшки прячет за пазуху «проклинацию»...

Приходили и фабричные, кто за табачишком, кто за селедочкой, и уносили в карманах печатные синие листки.

Утром мальчишки кричали:

— Опять листки налеплены там, на заборах, гляди!

— А я видел — у часовни на ограде висят! Вот, ей-бо, на месте провалиться!..

— Что же вы не сдираете, сопливые чертенята? У-ух... вы! Нет на вас пропасти!..

Веселые крики и злая брань Марину радуют. Эти листки были у нее в руках; они звали всех фабричных собираться на маевку. И фабричные собирались, сговаривались.

День Первого мая задался яркий, солнечный.

После полден парни артелью, заломив картузы, против лавки затарарымили гармошкой под веселые голоса:

Там старуха одна
Сына в гости ждала...
Ах, на что тебе, мать,
До полночи ждать?..

Марина даже прослезилась на эту песенку: она знает, куда они сейчас идут, — к реке, в лес, и знала — полиция за ними следит. Посмотрела на Ванюшку. Проводив глазами парней, кивнул Тимке, он шел с отцом.

Ванюшка почистил щеткой сапоги и, снимая фартук, сказал отцу:

— Я, тятенька, ухожу гулять...

Мокей уставлял на полку сотки с вином и, повернувшись к сыну, укоризненно спросил:

— Это что же у тебя за паска такая, гулять спозарань?..

Ванюшка усмехнулся.

— Гулять можно и без паски... — сказал просто, как знакомому человеку.

Вышел в комнату, переоделся и ушел. Но не к реке за парнями, а в своем саду перелез через забор, штаны заправил в голенища. Картуз надвинул на глаза, руки засунул в карманы пиджака и деловым парнем пошел прямо на луг. Там встретился с Тимкой, и оба направились к казенному лесу, вброд через реку...

Марина украдкой поглядывала на серое лицо мужа. «Позлись, позлись на сына! — вертелось у нее в мыслях. — У него получше твого капитал в голове...» И тихонько посмеивалась.

За обедом, лазая ложкой за молочной лапшой, Клавдюшка болтала всякую всячину:

— Петька, угадай, — что на ложке, свеся ножки?..

Петька дулся, кривил губы, толкал ее ногой.

— Ну тебя, седая курноска!.. У меня змей сломался...

Клавдюшка морщила нос и не унималась.

— Мама, помнишь, я была чу-утенькая, захотела в маленькой речке утонуть, а лягушка — ква-ак!..

Принуждая себя быть веселой, Марина смеялась:

— Ты ведь выдумка, — скажешь, чего и не было...

У Мокея глаза добрые, он научает Петьку:

— С дранками, Петька, надо клеить змей: выше будет летать. Выбери лучины потоньше и наклей на листок...

Сходил в лавку, принес в бумажном кульке мятных пряников, высыпал на стол.

— Ешьте, ребята! А ты, мать, чего дуешься?

Глаза Марины остановились на Петькином змее. С синими строчками валяется он на полу у печки. Подняла змей, сердце у нее захолонуло: «Да это проклинация!»

Тихонько позвала Петьку в сени, спросила, где взял. Петька забоялся. Навертывая на руку край голубой рубахи, виновато ответил:

— Та-ама нашел, у завода, где татары живут...

У Марины отлегло от сердца; она кинула змей в «нужное место».

— Я тебе дам большой, чистый лист... — пообещала Петьке. — Иди погуляй в саду...

Заперла крыльцо, взяла ведро, вышла поливать гряды.

Полоть и поливать Марине хватило до вечера... В слободе замычали коровы. Марина собралась уходить. К забору подошла Акулина. Завидя Марину, шепнула:

— Соседка, Марина, глянь, иди сюда!..

В заборе одна доска обломана. Просовывая лицо в дырку, Акулина, словно что-то вынюхивая, кивала длинным носом:

— Дома? иль нету твово-то Ивана? Мой Степка по грибы пошел, да с ними и спутался, которые там были в казеннике; кто-то, говорит, пальнул из ружья, да стали ловить их. Не иначе, говорят, полицейские. Ну и побежали — кто куда, Степка — дома, а ты, как знаешь... Кого-то, вишь, пымали...

Марина чувствует — лицо ее бледнеет... Нагнулась, сорвала лист коневника, скрепясь, шутливо заговорила:

— У полиции, знать, такое дело — гулянье разгонять; то-то и вывелся обычай хороводы водить. А бывало, — эх, любота! — сама знаешь, ухватимся за руки, сколько песен пропоем! Может, Степка твой охотника испугался. Зайцы в лесу завелись. Да и какие теперь грибы.

— Ну, пес с тобой, — рассердилась Акулина. — Я ей добром, а она смеется. Беда с вами, вот так соседи... Все что-нибудь да есть... Нефед говорит: «Теперь только кто пикни слово, сейчас прицепятся... а по улице, неуж не видите, «шпика» какая-то ходит, картуз что блин насунул на глаза...»

Марина, не слушая, побрела по дорожке. В голове стояло одно: неужели попался? Накачала в ведро воды, унесла домой, и за всеми делами одна дума: не будет сына — и нечем ей станет жить. Долго сидела у окна, ждала: вот сейчас придет... вот сейчас...

Наутро Ванюшка весело рассказывал ей про происшедшее.

— Сначала место хорошее выбрали, под Вячевкой. С одной стороны — река, с другой — болото, сбоку — лесок. Пройти на эту поляну можно только просекой. Сторожей наставили. Собралось не мало со всех фабрик. Деревенские пришли. Из города товарищи были, ну, говорили: надо рабочим воедино, чтобы против царских порядков; богатеют одни на рабочей шкуре, другие, что цепные хозяйские собаки, обгладывают штрафами. Фабричные шумели: «Та-ак... та-ак!.. Дохнуть нечем, — замучились! Шкура трещит...» Стали уже расходиться. Вдруг свистки наших сторожей. Ну, разбежались, кто в лесок, кто под берег крутой да по тропинке. Конная полиция прискакала. Я и Тимошка убегли в Вячевку. Игнашка Сидоров с нами... Да, забыл сказать, были и бабы с нами фабричные. Катюшка Крупа тоже, ловкая она, такие слова ворочала... «Не ходить, — кричит, — на работу ни одному чтобы... Пускай узнают хозяева кузькину мать, в чем она родилась...» Картузы мужики швыряли вверх, «ура» потихоньку гуднули. И как только услыхали бабы свист, сразу на берегу распустили по-

долы и закуску около себя разложили: мы, дескать, знать ничего не знаем, наше дело — сторона...

Оттирая руками грязь на штанах, Марина задумчиво слушала, про Игнашку пропустила мимо ушей, а что-то близкое зависти к этим бабам шевельнулось внутри. Строго спросила:

— Ну и что? Ты теперь рад до смерти, что, мол, сделалось по-твоему. Листок твой печатный у Петьки на змее оказался, может, люди видели: вот она, дескать, фабрика где, лавочник и работает. Эх, ты, Ваня, что-то будет с тобой?..

Марина вздыхала, журила сына, заботилась о прокламациях, следила, чтобы беленькие книжонки не завалялись где, и понимала, почему после царской «милости» зимой мужичьи речи стали сердитые, беспокойные. С работы, обысканные сторожами, не ходят, как раньше, в одиночку, не спешат домой, идут кучками. Остановятся, рассуждают, глаза горят, кулаки сжимаются. Не раз слышала она слово «забастовка» и спросила сына, — к чему она? Но он почему-то не хотел ей объяснить, и голос его был сухой:

— У тебя, мать, своя забота есть, придет время — сама узнаешь.

Марине стало обидно: упрекнул сын заботой, а тут в его деле разве не ее забота?

Про себя подумалось: попадет она в тюрьму за эти самые «проклинации», что же, ей страшно будет? Пожалуй, нет... Для сына это, ему нужно. А может, не страшно и потому, что не знает, какая такая тюрьма...

Полторы недели прошли незаметно. Приехали с богомолья Тарасихины с Аксюткой, усталые, измученные. Аксютка все так же слепа. У лавки Анфиса плакалась бабам:

— Как приехали в пустынь, милые бабыньки и соседушки, поклонились мощам Серафима. Под закрытием и за стеклом эти мощи. Отслужили молебен. Масла в лампаду купили. Молились до вечерни. Молились после вечерни. Слезно молились. До поту молились. Просили исцеленья. Аксютка всю ночь с колен не вставала, все молилась. Полна церковь мольщиков со своими недугами. На заре соснули часок.

Крошки во рту не было. Натощак перед мощами молились, не поднимая головы... И за всем молением не видали ни одного исцеленного...

Маланья подступила вплоть к Анфисе, затрясла головой.

— Рази я не говорила: надо итти к угоднику с чистым сердцем? А ваша старуха деньги жалела... Угодник-то нешто не видит, — для него жадничали! Надо, милые, с чистым... Бог жертву любит, вот ка-ак... — с пеной у рта тямкала кособокая Маланья.

— О господи!.. грехи наши тяжкие, — вздыхали бабы. — Уж коли так, Алена свою Груньку принесет здоровехоньку. Уж эта потрудится.

— Вот поглядим, ведь на себе понесла!.

Ждала и Марина чудотворной силы мощей. И слеза подступала, глядя на Аксютку. После моленья мощам она не поднимает головы, не ловит слепыми глазами солнце. Согнутая, ровно старуха, сидит на завалинке; темный платок, как у бабки, в нахмурку...

За толками и пересудами никто и не заметил, как Алена с Лукой вернулась.

В обед Лука напился пьяный и орал на улице:

— А-а, мощи, растуды их! С устатку смерть хотелось выпить в этой церковной пустыни, — не дали, жеребячья порода. Монахи, андельский чи-ин, а по ночам пьянствуют... Глаза замазывают нашему брату святостью. Погоди-и! Растуды вас! Алена, тащи исцеленную Груньку на улицу! Жи-иво! Пускай люди видят!..

Хлопали окна. Высовывались головы, указывали на Луку пальцами, слушали и смеялись. Бабы за платками не чаяли до вечера досидеть.

На бревнах у колодца окружили Алену.

— Ровно, бабыньки, двенадцать суток проходили, — рассказывала разморенная дальней дорогой и наплаканная Алена. — Туда шли, все молитвы с Лукой распевали... Уж как измучились! Чего вам говорить, — спины в кровь истерты... Ну, пришли. Вечерня на отходе. Наро-оду-у... ба-атюшки!.. И все-то беднота одна убогая, скорбящая... Столпились у мощей Анны, что мухи у падали, прости господи... Завихнулось у меня сердце: где они, те самые мощи? Стоит гроб, укрытый мантией. На крышке стеклышко темное, да

нешто видно — Анна или что там внутри?.. К ему, этому самому стеклышку, прикладываются... И... Луку мне стало жалко. Хоть бы выпить ему... Выпросила б Христа ради, да нету народу побогаче.. Все наш брат — рабочие, нищие... Ну разве ж, бабыньки милые, охота с чернотой богу вожжаться?.. Сутки пробыли в обители, а чтоб исцеленного увидать, ни боже мой, бабы, ни-ни нету...

Бабам хотелось много спросить, да у всех язык как бы присох. Дергают концы платка, лицо Марины посерело от тяжелых мыслей, на душе пусто, — пошатнулась ее вера, и обедни, и молебны, и все церковные служения показались никчемушними.

Лука Жилкин хмельной — посредине дороги орет:

— Жисть свою положим. Вытопчем эту гниду святую, сотрем с лица земли, растуды их!.. Портками потрясу на хозяйских мощах!..

У Маланьи даже платок сбился на макушку, — открещивается.

— О, осподи Сусе... как земля-матушка терпит такого богохульника. Страсть даже берет, на ночь глядя...

— Защемило горе за душу, мужик, знамо, и орет, о чем давно думал, — хмуро сказала Марина, направляясь ко двору.

Вечернее солнце косо уставилось на зеленую крышу и резной карниз ее просторного дома и, пригревая, расплылось на стены. В доме тишина. Марина вошла злая, до хруста пальцев сцепила ладони. Захотелось увидать своих малолетних детей, ласкать их, миловать, прижимать к сердцу. Жалко — проглядела она, прохлопала, мало их лелеяла. Где ты, где, мое времечко! И слезы закапали на руки...

Шибко хлопнув дверью, пришли из училища Клавдюшка и Петька. Книжки посовали, куда пришлось, кинулись в сад, искать на грядках морковку. Марина заглянула в кухню. Приловчившись к корыту, сын и ей дело готовит, — варит синий студень. Скрипнув половицей, подошла к нему ближе и, чего-то робея, спросила:

— Ваня, что это за люди товарищи и что ты сам с ними, как назвать?

Ванюшка ободряюще выпрямился. Прислушиваясь к шуму и лаю собаки на дворе, с волнующей настороженностью ответил матери:

— Я большевик, и все мои товарищи — члены российской социал-демократической рабочей партии...

Не поняв, Марина пугливо оглянулась и, не решаясь переспросить, что это — партия, — чувствует, как подмывающая улыбка раздвигала ее щеки, и глаза ее открылись шире, обдавая лаской сына, — немного нахмурясь смотрит он в кастрюлю и, помешивая щепочкой, думает о чем-то своем...

После события в Питере на всех фабриках рабочие начали тайно собираться. С тех пор составились отдельные организации. Сам он в кучке первых подпольных зачинщиков. В передовой авангард вошли тамбурщики: Захаров, Лебедев, Фокин, Жуков, фотограф Бажанов. Ладно придумали ребята. Хотелось бы знать, на всех ли фабриках есть организаторы, чтобы создавать подпольные артели.

Ванюшка задумался о своих обязанностях — печатать прокламации, собирать членские взносы и отвозить в комитет социал-демократов. Он сознавал большую ответственность, что лежала на нем, и относился к себе строго. Через день назначена большая сходка. Станут избирать стачечный комитет. До этого ему надо распределить прокламации. Дело привычное — клей, помазок под полу. На заре, в сладкий сон, легко примазать. Утром идут на работу; грамотные не могут оторваться, читают. Степенные, бородатые трясут головой:

— Н-да-а... за дело ругают фабричные порядки, хозяина-захребетника... Не минуча, гляди, забастовка...

Бабы чуют — что-то затевается тревожное; с узлами платков на спинках, озираясь, судачат:

— Дела, бабыньки! Зима настает, одежи, обуви нет. От жисти хошь на свет не глядеть, а тут народ баламутят...

— На гашник бы им навесить этих листков...
— Да что там, в этих самых листках, такое?
— Гляди-ка, милая, не знает!.. Вон Крупа идет, спроси, — скажет. Около мужиков околачивается, чертовка белоглазая...

После майской гулянки Катюшка сблизилась с мужиками; они говорили при ней, не таясь. Не раз она заходила в нужник мужичий на ихние совещания. Языкастая, шумливая, сказала бабам, что знала:

— Эй, соседки, вы что тут? Да дери вас горой, бабы, надо же чего ни то делать; к ногтю нас прижали... дыхнуть нечем!..

— Выискалась! Поцелует за это хозяин!.. У самой ни семьи, никого, одна голова, тебе что!..

Молчаливая Аленка Жилкина работает с мужем на мытелке, отогревая красные руки в пазухе, отругивается за Катюшку:

— Чего лаетесь? Крупа дело говорит: что вам, платочницам, что нам, фабричным, на что еще горше!.. Надо глядеть — куда мужики наши, туда и мы!

Подпрыгивая в намороженных башмаках, Катюшка сощурила белесые глаза и тихонько засмеялась.

— Чего уж глядеть? Стачку уделали и выбрали которых хозяину, — доложили б, чего требуем. Ну, тут и бабам, — чтобы все воедино.

Завыл гудок; от фабричного забора отделились Тимка и в высокой барашковой шапке Мишка Тихоня. Завидев Крупу, Мишка припустил шагу. Подходя, залюбопытничал:

— Ты чего, сорока-белобока, тут стрекочешь?

— Тебя не спросились, мозгляк. Аль подслушать развесил долги ухи, что пес? — огрызнулась Катька. — Иди потихонечку, куда идешь...

Тимошка за ним следом зашипел ей в ухо:

— Ш-ш-ш!.. Забыла, Катюшка, — он мастеров кум, хозяйская затычка...

В обед в лавке не было Ванюшки. Пришлось Марине с мужиками толкаться. Пришел тот самый, буян, за табаком.

«Без делов человек, а ведь совсем не плохой»,— подумала Марина, подавая ему пачку махорки.

— А-а... приятель! — обернулся Силуан, подал ему руку. — Где пропадал?

Буян заслюнил вертунок с табаком, загнул его в «собачью ножку», подпалил спичкой, жадно затянулся, втягивая рябые щеки, глотнул дымку и рассмеялся доброй улыбкой.

— Бродил, друг Силуан. Нюхал на фабриках, чем пахнет. На Дрябинской, на Французской, у того еще... Как его, чорта? Небольшая фабричка... На всех стакнулись дружно. А у вас, слыхать, к хозяину толканулись, с какими требованиями?

— Куда спички бросил ты, борода? — крикнул Мокей. — Не видишь — керосин!.. Абдул, отодвинь!

Абдул молча переступил с ноги на ногу, прислушиваясь.

— Требуем мы немного, — не оглядываясь на крик, сказал Силуан и прикурил от «собачьей ножки».

— Что надо, то и требуем, — ворчал в бороду Жилкин. — Во-первых, часов рабочих убавить, расценки на платки прибавить... Штрафами не донимать бы, это главное...

— А вы думаете, так хозяин и растопырит вам карман?.. Скоро ли надо? — усмехнулся Мокей, сдвигая картуз на макушку. — Вот и Семен Семеныч то же скажет.

— Верно, верно, — не зная, в чем дело, сказал хозяин, входя в дверь. — Абдул, а ты чего тут? Нехорошо — от работы... Прогул запишу.

Отодвинув короб со снетками, Марина поспешила уйти. Выдавая на дворе корове корму, слышала — где-то вблизи стрельнули. Заглянула на проулок: никого, тихо. Кинулась в сад.

Ванюшка стоит в целине снега, руки заложил за спину, веселыми глазами смотрит на забор. Ей сразу подумалось: это он чем-то балует...

— Ты, что ли, Ваня, чего тут делаешь?

На испуганный голос матери Ванюшка вспыхнул.

— Это я. Пострелять охота выучиться. Вот и ружье у меня маленькое... Отец бы не увидал...

— Это что у тебя за железная штука?

— Браунинг, мать. Ловко стреляет. На охоту хочу с ним ходить в лес, лисицу какую-нибудь, может, подстрелю тебе на воротник.

Посмеялся, сунул в карман штуку и ушел в лавку...

Марине стало страшно. Это не ружье, и он что-то задумал. И казалось ей, надвигается какая-то беда. Знала, к чему готовятся фабричные. Начала усердно приглядываться к сыну и ждать забастовки.

Рано утром фабрика стала. Гудок не гудел; дым из трубы не валил. Из домишек и казарм по-праздничному валили фабричные мужики и бабы, запрудили фабричный двор, загудели сердитыми голосами.

Важно засунув руки в карманы, из конторы вышел директор, нахмурив густые брови. Подбородок бритый, губы сухо поджаты.

— В чем дело? — зыкнул он на рабочий люд. — По местам! Чтобы безо всяких разговоров!

— О-о! скоро ль тебе надо? — загудели зло и насмешливо.

Толпа теснилась стадом к крыльцу.

— Иди, где был! Нам хозяина сюда! Не пойдем за машины! — вылетали смелые требовательные голоса.

Задние, не расслышав, подняли крик:

— Зачем штраф?.. Зачем день прибавили?..

Нацепляя на нос очки, директор хмуро и выжидающе молчал.

Рабочие притихли. Глухо, как в трубу, он еще раз крикнул:

— Хозяина два дня не увидите!.. Кто хочет, выходи на работу...

Как проходила забастовка, Марина не знала. Слышала только, в лавке кто-то ругал Мишку:

— Тихоня проклятый, чортов кум, пришел и хотел за работу взяться... песья душа!

Ночь и весь день стояла фабрика. Вечером перед запором лавки привалила мастеровщина, шумливая, озябшая.

— Спрыски!.. Пока что показали себя хозяину! Пива дюжину давай, Якимыч!..

— Согревательного по чашке кишки обогреть! Эх,

ядрена душа нараспашку, молодцы наши комитетчики! Выстоят!

Марина вздыхала: где-то Ванюшка? И в тупой голове ее неразберихой путались пересказы мужиков:

— Хозяина призывали... Сам-то. забоялся пустить фабрику...

— А, каково, Якимыч? Пристава вызвал!

— Пристав оружие требовал, ха-ха... А ему кричали: «Вы нам не давали оружия, так и спрашивать нечего!..»

— Нет, скажи, пожалуйста, — машет руками Наум.— Он-то что говорит, пристав? «Знаю, у вас есть оружие... Обыскивать стану».. Пускай попробует поискать... ловкач!..

— Были кое-кто подхалимы, ну и чорт с ними!..

На другой день у колодца Марина лучше про все узнала. Тарасиха, как подошла, на одной руке два ведра брякают, другой — крестится.

— Слава те, господи, все обошлось по-хорошему... Думалось — и свистка никогда не услышишь; ан ублаготворили забастовщиков. На дворе фабричном Макар плотничал. Перво-наперво, — говорит, — стачка собралась артелью у конторы, сговорились с дилехтором работу зачинать утром. Пристав никак не хотел без попа и без певчиев. Ноне утром был молебен, и все честь по чести вышло: дьякон прокричал «многая лета» царю и хозяину; все станки, все машины поп обрызгал святой водой... Целые сутки ведь фабрика стояла...

Марина отодрала со льда свое ведро и спросила:

— Они, машины, не живые, — зачем же их святой водой?

Тарасиха, надувая в зазябшие кулаки теплого духа, страшными глазами зыркнула на нее.

— Ну ты, домоседка, уймись! При эдаком деле, да чтоб хозяин без водосвятия?..

Марина, прикусив губу, замолчала и тоже уткнула покрасневший нос в кулак.

— Мужики, которые не встряли в забастовку, умнее оказались, — брякала языком Акулина. — Авдей, Круглины... еще кто-то... Нефед говорит: теперь такие дела пойдут... вот увидите...

Кривой хозяин химического заведения Семен Семенович кипятится в лавке, подергивая крохотной бородкой:

— Тоже и мои татары... свиные ухи... целый день болтались, — пример взяли с забастовщиков... Абдулка передом лезет, чертище, обормот... «Давай, хозя, прибавка, ден балшой, хлеб нада»... Тоже непромытые хари!.. Я-а вот им прибавлю! Узнают «ден балшой»!

Мокей поплевывал подсолнухами и угрюмо молчал.

Марина пришла с улицы. Заглядывая в комнату сына, боязливо покачала головой. Ванюшка и Тимка с какой-то радости тихонько распевают:

Са-ами набьем мы патро-оны,
К ружьям привинтим штыки-и...

Не стерпел хозяин Валяев забастовки, в угрозу рабочим расчел двадцать человек.

Нагоняя мужикам тоску, бабы завыли:

— Добились, умники! Не жрамши походи-ка!.. Да и куда пойдем теперя?..

— Пошли дела, бабыньки: расценки как были дешевые, так и есть. Кругом хозяева облапошили. И за платки ничего не прибавили.

Некоторые фабричные ткачихи шипели:

— Это не умемши... Дай срок, соберемся с силой!..

У Марины ныло в груди; на душе двоилось. Верила: сын и товарищи не делают плохого, хотят все чего-то хорошего, и сомневалась; а может, от них вред большой, обида людям?..

Жалела баб и не понимала, почему мужики стали злые и скрытные. В лавке совсем не слышно их разговора; зайдут, наскоро купят, выпьют чего-нибудь, плюнут к порогу и уходят. Но как взглядывают один на другого. Марина догадывалась: они где-то собираются. И Ванюшка часто уходит...

Крупу разочли, а ей хоть бы что! Поддергивая линючую юбчонку, ищет глазами: где бабы? У лавки больше бабы и собираются. Посмеиваясь, Катюшка хвастается:

— На поденку хожу, — глаза лопни, правда. У кого постираю, где полы поскребу... Лето придет, в ого-

родницы пойду. На чорта мне хозяева! Пичужка по зернышку — и сыта, ха-ха... Бабы, кабы нам дружнее, — бознать, чего бы свернули...

Подвязывая на животе лавочный фартук, Марина простодушно заметила:

— Чудная ты бабенка: ни печали тебе, ни воздыханья, все — как с гуся вода. Не потому ли и жить так легко?

Катюшка по людям ходит, в исправных домах бывает, скорее других знает, что на свете делается. С вестями ей не сидится дома; хоть с дороги, да покричит:

— А вы не чуете, эй, бабы! Зелезна дорога на дыбы встала, не ездит. Вот на месте провалиться, — не ездит ни одна машина!

Бабы никуда не ездят, не верят, смеются:

— Заливай, знай, что сивый мерин. Нам како дело до машины?

— Народ, как мухи, сидят на одном месте, — подтверждает Акулина шепотком. — Истинный господь правда, в фабрике толкуют...

Толки, пересказы бродят по домам... Люди говорят, кому что на язык взбредет, лишь бы зацепить забастовщиков.

— Это как же теперича будет? Царь, значит, приказ дал?

— А царя-то и не спросились. За его милость к народу взяли да сами и не стали возить, — отмахивались фабричные — Всероссийская, значит, забастовка...

— А-а... стало быть, не у нас только, по всему свету стали машины?..

— Не к войне ли, помилуй бог?

И тревожилась слобода Макаренка. Кажись, спокон века жили одинаково: работали, недосыпали, недоедали, молились для облегченья души, свет в окно видели, все было спокойно. А тут — на тебе, словно муравьиная куча растревожилась; событие за событием. Поезда на железной дороге не ходят, газет нет. Но все же весть прилетела на Макаренку: восстание в Москве... Рабочие воюют с царскими солдатами. Из пушек по улицам бацают. Из ружей стреляют. А рабочие в царские дворцы палят...

— Правду, правду... Что вы не верите? — божится мужик с бородкой. — В трахтире говорят.

— Рабочие, вишь, солдат забили... Вот-вот — и царя, гляди, спихнут...

— Охо-хо... дожили!.. Разбери-ка, поди, какие времена настали, — чисто свету преставленье!.. — гудели слободские старики.

Фабричные угрюмо и выжидающе помалкивали.

Пришла и к Марине первая беда-бедушка: скрылся Ванюшка неизвестно куда. Целую неделю она жила, не засыпая длинные ночи.

Слободские кивали:

— Пропал парень ни за что... Дождался так-таки... Оно бог шельму метит... А Марине так и надо... Тоже хороша, потатчица!..

Ванюшка пришел так же вдруг, поздно вечером, усталый и почерневший — напомнил Марине тех товарищей из «больницы».

Лампа горела тихо. На дворе лаяла собака. Мокей в запертой лавке подсчитывал выручку. Марина в комнате Ванюшки сидела, положа руки на колени, и слушала:

— Вот чего было, мать. Дули из пушек, обваливались кирпичные стены. Горели дома. И все стреляли... стреляли... На улице мертвые... и баррикады... Ворота, заборы, телеги, столбы телеграфные рубили... и деревья, и строили баррикады...

В канун весеннего праздника Николы Мокей уехал на лошади в город за товаром.

Марина взялась за уборку, — норовила весь дом перевернуть вверх дном: обмахивала, скребла, мыла, выколачивала стулья, трясла половики. Дом наполнился чистотой. В окно лезло солнце, петушиный гомон, кудахтанье кур. Марине показался этот день редким праздником.

Пришел откуда-то Ванюшка ленивыми шагами. «Буян» шепнул ему: «Жди обыска...» Такая походка сына была для Марины необычайной; она взглянула ему в лицо: оно, как всегда, спокойное, лишь одна бровь выше другой. Марина угадала: у Ванюшки что-то

неладно. Обедать не стал. Завозился у кровати, стащил с полатей в кухню деревянный сундучок, уложил в него книжки, прокламации, из корытца вывалил в нужник студень, а корытце — тоже в сундучок. Крышка немного не подошла. Растягивая пальцы, Ванюшка вымерил его: в длину — аршин, в ширину — половина аршина... До вечера ходил, мерил шагами половицы, высвистывая: куда спрятать? С сундучком вышел в сад. Захватил на дворе железную лопату. У изгороди в две слеги куст густой смородины. Заглянул на усадьбу братьев Круглиных: никого, тихо. Но там, за углом у двора, незаметно Мишка Тихоня стоял по своей нужде. Завидя Ванюшку, притаился, стал высматривать. Ванюшка выкопал под кустом яму, что-то в нее опустил, засыпал землей, затоптал ногами и спокойно ушел, притворив за собой калитку.

Мишка подкрался вороватой тенью, высмотрел место под кустом, заслышал на дворе шум телеги приехавшего Мокея и шмыгнул к своему двору. Ночью Мишку донимал зуд вызнать, выглядеть, что спрятано. Может, он и разживется, чем бог поможет, да боялся: может, Мокей торчит в саду, тогда ему не сдобровать... Следующий день на работе Мишка лишился покою: его так и подмывало пойти к смородинному кусту. А что, как он опоздал, а там уже все убрано? Едва дождался свистка на шабаш, чуть не бегом пустился домой. Теперь самое удобное время: в лавке народ, Ванюшке и Мокею уйти нельзя. Марину видел — сидит у окна с шитьем.

В саду тишина. Мишка перелез изгородь. Раскидал под кустом землю, увидел сундучок и что в нем.

— Ах, чорт!.. — сказал вслух. — Дрянь тут какая-то. — И вдруг сразу блеснуло в голове. — Ага!.. и этим поживиться можно...

Взял он одну прокламацию, землю заровнял, как была, и не спеша пошел к своей усадьбе. Дома срядился в новую одежу. На шею нацепил галстук зеленый. Вышел на улицу. Важно выпятив грудь, прошел мимо лавки.

«Расфорсился куда-то Тихоня», — подумала Марина, втыкая в шитье иглу.

Через дорогу от двора Авдеевых прошагала Ма-

ланья, прошел Жилкин в своей затрапезной куртке. У лавки затихал говор. Вечером от реки потянуло тучу; глухо загудел гром. Ванюшка лег спать; он был спокоен, — утром связку книжечек отдал парню в Чижи... Остальные под половицей, а главное — в сундучке... Засыпая, подумал об обыске, улыбнулся: поди-ка, подкопайся!..

Марине не спалось; вздрагивала при каждом раскате грома. Блеснула молния, зашлепали крупные редкие капли дождя, потом все вдруг стихло.

К дому Мокеевых подошли с саблями. От пятерых отделились двое и пошли за Мишкой Тихоней к его двору. Мишка прямиком подвел к изгороди. Указал на куст смородины. На дворе завыл Дружок...

На крыльце трое застучали, загремели дверью, точно сломать ее собрались.

Марина вскочила спросонок в одной рубахе. На плечи накинула Мокеев пиджак. Отворила дверь и застыла: два жандарма и урядник!..

Оттесняя собой Марину, они прошли прямо к Ванюшке... Не шевелясь, Ванюшка чуть открыл глаз. Кривоногий, щуплый и длинный урядник ядовито ухмыльнулся:

— Не узнаешь, господин хороший, нежишься?.. — И сердито крикнул: — Ну ты, поворачивайся!

Мокей в двери натягивал брюки. Накинув на себя юбку, Марина сунулась к сыну в комнату. Жандарм грубо оттолкнул ее:

— Уходи прочь, тебя не спрашивают!

Другой, гремя саблей, заглядывал всюду в чистой горнице, ворочал и отодвигал стулья. Посмотрел за зеркалом, вынул оттуда несколько газет. Зачем-то загнул угол половика. Урядник шнырял по столу, по этажерке... Марина знала — у сына все хорошо спрятано; она оправилась от испуга, присела на кем-то поставленный в прихожей стул против двери в Ванюшкину комнату, поправила растрепанный пучок на голове и ждала, — пороются и уйдут, как первый раз. Следила за Ванюшкой. Оделся он, спокойно поглядывает. Глаза насмешливо уставились в спину урядника. Урядник со-

брал в столе бумаги — два письма, несколько портретов. Захватил на столе Клавдюшкину азбуку. На стене снял портрет Минки с мужем.

Мокей сунулся с угодливой улыбкой:

— Ваше благородь, это дочерин... На что его?

Запихивая портрет и азбуку в полную сумку, урядник встал со стула и гнусаво спросил:

— А ты что здесь такое? Твое дело вот где! — ткнул пальцем в угол, и повернулся к Ванюшке: — Одевайся, негодяй, мерзавец!

Ванюшка побледнел, запальчиво одернул:

— Ну, ну!.. Здесь негодяев не было до сего дня...

Урядник вдруг вытянулся на кривых ногах и грозно стукнул по столу:

— Молчать!..

Жандармы подошли к Ванюшке. На крыльце загремели еще двое с сундучком.

Марина поняла — сына арестовали. Кровь отхлынула от сердца. Ударило в голову. Глазам стало жарко, губы задрожали, схватилась за грудь, сквозь слезы глазами прощается с сыном. Мокей топчется и бессвязно лепечет.

Ванюшка наклонился к матери:

— Не плачь, скоро приду...

Два дня Марина прожила, как в тумане. В доме сиротливо, тихо... Клавдюшка и Петька гомозятся в опустелой комнате. Марина не видит и не слышит мужа; ей все равно, что он говорит и думает. В ожидании сына прислушивается она к каждому шуму. Не кончив одного дела, берется за другое. Сядет на скамью, думает: как же теперь быть, что делать? Бродит без толку по дому, не замечая времени... Дни потянулись тревожные...

О том, что стряслось, узнали соседи. Прежде других в окно заглянула Акулина; с радостной насмешкой спросила:

— Что, Марина, увели твово-то соколика? Гляди-ка, бабы все руки по ляжкам отхлопали... Вот так, бают, сынок — в полицию угодил!.. А там — и неизвестно куда... Вот оно, листки-то ваши!..

— Ведьма носатая!..

И Марина крепче сцепила зубы, молча переживая свое горе.

На третий день в обед лавкой прошел Тимка, нашел Марину в кухне. Морща веснущатый нос, сообщил тихонько:

— Ванек ничего, сидит... Сундучок заветный в полиции очутился. Чорт его знает — каким манером... Ванек на допросе — ведать, говорит, не ведаю, что он за такой, и знать не знаю...

А через неделю полицейский пришел за Мариной, повел ее в полицию. Шла за ним, ничего не думая. По спине бегала мелкая дрожь. В полицейском помещении, узком и длинном, плавал синий табачный дым. Марина уставила глаза на стол — дощатый, некрашеный, залит чернилами. Чернильница стеклянная заросла грязью. Валялись окурки. У стола на скамье сидели два человека в шинелях. Один с длинным, тонким носом указал на окно:

— Это самое твое, признаешь, тетка?

Марина посмотрела: на окне открыт сундучок знакомый, полный книжек, печатных листов; наверху корытце. В голове застукало: «Сын отказался, стало быть, и ей так надо». Твердо посмотрела в глаза длинноносому и, не моргнув, ответила:

— Нет, не знаю, нигде не видела...

— Говори правду, не то худо будет твоему сыну, и сама с ним сядешь в тюрьму, — пробасил другой.

Марина увидала на груди его медаль на синей ленточке и два креста. Упрямо тряхнула головой:

— Нет, не знаю чей... И никогда у нас не было такого...

Оба в шинелях нагнулись над столом. Поглядывая на Марину, тот что с медалью бурчит тонконосому:

— Пиши: «В подозрении у полиции по делу нелегальщины и участия в оной жена торговца такого-то такая-то...»

Звонко плюнул под стол, повернулся к Марине. Глаза ее неотрывно смотрели на сундучок. Сердитый голос спугнул мысли:

— Ступай, тетка!.. И не забывай — ты у нас записана. Дойдет и до тебя черед!

Обратно Марина шла, о себе не думая, и все, что в полиции слышала, вылетело у нее из головы. Бессмысленно смотрела под ноги. У фабричных ворот встретилась Крупа.

— Горюешь, Марина Петровна? Ну, ничего, потерпи, — не за худое дело. Пускай кто ехидничает, а фабричные все жалеют Ванюшку: дело-то ведь его доброе, не пропадет... Дура я бестолковая, и то осмыслила, где правое, верное, и к чему оно... Коли что я приду, Марина Петровна, полы тебе помою, постираю там... А нынче ночью арестовали и других: Пустова Андрея, Жарова, Колотилова Мишуху с Рябовской фабрики... еще Захарова... Бажанова Ивана... Игнашка тоже попал!..

Марина вслушивалась и ступала тверже. «Не один сын... не один... Их много, они не пропадут». От фабрики из корпусов доносился шум и возня машин. Виднелись фабричные люди. «Это они жалеют сына. Это они знают хорошее дело товарищей...» Ей не боязно и не стыдно выходить на улицу, и не думалось, что ее засмеет кто-либо...

Теперь она опять вместо Ванюшки вертится в лавке и с нетерпением ждет, когда снимут последний допрос с сына. Все надеется — его продержат недолго.

Это узналось через месяц, в ясный полдень. Марина чистила картошку, поглядывая в окно; на дворе Клавдюшка укладывала в ящик пустые бутылки. Петька возился с Дружком. На подоконнике задорно и весело чирикали воробьи. Заливисто завыл гудок на обед. В кухню вбежали два Лукерьины мальчика и по глупости радостно спросили:

— Теть Марина, ты провожала Ваню, как его солдаты в город повели? Наша мама и Тимошка Рыжий ходили. Она говорит — его в тюрьму повели, на руки надели бруслеты железные с цепями...

Ошеломленная Марина побелела и вытаращила глаза.

Мальчишки испугались, убежали, а она повалилась грудью на стол и тоскливо завопила:

— Погубители, погубители проклятые!.. Сынок... Сынок, головушка твоя победная!

Из окна Мишки слышится музыка. Мишка Тихоня

«заработал». У Мишки — удивительная штука с чудесной зеленой трубой, играет песни. Окна с белыми занавесками открыты. Ребятня, да и большие, удивленно глядят на окно.

— Ну, скажите, милые, до чего люди хитрые, ха-ха!..

— Штука невиданная!.. Ах, чтоб ему, орет песни чудные!.. И названа расчудно: «громыхвон», ха-ха!.. Где это он добыл такую?

— Ну где... знамо дело, длинный язык добуудет!.. Хо-хо...

Ровно через два месяца Марина собралась к Ванюшке на свиданье. Мокей вызнал у полицейского, в какой день пускают. В полночь на воскресенье с глухим мужиком из Чижей Марина поехала на своей рыжей лошади в город. В городе звонили к поздней обедне. Марина не знала, где искать тюрьму. Но вспомнила: «от кабака до тюрьмы одна дорога». От этой пословицы у нее пуще заболело сердце. Спросила старушонку, которая шла, опираясь на палочку.

— А-а! — протянула глухая старушонка. — Пошто же тебе в тюрьму итти?.. В тюремну церковь пойдем, вот и я туда иду. Каждый праздник рештантов приводят молиться богу за свои тяжкие грехи. Ты и увидишь, кого тебе надо...

С узлом в руках Марина молча поплелась за ней. Ход в тюремную церковь прямо с улицы и по лестнице, на какие-то полати с решеткой, — так ей показалось. На этих полатях стояло несколько старух и приехавших на свидание к «преступникам». Внизу пусто, свет проникает в небольшие оконца за решеткой. Поп помахивает кадилом на образа. В каменной церковной стене незаметная дверка впустила попарно заключенных, в серых сермяжных халатах. Все лица слились в одно серое лицо. Стали рядами с левой стороны. Направо солдаты. Глаза Марины забегали по макушкам: который? Вцепилась в темнорусую голову. «Он!» — шепнуло сердце. Ванюшка повернул голову, увидал мать, улыбнулся. Марина заплакала горячими слезами тоски и радости.

С узлом у тюремного двора, прислушиваясь к биению сердца, Марина ждала и бессмысленно следила глазами за парнем в поддевке. Поправляя узелок подмышкой, он нетерпеливо тыкался к железу окованных тяжелых ворот. Щупал пальцами шляпку чугунной заклепки. Приставив любопытно-недоуменные голубые глаза к воротам, отыскал щелочку, увидать скорее, что «там» делается. Ничего не видя, вздыхал, вскидывая глаза на всех. Десятка два других с тупыми, покорными взглядами ждали. Старик вертел седой головой, придерживая шапчонку, смотрел вверх на высокий кирпичный забор, а потом, опустив низко голову, сморкался в красненький платочек. Наконец стражник в овчинном тулупе, с ружьем на спине, отворил ворота.

— Ты, тетка, к политичному? — спросил Марину, обыскивая.

Такого слова она не слыхивала и повторила про себя: «Политишному?», да тут же испугалась: чтой-то он не хочет ее пустить? У стражника, как у ежа, зашевелилась щетина на подбородке.

— Ты к политичному, што ль, тетка, аль глухая?

Испугавшись сердитого окрика, Марина задакала:

— Да, да. Я к сыну, дядя, он тут...

Ее ощупали, обшарили. В узле все пироги расковыряли. Обнюхал стражник колбасу, чай, сахар, табак. Выворотил белье. Все... Но не нашел он у матери в рукаве, о чем сын тосковал, — газету и книжонку, а у горла в узелке платка денег трешницу.

Среди двора политических десятка два стоят полукругом. Возле с ружьем бродит надзиратель. Ванюшка похудевший, но веселый, Марина растерялась. У нее так много слов; сказать бы ему, что, мол, все его жалеют. А ей тоскливо, горько... Хочется сказать, что книжки под половицей она роздала, уж знает, кому нужны, и еще сказать ему что-то ласковое. Но молчала, счастливая, что видит сына без цепей и в своей одежде. И видела рядом парня в поддевке. «Деревня, к деревенскому... И тоже политишный!» — билось в ее голове, а рука потихоньку вытягивала из рукава газету. Ванюшка, улыбаясь, спрашивал, хорошо ли доехала, скоро ли нашла, как что дома...

Марина на все вопросы дакала. Придвинувшись по-

ближе с узлом, сунула в руку Ванюшки газету, и вмиг газета очутилась под полой пиджака. Губы Марины выговаривали:

— Все у нас, Ваня, ладно... Все тебе кланяются, — и, утирая слезы на глазах концом платка, сжимала в кулаке трешницу.

— Расходись! Свиданье кончено!..

«Политичные» бодро пошли за железные двери, за решетки на окнах. Из другого корпуса печально и надрывно громкие голоса тянули:

Со-олнце всходит и заходит,
А-а в моей тюрьме темно-о!..

Ванюшка крикнул:

— Ма-ать! Через неделю меня угонят в Москву.

Все приезжие ушли за ворота. Марина остановилась, растерянно и упорно окинула глазами двор. Каменный, унылый, он притягивал и звал ее... за эти решетки... Что это, предчувствие? И все стояла, пока сторож возился с подворотней...

Морозный и вьюжный был день. Марина в Москве, снова у политических на свиданьи. Все та же тюрьма. Все те же решетки на окнах. Высокий кирпичный забор, и часовые с ружьями.

Ванюшка веселый, делится с матерью новостью: с него сняли портрет во весь рост... Марина обрадовалась, — значит, сын ее замечательный человек, и сердце забилось надеждой.

— Тебя, значит, Ваня, не станут держать в тюрьме?..

Ванюшка взъерошил пальцами волосы, усмехнулся.

— По этому портрету, где бы я ни был, полицейская охранка всегда меня найдет.

И разом погасла материнская радость.

Срок в московской тюрьме Ванюшка отбыл; его, как вредного человека, выслали в дальнюю губернию.

Марина невольно провела рукой по голове, отмахивая наплыв тяжелых мыслей. Лад и согласие с мужем, как паутина, тонки, хлибки. Одно неудачное слово —

и все разваливалось; один неверный взгляд — и Мокей вздергивал плечами, косился. Ласковых слов у Марины не было. Сердце для мужа зачерствело, высохло. Молчала и тосковала... Нет у нее и сладкой заботы — в темные вечера молчаливо встречать и провожать товарищей, подбирать и укладывать в стопку листы. Ванюшки нет. Что ей делать без Ванюшки?.. В лавку надо итти. Глаза у нее наплаканы.

— Чорт, сопунья! Только страмишь меня!

У Мокеевых стряпуха, молодая девка Танька. Глаза у нее вороватые, карие, мигучие, нос круглый, картошкой, — девка веселая.

Танька живет месяц, живет два. Хохочет и поет песни. Мокей, что мед-медович, жмурится на девку, украдкой заигрывает... В одну ночь Марина подняла «страм», изругала Мокея по-всячески, стыдила, что позволяет себе дома, на глазах детей... Таньку прогнала, а сама была как очумелая.

Прошло три года. В чистой горнице и во всем доме Мокеевых горели лампы, и было светло и уютно. Дом наполнился свежими, веселыми голосами. Влилась новая, свежая жизнь. Настали желанные дни тихого счастья, легкой заботы, легких хлопот. День начинался писком то слабеньким, то звонким, требовательным, и все, все забывалось у предстоящего дела. На полу у горячих изразцов печки — корыто. На улице — темнота. Гуляет ветер. Липы лохматыми ветками царапают стекла, заглядывая в окна. В спальной Марины уютно, тепло. На коленках, пригнувшись к корыту, Марина напряженно, сдвинув почти вместе две канавки на лбу, по-старушечьи мягко улыбается. В теплой мыльной воде барахтается четырехнедельный мальчишка. Головенка в мягких, как пух, волосках приподнята на свернутой белой пеленке. Лаская устало-грустными глазами внучонка, Марина легонько мягкой губкой егозит под пазушками, под шейкой. Барахтаясь, мальчишка пыхтит, на губки пускает пузыри, повизгивает. Марина счастливо суетится, зовет:

— Маша, взгляни, взгляни! Ой, как любит водичку! Ах, пузырь мой, хороший карапуз!..

У молодой Маши щеки алеют до самых сережек. Черные густые волосы оттеняют белизну круглого лица; в руках держит наготове чистую теплую пеленку.

— Давай уж, давай, мама, хватит с него. Отца все равно не дождешься.

В небе мерцают звезды. Ветер гуляет по улице. Липы качают ветками, заглядывая в стекла. Все так, как было когда-то: на полу ковер, у стен мягкие стулья; на стене царь и царица — все так же румяны, при звездах и крестах... А все стало как бы по-другому... Да, да. Годы Ванюшкиной неволи уплыли. Жизнь Марины вошла в тихие берега. И все, как у людей: свадьба, родины, крестины. Ванюшка — уже Иван Мокеич — под надзором полиции. Когда семья Мокеевых в просторной, чистой горнице садится за ужин, Марина замечает, ни один не перекрестится; забывается повадка по десять раз в день молиться. У окна сидит светлоголовая, совсем взрослая Клавдюшка. Поглаживает пальцами короткий, немного вздернутый нос, глаза голубые, шустрые, уставила в книжку. Рядом Петька, тонколикий, черноглазый. Оба равные ростом.

Марина поставила на стол кринку молока. Мокеево место рядом с Петькой, против Марины. Глаза его обежали всех, на миг остановились на румяном лице молодухи; чуть заметная тень недовольства скользнула по лбу. Не сбылись его мечты. Жену Ванюшка взял у матери-вдовы, белошвейку, сестру товарища, сосланного на каторгу в Сибирь.

Сначала Мокей хвалился Обглодовым красивой снохой:

— Жена и дочь портняжничают, сноха — ученая белошвейка. Откроют вместе мастерскую белошвейную, мастериц наберут, девчонок. Дело доходное...

Проходили дни за днями, а сноха своей белошвейной мастерской не стремится заводить. Дома у матери наработалась. Ее дело — молодое: вечер погулять с мужем, утром поспать, понежиться. Да и к чему больно за работой гнаться? В семье Мокеевых нужды ни в чем нет.

У Марины теперь вся радость, вся жизнь — внучек. Он уж смеется, гулькает. Смеется и больное Маринино сердце, а в голове сверлит: «Домашнее дело ее рук ждет».

«Семья не мала, а силы совсем уж, совсем мало. Зима, мороз. На речку лучше сходить вечером; авось одна справлюсь, и люди не увидят... Маша помочь не догадается. Замуж шла в исправный дом, — не с грязным бельем возиться, не дрогнуть у проруби на ветру...»

Где же, где Маринина смена?..

А соседи зубоскалили:

— А-а... Марина, здравствуй!.. Это ты тут?.. Белье, гляди-ка, пристыло. Ты все сама, ха-ха!.. Недаром говорят — у тебя «не все дома».

У Марины руки ломит. Спину не разогнет, — мозжит. Муж косится... Никому, никому Марину не жалко, кроме Ванюшки. Он не словом, а глазами ласкает. По ночам все давным-давно спят, а Марину мучит бессонница. Лежит она с открытыми глазами, смотрит в потолок, на стены, и слышит — тихонько-тихонько в стене тук-тук-тук-тук...

На деревне говорят бабы: дом Мокея трижды проклят. И видится Марине Сидорова теща — старая, грязная и страшная в своем старушечьем горе. Кричит она, проклинает... Марине жутко, хочется плакать, и сердце у нее бьется, бьется, норовит из груди вырваться.

Капли перестали помогать. Сказала Мокею: «Пойду к доктору» — и пошла. Доктору все надо сказать: как живет, хорошо ли спит, много ли плачет, — и шарит, шарит глазами. Норовит залезть во все уголки сердечные... Дал воды в темной бутылочке хлебать три раза в день по ложке, — и велел бутылочку держать в темном прохладном месте. Пришла, показала Мокею, что доктор дал. Он читал в чистой горнице газету, на бутылочку и не взглянул.

Меняя Мокею в кармане платок, Марина наткнулась на письмо в конверте, мелко написанное. Тихонько дала Ване почитать. Слушает — и не верит. Письмо от доктора Мокею: «Твою жену надо лечить в специальной больнице, иначе она кончит плохо»...

Отодвигая в кухне возле двери ящик с грязным бельем, Мокей увидал темную бутылочку с бурым ярлыком, взял в руки, прочитал имя жены и фамилию...

«Хм!.. спрятала... Дело нечисто...»

И заработала Мокеева голова, вспоминая давнишние свои мысли. Вспомнил: кривой хозяин лечится от нехорошей болезни. У Мокея задергались на ногах все пальцы, глаза позеленели.

«Ага!.. заразилась... Вот оно зачем к доктору ходила...»

Молодые ушли. Марина осталась с Борисом. На постели стоит он на крепеньких ножках столбушками, держится за спинку кровати, припрыгивая, повизгивает, смеется: «Ба-а! Ба-ба!» Марина держит его за край рубашонки и тоже смеется...

— Это что такое?

Марина вздрогнула, обернулась. Худощавое лицо мужа дергалось; в руке его бутылочка.

— Это твое?

— Да, моя вода... Доктор дал...

— Хм!.. Во-да-а? — Голос Мокея скрипнул. — Это для чего же ты ее спрятала? Чтобы муж не видал, с-стерва?.. Какую ты боль залечиваешь?..

— Я не прятала. Доктор сказал: ее надо в темном месте держать...

— Вертись, с-волочь!.. Заразилась от кривого! — Мокей весь напружинился, что обозленный пес. — Дьявол, потаскуха!..

День был серый, осенний. Маша с ребенком уехала к матери в гости... Над слободой, словно из сита, сеялась мокрая изморось. Дым из труб стлался над крышами серым туманом. На дубке каркала ворона.

У Марины, как всегда, болела голова. Мозжило спину, — знак простуды и старушечьей хвори. Но хворать некогда. Только спусти руки — и стала машина домашних дел: ну, разве ей одной справиться? Дойду, думает, до старой Надежды, — она, может, подсобит...

Оделась и вышла с крыльца. От избы Нефеда оглянулась назад. Как на грех — Мокей: вышел из лавки, смотрит, куда жена потащилась... Кольнуло сердце Марины, — разве вернуться, сказаться ему? Но не вернулась. В лавке Ваня. Мокей без дела, а ей надо спешить. И не девчонка она — спрашивать о каждом шаге. Эва, на шестой десяток махнуло. Надо ему ежели знать, — сам бы он спросил, куда, зачем пошла.

Домишко Надежды в конце слободы, на задворках. На двери замок.

Вздохнула Марина и назад пошла.

День разгулялся. Ребятня верезжит на улице. Мокей все у лавки стоит и подсолнухами плюется. Марина сразу догадалась: ждет ее. Итти ей надо прямо, а у ней «не все дома». Не доходя до Нефедовой избы, в проулочек узенький свернула и прямо мимо колодца вышла к своему крыльцу.

Этим самым подлила масла в огонь Мокеевой ревности. Вскочил он на двор и забранился:

— Таскалась, сволочь, повидаться? Ах ты, стерва, потаскуха!..—и со всего размаха кулаком по уху и по другому.

Загораживаясь руками, Марина пятилась от него с криком:

— За что ты меня? За что? Иди, спроси! Люди видели, где я была.

Наливаясь злобой, Мокей наскочил на жену, повалил на землю, бил кулаками и ногами. Схватил полено и хватил по голове.

— Убью!

На крик из лавки выбежал Ваня, схватил отца за руку.

— Ты что делаешь? Сбесился, кулачник?.. Как тебе не стыдно?

— Не твое дело, прочь!

Марина поползла к крыльцу, от бессилия и боли зарыдала...

Мокей стоял перед сыном с дрожащими кулаками. Серое лицо дергалось, ходуном ходила бороденка, глаза моргали...

— Чего смотришь? Чего ждешь?..—кричал Ванюшка.—Давай понесем в избу. Народ с улицы сбежится...

И Мокей с сыном унесли на руках избитую Марину.

На другой день она очнулась на диване в чистой горнице. Глаза ее затекли, опухли. На лбу саднило. Повернула голову,—словно кто заворочал внутри камни. На макушке волосы слиплись в крови; все тело ныло. Марина что-то бормотала испуганной Клавдюшке,

куда-то посылала, чего-то просила сказать и, представляя себе мужа с поленом в руках, всхлипывала...

Мокей решил оправдаться и сказал Марине:

— У тебя сифилис. Ты заразилась и заразишь других...

А сам хорошо знал, что это неправда: каждую субботу мылся с женой в бане и видел ее крепкое, чистое тело...

Марина не знала, что за слово такое: «сифилис»; она не слыхивала, что есть такая страшная болезнь, и не знала, какова она. Но чутьем поняла, в чем муж ее заподозрел, поняла то, о чем никогда и не думала... Значит, она не только не годна мужу, она не должна и с детьми жить, и поэтому ей надо уйти, скрыться куда-то... И перед Мариной встал весь ужас ее жизни...

— Так жить нельзя, мать... И я уйду от вас, уйду из дома... — ломаются твердые слова сына Вани.

Марина молчит. В голове ее другие мысли. Она докажет мужу, что он ее оболгал, что она здорова. И все опять наладится...

На третий день Марина поднялась с подушек. Теплый платок спустила на самый лоб и, нагнув голову, пошла задворками к доктору, не к тому, который ее знает, а к другому. Марина держит путь полем, в земскую больницу. И все ей кажется — встречные даже издали вглядываются в синяки на ее лице и сизые подтеки под глазами.

В больнице, в полутемной, с низким потолком, просторной приемной прохладно. На скамейке сидит несколько женщин с детьми... Марина присела на краешке в уголку, дожидалась; когда от доктора вышла последняя больная — с рукой на перевязке, женщина, вся в белом, в очках, позвала Марину. Доктор, полный, усастый, приподнял серые брови. У Марины захватило дух — как ей сказать, зачем она пришла? Но вспомнила обиду, осмелела и спросила, что надо.

За темной ширмой фельдшерица в очках удивленно отозвалась:

— Для чего это тебе, голубушка, понадобилось?

Марина разжала стиснутые зубы.

— Мужу...

— А-а! Ну, одевайся, голубушка. Ничего, доктор, женщина вполне здоровая...

Доктор писал бумажку и посматривал на Марину; седые брови его двигались.

— Изукрасил тебя, тетушка, не муж ли это?

Больничная тишина, запах лекарства, седой доктор... Марина не сдержалась, заплакала и все рассказала.

Доктор осмотрел голову, велел фельдшерице в очках промыть рану и дать свинцовой примочки и еще написал одну бумажку. Потом обернулся к Марине с бумажкой:

— Вот эту еще возьми. На работу может пойдешь — пригодится.

Зачем Марине другая? Ей нужна только эта — для мужа.

Что-то он теперь скажет? Другую бумажку так себе в карман сунула... Обратно шла с легкой душой. Светлый день, казалось Марине, ласкал только ее одну. Захотелось есть. Хоть бы корочку хлеба с солью пожевать.

Мокей в лавке стоял один. У него только что была Феня Курочкина. Он заметил, до чего черны у нее волосы, и потрогал их руками. В пальцах его зудили мурашки. Марина подошла к нему сзади, встала рядом, подала дорогую бумажку. Этот беленький клочок, написанный в больнице — единственный защитник ее непорочной замужней тридцатитрехлетней жизни... Волненье перехватило голос.

— Вот... была... у доктора... Посмотри!.. — И заглянула в мигучие глаза мужа.

Мокей взял и, не глядя, что написано, разорвал бумажку на мелкие кусочки.

— Таких у доктора за целковый можно получить, сколько хочешь, — холодно сказал он.

Светлый день, глядевший в стекла двери, померк. Из-под ног Марины поплыли половицы... За что же ей уцепиться? Ведь она падает, падает в темную яму... Она пьяна своим горем... Некому ее поддержать... Захлестнуло отчаяние...

Как прошел день, она не помнила. Лежала камнем на лежанке. В доме было уныло. Дети из дому рассыпались.

— Я дома жить не стану, мать... — повторил сын Ваня.

— Нет, — печально и твердо перебила Марина, примачивая синяки свинцовой примочкой, — тебе, Ваня, не надо уходить. Куда тебе с дитем, с женой? Ты ведь ничего не умеешь работать. Тебе придется итти в чужой угол, под начало к чужому торговцу. Хрен редьки не слаще. Ты старший сын, ты хозяин дому... Уйти надо мне, и я уйду. Чего мне теперь надо? Ничего!.. Хозяйка в доме теперь — Маша. А я... — Марина не договорила.

Маша таких разговоров не слышит, но замечает: муж с матерью шепчутся. Что у них такое? Какие секреты? Маша волнуется, сердится, плачет. Значит, мужу мать дороже...

Марина жалеет Машу, — зачем ей лишнее знать? Зачем тревожиться из-за других? У Маши ребенок. Ей надо быть здоровой. У нее вся жизнь впереди.

И у Марины созрело решение.

Мокей за столом один. Пьет с блюдца чай. По мигучим глазам и дерганью щекой не понять, о чем он думает. Курочкина неотступно живет в его мыслях. Прищуривая глаза, дотрагивался он в мечтах губами до ее смуглых, с легким румянцем, щек, говорил ей горячие, нежные слова. Таких слов для жены у него никогда не было. Прикусывая баранку, кидает взгляд на жену — она ему нужна для дела...

Марина приготовилась, всю свою решимость и волю вложила в слова:

— Ты говоришь, во мне поганая болезнь. Значит, я не должна касаться тебя. И не должна касаться детей и потому должна уйти из дома, уйти совсем. — Голос Марины дрогнул, руки и ноги заледенели, но она твердо договорила: — И я уйду, найду себе кусок хлеба. Но мне надо паспорт... И за все, за все я прошу у тебя только паспорт...

Мокей не чувствует, как сердце жены обливается кровью. Но он хорошо знает покорность жены, ее привязанность к детям, к дому и отвечает с усмешкой:

— Завтра поеду в волость вносить оброк за лесовой надел и выправлю тебе паспорт. Дня через три получишь.

Марине не верилось: неужели муж так легко согласился? Она даже испугалась, но возвращаться ей уж нельзя. Побои могли забыться, как забывалось многое, но поганое слово «сифилис» забыть нельзя... Ей лучше умереть...

Но все три дня ее не покидала надежда, — а вдруг муж скажет: «Полно, будет нам, Марина, людей смешить. Сказал я неправду. Куда ты пойдешь?.. Али молоды мы? Ведь почти полвека вместе прожили, надо и детей пожалеть...»

И Марина ждала, надеялась, молчаливо хлопотала по дому. Но неизбежное подошло легко и просто...

Марина на дворе. Дружок ласкается к ней, виляет хвостом, валится под ноги и лапами теребит подол старой шерстяной юбки, не давая хозяйке хода. Марина нагибалась, гладила его рыжую голову, ласкала.

Мокей вышел из лавки, подошел ближе и подал какую-то бумагу:

— Вот тебе, жена, паспорт. Можешь — на все четыре стороны...

И ухмыльнулся про себя: «Потешится жена — такая же останется». Повернулся и ушел.

На Марину нахлынула непонятная легкость. Все кончено... Глухо застучало сердце. Куда итти? Не все ли равно! Дальше, чтобы вырвать все из сердца. Дни тягостно спутались.

Мокей видит: в комнате сына новенькая корзинка. Ему не верится, что жена уйдет, и он помалкивает... В корзине две смены рубашек, два платья, два платка, полотенце, простыня, пикейное одеяло, подушка да кое-какие мелочи.

— Куда же ты, мать, пойдешь? — задумчиво спросил сын.

Марина опустила руки. На похудевшем лице ее равнодушие. На переносице у глаз синяк — знак побоев. На лбу напряженно сдвинуты морщины.

— Далеко уеду, Ваня... В Чернигов. Там живет одна родственница... Чем дальше, тем лучше... —

И все старается шутить: — Уеду от вас, Клавочка... уеду, Петька... Не маленькие вы. На что вам теперь мать? Проживете и без меня... Сумеете, станете хорошими людьми... Борика вот нет — хошь бы разок взглянуть на него! У другой гостит бабки... Уехали с Машей. Не дождусь, верно.

А слезы невольно льются и льются по увядшим щекам Марины...

— А плачешь зачем же?.. А ты не плачь, мама!.. Ну, вот ты какая!.. — уговаривает Петька.

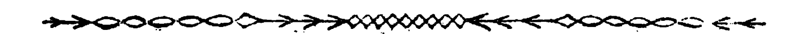
Клавдюшке ближе материнское горе... Свела русые брови, покусывает губы — не расплакаться бы. Помогает матери в сборах...

Марина ходит по саду. Ранняя весна. Солнце обогревает, охорашивает отгороженный со всех сторон сад.

Марина прощается с каждым деревцом, с каждым кустиком и плачет на приступке резной беседки. В последний раз вошла в хлев с подойником. Рогастая Пестрянка, моргнув большими черными глазами на заплаканное лицо хозяйки, слизнула из руки ее кусок и глубоко вздохнула. Жалко Марине свою рогастую, свою старенькую Пестрянку... И страшно ей: а вдруг муж остановит, возьмет паспорт обратно, либо найдет ее где, и вытребует по этапу с солдатами?

На дворе, с паспортом в руке, последний раз села на крылечке, локти на колени, ладонями сжала седеющую голову и горько-горько зарыдала... Порвалась основа семейного устоя, веками вязанная укладом простой мужицкой жизни. Не выдержали, лопнули и гнилые цепи царева закона со всеми причудами поповских заповедей. Рушится дом, семья. Жизнь десятков лет пошла насмарку. Все у Марины взято: молодость, здоровье. Доброе имя затоптано в грязь. Что ей осталось? За плечами безотрадная старость, впереди темная яма...

Книга третья



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТЕРПЕНИЕ, ТРУД И КРЕПКАЯ ВОЛЯ

В серых потемках вагона кто-то долго чиркал спичкой, сопел; наконец в фонаре над дверью вспыхнул стеариновый огарок. Желтый огонек осветил рябой нос, серые усы, медные пуговицы кондуктора и головы людей, сидевших на лавках.

— Тронулись, слава те...

Глубокий вздох увяз в смутном говоре, кашле, сморканье.

В сизых табачных потемках уставшая, измученная Марина лежит на полке, закинув руки за голову. В голове ее будто сквозняком выдуло все мысли; по-старушечьи ныла спина.

Кто-то спросонок завозился на лавке.

— Ма-ам-ка-а, и я с тобой!..

Испуганный ребячий голосок пробежал по всему вагону, и в тягостном мраке ожили мучительные дни Марины. Встал на крепеньких, толстеньких ножках веселый, радостный, с ямочкой на подбородке, внучек Борик. Семья... Марина повернулась на бок, тяжко дыша. Забыться бы, уснуть! И видится последнее прощание с дочкой Клавдюшкой. Вокзал обширный, полутемный, угрюмый. Светлые золотистые косы Клав-

дюшки заложены «баранками» за уши. Серые глаза растерянно мигают. «Мама, что же ты все плачешь?..»

Ночь. Версты мелькают. На нижней лавке кто-то взмахивает рукой.

— Светает... Всю ночь плакала какая-то, и теперь все плачет, горюша... Тетушка, али горе у тебя неизбывное?

Голос ласковый, теплый. Марина перестала всхлипывать, тихо роняет:

— Та-ак...

На другой лавке ворошится куча одежного тряпья, и голос грубый, скрипучий:

— Не-ет, баба, так и прыщик не сядет, да-да... на все произволье и причина... Да ты куда едешь?

— В Чернигов.

Марине стало совестно своих слез и не хотелось, чтобы чужие жалели. Плотно поджала губы, подобрала под вязаный платок прядь волос с проседью, задумалась, задремала.

Проснулась Марина, отряхнула вытащенный из-под головы драповый дипломат, села на своей полке и равнодушно посмотрела вниз. Люди набрались другие, и все скучают в табачном дыму. Большеротая баба покосилась на плевки и мусор в проходе, сердито выругалась:

— Свиньи, а не люди! Весь вагон запакостили! И все оттого, что неучи сиволапые. Прямо истуканы дубовые! Так-то вот...

И, плюнув на пол, растерла ногой.

С боковой лавки поднялся старик в барашковой шапчонке, спутанная бороденка его задергалась.

— Во-во, я это самое давно-то думаю... А все от жисти, лахудры такой. Ой-ой, плохая ноне она стала! Приказчики да подрядчики скрозь тебя удушают... во, ей-бо, провалиться!.. А ты, тетка, сама зачем нагадила?

За перегородкой смех, говор.

В окно брызнуло ясное мартовское солнце. На бережках канавы ранняя зелень. Проплыли за кустами фабричные трубы... На остановке в вагон нахлынули

ватагой загулявшие парни. Загудела гармонь, и бесшабашные фабричные подхватили:

Ах, вы, се-ни, мои сени,
По бокам вашим припев...
А ты дербень-дербень, Калуга,
Дербень, родина моя...

Марина слезла с полки и опять засмотрелась в окно, удивляясь раннему теплу и простору. Высоко в синеве купались сизокрылыми утками стаи мелких облаков и, надвигаясь на солнце, легкой тенью падали на землю.

— Вот и Украина-матушка, степь-кормилица, — сказала женщина в платке с каемочкой и начала увязывать в мешок подушку и чайник.

Марина вздохнула. Что-то там ждет ее? И затихшее было чувство одиночества снова заныло в груди...

Придушенный абажуром свет лампы падает на широкий стол и расплывается по углам небольшой чистой комнаты. Черные глаза невысокой, полной женщины смотрят на Марину просто и ласково. Выслушала, зачем Марина приехала. Голос, полный участия, легонько ворошит сердечную боль.

— Переменилась ты, Марина Петровна, постарела. Раньше бы тебе надо на это решиться. Видала я твоего-то ерца-перца и думала — не минуешь ты того, что случилось.

— Я, Вера Степановна, домой больше не вернусь. Определюсь на фабрику, а то на поденку где. Авось, пока что, не прогоните...

И по щекам покатились слезы.

Вера Степановна подвернула лампу, и Марина невольно поймала ее любовный взгляд, брошенный на чернобородого, как цыган, мужа.

— Что ты скажешь на это, Виктор?

Виктор Захарыч Дидов, с книжкой в руке, повернулся к жене с добродушной усмешкой.

— Прежде всего, Веруня, эту плаксивую женщину надо полечить: глаза у нее нехорошие, нервы, совсем больная... Так-то, Мара, гостья нежданная. Не меньше трех дней лежать в постели, утром и вечером — капли.

Марина встала, поклонилась в пояс.

— Спасибо за привет и ласку! Ехала — не чаяла... Я уж как-нибудь...

Укладываясь в спальной на ночь, Вера вздыхает:

— Жалко женщину... но хорошо ли, Виктор, не зная семейных дел, вмешиваться?

Виктор прошелся из угла в угол, остановился.

— Пускай поживет. У обоих, у мужа и жены, переболит — перегорит, может быть, одумаются. Нельзя поверить, чтобы на старости лет совсем жизнь сломали.

Цветут акации. Марина давно уже проснулась на «галдарейке». Так она называет сени с широкой лестницей, идущей вниз. Марина посвежела, лицо налилось румянцем, осмыслилось.

Угнетенного выражения не осталось и следа. Платок повязан, как носят здесь, узлом на затылок.

Часы за стеной прозвонили семь. Солнце бьет лучами в окна домов. Пышно цветущие белые акации тянутся вдоль широкой Черниговской улицы и крепко пахнут медом. Бодро постукивает Марина башмаками по каменным белым плитам. Марине пятьдесят три года, но в глазах ее гордая уверенность в себе, в своих силах.

У Виктора и Веры много знакомых. Виктор — фельдшер, а больница одна на весь город. Марину всюду зовут — починить, перешить...

На столе ручная машинка. Нитки, ситец. В окно и отворенную дверь льется горячее солнце. Марина кроит, шьет, примеряет.

Летний день длинен. Согнутая шея устала, руки потеют.

— Половина седьмого. Вот вам ужин, и кончайте, — говорит хозяйка.

Усталь с Марины, что с гуся вода. На готовых харчах, каждый день сорок копеек — это не плохо.

Из больницы пришел Виктор, большой, тихий; ловит дочь свою Аню.

Марине нравится его сдержанная и совестливая манера обращения с женой.

— Тебя, мать, просят к доктору поработать, — говорит Виктор Марине.

А Вера уже перебивает:

— Нет, Виктор, сперва к старушке музыкантше, это на нашей улице...

Марина задумывается, отчего Виктор Захарыч называет ее «мать», а знакомым говорит «Мара». И она посмеивается.

— Вот и слава те... А то без делов скука.

Вечером Дидовы уходят в гости, либо читают книжку. Положив руки на колени, Марина слушает и думает. В этой семье есть что-то мирное, тихое и трогательное. Марина отдыхает. Будто старое, заношенное платье, сползают заботы и думы. Приятно чувство свободы. Как давно это было: муж, дети, дом...

Во всю свою жизнь Марина не помнила такого необычайного дня. Утро поднялось погожее. Жужжали пчелы. Цвели пахучие розы. Марина идет на работу, оглядываясь по сторонам. Прямо перед нею в нескольких шагах, размахивая руками, большими и словно железными, идет человек в жилетке, сапоги запылены. Почему-то остановился на углу улицы у фонарного столба, — закурить, что ли... Нет, Марина видит, — он читает. И вдруг он как-то особенно громко сказал:

— Война объявлена!

Она остановилась. Собралась толпа. На другом перекрестке тоже останавливаются, и все видят — на столбах и на стенах наклеен приказ:

«Мы, Николай вторый... волею...»

И кругом загудело:

— Война! Война!.. С кем? Кто?

У трактира собрались торгаши с торбами, землекопы с лопатами, горячатся, переругиваются.

— Вишь, поднялась не наша вера. Чорт их надоумил убивать народ!

— Да-а... война — она не помилует ни наших ни ваших. Немец, брат, того... Только кому она нужна, эта война? Вперворядь наш брат подставляй башку.

— А из-за чего? Что им надо? Пускай воюют. Наше дело что ж... Все было — ни слуху ни духу... Тут что-то неладно!

— Ах ты, господи, твоя воля! Вот язва, в печонки ее!

Проковыляла худая старушонка.

— А ты бачишь, девока, щось ведуть и ведуть коней бородачи, усунув очи в землю, ой, божья мати... сгинуть кони... ой, лышенько, идесь таке набрави... и куда ж такое поховають?

Вечером Марина уходит с работы раньше. Не сидится, когда вокруг ахи да охи.

«Война». «На войну». «Воевать», гуляет новое слово по улицам.

Рушится налаженная жизнь. Все наполнено горечью и злобой.

Почти в каждом доме новобранец, и Марине приходится сидеть за шитьем без разгибу. Нужны рубахи, штаны, одеяла...

Игла и тряпье осточертели. Ушла на бахчу полоть гряды, собирать огурцы. Солнце. Тишина. В голове Марины неотвязная дума: годовой паспорт на исходе. Дадут ли ей новый? Виктор говорит:

— Преклонный возраст, наверно, поможет.

— Разумеется, — подтверждает Вера.

Боязливо и нерешительно плетется Марина в городское присутствие. Бесчисленные двери, перегородки. Душа сжимается в комочек. Однако все обошлось благополучно. Через два дня у нее в руках книжка — бессрочный паспорт. «Ведь я свободна, совсем свободна!» Душа распрямилась, и словно крылья выросли.

— Эх, Вера, чего мне теперь горевать.

Вера смотрела недоверчиво, думала: «Неужели Марину не тянет к семье?», и говорила свое:

— Война над всеми висит бедой, и мы с Виктором порешили, мне надо поехать навестить брата-учителя на твою сторону. Мать, небось, убивается, поджидая беду. А ты, Марина, похозяйствуешь, за Аней приглядишь. К мужу твоему заеду, не так уж далеко.

Марина охотно с ней согласилась...

— Обязательно побывай, Вера. Посмотришь, как они там...

— А что если муж станет звать тебя на мировую...

Марина, вспыхнув сердитым румянцем, упрямо ответила:

— И не думай, Вера, совсем не думай. Хватит с меня!

— Приехала! Загостилась. Соскучилась даже... Но ведь знаешь, Мара, четыре года не видались. Мать ревет. Брат последние деньки доживал — и на фронт, — рассказывает Вера по возвращении. — А в поездах ужас что делается! Эшелоны, эшелоны беспрерывно. Все скотские вагоны забиты, как говорят, «невольными добровольцами», и все едут, едут...

Марина только что пришла с поденки, — мыла полы в большом училище: слушает Веру нетерпеливо. Устало вздохнув, села к столу, разглядывая стертые, красные руки, допытывается:

— Что же ты, Вера, замолчала? Говори все, где была, чего видела...

— У мужа твоего Мокея, конечно, была. Клавочка и Петяйка тебе кланяются. Ночевала у них одну ночь, Феня Курочкина хозяйничает. Ловкая бабенка! С молодой женой дело у него идет весело, — роняет Вера, поглядывая на деланно-спокойное лицо Марины. — Мокей Якимыч очень в обиде. Говорит: «Послушалась жена какого-то советчика». Никогда он не поверит, что сама, своим умом она это надумала, люди-то знают, с кем... Ей можно, а ему нельзя?..

«А «Курочка» не дура. «Я, — говорит, — не хочу в утайку жить». В лавке сидят, при людях целуются. Придут мужики, он вином их угощает, а они с законным браком поздравляют. Смех прямо! Выйдут мужики из лавки и орут спьяна: «А-а, богатей, сколько у тебя этих жен перевелось, паша турецкий!» От стыда и Ваня из дому уехал... Так-то вот, Марина Петровна! С Курочкиной две девчонки и двое мальчишек живут. Петяйка как придет из училища, так и сидит в сенях на окне. А Клавдия где-нибудь у подруг».

Марина забыла о чае, сердце ее бушевало. Вспомнилось все ненавистное — и вывеска: «Распивочно и на вынос», и помыканье, и униженья, и оскорбленья. По играющим глазам Веры догадалась: та чего-то недоговаривает. Крепясь, спокойно спросила:

— Борика разве ты не видала?

— Нет, он живет у той бабки, в Орехове... Но я спросила все же Мокея: ежели, мол, жена вернется, как он тогда? Его точно ожгло, ухмыльнулся. «Что ж, — говорит, — посмотрим...»

Хмурясь, Марина сердито мотнула головой:

— Нет, уж этого ему не дождаться.

И неторопливо двинулась на свою галдарейку. Тяжелым грузом давило сказанное Верой.

Подходят длинные темные вечера. Глаза покраснели, но нужно бесконечные часы корпеть за немилым шитьем. Наступают холода...

Уныло посмотрела на голые дощатые стены, на темный провал лестницы. Разве она привязана здесь навсегда?

Собралась Марина в Киев на богомолье, тоску свою развеять, посмотреть, как люди на белом свете живут. Уж очень тоскливо стало ей в Чернигове после Вериных рассказов о доме.

В Киеве наняла комнатушку у вдовы на Подвальной улице, а через два дня устроилась работать в больнице на Бибиковском бульваре — белье стиранное убирать, бинты скатывать.

Больница оказалась наскоро устроенной. Кровати все рядом, дощатые: вместо ножек горбыли, прямо с еловой корой, высокие. Взвалят больного, ему и не слезть.

Маринино дело — внизу, в помещении недостроенном, холодном да сыром. С утра до ночи пар стоит от корыт и кадок с кипятком. Шесть баб, согнутые, оголенными руками, в трещинах, в ссадинах, отстирывая кровь с грязью и гноем, вспоминают мужа, сына, брата, и слезы частенько капают на белье.

Вечерами с хозяйкой Настасьей, бабой большой да костистой, за самоварчиком разговоры ведет.

Зимой Марина захворала. Свалилась без памяти на заботу хозяйки.

Жалостливая Настасья все же выходила Марину, почти два месяца с ней провозилась.

Вечерами сидит Марина на постели, руки, ноги дрожат, голова кружится. Вспоминались свои сыновья. Дойдет черед, им тоже не миновать войны. А может, уже забрали?.. Ох, туда бы ей, к ним, к дому!

Как только поправилась Марина, пошла она в больницу. Но за месяцы ее болезни больницу по Бибиковскому бульвару закрыли.

Из-за угла вышел старик.

— Что, тетка, аль навестить кого шла? Видишь, нет. Много заразных стали подваливать военных, ну, и перевели за город куда-то...

Глаза Марины в испуге остановились. Через силу поплелась на бульвар. Села на лавочку.

Подошли две женщины. Одна машет руками, — того и гляди, ударит.

— Вот выпила я, и все тут... Проклятые, трикаянные! Им не надо, а мне надо безногого? Привезли, свалили: получай, жена, корми хлебом мужа... У-у, растереби их душу с войной, сволочи! Сладко мне? Что ты молчишь, подлая? Ведь детей двое... Дай еще хлебнуть!

— Уймись, Катря. У тебя горе, а у людей — мед? Все печонки переело, глядя на Петруху!.. — залилась слезами белокурая. — Замест носа у мужа какой-то желвачок красный, и нету глаза левого... Меня тошнит, и зло берет. Ушел бы куда из дому, ведь все углы провонял войной, а его стыд на улицу не пущает... Ну, да ладно. Терпеть, видно, надо до времени. Иди, выспись. А мне на фабрику пора, — штуки какие-то для ружьев вычищаем...

Подавленная чужим горем, поднялась Марина. Не успела отойти и пяти шагов, на дорожке знакомую встретила, Юлию Сергеевну: в Чернигове недолгое время девочку ее няньчила.

— Маринушка, ты?! Да как же ты изменилась! А мы в Москву едем всей семьей. Из Чернигова нет возможности выехать: на всех поездах войска, орудия... Думаем, отсюда легче удастся... Ты, может, с нами поедешь? У Тупсеньки моей как раз няни нет.

В Москву — ближе к родине, к детям. Запинаясь, ответила:

— Что же, меня никто не держит, Юлия Сергеевна, возьму да и поеду с вами.

В Москву приехали в полдень. Солнце калило мостовую. Сидя на извозчике, с девочкой на руках, Марина всему дивилась. Гремели трамваи, выли грузовики. То и дело попадались отряды в серых шинелях. На широкой улице у белого дома остановились.

— Вот и приехали, — говорит Юлия Сергеевна.

Новое место. Новая жизнь. Марина за какое дело ни возьмется, комнаты ли убирать, пеленки ли стирать, — в руках дело горит. Утром проснется, к тишине прислушивается. Вот-вот загремит трамвай. Никто его не везет и не толкает, сам катится с народом.

Марина пристально вглядывается во все лица. Ей все кажется — она встретит сына, дочь.

Юлия Сергеевна начинает примечать, что Марина ходит скучливая, заплаканная. Решила поговорить с нею.

— Няня Мара, у тебя есть какая-то забота. Давай поговорим. Поделись, легче станет. Ну, о чем плачешь?

Юлия смотрит просто, ласково. Сникла Марина и стала рассказывать о своей доле.

— Жизнь так коротка, а мы еще сами ее портим... А может, поедешь, Марина, повидаешь своих? Это не так далеко.

Марина подняла глаза, как будто ее разбудили и указали свет. Да, да, она поедет, в два дня обернется.

Вечером Марина слезла с поезда. Шла, спотыкаясь и задыхаясь от волнения, — прямо к Ване, к сыну.

Не миновать ей итти мимо своего дома... Из лавки свет струится сквозь стекла двери. Затаив дыхание и сутулясь, Марина подошла.

За прилавком муж, сухопарый и жилистый, и «она». Сидят рядышком, смеются, милуются.

Марина остро почуяла лицо свое, немолодое, усталое, и голову, серым платком по-деревенски обмотанную, и пальто старенькое. И только сейчас поняла, как ненавидит она эту черноглазую, с модной прической. Это она выживает ее детей из дому...

Словно пьяная, откачнулась Марина.

«Бежать, бежать, пока не увидали, не высмеяли! Туда, в конец слободы, за реку, в Чижовку...»

Сердце теребили зло и досада. «Старый бесстыдник! В пятьдесят шесть годов, на виду у всех...»

Вот и домик сына, тут же и лавчонка. Светло, тепло. Ваня и Маша веселые. Внучек бойкий, бегает на ухвате верхом, кричит:

— Баба, слимти, слимти![1] Каняска, но-о!..

Всю ночь проплакала Марина. Перед светом зашумели голоса. Где-то близко зарыдала песня:

Последний ноне-шний дене-о-чек
Гуля-аю с вами я, друзья-а-а,
А завтра-а рано, на рассвете...

— Кормильцы на-аши! Да куда же вы, ясны соколы, и на ко-во покида-аете?..

— Восемь человек в этот раз из Чижовки на войну, — говорит Ваня, поднимая с подушки голову.

«А тебя? Наверно тоже ско-оро...» — думает Марина.

Пришли Клавдия и Петяйка. Вот они, родные, кровные, по ком страдает сердце материнское. Петяйка молчалив и неулыбист. Светлоголовая Клавдия шустрыми глазами оглядела мать, рада ей, крепко целует. Голос у Марины дрогнул, когда спрашивала:

— Володька здоров? Как живет?

— Доучился, уехал в Одессу, — сквозь зубы процедил Петяйка.

— Оставайся, живи с нами, мать, — уговаривает Ваня...

Поезд летит навстречу вьюге и ветру. Марина сидит неподвижно. Больно, горько. «Жизнь сломана». На соседней лавке заунывно поют.

Я прише-ел сказать тебе-е, родна-а-ая,
С горем и-и тоско-ой:
Своему-у родному сы-ну
Стал отец совсе-ем, совсе-м чужой.

На остановке в вагон село много баб; с ними шум и говор; запахло овчиной, дегтем. Перед Мариной высокая, в шали, командует:

— Дарья, Марья, марш сюда! Эва, обе лавки пустые... Одна какая-то тетка прижухнулась... — и кивнула на Марину.

Шестеро расселись, оправляя полушубки, и сразу зашелушили подсолнухи.

— Так-то вот... к мужьям и едем, к своим солдатам, — улыбается высокая. — Житье стало солдаткам!

---

[1] Смотри, смотри...

Жрем семечки, на машине задарма катаемся и Москву увидим. А на войне походя людей убивают.

— На то она, матушка, и война. О, господи помилуй! — закрестилась старуха с ястребиным носом. — Дай бог здоровья батюшке царю! За двух сынов пла-тют по восемь рублей кажный месяц. Век-от копейки гулевой не видала, а тут и богу на свечку... Еду к ним, не знаю куда, под саму, индо, Варшаву, гляди.

На старуху напали:

— Радуется, старая карга!.. «Пла-атют»! Места б те не было на том свете... и с войной!

— Нет, что она скажет, ежели явятся, как у Матрехи Опечинской, на костылях и без руки?

— Войне конец бознать когда, а сирот — через одну в каждой избе.

— Она, знать, не из наших местов Володимирских.

Марине горько и завидно. Бабы проклинают войну, горюют. И все живут какой-то тревожно-новой жизнью. А она — мать — не смеет даже пикнуть о своих сыновьях.

Вернулась Марина, повесила пальто и пошутила:

— Вот и приехала с орехами...

Подавленная, скучливая Марина бродит с девочкой у дома, не встречает, не провожает трамвай.

По ночам в слезах мокла подушка. Утром видели ее с опухшими глазами, с красными пятнами на щеках.

Нету моченьки. Не мил белый свет. И, наконец, решилась Марина: ей надо ехать. Ее место с детьми, с мужем.

Мокей подошел к двери. За стеклом зябко и ветрено. В лавку наскоро забежали один, другой покупатель, и опять тихо. Мокей очистил широкий хлебный нож, переложил ковригу хлеба на ларь другим боком. В лавке холодно, сыро, грязно.

Дверь неуверенно заскрипела, вошла Марина.

Что это — померещилось ему? Жена? И ноздри его зашевелились.

Марина вся подалась к нему, и глаза, налитые печалью и страхом, глянули на него. В голосе горечь.

— Я пришла домой, к тебе, Мокей Якимыч... и ты меня прости...

И стала на колени перед своим венчанным.

Мокею сразу представилась та Маринка, его жена: лицо, налитое румянцем, задорный, закатистый смех. Это было давно-давно, в первые дни после венца... И сердце его затрепыхалось голубиным крылом, размякло. Хотелось наклониться, поднять ее, пришибленную, прижать к груди, обласкать. А злой червяк нашептывал: «Где шлялась?» Сам-от он из-за нее пережил не мало. А людские толки-пересуды? Мало кто жену осуждал, все ругали его. Указывали пальцем, смеялись. Это над ним, Мокеем, с которым купцы первой гильдии за руку здороваются!..

Голова Мокея не худой горшок, скоро сообразил: пришла жена, увидят люди — не он, значит, плох. Теперь его черед посмеяться. Исподлобья посмотрел на жену; она стояла перед ним, понурясь; и сказал ядовито:

— А тебя кто звал? Посрамилась, пошлялась — и к мужу под крышу? Хорош стал? Хи-хи!.. Знаешь, у меня другая. Куда ее дену? На улицу не выкинешь.

Сердце Марины сильно билось; знала она, на что шла; раньше выстрадала, собирая всю силу воли.

Взглянула на серое, опухшее и постаревшее лицо мужа, услышала в голосе его довольство, холодными губами произнесла:

— Куда ее девать — твое дело. Мой дом, мои дети — мое место тут. Я не уйду.

Тяжко вздохнув, Марина решительно шагнула к прилавку и села на мешок подсолнухов.

Оранжевый отсвет холодного дня погас. Заползли грустные серые сумерки.

Вдруг у двери веселый голос:

— Мокеюшка, вот и я!

«Она!» — вздрогнула Марина и поднялась. Курочкина узнала, побледнела, выпустила из рук корзинку с луком и бумажным свертком. Мокей отворил дверь в дом и с какой-то ненужной торопливостью сразу ошарашил:

— Вот, Феня, жена пришла в свой дом. Хозяйка она, а ты уж...

Курочкина закричала:

— Мокеюшка, что это?! А как же... А куда же я?..

Лицо Мокея дергалось, глаза бегали.

— Да-а... уж теперь ты, Феня, как хочешь, а я... Что же я... Ты где-нибудь... Подумай...

Лицо Курочкиной исказилось, с плачем повалилась она на стул.

— Что же ты, Мокеюшка, со мной делаешь? Ах ты, подлец, подлец!.. На коленях ползал... А теперь... у меня дети...

И забилась в истерике.

Марина почуяла, как жестоки слова мужа. Горе чужое передалось ей. Схватила на столе чашку — и в три шага в кухне, у ведра с водой. Поддерживая голову плачущей, сама всхлипывала:

— Успокойся, Феня, выпей воды... Ну, зачем так? Голубушка, успокойся! Сама знаешь, ведь у меня тоже дети...

Не бодрая, не веселая Феня уходила, а другая, выгнанная нищенка. Мокей — следом за ней.

Вот и все исполнилось, к чему она стремилась. Правда, дети еще не знали, что мать дома. Но отчего же все холодно, пусто, уныло кругом? Скорей, скорей надо в Чижовку, к Ване!

Пришла к сыну, все рассказала. Маша вспыхнула, отвернулась. У Вани вытянулось, побелело лицо.

— Ты к нему? Зачем? Для чего ты это сделала, мать?

— Не могла, Ваня. Поймите, о детях... о вас тоска! Все приросло к сердцу. Привыкла. Привязалась к хозяину, как негодная собака: он бьет, она руки лижет. Вот. Горько, больно, нет жизни, себя не переломишь...

Заторопилась домой. Ночь охватила дом лохматыми лапами. Жадно глотала воздух... Вот оно, крылечко... Ах, Дружок!.. Собака, визгнув, кинулась ей на грудь. Калитка в сад отворена, унылые яблони в вечернем сне. Виднеется дорожка, — не по ней ли бежали дни ее жизни? Там малинник. Тут, у изгороди густой куст смородины. Сюда, к этому кусту при луне подходили жандармы... За забором, из окон фабрики поблескивают грустные, трепетные огоньки.

Утром, бодрясь, села к столу против мужа, сделала веселое лицо.

Петяйка и Клавдия, молчаливые, удивляясь и радуясь, что мать дома, совестливо поглядывали на нее,— не маленькие, понимали, на какое униженье шла мать. Еще недавно отец сидел рядом с чужой, заигрывал, а они глаза прятали. Марине хотелось весело болтать, рассказывать, — лаская детей взглядом, она робко спросила:

— Вы, Клавдия, знать, поздно вечор пришли, я и не слыхала.

А сама чувствовала, что слова ее старые, ненужные и язык сухой, деревянный.

Подавая порожнюю чашку, Мокей вприщурку поглядывал на нее и думал:

«Ни одна баба на Макаренке так не носит платок, узлом на затылок, — на, дескать, смотри, как она ходила в других местах!.. Ну, да, ладно. Стряпуха хорошая, домовитая, и все же мать детям. Эх, и поживем же теперь с Феней сызнова!..» И — веселым голосом:

— Ну-ка, мать, налей еще чашечку!.. А вы, Петька, нонче не опоздаете в училищу? Десятый час..

Петяйка молча взглянул на сестру, взял книжки и ушел. Клавдия — за ним.

Мокей расправил усы, бородку, покрякал и вышел в лавку. Марина осталась одна.

Каждый живет сам по себе. Перед каждым легла глубокая борозда. Можно ли связать жизнь воедино?.. Как марево, дрогнуло и сникло то, что казалось так легко исполнимо. Старое похоронено, а новое... При свете дня еще глубже обнажилась жуткая пустота. Нет старшего сына. Не покрикивает шустрый внучонок...

Мокей видел, как жена страдает. Но надо, чтобы люди ее видели. Вся Макаренка знала бы: дескать, явилась беглянка с повинной. И он стучал в окошечко: «Выйди, Марина!» — и сам уходил из лавки надолго.

Марина шла в лавку, бралась за старое дело, а на нее люди приходили смотреть.

— А-а, Марина Петровна, доброго здоровья!.. Ну-ка, давай свешай того-этого, да хлебца отрежь, табачку там... Да вот монпасью свешай..

Не поднимая покрасневших глаз, отпускала покупателей Марина и как будто забывалась.

Акулина у колодца, окруженная бабами, все болтала:

— Соседка-то, бабоньки, да вы знаете ай нет?.. Приехала ведь Марина.

— Ну, ты и соврешь, недорого возьмешь! У тебя все новости... Рази у Марины две головы?

Маланья вертела головой, что сорока.

— То-то, я иду даве прогоном, а от Долдонихи вышла с узлом Курочка, а мне и ни к чему про Марину... Ха-ха! Ну и дела!

— Смеху-то больно нет никакого, — заметила Алена. — Надо, милые бабы, самим на ее месте побыть да разобраться, отчего да зачем... Думашь, легко?

— Да знаю, что говорить! А все же надо поглядеть, какая она. Да, пра, надо.

И приходят, и глядят на ее грустное лицо, на затуманенные глаза, и поджимают губы, и мотают головой.

В лавку насунулись сумерки. Вошла Курочкина с модным зачесом из-под серой вязанки. Злым огоньком глаз обожгла Марину и смело подошла к Мокею.

— Пришла, Мокеичка, получить расчет. Сколько времени у тебя кухарничала! И прощай, милый друг!.. Прощай, Мокеичка!..

Мокей, улыбаясь и молодцевато сдвинув со лба картуз, задакал:

— Да, да, да, это верно. Расчет надо. Я сейчас...

Заторопился, полез в грудной карман, дал ей пачку бумажек. Оба обнялись и крепко, долго целовались.

— Прощай, Феня...

— Прощай, Мокеичка!

Феня всхлипнула. Мокей вытер мокрые глаза платочком. Марина, за прилавком, остолбенела, пальцы ее дрожали; из рук упал хлебный нож. Ей ли, изношенной родами, истрепанной жизнью, в пятьдесят годов тягаться с этой молодой! Крепись, Марина, твое дело быть около детей. Не затем ли вернулась?..

Вошли соседки. Утирая подслеповатые глаза, Тарасиха глянула Марине в лицо.

— Вот она какая... Ну, здравствуй, Марина Петровна. Как это тебя бог надоумил явиться?

— Да, да, давно бы надо, — раздаются голоса Натальи, Анфисы.

Марина оторопела. Алена размахивает руками.

— А ты и терпишь? Ведь это что же, милая! Видели все в окно, — на глазах жены целуются... Отродясь такого не было! А ты — как мертвая.

— Нож-от во, перед тобой... — Анфиса даже подпрыгнула. — Да я бы их на месте! Ох, и полоснула бы!

— Чего уж таперя! Улетели голубки, ха-ха! — злорадно хохотнула Маланья, прислоняясь к печурке. — Фатерку ей нанял за больницей, сама видела. Гнездышко там у них...

Марина бледнела и краснела.

Ей хотелось бы показать мужу, что она пришла не только кухарничать, а пришла настоящей женой и хозяйкой, чтобы не стыдились за отца дети...

Вошел Мокей, сердито взглянул на жену, опустившуюся, словно раздавленную, с глазами, полными тоски и стыда, и в сердце его шевельнулась к ней жалость.

Принес из лавки четверть красного вина, похвастался:

— Вот я как для жены, ничего не жалко... Полно, Марина, дуться! Давай на мировую выпьем. Почудили, да и будет.

Сел рядом, взял за руку. Марина тоскливо отозвалась:

— Или ты, Мокей, думаешь вином залить горе? А мне и видеть-то его противно, не то что пить. Скажи лучше, куда ты девал свою «ту»?..

Мокей и глазом не моргнул.

— Пока у тетки. Завтра уедет к отцу на родину.

Жизнь вошла в свои берега и потекла, как река, и, как река, несла все по руслу — и заботу Марины о детях, и сердечную тоску-тревогу, и желанье жить по-иному.

Приехали зять и дочь. Зять и виду не подал никакого; как раньше, покручивая усы, сказал:

— Здравствуйте, мамаша.

Мина разделась и поскрипела баретками.

— Да-да, у вас тепло... Ну, здра-авствуйте! — и, не замечая в дверях кухни мать, прошла вперед, села на диван и поджала губы.

Мокей молодецки забегал по лавке, вносит вино, посмеивается:

— Да-да, день хороший... Давно вы не были. Вот я сейчас...

Он гремел тарелками, резал в кухне закуску, обдавая Марину холодным взглядом, будто не замечая ее. Да, для них ее не было; она стала теперь так, сбоку припека. Марина это хорошо понимала, и от обиды и униженья у нее захватывало дух. Хотелось куда-нибудь уйти, спрятаться...

Мокей, как бы спохватясь, кинул на ходу:

— Ставь самовар, что ли.

Марина вздрогнула и схватилась за самовар. Руки дрожали, вода лилась через край. Взяла ящик расколоть на лучины, вышла и присела на дрова. Звякнув цепью, Дружок положил ей на колени голову и завыл... Марина наготовила растопку, стала колоть маленьким топориком угли, а сама все думала, — пойти ли ей к гостям, сесть ли за стол. И нечаянно топориком ударила по пальцу. Потекла кровь.

Прикусывая губу, подала закипевший самовар и стала у печки, накручивая на ушибленный палец край фартука. Мокей заварил чай.

— Садись. Чего уж тут...

Все смеялись, разговаривали и ее не касались ни одним словом. Марина разливала чай, краснея от стыда и униженья. Пахло апельсинами, вином. У Мины блестели глаза.

— А знаете, теперь все больше на войну посылают белье шелковое: вошь в шелку не заводится, это уже вызнали.

Мокей задергал бородку.

— Да-а, их там, говорят, на позиции немало... Да чего уж! Один тутошный фабричный прислал с письмом этих самых вшей военных с десяток напоказ, в конверте заклеены, прямо живые. Величина, ну, как бы сказать... с зерно в огурце, и с рожками. Даже глядеть страсть!.. А ты, Арсюша, что же отставил

рюмашку? Эва, заработались, небось, нашивая обмундировку.

Зять отвел осоловелые глаза от понурой тещи и, потягивая ус, одобрил:

— Верно. В нашем эконом-офицерском работа кипит, война веселит начальство. Половину Германии надеются отвоевать, вот тогда и конец войне.

Подошло то, чего ждала Марина и чего боялась. Сыну объявили: в пять дней быть готовым к походу. Дни бежали в слезах и сборах. Маша потускнела от заботы. Борик покрикивал:

— Папочка, ты на войну? И мне дай лузье!

Марина с Машей провожали Ваню до станции. Материнское сердце сжалось, словно засохло разом. Все думала об одном: вот уходит ее помощник, с малых лет труженик. Для чего он должен покидать сынишку и жену? За кого он должен страдать?

— Ваня, — спрашивала Маша, — не забыл ли ты захватить бутылку вина? Угостишь какого сопливого чина, авось лишний раз по зубам не ударит.

У вокзала толпились люди. Женщины плакали. Подошел поезд. Ваня, держа шапку в руке, обнимал жену.

— Прощайте... прощайте...

— Так-то вот, Марина Петровна. Перемен на Макаренке немало. Для утехи народу кинематограф на Поповке, живые картины там показывают. Вина белого нету, сами ханжу выделывают, — рассказывает Акулина. — Работа плохая. Не кашемир для платков работают, а марлю на войну — перевязывать раненых. В каждом доме один либо двое на войне. А ты про свово одного тужишь... Катюшу Крупу в тюрьму тогда же посадили. Семен Семеныч умер. Степку мово с Тимошкой вместе угнали. Письмо прислал с войны. Пишет, — вошь дотла съела солдатиков, всех дочиста... Авдотью-то из Чижовки помнишь? Муж у ней чахоткой умер, а сына... Да вон она сама идет.

Марина едва узнала — так постарела баба, щеки втянулись, губы синие.

— Здорово, Петровна, — поклонилась Авдотья. — Постирать белье тебе не надобно ли? На вокзал вот я ходила, чисто пожарище там. Навалено в одном помещеньи и ковры, и лампы большущие с висюльками, и бархат, и занавески шелковые, и чего только нет, — все на машине привезено, и все начальство себе увозит. В народе шепчутся: погром, вишь, какой-то был. Да и другие, кто начальству родня, таперя обснастились всем, что надо: и комоды, и зеркала. Кому, вишь, воевать, а кому карманы набивать... Батюшки, не услыхал бы кто?

Авдотья с испугом оглянулась.

— Ну вот, я оттуда да в казарму прошла, к куме Балуевой. Мужа Якова ей пригнали. Рука у Якова отстрелена по локоть, на обеих ногах пальцы отгнили; — по колено в воде стояли в окопах. Кума коровой воет, и таких я, милые, страстей наслушалась! Ка-ак, говорит Яков, ж-жвахнет бонбой, что ли, какой, так солдатов и на куски, и земля взлетает с огнем... Четыре месяца Яков провалялся в больнице, ну, стало быть, и не годен...

— А давно он дома? — с вытянутым и побелевшим лицом перебила Марина, думая о сыне.

— Недавнишка, — кивнула Авдотья, утирая слезы. — И сказывает Яков, сапогов откуда-то прислали на войну двести пар. Командующие на всю ихнюю роту выдали пять пар, а то все в карты проиграли, а солдаты так и мотаются кое в чем, разутые. Иные прямо, вишь, убегают с войны, ну, а полицейские ищут да взашей их гонят воевать. Ваську мово угнали, даже память отшибло, куда — не знаю, Акулинушка... — и Авдотья жалобно завыла. — Живой сгни-е-ет там... Дают за человека бабе царской милостью рубли, да пропади они пропадом и с ним!..

— Это с царем-то?

— Ну да! Все молчать будем...

На дворе залаял Дружок. Марина узнала: шли знакомые мужики, — фабричные старожилы. Марина услышала голос Силуана. Ткач Заботин стучал по прилавку:

— Что это за жизнь! Купцы-торгаши волю взяли, на все цену вздувают. Народу тяжко, а богатеи капиталы огребают да на войну гроши жертвуют. Это по-

чему такое? Нужна война толстосумам, — иди сам в это пекло... Верно, Чумазов?

— Да тебя-то, Кирюха, на побывку, что ль, бессрочным прислали? — гася окурок, усмехается Силуан. — На фабрике слух прошел — царь Никоша чего-то на войну тоже пожертвовал, в газете любо-дорого расписали про то.

Бородатый кочегар свирепо вытаращил глаза и глухо взвыл:

— Во-от бы его, батюшку, за эти самые денежки, да в самый жар, к пушкам!.. Правда ли, Чумазов, что генералы крепости проигрывают неприятелю?

— Ну, вы не больно шебаршите! Не у себя дома. Покурили да и марш! — сурово шуганул Мокей, почесывая бородку клинышком.

Васька Чумазов расправил усы, плюнул по привычке к порогу, забрал свои покупки и, прежде чем открыть дверь, ответил кочегару:

— Не одни крепости, брат... Генералы без бою отдают в плен тысячи солдат, а егорья себе вешают за отличие.

— Да иди уж, воин за веру и царя! — заворчал густой голос.

Выходя на улицу, Жилкин, кивая на дверь, засмеялся:

— Не мешай! Тут сидит паша турецкий, семижен.

— А чорт с ним! Не станем ходить, он и сдохнет.

Вслед за ними Мокей напялил на себя шубу, закричал:

— Марина, иди посиди! Я скоро.

В лавке тетка, желтая, костистая, сует нос в бидон с керосином и ругается, на чем свет стоит:

— Хреста на вас нет, идолы! Керосин все время был гривенник за три фунта, а ты, нако-ся, ведьма, пятиалтынный ограбастала!

Марина пыхтит:

— Тетенька, да не у нас одних. У Обглодова, вишь, еще дороже.

Вошла высокая, с измученным лицом нищенка с грязной сумкой.

— Подай, родимая, Христа ради, матушка..

Сердце Марины загорелось. Подала баранок большую связку:

— На, тетка. Робенки, может, есть?

— Есть, благодетельница... Дай тебе бог здоровья!.. Из Заковырина я. Суседи, чай, были. Муж и деверь на войне, а ребята — о-ой!..

Прибежала девчонка; пальтишко — заплатки одни, ручонки застыли, красные.

— Тетя, дай на семитку баланосек Миске, он маааленький... Тятька в солдатах, мамка — у-у... пласит...

«Эко горе какое!» — подумала Марина, вешая девочке на шею тоже связку баранок.

— Беги, милая, к мамке, да не упади... На, возьми конфетку.

Вспомнила о Клавдии. Горевала она: к экзамену надо подготовиться, пятнадцать рублей в месяц заплатить, отец на нее зыкнул:

— Нет денег!

— Не плачь, — утешала ее тогда Марина и каждый день стала брать из ящика по полтиннику, а сейчас взяла трешницу, в сердцах подумала: «Для Феньки деньги находятся, а для своих нет?.. Так вот же тебе — все пятнадцать соберу!..»

Срывая зло, захлопнула с шумом лавку, села у окна и задумалась.

Петяйка учит уроки. Много ему надо знать. Училище новое, реальное. Убрал книжки, поужинали вдвоем с Клавдией. Жалея мать, Клавдия говорит тихо:

— Плачет она, Петяй, видишь... У меня за нее сердце болит.

— А у меня, думаешь, нет? — буркнул Петяйка, укладываясь спать.

Марина у окна, не спится ей, ждет мужа; чудится — вот-вот сейчас придет... А разве он ей нужен? Нет и нет. Хоть бы он там голову сломал, ей и не жалко...

В праздник вечером дочь и сын ушли в кинематограф. В доме тихо. Тоскливо. Горит висячая лампа. Мокей сидит у стола, спиной к двери. Марина, на маленькой скамеечке, жмется к изразцам печки.

— Пойдем куда-нибудь, Мокей Якимыч, а?

В тишине — резко и сухо:

— Сказал — не пойду, и убирайся к чорту!

Ненависть к мужу обволакивает душу паутиной. Марина громко рыдает, во весь голос.

Мокей молчком смотрит в газету.

В доме давно небывалый смех, возня.

— Попался, пузырь Боренька. Вот я тебя!..

Петяйка отнял у трехлетнего мальчика книжку, катает его на половике, тормошит.

— «Далам», дядя Петя... Ха-ха!.. Я больси абуду, абуду!.. Ха-ха!..

Клавдия дочитала Марине письмо от Вани: сидит он в окопах, просит прислать посылку.

На щеках Марины тревожный румянец. Думать о письме некогда. В лавке брань.

— Шкуру вы с рабочего дерете, вот что! — кричит чахлый фабричный, забирая с прилавка хлеб. — Полторы копейки на фунтик накинули, видана ли такая цена? Не книжка заборная, а петля на шею!

Мокей, сдвинув шапку со лба, насмешливо двигает бровями.

— Хи-хи... Вам дорого, а нам не дорого?.. Куда хошь поди, цена везде одинакова, — по таксе продаем. В городской думе так торговцы постановили: две недели чтобы всем одну цену держать. А там, по делам глядя, на две недели еще повысить придется... С носу по грошу, как говорится.

— А вы и пользуетесь тем, что время военное, выжимаете из народа масло, ненасытные!.. Анна, пойдем!

Косорукая курносая баба, нюхнув селедку, швырнула ее опять в кадушку.

— Тухлая, а продаете! Не подавились, живодеры!.. Не бери, девка.

— Это от тебя несет, хи-хи... Сахар вот возьми, забыла... Постой-ка, красавица, тебе чего?

Марина кусала палец, в голове путались думы: «Посылку надо. Ну, чего же ему послать?.. Да, вот эта «такса»... Неделю торгуют так, а на другой неделе по-новому. В лавке есть масло, Мокей говорит — нет. Есть сахар, он говорит — нет. А там сходит в думу и тот же товар продает дороже. Почему такое?»

Не умеет Марина разобраться, так же вот и Маша. Получила от Вани письмо, пишет, — стоит ихняя рота в окопах, бои идут. Погоревала она.

Вышла на двор. Тихо, светло, и месяц лукаво смеется. Бредет Марина к забору, и мысли у ней грустные... Попалась она, надысь, в беду. Пришла Авдотья белье постирать, да и наговорила Марине, что можно Мокею характер переменить, ласковый до детей станет. А она и поверила. Не колдовство ведь это, и всего денег-то полтинник: купить три просвирки... Ну, принесла Авдотья и ушла, и покрошила Марина немножечко просвирки во щи. А дело-то как обернулось, — Мокей есть не ел, а заметил и зыкнул:

— Это что тут такое? Опять чорт знает что!

Испугалась она, схватила тарелку и выплеснула в таз. Даже самой чудно, как это вышло.

Эх, тишина-то, батюшки!..

Ходит Марина от калитки к забору, смотрит на звезды. Боль в сердце понемногу унимается.

Базарный день «на вешнего Фому» выдался угрюмый. На Поповку люди идут и едут озабоченные, хмурые.

По Купеческой улице длинной вереницей бредут понуро пленные в коротких куртках; впереди и сзади солдаты с ружьями.

На площади по лавкам бродят деревенские и фабричные. У всех одна забота: хлеб дорожает, мучкой бы запастись. Шумят, ругаются. Высоченный мужик сердито трясет шапкой.

— Это почему такое масла постного нет и муки белой?

— Да в каку лавку ни приди, все нет и нет ничего! Нарочно, что ль, удумали? — выкрикивает баба, размахивая руками.

Главная торговля мукой у Обглоды, в лавке на три раствора.

В этот день Обглодов задумал муку придержать, приказчики его с утра отказывают — муки нет. Мелких торговцев раз, два и обчелся. Что было муки — распродали. Там и тут по базару пошел слух: «Врут при-

казчики, у Обглодова мука есть. На-днях возили со станции и с мельницы».

— А по какому это такому случаю не продает? Надо дознаться!

— Эй, мужики, узнаем, давай! Как же это так? — подговаривали фабричные.

Мужиков нашло полна лавка.

— Сделай милость, за мучицей мы, продай, благодетель!

Обглодов, здоровенный, рыжий, что столб за прилавком, твердит все свое:

— Сказано еще с утра — нету и нету. Вишь, вас наперло сколько!

На улице у лавки толпа глухо гудит:

— А где причина? Война — она, брат, кто в силе, всех гонит. А калека — обратно семье на шею. Мочь, невмочь, — корми!

— Ну да, прокормишь! Тут эвона дела-то доходят: воюют третий год, до смерти калечат, а пузаны у хлеба. Хотят — дадут, хотят — нет.

— По-ождем! Что-то там кричат в лавке-те...

— Ну-ну, Вавилыч, не отговаривайся! — настойчиво галдели возле прилавка.

— Знаем, есть мучица. Аржаненькой бы... А то поглядим, коли, сами!

Вавилыч, багровый, теребя бороду, разразился гремучим хохотом:

— Так вот и вышло поглядеть вам! А по каким таким законам распоряжаться чужим добром, черти лапотные?

— Честью просим. За деньги... Ты сам чорт сивый, пузатый, забрал силищу! Эва, три лобана у тебя, — всех откупил от войны, а народ оголодать хочешь?..

— Тише, ребята! — махнула картузом чумазая рука Заботина. — Все на примете, кто за деньги отсиживает войну дома... Вот ежели муки нету, так и знать будем, а поглядеть надо.

Хозяин выпучил глаза: что-то они?

Мужики двинулись через лавку на двор — и к сараю. Заботин первый двери распахнул, а в сарае полно мешков муки ржаной. Пошел и к другому сараю, — глядь, тоже полно пудовичков муки белой.

— Ух-х, он, живоглот, пузо его лопни!..— злобно гаркнули мужики.

И пошла работа...

С улицы, будто кто всех позвал, хлынули за мукой толпой, про полицию никто и не подумал. А полицейские — некоторые испугались, — уж больно необычное вышло дело, — а другие, ради праздничка, с утра были пьяны.

Выходя из трактира Дранкина, Мокей никак не мог понять, что случилось: вся земля на площади стала вдруг белая, будто снег выпал. А со двора Обглодова народ тащит мешки: кто на телегу наваливает, а кто волоком — и во двор к себе. Другие озлобленно тут же ковыряют мешок ножом и вытрясают муку прямо наземь. Мокей понял — загулял народ. Сначала испугался за свою лавочку, но сразу же успокоился: далеко она, да и в стороне. Махнув рукой, повернул к Фене.

Завечерело. По Макаренке огни. В доме — никого. Борик уснул. Марине жутко одной. Накинула на плечи платок, присела у куста в палисаднике. На фабрике выбивали часы, где-то уныло тянули песню.

Хлопали калитки, тут и там галдели:

— Ничего! Ловко разделали! Другие будут знать закон мужичий...

На прогулке разговор:

— Два пудовика бог-от дал.

— А у нас булок с пуд принесли, да колбасы бознать сколько!

У палисадника трое, идут в Чижовку. Слышны голоса:

— Не знаю, как это я успел навязать еще узел конфет...

— А мне подошло — ящик лапши деланной, да видишь, несу банку варенья фунтов двадцать...

С дороги кто-то кричит:

— Всю лавку у чорта Обглоды разгромили! Вот добренько-то!.. В каждую избу что-нибудь да досталось. Ха-ха!..

— Главное, мучицей разжились. Завтра пирогов напекем. А то из-за аспидов хоть умри-и!..— радостно верезжали бабы.

Марина думала:

«Ненавидят люди торговцев, как самых последних... и я тоже такая последняя». Тихонько, бессмысленно засмеялась. «Так их! Так всех обглодов! И нас, и Мокея...» Но вспомнила о детях — опустила голову.

Утром, только что встали фабричные на работу, по Макаренке пошла кутерьма: из дому в дом зашныряли полицейские. Отбирали все то, что было унесено из лавки Обглодова. Записывали и заставляли нести обратно. И шли хмурые, озлобленные люди и несли, несли. Фабричные гневно кивали:

— Подавятся, подавятся!.. Авось, придет время.

Мокей, стоя у своей лавки, хихикал:

— Ага, несете! Видно, чужое добро не впрок.

Бабы шипели:

— Радуешься чужой беде, паша турецкий! Авось сам подохнешь!

Марине хотелось заплакать от стыда. Когда пришел обедать, она враждебно прищурила глаза и спросила: почему это так худо называют его люди? Что за такой он паша турецкий? Али он молоденький, что ли?

Мокей вскинул голову — и не узнал жену. Смотрела она ему прямо в глаза, а сама что мел бледная.

Пригрозил:

— Замолчи! Ишь, разоралась!.. Вот ахну чем попало...

Угроза напомнила Марине прежние побои. Примолкла. Хватит с нее. И то от старых побоев по голове — память отшибает. Редкую ночь спит без мокрого полотенца на лбу.

В доме тихо. Борик спит. Клавдии и Петяйки нет. На улице светло. Луна висит над рекой. Мокей, в белом фартуке, похаживает у палисадника. Марина сидит на крыльце против колодца, покачиваясь, отгоняет назойливые мухи-мысли и считает глазами тарахтящие по дороге рогожные кибитки с торфом. Проводила последнюю. В тишине — торопливые, частые шаги. Из-за угла Нефедовой избы мелькнула белая вязанка: «она» к нему... Екнуло сердце, Марина, тяжело дыша, поднялась и, прикусив дрожащую губу,

заторопилась мимо окон. В душе металось: «Поймаю — изобью!..»

Из лавки лился яркий свет на дорогу. На лавочке — двое: обнялись, целуются.

Марина не взвидела света, проглотила горькую, полынную слюну, закричала:

— А-а, срамница подлая! К старику бегаешь, бессовестная? Детей ведь охапка! Я вот тебе плесну сейчас в харю, выжгу твои бельма!..

Курочка бегом пустилась по дорожке. Раскипаясь ненавистью и злобой, Марина повернулась к постылому мужу.

— Старый ты чорт! Бессовестный!.. Люди каждый вечер в окна смотрят, смеются... Да как тебе не стыдно детей, проклятый?!

Ухмыляясь, Мокей прислонился к двери лавки, помахивал фартуком и зудел:

— А ты поори, пострамись, люди бы знали.. Али завидно?.. А-а, завидно! Вот возьми! возьми! возьми, погляди, догонь!

Марина словно в ледяную воду окунулась, охнула, спотыкаясь поплелась в кухню.

С порога Мокей вскинул острый, холодный взгляд на жену. Она рыдала и хохотала в истерике.

Марина похудела, тоска угнездилась крепко в ее сердце. Привязалась бессонница. По утрам Марина уходила в сад. Не замечая Мокея, с лопатой обхаживала гряды и кусты. Пройдет вечер — в голове ее становилось неладно, тянуло опять в сад, в тишину. Небо синее, звезды яркие. Марина шагала по дорожке и считала — пять шагов... десять... двадцать шагов...

В дырке забора торчит нос Акулины...

Потом у колодца Акулина рассказывала бабам:

— По-моему, бабоньки, Марина вот этим местом «тронулась», — и ткнула в свой лоб ладонью. — Ходит в огороде, как потерянная, ноне пошла было к ней, а она по сеням — туды-сюды... Глаза страашные и, не знамо чего, бормочет, что дурочка. А тут, милые, зашла я, — там у них чулашек темный, — и вот она там плачет, вот плачет... я индо испугалась... хоть убей, правда.

— И дива нет никакого... тьфу... — плюнула Анфиса, — добра много, да сердцу не переносно... Ну и дошла до точки, стало быть...

За окнами весна красной девкой развесила на деревьях зеленые ленты. Солнце горячо целовало пахучие цветы и в окна заглядывало, заботливо шаря лучами по углам, нет ли кого дома... Нет никого. Клавдия и Петяйка убежали.

Марина вышла в сад.

Где-то заплакал Борик, и тут же Марина вспомнила: давно не меняла Мокею носовой платочек, озлится он... Поспешила домой.

На крыльце стояла молоденькая девка, круглолицая, на носу желтенькие веснушки. Стыдливо прикрываясь клетчатой шалью, девка испуганно-сердито сказала:

— Тетенька, мне бы хозяина твого надо...

Что-то кольнуло сердце Марины. Сморщив лоб, холодно спросила:

— Это на что же он тебе понадобился?.. Придет в лавку и увидишь.

Покраснев, девка тяжело вздохнула, на глазах ее выступили слезы и, как бы боясь, что не хватит у нее духу высказать все, наклонила голову и торопливо забормотала:

— Мне уже все равно, альбо руки на себя наложить, альбо тебе сказать... Вот видишь, забрюхатела я, прельстил он, твой-то... Ты уж, тетенька, прости меня Христа ради! Глупа я, ни матери ни родни нет, харчи плохие... Куда теперь деваться, а?..

У Марины задрожали руки. «Что это, батюшки родимые! Что же делать?.. Позвать Мокея, плюнуть ему в бельма?.. Нет, нет, ни за что! Только мне же издевка...»

Злоба на мужа смешалась с горькой жалостью к девке.

— Ты... ты, девчонка, дура! Бить тебя некому, бесстыдница!.. Приди уж опосля...

И, как очумелая, Марина кинулась в кухню и, схватившись за голову, бегала по дому. «Что же это, а? Ведь своя девка есть... и парень. Ой, дети, дети! ..»

Где-то загремел Мокей. Не видеть бы его, убежать, скрыться!

Торопливо вышла во двор и опять — в сад.

Работая лопатой и перекидывая землю, собирает в уме — письмо сыну на войну. «Дорогой наш воитель Ваня, живем мы, слава богу, хорошо... Шлю тебе здоровья с поклоном и посылку... между прочим, пышек сдобных. Но ты неравно ешь, Ваня, осторожней, — в одной пышке запечен золотой, пять рублей. Тебе сгодится. А посылку...»

В груди Марины горячая ненависть к мужу. «Гадина, развратник! Всем, всем жизнь изгадил! Ох, изничтожить бы такую гадину, отплатить за детей и за все, за все!..» Поднялась, хлебнула брому прямо из горлышка и, шатаясь, подошла к кровати, повалилась.

В голове стучало: «Отплатить! отплатить надо!..»

Отгоняя эту мысль, взялась за работу: вычистила таз из-под рукомойника, наколола целый ящик углей для самовара, но, что бы ни делала, слово «разврат» не отставало и сверлило мозг.

Мокей хлопнул дверью. Вздрогнув, Марина очнулась. Пошла, собрала ужин.

Мокей хлебал щи и, словно кот, слизнувший пенку, самодовольно ухмылялся. У Марины задрожало все внутри, по лицу пошли красные пятна. С языка рвались бранливые слова: «Идол ты мой, богоданный муженек, мучитель ты мой! Истерзал всю жизнь! Нет больше в груди моей сердца... Осталась одна болячка, из нее кровь сочится...»

Удерживая рыданья, Марина вышла в кухню, взглянула на икону. С языка слетело зло и надсадно:

— Ты-то что, мать богова, чего смотришь? Иль не видишь, как я страдаю? Иль мало тебе молилась? И ты, богова мать, хоть раз дала ли каплю спокою душе?.. Невмочь мне больше терпеть! А ты благословляешь. И хорошее, и дурное, поганое — все благословляешь...

Губы Марины тряслись. В голове горячие круги тьмою заволокли разум. Взгляд упал к печке, на ящик с углями. Сверху лежал топорик. Взяла и пошла.

Голова Мокея склонилась над газетой. Перед Мариной ненавистный, стриженный «под польку» затылок. Она ударила и лишилась сознания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГОЛГОФА

Прозрачной синей дымкой спускались сумерки. Далекой свечой в небе загорелась первая звездочка. Тепло и безветрено. На траву пала роса.

Марина пришла в сознание на лавочке под окном Нефедовой избы. Открыла глаза. Голова горела. В груди пусто.

Около нее шумела толпа, люди сбежались со всего конца Макаренки. Кто-то мочил ей голову. Кто-то держал у губ кружку воды.

— Мы, милые, только поужинали, слышим — крик, вроде кто плачет: «Батюшки, убивают, убивают!»

— А мы еще чаевничали, и слышим бабий голос...

Испуг ударяет Марине в сердце. Мокей из-за чужих плеч кажет топорик, от раздражения и гнева заикается:

— Вот эт... этим она меня...

На дороге загремел тарантас, и кто-то закричал:

— В больницу его! Да, да, в больницу повезли...

Откуда-то шла дочь Клавдия, увидела мать, подошла и строго спросила:

— Зачем ты, мама, сюда вышла? Пойдем домой.

Держась за край лавочки, Марина поднялась, и повели ее под руки дочь и соседка.

— Что это ты, мать, наделала? Придет полиция, и что-то теперь будет!.. Вы с отцом нам не даете жить!

Пришел Петяйка с лекарством. Клавдия стала рассказывать, что без него случилось. Услыхав ее голос, Марина вдруг вскочила и повалилась им в ноги.

— Простите, милые, голубчики мои, Христа ради!.. Сгубила я вас, и сама пропащая!..

Ей дали брому и снова уложили. В окно легонько постучала Акулина:

— Слышите, ребята, вы мать караульте, она ночью чего бы не наделала. Вишь, не в своем уме...

За окном шорох и шопот любопытных соседок. И плыла теплая звездная ночь...

Утром пришла полиция. Кривоногий поседевший урядник повел носом, узнал Ванюшкину комнату.

— Ага-а, знакомое место!.. Да-а, семейка! Нелегальщина!

На скрипучий чужой голос Марина открыла глаза. Оглядывая место происшествия, курносый полицейский процедил сквозь зубы:

— А все же какой негодяй Мокеев! До чего довел жену! Он нам два раза по тридцать рублей вносил за любовницу, дело за ней было.

— Да-а... видно, у жены чаша терпенья переполнилась, — ответил басом другой и подмигнул: здесь, мол, угощались винишком.

Гремя саблей, урядник подошел к Марине. На все вопросы она мотала головой: «Не знаю...»

— Ну, все же, из-за чего у вас вышло?

Стараясь вспомнить, Марина провела рукой по лбу, ответила безнадежно:

— Не знаю. И как ударила мужа, не помню... — и глаза ее закрывались.

«В самый бы раз пришить ей старое дело», — подумал урядник и сказал вслух:

— От нее не добьешься толку. Другие скажут.

Перед вечером пришла Акулина с новостями.

— Полеживаешь, соседушка?.. А-а, дело-то какое! Ну, как ты хоть про себя думаешь-то? У следователя я была, и Нефед тоже. Твой-то шибко заболел. Следователь у него в больнице был. Духовную, вишь, завещанью Мокей написал... А ты, знать, и бога забыла?

Стараясь вникнуть в слова, Марина морщила лоб. Сознавалась: на бога она роптала, попов не любит...

Все вспоминали прошлое Мокеевых, угадывали, что из-за чего произошло. Недовольные Мокеем злорадствовали. Иные ругали Марину. Иные жалели ее. «Такая складная баба — и на-ко вот...»

Петяйка ходил в больницу, потом рассказывал сестре:

— Отец лежит, голова обвязана, лицо опухло... Мне тоже к следователю придется итти, отец записал свидетелем.

Мокей сообразил: когда-то жена, больная, избитая им, ходила к доктору, — кто его знает, как дело обернется? В сыне он надеялся найти союзника.

От следователя Петяйка пришел бледный, подавленный, о своем показании не рассказал даже сестре. Совестливо пряча глаза, напомнил матери:

— Не забудь, мама, тебя тоже позовет следователь...

Провалявшись несколько дней, Марина стала вставать к печке, по привычке стряпала, но дело из рук валилось, глаза ни на что бы не глядели. Приходила ночь, и в который раз видела: молоденькую беззащитную, беременную девушку и затылок мужа в крови...

Марину томило ожиданье, — когда же позовет следователь. Придумывала, — ей надо куда-то сходить. Молча рядилась в праздничное платье, говорила:

— Пойду к кому-нибудь, посоветуюсь, как же мне быть-то...

— Ты смотри, мать, не вздумай пойти к отцу прощенья просить, — строго наказывал Петяйка. Он знал: к отцу ходит Курочкина.

В черной шали на плечах, не поднимая головы, Марина переходила улицы и шла на задворки, к речке. В болотинах квакали лягушки. В лугах косили траву. С косами, с граблями попадались знакомые, приветливо говорили:

— Не бойся, Петровна, ничего тебе не будет. Только на допросе надо умеючи сказать.

Приехал сын. Его уж не назовешь «Володька». Высокий, важный, в синих брюках, в новом синем картузе с зеленым околышем. Как только вошел в дом, на лице его отразилась скука.

— Здравствуй, мать! Ну, у вас тут что-то неладно, братишка писал...

Говорил один-на-один с Петяйкой. Он знал все законы и знал, что мать ждет. Сходил к отцу, узнал от него подробности покушения. И этот гость-сын был на стороне отца. Присаживаясь к матери в саду, нагнув голову набок, лениво смотрел, так ли она пришивает к его пальто блестящую пуговицу, и говорил ей:

— Отец поправляется. Следователь допросил всех, кого надо, и тебе, мать, надо приготовиться. Может, будут свидетели.

Сухой голос сына не радовал и слова падали кусочками льда. Глаза Марины остановились на довольном лице с темными холеными усиками, подумала: «Вылитый отец». Стала ворочать пальто, нет ли где дырки зашить: из бокового кармана выкатился на траву стеклянный пузырек величиною с детский мизинчик, с чем-то белым. Марина подняла и, подавая сыну, спросила:

— Что это такое?

И ей показалось — сын только этого и ждал. Дергая пробочку и прищуривая глаза, сказал просто:

— Яд такой особенный. Если проглотить один кристаллик, через несколько минут смерть тихая, без боли...

Марина подумала — сын ученый. Другая бы мать гордилась таким сыном, а ей было тоскливо и больно. Печально, не зная к чему, сказала:

— После допроса следователя уйду странствовать, куда глаза глядят...

Лучи солнца упали ей на лицо. Зажмурив глаза, улыбнулась больной улыбкой и вздрогнула от страшных, холодных слов сына:

— Ты, мать, жди для себя самое худшее...

И этими словами положил ей камень на сердце.

Уже поздно вечером сын позвал ее гулять в луга, к реке. Она ободрилась, шаль на плечи, пошли.

Старались итти рядом. Под ногами хрустела щетина недавно скошенной травы. В пахучих густых сумерках раскинулся простор лугов. Великаны-облака немой стражей сторожили золотой горох, посеянный в темносинем небе. Река дремала, вздрагивая мелкой рябью, отражая горевший костер на другом берегу. Тишину ночи пугало далекое дружное кваканье лягушек, ближе оно казалось какой-то особенной музыкой и вызывало чувство покоя и чего-то яркого, как в молодости. И не думалось Марине о том «худшем».

— Ах, ты, господи, как хорошо в лугах ночью! — вздыхая, сказала она вслух и забыла спросить у сына, что оно, это «худшее», значит, да и он не предостерег ее.

Уехал, оставив ее в недоумении — зачем приезжал? Поглядывая в окно, она упрямо мотала головой. «Одна

в беде — одна и в ответе буду. Пусть будет, как будет, лишь бы детям жилось смелее, да мужьям другим не было б повадно издеваться над женами...»

Неожиданно приехала дочь Мина.

— У вас тут что случилось? Как же отец? — жалость к нему вылилась в голосе. — Ах, какой ужас! Как же это вышло?..

Поникнув головой на ладонь, с мокрым платком на лбу, Марина сидела возле стола у холодного самовара и, не поднимая головы, глупо ответила:

— Вышло — корове надели дышло, вот и случилось...

Мина утерла платочком нос, поморгала и вышла на крыльцо. Подошла Акулина и долго рассказывала, как жилось ее матери и что отец вечерами бегает из больницы к своей Курочке.

Мина пришла к матери мягкая, ласковая. Жалея ее, сказала уверенно:

— Схожу к отцу, попрошу у него совета, как тебе, мать, поступить, чтобы все обошлось без суда. Для меня он это сделает непременно.

И ушла в больницу.

Проходившие мимо дома Мокеевых глядели в открытые окна, надеясь увидеть внутри что-то особенное. Марина побрела в сад. Дружок тихо скулил у ворот и не рявкнул на возвратившуюся Мину.

— С хорошими вестями.

Она села рядом с матерью; успокаивая, сообщила:

— Отец уже здоров. Скоро будет дома. Обещал сделать все, чтобы облегчить обвинение...

От голоса шла теплота, они тихо беседовали, и обе, мать и дочь, плакали.

Расставаясь, Мина просила:

— Что бы с тобой, мать, ни было, давай о себе вести.

Петяйка стоял в калитке. Проводив глазами уходившую сестру, подошел к матери, дал ей небольшую бумажку с черными словами: «покушение на убийство». Он жалел мать и не мог ей вслух сказать таких страшных слов.

— Это тебе, мать, повестка. Завтра в двенадцать часов к следователю.

Марина облегченно вздохнула:

— Наконец-то хоть какая развязка!

Засуетилась с делами. Собрала с гряды полную корзину огурцов, посолила, убрала в погреб.

Прибирая в доме все в порядок, Марина не слыхала, как к лавке подъехали. Вошел извозчик и сказал Клавдии:

— Вот привез подушку и одеяло Мокея Якимыча, а сам он в трактире чай пьет. Придет после...

Мокей в трактире приятеля Дранкина распивает чай. Обглодов, красный, здоровый, как бык, насмешливо гудит:

— Ну-ка, покажь, где тебя жена целовнула... Хо-хо! Ловко, брат! Это за что же? Чего не поделили?.. А рубец-то здоровый!

Мокей изношенный, но еще складный. Серая бородка только что подровнена. Морщины вкривь и вкось украшают его шею. Поглядывая на сухожилого приятеля Дранкина, гремевшего чашкой, самохвально врет:

— Одно дело заело, вот и подвело к тому. Сговорились жена с сыном, ну, она и объяснила: отрешился бы я от делов и от дома для сына. А я не хотел, уговаривал: на что, да зачем? Измучился с бабой бестолковой — и вот три недельки провалялся... — И, чтобы не стыдно было, спрятал под ресницы мигучие глаза.

— Это надо обдумать... Вот они, жены! А кабы насмерть? — и, ударив Мокея по коленке, Дранкин засмеялся. — Ну, поздравляю с окончательным разводом! и зови кразу на свадьбу с черноглазкой той. А как... Жену-то арестуют, али простишь?

Мокей скривил губы.

— Нет уж, пускай солдаты с войны идут назад пятками, а я погожу. — И, подумав о свадьбе, ухмыльнулся. — Наше от нас не уйдет. Жену не скоро выпустят... Однако и к дому пора.

— Седина в бороду, а чорт в ребро! — расхохотался ему вслед Обглодов.

У крыльца дома следователя стоит бородатый полицейский, при сабле. Марины это не касается. Она

только подумала: «Такого когда-то мальчишки дразнили «дядя Потатуй».

Как только она вошла в голое дощатое помещение, кривоногий урядник выбросил длинную цепкую руку:

— Вот она самая, господин следователь. Нелегальная. У нас записи имеются. Основательно, женщина вредная... И — честь имею...

Марину кинуло в жар, ей показалось — он провалился под пол. Сердце тревожно билось. «Неужели все помнят о прокламациях?..» Хотелось поскорей отделаться. Подошла к следователю, сидевшему за столом, пересохшими вдруг губами твердо сказала:

— Я пришла. Вот бумажка.

Шевеля пальцами длинные концы галстука на белой крахмальной манишке, следователь, наблюдая вприщурку растерянное лицо Марины, спросил совсем неожиданно:

— Вы привлекаетесь за покушение на убийство мужа, — знаете?

Марина вздрогнула. В голове плеснулась несуразная мысль: «Как же так? Он дома, небось, и ничего ему не сделалось... Зачем же меня...»

— Ну-с, что вы скажете на показание вашего мужа? — И, полистав на столе бумагу, прочитал со слов Мокея, что произошло в этот вечер. — Признаете, было это?

Уставив непонимающие глаза на его тонкий палец с золотым кольцом, Марина провела рукой по лбу и, прямо взглянув в его глаза, мотнула головой.

— Не знаю, зачем бежала на улицу и кричала, об этом впервые слышу, а ударила мужа — помню, и испугалась...

Следователь начал что-то писать и быстро повернул голову от бумаги, впился глазами в ее лицо, сухо спросил:

— А что заставило вас это сделать? Топорик-то взяли для чего?

В этот момент солнце спрятало свой луч, игравший в одинокое большое окно, и фонарный столб с улицы кинул свою серую тень. Марина под тяжелым, колючим взглядом следователя никак не могла

остановить мысли на том, «что ее заставило». Да и на что ему это знать? Вишь, какой ловкач нашелся! Так она ему и скажет. «За обиду, мол, еще за девку и за детей». И, шумно вздохнув, печально и несвязно ответила:

— Зачем и когда взяла топорик — не помню, и что меня заставило — не знаю. Да и мало ли что было... А больше всего болела голова.

Шевеля карандашом бородку, следователь строго задал вопрос:

— А голова отчего болела? Давно это?

Марина устало провела глазами по потолку и, переступая с ноги на ногу, покосилась на его острый нос, подумала:

«Сорока, как есть...» — и сказала нехотя:

— Голова давно болит. Оцеп колодца раз брякнулся на макушку, без памяти была. Да вот еще сковорода чугунная большая свалилась с полки и чуть мне темя не прошибла...

— Послушайте, так сколько же вам лет? — уже мягче перебил следователь. — Да вы сядьте, — догадался он указать на стул, и вопросы его жестко задвигались голыми камнями, кучились и складывались в жизнь, обрастая, как мхом, редкой радостью, нуждой, достатком, горем, слезами от самого рождения: какой отец, мать, наследственность, что она любит, когда вышла замуж, сколько было детей?..

Чуть покачиваясь на стуле, Марина с трудом собирала мысли в порядок.

— Сперва жили бедно, господин следователь, и плохо с мужем, год от году все хуже... Мужа уважала, но он путался с другими, а мне навязывал любовников и бил меня...

«Да, от побоев у меня были синяки на лице. Поленом была пробита голова, и вот я, знать, изгадилась: часто забываю, что делаю...»

И все, что говорила Марина, было ей в оправданье.

Поглядывая исподлобья, следователь слушал и, потирая руки, допытывался:

— Ну-с, а какие у вас доказательства, голубушка? Свидетели есть?

У двери тихие шаги. Марина поняла — пришел Петяйка. Не замечая, что шаль спустилась с ее плеч, раздумчиво ответила:

— Нет. Какие же свидетели! Кто знает нашу жизнь — должны мужу по лавке, либо еще чем одолжаются... Хворала я бессонницей, ходила к докторам, пила лекарство... Пожалуй, Авдотья из Чижовки к нам ходит, — может, она что скажет...

Рассказывая о своей хвори, Марина не знала, не чуяла, как она падает в яму все глубже и глубже. Дрожащими пальцами перебирая сборы платья, добралась до кармана и, ущупав что-то, вспомнила: это те письма любовные мужу и бумажка доктора. Вот они — свидетели. Подала бумаги следователю. Он даже привстал, это то, чего ему и надо. Забрал бумажки и, читая вслух, барабанил пальцами по столу. Затем бережно уложил в книгу, осведомился:

— Кажется, от мужа уходила? Сколько времени жили врозь?

В голове Марины стучало, наливаясь свинцом, в ушах шумело.

— Да, не жила я с мужем. Потом помирились, но муж меня обманул, живет с любовницей... И все дети...

И вдруг смолкла.

Перо следователя проворно подбирало слова на бумагу, он исписал уже целых два листа. Разогнул спину, попросил ее расписаться. Думая, что все этим и кончилось, Марина бодро взяла перо и со всем стараньем криво и косо написала «Торговка Марина». Подумала, — что-то не так, зачеркнула; вздохнув, еще кривее наставила: «Марина Мокеева жена», и, тараща глаза, приглядываясь — так ли, ткнула перо в чернильницу.

Морщась на ее пачканье, следователь спокойно сказал:

— Теперь я вас арестую.

От неожиданности Марина качнулась и, испуганно помутневшими глазами взглянув на него, пролепетала:

— Разве я так уж виновата... так... ну, велика... Ну, хошь на поруки бы, что ли, как...

Следователь резонно объяснил:

— По статье такой-то ни под надзор полиции, ни на поруки и ни под залог больного человека отпустить нельзя. До суда вы должны находиться под стражей, и к тому же за вами имеется старое дело.

Закрыв лицо концом шали, Марина горько-горько заплакала, как человек, давно замученный горем.

Подошел Петяйка и, с саблей наголо, бородатый «дядя Потатуй», и пошли до Поповки: с одного бока преступницы вооруженный страж, с другого — самый младший из детей ее.

Дежурная стража — два полицейских — приняла арестантку, и дверь за ней захлопнулась. Может, на долгие годы?

За тяжелой серой дверью камеры громыхнули шаги — и тихо, пусто. В камере — никого. Стоял скверный, одуряющий запах. Марина села на длинные, от стены до стены, нары. Тяжело дыша, обвела глазами грязные, давно беленые стены, в плевках, в темных клоповьих пятнах, подняла голову к потолку, — небольшое окно загорожено железным козырьком, вверху виден клочок мутного неба. Сцепив зубы, долго сидела неподвижно. В голове зашумело, заходили пестрые круги, к горлу подкатился горький ком.

В камеру незаметно, неслышно вползает серой кошкой вечерняя тьма. Сквозь больной, чуткий сон Марина почувствовала что-то острое, горячее. Под потолком, не виданное ею, светлым глазом загорелось электричество. Из памяти вылетело все, что было до этого глаза: где она, что с нею. Загремел замок, и дежурный, стараясь не греметь сапогами, боком внес большую вонючую «парашку», лахань, и подал ей узелок от сына. Утром дежурный, жалея ее, одинокую, сам вынес лохань и, прицепив саблю, повел Марину в больницу. Доктор с русой бородкой, тот самый, что лечил Мокея, особо внимательно выслушал и дал лекарство. На выданные четырнадцать копеек кормовых денег Марине принесли хлеба. Отломила кусочек, — хлеб сырой и горький.

После полудня — Марина обрадовалась — в камеру впустили женщину лет сорока, в коротком плисовом

пальто и с узлом. Крепкая, свежая, она смело, как бы по привычке, подошла к нарам, положила узел, сняла пальто. Утерла румяные губы и, оглянув стены веселыми серыми глазами, заговорила сама с собой:

— Фу-у, вот так дух! Ну и каземат — дворец! Шагов семь — и лоб в стену... И тоже «волчок».

Нахмурясь на усталое до желтизны лицо Марины, спросила:

— Ты, тетка, знать, давно тут сидишь?

— Только вчера, — тихо ответила Марина.

— Ишь ты, подишь ты, дело-то... А меня зовут Графеной. Да я скоро уйду. Чего мне тут делать?.. Чайку бы попить, что ль, кишки погреть. Али чайника-самоварника нет?

И вдруг, смолкнув, задумалась, вздрагивая русыми бровями.

Перед вечером стражник увел ее и с узлом, но вскоре привел огорченную и без узла.

Марине казалось — эту бабу ни за что крепко обидели. Грустно спросила:

— Куда же ты, Графена, ходила и зачем пришла опять?

— Ах, не бай лучше, тетка! Ехала я к сестре, в узлу башмаки для нее везла, купила поношенные. Слезла с поезда, и взяли меня, вот и водили на допрос: башмаки, вишь, краденые. Теперь придется сидеть недели две, а то и месяц, пока разберутся... Да тебя как зовут?

Постилая пальто для спанья, Графена заметила узелок, что принес Петяйка, и бутылочку с лекарством, и удивилась.

— Да ты, знать, тетка Марина, хворая. Давай-ко выпей, полечись хоть из горлышка. И «парашку» надо принесть... Эй, служивый, рястанки тебя зовут!.. — застучала в дверь кулаком. — И кипятку неси! Тут у нас колбасы кусок и чай-сахар милости вашей... и баранки тоже...

Двое суток Марина не ела — не хотелось, а тут потянуло на еду. Эта Графена как-то сразу показалась ей близкой, родной.

— Так-то вот, товарка по несчастью, еда тоску хоронит. Ешь, милая. Хошь и сказывают, в одной

книжке кто-то умный написал: тоска и быка с ног валит, а еда милее всего.

Уписывая колбасу, говорит Графена:

— Наберут нас, преступников, партию и в город погонят этапом в тюрьму. Это еще только предварилка... Да ты что заслезилась? К чему это?.

Где-то близко от камеры мужичья ругань, и зычными голосами поют:

За измену неверного мужа,
Видно, время пришло пострадать...

Марину охватило стыдом, горячо ударила мысль: нарочно поют про нее, посмеяться... все знают — кто она. Ох, головушка ты бедная, до чего дожила! Сердце застучало, и она заплакала навзрыд, припадая на свой дипломат.

Прибирая волосы на ее потном лбу, Графена утешает:

— Не плачь. Зачем ты себя портишь? Делов твоих не знаю, а только зачем бабе поддаваться горю? Еще не старая ты, не знаешь, что у тебя впереди. Жить — век-от живи, а от сумы да от тюрьмы не отрекайся...

Загремел замок, и в камеру втолкнули молодую арестантку, грязную, отрепанную, в рваных башмаках на босую ногу. Лицо замучено, кожа да кости. Как вошла, она повалилась на нары. Сморкалась, пыхтела, вздыхала. И вдруг села, вынула из кармана бумажный верташ с табаком, спички. Попыхав густой вонючей отравой, швырнула окурок, пьяно до слез рассмеялась и сквозь слезы закричала:

— Что глаза-то вылупили? Думаете, у меня отец-мать есть? Нету! И нет угла для меня на всем свете... Пересыльная я, Полька Чубик, и все... Фрайеры, дьяволы, подохли бы!.. — и, притопывая ногой, запела срамную песнь.

Завернувшись в шаль, Марина дивилась на эту молоденькую, — не видывала она, чтобы бабы курили.

— А ну, что загляделась на нее? Видишь — пропащая, ну, и бог с ней... Тебе-то что за болячка присохла? — ворчала Графена и хмурила русые брови. — Ты на нее не гляди, на гулящую. Это все от войны, всех не ужалеешь...

А сама, жалея, заботилась:

— Давай ужинать, Марина, сын-от тебе еще принес... — Дотронулась до плеча Чубик: — Давай, Полька, и ты с нами... — И вдруг, передумав, махнула рукой. — Нет, я сперва спою вам что-нибудь либо расскажу, а то вы невеселы. Не люблю я так. Знаешь, Марина, сказку, кою потихоньку сказывают?..

Марине не до сказок, но она знает — Графена любит говорить, не осердить бы ее. Вздохнув, согласилась:

— Ну ладно, буду слушать...

— ...и в неизвестном государстве, а может, и в нашем царстве, так-то вот, жил-был царь — голова большая, сам невелик. Вдруг выросли у него ослиные уши. Ба-атюшки-и, стыд-от какой! Отпустил волосы до плеч. Когда надо, мать царева обстригала. А только вдруг мать и умерла. Ну, одначе, как же быть? Узнает народ, подданные — просмеют: у царя ослиные уши! Призвал цырюльника. «Обстригай, — говорит, — меня», царь-от. И взял с него клятву: что увидит — никому бы не сказывал. Да-да... Ну только вить человек-от не камень, охота цырюльнику рассказать кому ни то: вот, мол, у царя ослиные уши, и боится, — наказ больно царь-от дал: ежели что, он его в тюрьму посадит под расстрел годов на двенадцать. Цырюльник не спит, не ест. Все думается — сказать бы кому. Измучился, пошел в поле. Под кустом яму вырыл да туда и нашептал: «У царя ослиные уши, ослиные уши...» И только, милые, подует ветер, закачает куст, он зачнет ветками вышептывать шибко: «У царя ослиные уши». Кто ни идет, ни едет — все слышат, да так и разболтал куст по всему белому свету: у царя ослиные уши.

Примолкнув, Графена наклонилась к Марине, глаза ее смеялись.

— Ну, так вранье это? — спросила и сама ответила: — Нет, это присказка. Но вот беда, не умею я сказку с правдой склеить, как люди. А только царя не стали слушаться солдаты на войне и назад пятками потихонечку да поманеньку с ружьями убегают домой, и от этого...

И оборвала она сказку.

А Полька Чубик всю ночь курила, плевалась, гремела «парашкой», ругалась, плакала. Утром дали ей паек хлеба и увели.

Графена через несколько дней рассказала Марине о своей жизни.

— С Лосиного завода я. На фабрике работала кожаные перчатки, кошельки и разные пояса. А тут стали шить на войну ранцы, сумки, кожаные рукавицы, — вот мне и не захотелось на войну работать, — говорит Графена, пригорюнясь. — Это там людей убивают, а я стану помогать?.. Нашли дуру такую! Вот, стало быть, у меня есть домишко, машинка швейная. Села дома рубахи шить мужикам фабричным, только тут дело другое для них пошло. Знамо, баба я молодая, вроде как для этого один идет, и другой, и третий, только не за худым делом, а так, разговоры у них особенные... А мне кого бояться? Нет ни мужа, ни дяди нет. А голова моя, говорят, золотая, жалко — читать не умею. А рассказывать я мастерица. Денег мне на дорогу дадут, вот я и езжу на другие фабрики, а либо в деревни куда, чего надо сказываю. Война-то больно всем поперек горла стала... Эх, Марина, полюбилась ты мне, так уж и говорю, словно на духу... Теперь вот с войны солдаты ухитряются с ружьем прийти на побывку, и день за день — забыто ружье, а оно уж у меня припрятано... Ты, гляди, не заикнись кому! Другой раз попадаю я в тюряху... Про ботинки-то я тебе наврала, а в узлу одно тряпье. Ну, да меня скоро выпустят...

И Графена целые дни распевала песни, рассказывала Марине разные прибаутки, разгоняя дикую печаль первых дней тюремной жизни.

Эта первая товарка по несчастью навсегда осталась у Марины в памяти. Увели Графену в пятницу утром. Целый день Марина крепко скучала. Вечером седой стражник вошел в камеру и, как бы поздравляя с праздником, улыбаясь подмигнул ей:

— Завтра утром, стало быть, и отправишься этапом в город, а сейчас иди-ка на запись.

В камере, светлой и без нар, русый доктор проделал с Мариной все свои фокусы, грудь выслушал, по-

стукал чем-то. Осмотрел руки с вытянутыми дрожавшими пальцами, стучал по коленке, смотрел в глаза, зажмуркой заставил ходить, держа за руку, смотрел на часы.

— Сто тридцать пульс, — сказал громко.

Следователь записал и это. Два арестанта подписались.

— Итак, значит, направить ее в Подольскую лечебницу, — услыхала Марина.

Петяйка ждал в коридоре. Марина смелее взглянула ему в глаза и все рассказала. Он обрадовался.

— Видишь, мама, это ведь хорошо — в больницу. Ты уж не больно тужи. Чего тебе надо — скажи, я принесу.

Разве Марина знала тюрьму и знала, чего ей надо?

— Нет, Петяй, ничего не приноси.

Ее теперь не запирали в камере. Полицейский, стоя в двери и шевеля рыже-красными усами, объяснял:

— Сперва, знамо, этапом в тюрьму уездную недели на две, — оттуда — в Москву, в больницу тюремную, а там и на испытание в Подольск. Так-то вот. На все порядок нужен.

Утро, серое, грустное, собиралось заплакать дождем. У ворот тюрьмы собрались ротозеи: «Как же, жену лавочника погонят этапом. Любопытно!..» Петяйка запыхался, принес матери диплomат старый, драповый, узелок и маленькую подушонку. Марине хотелось увидать напоследок Клавдию, но она не пришла, стыдилась. Завидев ее, какая-то баба насмешливо громко зашипела:

— Пое-ехала полоумная! Вишь, какая шикозная! В драповом...

День разгуливался. Густые серые облака разрывались хлопьями, в прорехи показалось солнце, осеннее, неласковое, и тень облаков падала на проселочную дорогу в ямках-колдобинах. Ободранный тарантас кренился то на один бок, то на другой, и версты меняли деревни. Меняются и думы Марины. Вот по этой дороге везли ее, молоденькую, от венца, и ездила с мужем в гости к матери, и на базар с мужем ехала по

той же дороге. Зима. Холод. Вьюга... И текли слезы от первого кулака, от первой горькой обиды. Это было давно... А теперь?.. Вот и село свое, Спасово. Ниже, ниже шаль на глаза! Не увидали бы ее, арестантку, не узнали бы случайно прохожие и дядья, слесаря-челночники... Не узнали бы в этой скорбно согнутой, искалеченной жизнью женщине слесареву дочь, когда-то жизнерадостную девку Маринку...

По бокам дороги встал сосновый лес. Сердито шумел, вытягиваясь макушками к тяжелым серым облакам. Заморосил мелкий дождь. Гремучая каменка властно дотянулась до ворот тюрьмы, и железные запоры врезались в сердце. Раскинулся тюремный двор. Встали каменные стены и железные решетки на окнах.

В тюрьме все удручало Марину: часовой с ружьем под окном, воровское маханье арестанток, грязь и блестевший в круглой дыре глаз надзирателя Терки.

Товарки спали до самого вечера. Ночью возились, дурачились, орали тоскливые песни:

Тюрьма, тюрьма, какое слово!
Как ты позорна и страшна!
Но для меня совсем иное,—
К тюрьме привыкнуть я должна.
Привыкнуть к камере угрюмой
И к зловещему замку,
Привыкнуть к решетке железной
И к тюремному куску.
В углу стоит ушат с водою,
И висит койка на стене,
И все находится со мною,
Что полагается в тюрьме...

Эта песня отозвалась в сознании Марины ноющей болью: неужели и ей надо привыкнуть ко всему этому? И слезы острой соленой струйкой бежали по щекам, но она уж стыдилась выказывать свое горе. Молча стлала свой дипломат на полу и, завернувшись в шаль, неотрывно смотрела на кусочек золотой луны в квадрате окна.

— Чорт его знает, полиция не дает нам житья! — ругается Зойка Червяк. — По выходе отсюда дадут на

три месяца свидетельство с пометкой: в такой-то тюрьме отбывала сроки, и катись колбасой в другой город. Жрать надо, и паспорт надо добыть, а кто его даст, когда не помнишь своих папашей?..

«Вот оно! Вся беда в этом паспорте», — думает Марина, невольно прислушиваясь к разговорам.

Бездельная собачья жизнь, похабная ругань, хохот замучили Марину, и все пережитое сдавило сердце. Накипел припадок — сдержаться нет силы. Разразилась вдруг в истерике.

Товарки недоуменно переглянулись:

— С чего это она?

Пришел тюремный доктор, старый, плешивый, хмурый. Мавра Потапиха, как всегдашняя обитательница тюрьмы, по-хозяйски шипела:

— Привели нам какую-то малохольную...

— А ну, в чем дело? — ворчливо спрашивал старик, расправляя обеими руками баки, висевшие, что лисьи хвосты рыжие.

Потирая пальцами потный лоб, Марина скучливо рассказывала:

— Ноги вот ломят, сна нету ночами... Тоскуют ноги — места не найду. И сердце вот болит, дышать трудно.

После ухода доктора Марине поставили кровать, принесли лекарство.

У девок и Потапихи были деньги, с воли им приносили передачу. Марина жила на одном хлебе с кислой бурдой из бачка. Каждый день, нагоняя тоску, Зойка распевала:

В окно видна вдали дорога,
Где родные все живут.
И сердце кровью обольется,
Как на свиданье не придут...

Мысль о свидании жила в голове Марины, как пугливая пичужка: вспорхнет — и нет ее. «Где же эдакую-то даль? Кому?..»

Подошло воскресенье — день тусклый, серенький, порхали снежинки, но он вышел такой яркий, радостный. Сперва Марина не верила и даже испугалась слов кривоносого надзирателя.

— Мокеева, иди на свиданье, сын ждет.

И шла двором, — не верилось, а он, Петяйка, стоит и улыбается. И представилось ей: точь-в-точь, как она когда-то приходила к «политическому» сыну. Слезы мешают ей говорить... Клавочка здорова ли? Борик как там?.. Времени-то двадцать минут только. Надзиратель Терка стоит поодаль, снисходительно слушает. Петяйка говорит:

— Ваня в плену у германцев в Верхней Силезии, попался в бою у города Гродно... А следствие по делу закончено... ну, и...

Хотел сказать: «Скоро на суд с отцом», но сказал по другому.

— Адвоката надо нанять, все же лучше.

— Да, да... — торопится Марина, утирая глаза. — Мина тоже посулилась помочь.

— Кончено свиданье! — строго спугнул надзиратель.

— Через неделю я опять приеду, — обещает сын.

— И Мине в город напиши письмо, Петяйка! — прокричала мать ему вслед. — Слышь-ка, я ждать буду...

Как мучительно хотелось побыть еще минуточку, одну коротенькую минуточку!

В тусклой камере она даже забыла, где ее кровать, тыкалась туда-сюда. Лицо ее ожило. Морщинки сгладились. Глаза осветились радостью.

Потапиха размякла, смеется добродушно.

— Ты, баба, словно на кстинах кумой была, совсем растяпилась.

— Ну, вот как же!.. А в узле-то — матушки родимые! Рубашка чистая, платок белый, да еще чего-то...

На безвременный визг двери оглянулась. Надзиратель кричит:

— Мокеева, передача! Дочь из городу.

— Ой, господин надзиратель, мне так надо увидать дочь, сказать и ей что-то... Разрешите! Отпустите!

— Нельзя. Часы свиданья кончены. Опоздала она.

И замок загремел.

На кровати так много всего! Умиленно смотрит Марина на кулич городской, пяток яиц печеных и на

Петяйкины гостинцы: чай, сахар и белые пышки. Неужели Клавочка напекла? неужели не сердится?

Не надо умирать! Ах, скорее бы, скорее выпустили!

На улице морозно. Ветер сломал свои крылья, затих. Снег поблескивает, ядрено хрустит под ногами, и все бело.

Перед обедом сменный надзиратель позвал:

— Мокеева, в контору!

Арестантки переглянулись. У Марины задрожали руки, и она никак не могла попасть в левый рукав арестантского бушлата.

— Испугалась чего-то... Вот рохля баба! — упрекнула Потапиха. — В контору начальник зовет не зря: не иначе следователь с делом приехал.

В помещении с окном без решеток Марина стала с немым и жадным вопросом в глазах. За столом сидит русобородый начальник тюрьмы. Кожаная сумка на коленях следователя. Колючими глазами он оглядел Марину. Ее охватило жутковатое чувство, похожее на радость, давно не бывалую, рука невольно коснулась лба: «Дай, бог, памяти...»

— Садитесь, подсудимая, — указал следователь на стул. — Следствие по вашему делу закончено, я обязан вас ознакомить. Это вам необходимо знать.

Голос вежливый и холодный, как лед.

Широко открытыми глазами подсудимая следит за его руками. Из кожаной сумки вынул и разложил на столе исписанные листы, — в них ее жизнь или смерть... «Лишь бы не каторга!» — мелькнула бритвой острая мысль, и глубокие морщины образовались на лбу.

— Показания вашего мужа, — зачитывает следователь: — «Двадцать седьмого июля вечером он читал газету, сзади подкралась жена и ударила. Он подумал, — это лампа упала на голову. Обернулся, увидал топорик и взял из рук ее...»

Что дальше было — Марина знает, и слова скользят мимо. К показанию соседа Нефедова прислушалась:

— «... Двадцать седьмого он был дома, услыхал

крик, взглянул в окно»... и так дальше... «Какая причина к этому и какие люди Мокеевы — он, Нефед, не знает, хотя и слышал — ближние соседи называют Мокея за что-то «пашой турецким». Плохого о Марине сказать ничего не может. На вопросы, замечал ли он, а может, и видал Мокееву при распространении листков и книжек после ареста сына, — ответ Нефеда: говорили люди, но он слухам не верит и ничего не знает...»

В показании Акулины Нефедовой то же самое, но добавлено:

— «В последнее время она видела Марину заплаканной и какой-то потерянной. Плохого о ней ничего не знает и не слыхала». Марине взгрустнулось, когда слушала показание Авдотьи из Чижовки:

— «Мокеевых она знает годов двадцать. Ходить к ним начала, как только они приехали на Макаренку. Жили бедно, в маленьком домишке без двора. И до последнего времени бывала у них в доме, видала — Марина часто плакала, и ей казалось — она живет плохо. А что о листах каких-то запретных — со зла люди болтали. И еще она знает: на Макаренке молодой сапожник через Мокея не живет со своей женой...»

«А, вот оно, — встрепенулась Марина и затаила дыхание, — показание меньшого сынка. Что-то он скажет?..»

Привалясь грудью к столу, Марина птицей вцепилась глазами в губы следователя, ловит слова.

— «... В этот вечер, говорит сын, мать попросила его сходить и купить брому, он не раз покупал его для матери. В этот день она была чем-то расстроена, о чем-то плакала...» (И всю, всю жизнь рассказал сын год за годом, и отчего мать уехала). «А топориком кололи угли, кололи палочки к цветам... Последние годы мать часто хворала...»

Пропустив что-то незнакомое и непонятное в показании, Марина облегченно вздохнула. Уперлась локтем на стол, поддерживая усталую голову. Ей надо собраться с силами и выслушать до конца все, чтобы на суде не было неожиданностей. Болезнь Марины подтвердил и фабричный доктор.

— «... Мокея он хорошо знает, как человека не-

глупого и упрямого, — себе на уме. Жена его года два больна невралгией. Он писал письмо Мокею, предупреждая, — жену надо лечить в специальной больнице. Это же показал и доктор земский...»

Теперь все показания были Марине безразличны, перед глазами стоял сын... Да, вот он, сын. Ее сын. Стоило родить такого сына и вырастить... Слезы теплые бежали быстро-быстро.

— Выпей воды, подсудимая, — сказал начальник тюрьмы, подавая стакан.

Следователь читает дополнительное показание мужа.

— «От роду ему пятьдесят лет («Врет! — мелькнуло у Марины. — Пятьдесят пять»), и он не скрывает, что имеет любовницу. Жена от него уезжала и имела любовника, ныне умершего, но на месте преступления он ее не застал. Жена — женщина упрямая. Несколько месяцев тому назад она два раза покушалась на его жизнь. Один раз в тарелке был суп подозрительный. Он спросил: это что? Жена поспешно суп выплеснула. Другой раз его тошнило от молока. Свидетелей на это нету...»

Побледнев, Марина застыла. Это показание мужа пришибло ее. В голове стучало молотком: «Покушалась два раза... Молоко... Суп... суп... суп». Ой, ой! Это ведь ее ворожба на просвирках! И он... додумался! и опять навязывает ей любовника. Знает, — никогда и никого у нее не было...

И глухо, как бы издали слышит голос:

— По показанию свидетелей и докторов, вы признаны больной, и вас надлежит препроводить в Москву, в пересыльную тюремную больницу, — говорит следователь, пряча дело.

Марину обуял страх: как, чем она может оправдаться в напраслинном показании мужа? Чего он хочет? Ему мало того, что она сидит в тюрьме, — он обещает ей бессрочную каторгу...

Глаза ее как бы провалились в ямки, погасли. Не взвидя свету, шагала в камеру, и ноги ее подламывались.

Досиня-бледная, тяжело опустилась в камере на

скамью. Глаза неподвижно уставила на арестанток; они играли в карты.

— С переменой декорации можно поздравить? — подвертывая свои букольки, усмешливо подмигнула старушонка.

Марина глухо выдохнула из себя слова:

— Все пропало, все!.. — и завыла раненой насмерть волчицей.

Арестантка Соломея села рядом, обхватила ее за плечи одной рукой, другой, перебирая растрепанные, еще больше посеревшие косы ее, ласково журчит:

— Горюшка, сударка, ну что поделалось, а? Уймись. О чем так разгоревалась? Ну, замолчь... Ну...

Арестантки бросили игру, обступили. Солнечный луч пробрался в камеру, неспешно ползет к потолку. В камере становится светлее.

— Легче, Мокеева, слышь-ка... Все глаза ведь измочила. Ах ты, бабонька родная!

Марина подняла голову. Подобралась, съежилась и окрепшим голосом рассказала о всех показаниях.

Поддерживая рукой груди, толстая Лярва заговорила первая:

— Законы известны, и нечего сопли распускать. Следствие скоро кончилось — это хорошо, недалеко и до суда... А что муж показывает — этому веры не будет, и реветь не о чем.

День праздничный. Тридцать арестанток привели в тюремную церковь. Все тут Марине знакомо. Полати под церковным сводом. Тут она когда-то стояла с передачей сыну. Все крестятся, молятся. Сердце Марины вздрагивает, тревожно озираясь, она вспоминает, — вон там внизу стоял темноголовый сын-арестант, теперь — она арестантка-преступница, и ей горько-тяжко.

— Тебе, господи-и... — гундосил с косичкой дьячок.

Сквозь слезы, сквозь кадильный дым Марине видится: на стульях и на полу в комнате у сына сидят в потемках знакомые ей парни, женщины, все товарищи молодые, смелые, с большой думой в глазах, тихо беседуют о большом, важном, о правде, истине, о справедливой жизни для народа. Их ловят, как раз-

бойников, воров; жизнь таких сильных и крепких ради правды — это крестный путь к горе Голгофе, где распинают душу. А бабья-то вся жизнь, обойденная законом, без надела, без права, отягченная семьей, задавленная работой, заботой, побоями, с безысходной обидой, политая слезами — не есть ли и она та страшная гора Голгофа?..

Мысли Марины разгораются до боли в висках.

Вот тут, тут в каменных стенах, под замками, за решеткой, в грязи и вони, под стражей с ружьем, — тут ее крестный путь, ее Голгофа... Эти мысли, как огромные волны, нещадно и сильно толкнули ее, охватили и смяли... Бессильно повалилась Марина головой на пол и в нервном припадке все твердила, рыдая: Голгофа!.. Голгофа!..

Арестантки всполошились, нагнулись, поднимают, пожилая Соломея, жилистая, сильная, взяла Марину под руку, повела.

Дня через два помощник начальника пришел в камеру.

— Мокеева, в отправку собирайся. Этап завтра рано идет в Москву.

Арестантки провожали Марину сердечно, — как же, столь горюет баба, надо ей помочь. Мавра хочет, чтобы Марина вымыла голову. Подтянула ее к скамье, подставила «парашку» и прямо из чайника поливает ей на макушку. Другая сует ей свою гребенку — расчесать волосы. Головастая вытирает ей шею желтым платком, советует надеть чистую рубашку и кладет последний кусок сахару Марине в карман.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЮРЬМА МУЧИТ — ТЮРЬМА И УЧИТ

Москва. Этап вышел из вагона. Стукнув прикладом, конвойные сосчитали: четырнадцать мужчин и пять женщин. Небо густое, темное. Чуть светятся редкие звезды. Одиноко и тускло горит фонарь, слабо освещая железные пути. На повороте блеснул штык ружья. Идут ровно и споро по широкой улице, повернули в другую. Далеко разбегаясь, горят фонари,

и висит морозная мгла. В табуне пересыльных тихий говор, бабий смех. Выбиваясь из последней силы, Марина едва поспевает за всеми, спина болит. Шли долго. Наконец арестанты стали у громадных железных ворот Бутырской пересыльной тюрьмы, темные, усталые, как заблудшее стадо. Загремела калитка.

Марина влилась со всеми в нежилое, как сарай, каменное помещенье, мрачное, без окон. Голоса загудели ответным эхом.

В углу на длинном столе горит свеча, скупо освещая солдат с ружьями и усатого «чина» в картузе с кокардой. Конвойный подал ему «открытый лист» арестантов. Чин уткнулся в лист вороньим носом и, как бы вынюхивая еще что-то, нагнулся ниже, шевельнув губами:

— «Припадочная полит-уголовная, под следствием».

Из невидимой двери вошли с десяток — крупные, бравые стали рядком и руки по швам. Марина догадалась: «Надзиратели».

Марину повели полутемным коридором, потом надзиратель отомкнул гремучую дверь.

Марина хотела сказать: «В больницу мне надо», но дверь захлопнулась. Оглянулась — и мурашки побежали по спине: она в одиночке. Сверху глядело грустно, коровьим глазом, электричество. Черные стены свисали каменным сводом, — вот-вот, гляди, насмерть придавят... Мучительно хотелось прилечь отдохнуть, — и боялась. На трехногой железной кровати сенник так грязен и сбит в кучу; на нем такая же подушка. Присела на прикованную к стене дощечку, грудью привалилась к столику, тоже доске прикованной.

Утром открылась форточка, — мужская рука с чистыми ногтями подала ей кусок хлеба и кружку кипятку. И снова она одна, как мышь в ловушке. В отчаянии затопталась по черно-каменному полу: три шага к стене до «парашки» и три — обратно.

Гремя железным запором, дверь отворилась. Женщина, длинная, кряжистая, как дубовая оглобля, с сухим неподвижным лицом, уронила два слова:

— На прогулку!

И опять стоит перед глазами неподвижное лицо-сухарь:

— Прогулка кончена!

— Скажите, почему я не в больнице?

— Нынче приема нет, — и «сухарь» смолкает.

В «ловушке» мрак и тишина. В этих каменных могилах месяцы и годы томились люди, — может, те самые молодые, строгие, с большой думой в глазах. Может, они и сейчас здесь за каждой стеной...

И Марине захотелось закричать в эти стены, своды громко, источным голосом. И она исступленно кричит:

— Будьте вы прокляты! Мучители народа!

Крик одинокий. Даже не ответило эхо.

В больницу ее привели перед вечером. В приемной вписали в книгу, как казенное имущество. Выдали казенную рубашку, косынку, полосатую холстинковую юбку, желтый халат и без пяток обувку, заставили вымыться.

Рано утром Марина просыпается в палате № 13.

Возле нее на столике кружка чаю, хлеб и сахар. Но ей нет охоты даже пошевелиться. Белая простыня, белая подушка и теплое одеяло ласкают и греют, и все вокруг так необычайно. Потолок и стены белые.

Дзрим, дзрим, дзрим-м... — послышался звон стального замка, и в палату вошла угрюмая надзирательница, та самая, что привела Марину. Сторож у ворот называет ее «Самоха».

Позвала строго:

— Мокеева, к доктору!

В коридоре у большого окна стол и стул — место надзирательницы. Беспяточная обувка на ногах Марины звонко шлепается по полу, выложенному желтыми плитками.

В палате № 3 Марина разделась. Стоит голая и говорит доктору-женщине, похожей на цыганку, черноволосой и в очках на носу с горбинкой:

— Страдаю головной болью, и часто голова кружится, сердце сильно бьется, а еще не болит ничего. — И, оглядывая себя голую, только тут заметила: бока

и руки исхудали, видны ребра и сморщилась кожа. Ей стало жалко себя; всхлипнула, сморкаясь в кулак.

— Что с тобой, больная? — оторвав глаза от бумаги, оглянулась докторица.

— Так это я... — застыдилась Марина. — Деревенская ведь я, здоровая... Одеваться можно? Я уж пойду...

В шесть вечера в коридоре тишина. Побалтывая полуаршинным ключом у пояса, надзирательница ходит неслышно, заглядывая в «волчок» в каждой двери, стережет больных преступниц.

В эти часы начинается своя жизнь заключенных. Из разговора Марина знает: та молодая — Марьюшка, она приладилась у окна с книжкой; которая сидит с ребенком — зовут просто Сергеевна, на койке со старухой пересказывают сны, вспоминают о домашнем.

Дверь дзынкнула три раза, и с Самохой вошла длинная, глазастая, в арестантском халате.

— Вот тут твое место, — словно чурке деревянной, указала ей Самоха на пустую койку рядом с Мариной.

Новая больная, сбросив халат, без оглядки повалилась на чистую простыню.

— Это что же ноги у тебя такие худые? — изумленно спросила Марина, указывая на истоньшалое место, пониже икр.

Новая растянула улыбкой тонкие губы, показав зубы, крупные, желтые; сказала охотно:

— Тут два года кандалы были всегда с цепями, а сегодня, как сюда шла, сбили... Я не русская — австрийка.

Хитрая и вдумчивая старуха придвинулась ближе и, шевеля серыми бровями, тихо любопытствует:

— А зачем это тебя, австриячка, в тюряху к нам посадили?

Австриячка приподнялась и, натаскивая на острое плечо ворот рубашки, тоже тихо и горделиво ответила, поглядывая на «волчок».

— На защиту своей родины шпионкой на войне работала. Надо было знать, сколько в русских церквях гробьев. Много в городах была, по гробам ходила.

— Ты у нас по гробам ходила? У нас мертвых нельзя тревожить. А ты как же? Кто тебе велел? Что-нибудь врешь!

Шпионка, кашляя, кивнула, — старуха не понимает, дескать, и, взглянув Марине в глаза, спросила:

— Как же по-русски сказать — те бугорки у церкви, где умершие люди?

— Кладби-ище... — шуршит голос Сергеевны.

— Вот так бы тебе и надо сказать, — зашипела Марина. — А к войне-то зачем наши могилы?

Шпионка вспомнила, как в последнюю ночь, при переходе границы, ее забрали русские. Она вздохнула.

— Все равно из вашей тюрьмы мне не уйти, вы наши враги. Гробы у нас называют «эпидемия»... люди много-много умирают сразу. Это и надо знать нашему кейзеру, большое значение имеет на победу врагов.

— Ну, вот и попала в кандалы. У нас, брат, тоже не балуй! — почесывая бока, уязвила старая и, бурча еще что-то, ушла на свою койку.

Заглянув в «волчок», надзирательница застучала ключом в дверь:

— Больные! Спать! Тихо!

Шпионка уткнулась в подушку и сразу уснула, как убитая.

Проснулась Марина поздно. Синева с лица спала, глаза смотрят яснее. Увидела на своей койке у изголовья черную дощечку, написанную белым.

— Это что же такое? — спросила белокурую, с веселыми глазами, фельдшерицу.

Та, капая в ложку принесенное для Марины лекарство, толковала:

— Вот так с водой и принимай два раза в день... А дощечка эта нам на память, название твоей болезни.

— А как?

— Истерия — невроз... А еще — много будешь знать, скоро состаришься, — пошутила фельдшерица с ней, как с ненормальной, и вышла из палаты.

Марина поняла обидную шутку. На расспросы соседок, давно ль она сидит и за что, нехотя ответила.

— Что-то забыла, сколько время... А за что арестовали — непонятно мне даже. Так вышло как-то...

Сергеевна улыбнулась, поняла Марину, — больно ей шевелить занозу; говорит мягко и вдумчиво:

— Это пройдет. Бывают такие времена — выскочит из памяти кусок жизни. Со мной было такое дело, когда мужа погнали на войну. Скажи вот, плакала тогда или нет — и не могу вспомнить.

Перекладывая девочку на подушку, уговаривает Сергеевна:

— Нишкни, Танька, горе ты мое! С пеленок — и в тюрьму. Нет пощады... Однако надо и хлеба-соли отведать. Вставай, тетка Тугоухова!

Старуха лениво потянулась. Марьюшка ловко заплела в четыре пряди свои косы, сахар сунула в карман. Загремели кружками, чайником.

Большеглазая, тощая, желтокожая австриячка казалась Марине похожей на судака сушеного. Протирая глаза худющими ладонями, она подала свой голос:

— А вы кушать? Кушать надо... Я хочу, ах, как хочу кушать! — и рука ее с куском хлеба затряслась. — Хорошие вы люди, а я, Тереза... ах, плохо мне, в тюрьме умирать буду, до конца войны не дожить!..

Обсасывая кусок сахару, Тугоухова косится на ее нос торчком и бубнит нелюбо:

— Ну, матушка, тебе, может, она и нужна, война, а мы-то при чем?

Австриячка печально говорит:

— Деньги, что были — за год все ушли, в тюрьме кушать мало. Привели сюда на месяц. Отдохну — и еще в кандалы и на башню, в одиночку...

Пришел главный доктор, высокий старик в белом халате. Волосы и борода его такие же белые, как и халат. Он заслонил собой другого, пониже и помельче, с рыжеватой бородкой. Добрые светлые глаза старика остановились на Марине.

Торопливо повязав голову косынкой, Марина слезла с койки и, как виноватая, опустила руки.

— Ну, что, недавно прибыла? — совсем просто

и мягко спросил старик, заглядывая на черную дощечку.

— Арестовали вас за что? — спросил.

Вертлявый и проворный на слова, он напомнил Марине следователя. Шаря пальцами по лбу, как бы чего выискивая, прямо взглянула ему в глаза, ответила:

— Мужа ударила, и больно, но он выздоровел, а мне дали бумажку... покушение... и арестовали... — покраснев, прикусила губу.

Откровенный, с горечью сказанный ответ расположил белого доктора. Положил ей на плечо руку, добродушно пошутил:

— Это ты верно сказала: выздоровел и арестовали. А за что ударила?

Марина почесала затылок. Из глаз брызнули слезы.

— Так, пришлось... Сама не знаю...

Переговорив между собою, доктора ушли. Стыдясь перед соседками за свое «дело», Марина забралась под одеяло, отвернулась к стене.

— ... И видела я, милые, сон: крест черный в решетке окна. Быдто так, наискось он... — заспанным голосом говорит Тугоухова, натягивая на больную ногу чулок, уродливо сшитый из белого больничного старья.

Укачивая на руках Таньку, мать вздохнула:

— Говоришь — крест? Нам и всем крест. Который год озорует война! А тебе, Тугоухова, скоро на выход?

В глазах и в голосе старухи безнадежная скука.

— Ради ноги последние деньки тут пребываю. Пожила малость, отсидела в тюрьме три месяца за поганый лоскут. Думалось варежки суконные себе сделать из хозяйского добра... Я говорила тебе, Сергеевна? Жительница я города Ундола, вся жизнь моя фабричная, да тут, вишь ты, заставили в мастерской шинели шить солдатам. Теперь уж и не знаю, куда мне.

— Вот он и крест — тюрьма. А лоскут тот ничего не значит. В Москве, в ткацких как есть одни бабы остались. За всякую малость и хватают в тюрьму. Обозлены хозяева, а народ-от и того больше. А мне, кабы я знала, — Сергеевна хотела сказать: «Тукнуть

бы мне чем попало того полицейского», но, мотнув головой, сказала иное: — Работница я на заводе Гужона...

Марина не вытерпела и нескладно спросила:

— Боятся, что ли, баб, — за всякую нитку-тряпку в тюрьму прячут, али без мужика сила в бабе?

Охорашивая на койке подушку и одеяло, Марьюшка рассмеялась:

— Ах ты, тетка ненормальная! Кажется, понятно сказано: все на войну, и все для войны, а вы себе все норовите.

Тугоухова сделала любезную улыбку, а руками развела укоризненно:

— Эка, милая, какая ты умная да праведная! Мы всю жизнь положили на эту проклятую войну. Ты-то за что же сидишь?

«Праведная» снова усмехнулась:

— Сижу, по крайней мере, не за нитки-тряпки, а именно за праведное дело. Хотите — расскажу?

— А ну, ну... — попросила Марина.

Поигрывая синими глазами, эта девка, громко смеясь, рассказывает:

— Я хоша и деревенского рода, а книжки научилась читать и понятие имею. А посадили меня на три года за мастера. На фабрике посудной в Дулеве работала, по харе ему и съездила: не приставай и не штрафуй без дела, а он — возьми и окривей на один глаз... Два года уж отсидела.

Отворилась дверь, выглянуло толстое румяное, будто поджаренная лепешка, чернобровое лицо старшей надзирательницы. Один глаз невидящий, другой — черный, бойкий — сразу обежал всю палату, и она строго сказала:

— Тише, беспардонные! Или вам чего надо?

Ей никто не ответил, а Марьюшка досадливо закидала ей вслед:

— Тумба! Тумба мостовая!..

Имени ее никто не знал, так и стали звать «Тумба».

Сиделка-арестантка Мусина принесла обед — жиденький суп и кашу. Вместе с нею вошла фельдшерица.

— Тебе, Мокеева, доктор прописал лечебные ванны. Пойдем! — позвала фельдшерица.

Выстукивая каблуками по коридору, наказывает:

— В ванне лежи, пока я не приду, и не бултыхайся.

Марине диковинно: посудина белая, похожа на корыто и глубокая. Сунула руку — вода горячая. Постояла и, вздохнув, подумала: могла ли она быть в больнице, ежели б не тюрьма?..

На другой день утром в двери особенно звонко заиграла знакомая музыка замка, в палату вошел тот самый, что приходил раньше с белым доктором. Направился прямо к Марине и, вглядываясь в ее бледное лицо, участливо спросил:

— Ну-с, как вы себя чувствуете, пользуетесь ли ваннами?

Поднимаясь с койки и оправляя юбку, Марина посмотрела на него, как на чужого, в ответ спросила:

— А вы кто же такой сюда приходите?

Ероша пальцем рыжеватую бородку, он весело и вежливо ответил:

— Доктор я, психиатр... пришел посмотреть на вас.

Марина испугалась такого названия, приоткрыла рот, он засмеялся...

— Ничего, ничего... будешь здесь, покамест поправишься, и все кончится хорошо...

Марина осмелела, рассказала доктору, как она первый раз влезла в ванну и боялась ошпариться.

А он все смотрел ей в глаза и думал: «симуляцию трудно предположить...»

Сравнялось два месяца, как Марина в больнице. Однажды Самоха, гремя ключами, вошла в палату и сухо приказала:

— Мокеева, собирай свои вещи, и пойдем со мною.

Марина вспыхнула, но с готовностью ответила:

— Я сейчас...

В приемной, под номером тринадцать, ее вещи. Дрожащими руками обрядилась в свое черное платье,

черную шаль, а на плечи — измятый драповый дипломат на «рыбьем меху», письмо от сына Петяйки сунула в карман...

Шли двором. У третьих ворот Самоха обронила сторожу:

— На башню.

Влезла куда-то по железной винтовой лестнице. Дверь железную отворила пожилая широкая женщина и захлопнула ее.

Марине никто не сказал, что она должна пробыть в одиночке до субботы, а потом этапом в уездную тюрьму, на освобождение, и от горя она как бы застыла на стуле.

Вошла небольшая худосочная женщина. Деловито развернув из тряпья недельного ребенка, попросила его подержать.

— Ты не бойся, я только тут на ночь. Завтра этап идет в нашу сторону рязанскую.

Мать утерла ладонью костистое лицо, взяла ребенка, приласкала его теплым взглядом, села на грязный сенник, качнув железную кровать, и, глядя в сторону, рассказывала:

— В прислугах жила, тяжко было... барыню спихнула с седьмого этажа, она между лестниц как в бездонный колодец полетела... Два года отсидела, а теперь на родину, там еще год.

Марина разинула рот, хотела спросить: «Откуда ж робёнок?», и пожалела мать: «Грех не по лесу ходит — по людям. Бабье дело подневольное...»

Вскоре снова отворилась дверь, вошла девчонка-подросток. Курносая, испуганная, глаза заплаканы. «Сколько ей годов? — думает Марина. — Четырнадцать? Шестнадцать?..» Девчонка молчит, смотрит исподлобья.

Спать на кровати никто не захотел. Мать стащила сенник на пол, улеглась с ребенком. Девчонка — около. Марина с другого бока подолом обмахнула пол, постелила шаль, подушонку под голову, и рада, что не одна.

Девчонка ворочается и сквозь слезы рассказала Марине свою историю.

— Так, пропала я, тетя... Видишь, какое дело, —

нянькой жила у одних. Хозяин все лез целоваться потихоньку от жены, а я не люблю мужиков. Он ругался и все грозил прогнать. Жены не было дома, он и... Ну, ты знаешь, что он со мной сделал... Я кричала, ревела... Сказала его жене. Она не поверила. Кто заступится? Сирота я... Дали мне расчет. Уходи, значит, сказали. А я, на зло им, и украла шерстяную материю: хозяйка себе купила на платье. Ну, значит, материю отняли, и в суд на меня. Богатые они... Ну, вот, значит, и привели меня тут и... и... Ой, родная ты моя матушка, и на что же ты меня на свет породила-а? — залилась слезами девчонка, жалуясь на свою молодую жизнь, что так серо и горько началась она.

В горле Марины застрял слезный ком, горе девчонки было непереносно. Бессилие и жалость забились подшибленной птицей. Кругом бабья беда, позор и беспомощность. «Где же, где ключи от счастья женского, в какое море заброшены?..» — выплыло из глубины ее памяти, и кто-то злой подсказывает: «Никому и невмочь сыскать ключей тех чудесных, так-так...» — Спокон веку было так, и нет той правды — утереть бы слезы девчонке...

Ребенок запищал. Марина отвернула тряпье. На красном личишке два больших клопа впились клещами; по головке бисером розовым ползет мелочь.

Марина затолкала мать. Спит, как мертвая, замычала:

— М-м-мой, счас... Двое суток не... не спа... Дай-ка...

Так всю ночь и просидела Марина с ребенком на руках.

Утром отперли все двери одиночек, и арестантки хлопотливо забегали с мытьем полов. Марина тоже вышла из камеры. Голова ее кружилась. Вот она, винтовая лестница, там ждет Петяйка. Раскрыла рот, ловя воздух, покатилась по винтовой — вниз.

— Убилась! Убилась! — вскричали арестантки.

И на руках поволокли ее в одиночку.

Пришла докторица с лекарством. Марина рыдала,

обнимая подушонку, и снова тонула в глубине беспамятства.

На другой день Марина молчаливо сидит в вагоне, склонив голову, ничего не думая. Из жизни она вышиблена и никому не нужна...

Вот и тюрьма уездная, та же камера женская, под окном часовой. С тягостью на душе Марина вошла, как пришибленная, чужая. Марина бралась за шитье, помогать товаркам, но с ней делалось что-то непонятное. Вдруг закружится голова, шитье из рук падает, и сама валится куда попало. Ночью нападает жуть, вскочит со своей постели. Марина влезет к ним на кровать и дрожит от страха. Продирая глаза, арестантки испуганно гонят ее и ругаются. В поверку пожаловались надзирателю.

Пришли в камеру начальник тюрьмы и доктор. Арестантки загалдели:

— Уберите колобродную, мы боимся. Чорт ее знает, что у ней на уме!

В следующую же субботу Марину отправили обратно в московскую больницу, как «невменяемую».

И снова — тюремная больница.

Доктор в очках каждый день заходит в палату № 12 справиться о здоровье Марины, — она под особым наблюдением.

— Отдыхаешь, Мокеева? Полегчало, а? — и гладит ей голову своей белой рукой.

На лице Марины появилось новое, растерянно-пугливое выражение, глаза слезятся. Улыбаясь, отвечает:

— Ничего. Хорошо. Спасибо... — и, чего-то застыдясь, прикрыла свою грудь.

Молодая ладная каторжанка Степанида Ладонка подошла к столу. Глаза, большие, темные, как вишни, затуманились скукой.

— Ты чего, Мокеева, прижухнулась? Давай гадать. Знаешь, новый год — новое счастье.

У Марины на разум навернулось: «От счастья бабьего ключи у бога самого». Уныло ответила:

— Ну, какой толк в гаданье! Сами себя обманы-

ваем, — и, вспомнив чьи-то слова, сказала: — Неученые мы, потому и...

Озадаченная Степанида подумала: «Все гадают, а ей толку нет», — и нехотя протянула:

— Ну-у, вишь ты... Может, и правда. Жалко, я неграмотная... — И, вздохнув, махнула рукой: — Да мне и ни к чему грамотность. Состаришься — не увидишь воли, — и, сошвыривая с ноги «пантофлю», спросила: — Все же научиться читать ловко бы... Мокеева, как ты думаешь?

Марина об этом никогда не думала, да и для чего, если жизни нет? И, кого-то укоряя, с горечью ответила:

— Хорошо учиться во-время. Меня отец научил склады, ну, а дальше все то же и осталось, чему отец научил — ма-ма, те-тя, де-ти... «Щи да каша — пища наша». А что я знаю умного? Ни бе, ни ме...

Вскинулась глазами на Ладонку, — баба крепкая, румяная; и грустно спросила:

— Сколько же тебе лет? И за что тебя?..

Приглаживая пальцами ровные русые брови, Ладонка рассказывает про свою жизнь.

— Годов мне — двадцать четыре. Жила в месте торговом и фабричном, Московской губернии. Поблизости французы выстроили фабрику самоткацкую, — не похожа на наши, вся в окнах. Я туда с мужем и перешла работать. Не дура я была, и у французов на примете, — с одним, стало быть, и слюбилась. Это одна сторона дела. А другая — вот что. Стали они меня посылать на почту, получать посылки заграничные на мое имя. Чего там в этих ящичках — им передавала. Там, стало быть, краски и особая бумага. Деньги они делали фальшивые, и выходило — я им главный помощник. Ну ладно, живу, не тужу, все у меня есть: печенье, варенье, сыры, колбасы и вина дорогие заморские. Ну, все же заподозрели и меня с посылками французов, — не один ведь год самодельными деньгами рассчитывали рабочих. Народ они ученый, ловкий, арестовать никого не пришлось — все улизнули, а мне присудили десять лет каторги.

Марина даже передернулась и живо спросила:

— А что это за каторга такая?

Каторжанка нехотя ответила:

— Да все та же тюрьма на долгий срок. Работают каторжане. Где бы лошади — тут каторжане. Работают и в мастерских, за выработку получают с рубля десять копеек. Годов за десять-пятнадцать и соберется рублей полсотни, на выход все копейка годится... Фу-у, и надоело же про то говорить! Шесть годов ведь отсидела! — почти выкрикнула Ладонка и устало потянулась. Потом присела к Марине на кровать, положила ей на шею руку. — Расскажи сама что-нибудь, ну, хоть про жизнь бабью там, на воле... Вот хоть про свою.

Марине тоже хотелось как-нибудь иначе скоротать вечер под новый год.

— Ну ладно, — кивнула ей. — Только не усни, долго надо рассказывать... — и, поглаживая на лбу морщинки, задумалась, с чего начать. Сон бежал от ее широко открытых карих глаз, все думалось: «Рассказать свою жизнь? А как ты ее расскажешь — такую долгую, такую неладную?..»

Где-то за железной решеткой окна чуть слышно выбивают в чугунную доску часы.

— Ра-аз... два-а... три-и... — считала Марина, зажмурясь, — двенадцать...

И не заметила она, как подошел год новый, семнадцатый, а безгласный шестнадцатый дряхлым стариком прополз и скрылся в зимнюю ночь, висевшую над окном серой овчиной.

Каторжанка — за шесть лет тюремной жизни — знала все ходы и выходы судебных дел; жалея неопытную Марину, захотела подтолкнуть ее дело. Утром, лишь только Панашка ушла за дверь в коридор на уборку, Ладонка стала у койки Марины и начала ругаться:

— Рохля, ты, Мокеева, сидишь за пустое дело! Ежели с умом да немножко половчее, давно была б в Подольске, а через три месяца вышла бы на волю безо всякого суда... Да тебе все равно, знать, хоть век тут сидеть! Я вот говорю, а ты глаза в стену лупаешь!

Марина молчала и дивилась: чтой-то сразу подела-

лось с Ладонкой? Навертела на голову из полотенца шляпу и, вихляясь, заходила вдоль палаты, изображая барыню. И вдруг, будто пьяная, на досаду ей, задевала койку, трясла, гремела на столе медным чайником; завидев в «волчке» Самоху, сорвала все с головы, стащила со своей койки простыню, начала стирать простыню, вместо мыла намыливая чашкой. Озорничала, сопела, гремела табуреткой — и довела все-таки Марину до слез.

Звякнув замком, вошла Самоха, укоряет:

— Как тебе не стыдно, Ладонка, дурака валять! Баба такая смирная — и вдруг разошлась. Ведь эта дурость тебе не поможет, а в тюрьму завтра же пойдешь. Сейчас же ложись спать, без разговоров!

И, пригрозив пальцем, Самоха вышла.

Марина всхлипывала. У Ладонки смеялись глаза-вишни и, продолжая понарошку стирать, язвила:

— Испугалась, мямля, распустила сопли! Я бы эту Самоху чем ни попадя... Ведь ты, Мокеева, как есть дура! Старая дура, растяпа!

Марина вспыхнула, вскочила с койки и, дрожа от досады, закричала:

— Какая я тебе дура? Сама бесстыжая!.. Чего пристала?.. Вишь ты, морда твоя красная, как печка, хоть портянки суши!

— Ах ты, старая! Она драться?.. — шипела Ладонка, подзуживая. — А ну-ка начни, ударь!.. Я те ударю! Растяпа, варежка, поганая, дуроплясина!..

— Ах, так я варежка?!

И Марина, как очумелая, схватила чайник, запустила в Ладонку. Не попала. Чайник загремел по полу, вода побежала под койку.

Дверь со звоном распахнулась, влетели Панашка и Тумба.

— Ты что это, тихоня старая, буянишь? — гаркнула Тумба. — Как ты смеешь заводить шум? А, бунтовать?! Давайте рубашку сумасшедшую! Живо!

Марина дрожала, как в лихорадке, исступленно кричала:

— Уходи, уходи, Тумба! Прочь все!.. Что я вам далась, а? Нашли дуру!.. Уходите, а то... — и нагнулась за чайником.

Самоха схватила ее сзади, и все трое повалили Марину на койку. Тумба пыхтела, надевая рубашку. Марина, рыдая, взмолилась:

— Не надо, милые, хорошие! Я не буду, не буду больше! Не надо!.. Спать буду... Я не хочу, не хочу!..

Надели рубашку желтую парусиновую, как мешок, руки всунули в рукава узкие, длиной по три аршина, и этими рукавами крепко прикручена Марина к койке — не шелохнуться.

Мотает головой Марина, рвется, рыдает, и слезы мутные бегут ручьями. Добилась Ладонка, чего хотела, и, довольная, весело посмеивается:

— А ты не горюй. Все была моложавая, а тут — на-ко вот! Теперь дело твое в ход пошло. Ну, и посмеивайся.

В одно утро Самоха сразу принесла миску супа и кашу, сказала:

— Обедай, Мокеева, и пойдем одеваться. Тебя повезут в окружной суд.

Это вышло так неожиданно и страшно. Может ли Марина обедать, и пойдет ли кусок в рот?

— Не плачь. Тебя, мать, повезут на комиссию, — помогая ей одеваться и приглаживая волосы, как маленькой, утешала каторжанка. — Я все знаю. На этой комиссии освобождают. Ты только не бойся: муж твой должен там быть и свидетели... Ну, иди.

В коридоре Самоха и Тумба приветливо прощались с ней.

— Час тебе добрый, Мокеева, и бояться нечего. Оттуда прямо домой идут или...

Тумба не досказала: «...или в тюрьму, а не в больницу».

Впервые в жизни Марина влезла в автомобиль, черный и глухой, словно гроб. Прижалась в уголке на лавочке, как загнанный заяц. В черноте чуть светился маленький глазок за стеклышком.

В серой и теплой комнате Марина застыла на скамье у двери. Одна она, одна-одинехонька, нет у ней родных, и никого нет. Жутко одной без теплого

слова... Ах, да, — там муж... Тишина. Солдаты у двери, как не живые. Взгляд остановился на простенке. Кто это там в зеркале? Лицо серое, измятое, в морщинках... Неужели это она? Черный платок немного сбился, на лбу серая прядь, в глазах тоска... Часы идут и идут.

Наконец дверь отворилась. Марина поднялась и пошла за солдатом. Огромная палата с частыми окнами. С левой руки длинный стол, покрыт зеленым; с правой — столы поменьше. Марина не видит, но чувствует — там и тут сидят люди.

Под ногами красная дорожка, и конца ей не видно. Навстречу кто-то идет, серый, неуклюжий. Казалось — это ее жизнь, долгая, как эта дорожка длинная, жизнь, наполненная тревожными днями, бессонными ночами, заботой о детях, страхом и унижением перед мужем, горем, слезами, побоями...

— Сядь, подсудимая! — приказал голос рядом.

Сутулясь, Марина обвела глазами зеленый стол с кучками белых листов бумаги и головы сидевших вокруг чинов, с крестами, с орденами. Чинов много, а все показались ей на одно лицо.

— Имя твое, подсудимая, какой губернии, и есть ли в деревне земля?

На голос Марина подняла глаза. Напротив нее в конце стола сидит черноволосый, плотный, крупный, с яркой звездой на груди. Глаза острые навыкате, как у рака, черные, страшные, — вот-вот, гляди, выпрыгнут. В голове Марины каша. Лизнув губы, ответила:

— Губернии Московской, зовут меня так же — Марина, Мокеева жена. Земля в деревне Гавриково была, свекор еще купил у мужика, но он помер, свекор. Теперь уж не знаю, — может, продал муж землю...

Все пригнулись к листам, торопливо записывают. А глаза рачьи щупают печальное лицо Марины.

— А сколько тебе лет? И есть ли муж и дети?

Марина почесала лоб. Ей хотелось оглянуться, — может, здесь где-то муж злорадно посмеивается, а может, и знакомые кто есть, и не посмела повернуть головы.

— Годов мне и мужу по пятьдесят шестому, а где

он, муж, — не знаю. Вот дети... Ну, есть внучек, маленький он...

Пошевелив усами черными, рачьими, он вдруг спросил:

— А зачем ты двадцать седьмого июня пробила мужу голову?

Марина похолодела, нахмурила брови, вздохнув, угрюмо ответила:

— За что? Нешто я знаю? И ничего тогда не помнила. Но ведь я любила его когда-то... и я вот виновата...

— Что ты любила его, ему от этого не легче, — строго сказал старик со звездой и, наклонив голову, начал писать.

Рядом молодой что-то спросил Марину, она не поняла. Стража шевельнулась, шашки блеснули грозно: и увели Марину.

На расспросы Самохи Марина грустно отмахивалась.

— Не знаю, ничего не знаю. И суда никакого не было. Озябла... Очень озябла.

В палате сидела у горячей батареи на подушке, ужинала и рассказывала, что делалось в окружном суде.

Ладонка мотала головой:

— Вот как! Тебя сам прокурор спрашивал, а ты не знала. И сидят с ним товарищи прокурора, судьи, следователи, доктора московские, ну, может, и другие какие чины. За другими столами — не иначе те доктора, что записаны в свидетели. Только мужа твоего почему-то не было... А чего ты отвечала?

Ладонка выслушала Марину и долго смеялась:

— Что же, ты нарочно так говорила?

Марина перестала жевать кашу, удивленно посмотрела ей в глаза.

— Зачем нарочно? Разве плохо? Я говорила все, что надо, по порядку.

— Ну ладно, — согласилась каторжанка, унимая смех. — Если тебе ничего не сказали, надо ждать, что пришлют из суда. Мне думается — не тебя, а мужа твоего запрячут в тюрьму.

Слова ее, словно тугой мяч, ударили в голову Марины. Нет, Ладонка шутит. Мокей не так прост, чтобы его...

Марина сидит уже месяца четыре.

Отгоняя скуку и тоску по воле, Марина наблюдает солнце, — с каждым утром взбирается оно все выше. Вот уже забралось в палату, поглядывая поверху. Панашка, в это утро почему-то веселая, шмыгая вздернутым носом, говорит:

— Туточки подошли Авдотьи именинницы, мой день, я ведь тоже Дунька, вот мне и не хочется сидеть в тюрьме. Давайте-ка, оттащу фортку, пущу вам весну.

Свежий душистый воздух хлынул в палату, вымахивая горячим солнечным веником больничный дух, вздохи, недомоганье.

Жадно вдыхая холодок, Марина прислушалась. Над головой в открытую фортку слышалась чья-то песня. Ясно доносятся тоскующие слова:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу люби-ить...

Вдруг, как буря, глухо и грозно прокатился шум множества голосов:

— У-урра-а! У-урра-а! У-урра-а-а!..

Переглянувшись с Ладонкой, Марина вскочила к фортке, но ее не достать. От тюремных ворот через толстые стены доносится глухой человечий гул. Марине показалось — тюрьма вздрогнула, и забилось ее сердце, предчувствуя что-то хорошее.

— Ой, Ладонка, что-то на воле делается! — завопила она и, волнуясь, заспешила надеть юбку и халат.

Дверь зазвенела, Панашка чуть не сбила Самоху, влетела в палату и руками всплеснула:

— Милые подруги! Бегали мы по коридору с чайниками и узнали: громадным табуном народ у тюрьмы собрался, кричат все. На воле что-то случилось, а что — надзирательницы скрывают, и сами хмурые, тревожные...

Марина торчит в окне. Там, на дворе, каторжанин привез дрова: на шапке его серой войлочной, в чолке лошади и на дуге мотаются красные ленточки.

В обед надзирательницы пришли в палаты с красными лентами на груди, и такие обходительные, разговорчивые.

— На улицу надо выходить непременно с красными лентами... — и Самоха не договаривает, стараясь улыбнуться, через силу выдавила: — Царя больше нет.

От этой вести, от красных лент и больничной тревоги повеяло для всех надеждой. Ладонка заходила по палате.

— Да, мать, по такому случаю в тюрьме быть недолго.

Доктора не показывались в больницу третий день, но в тюрьме тайн нет.

В тот день народ у тюрьмы потребовал политических на волю. С ними самовольно вышли тридцать уголовных, убили трех надзирателей, ворвались в цейхгауз, оделись, во что полюбилось, и с собой захватили, что надо. В мужской тюрьме уголовные и каторжане подняли бунт.

Больничный тихий коридор загремел крупными шагами и смелыми голосами:

— Выпускайте на волю! Чего там! А то сами!..

Испуганное начальство теряло голову; торопились, бегали, гремели ключами. Начали освобождать: за политическими пошли следственные и краткосрочные, затем выпустили каторжанок и уголовных. От каких-то комитетов выдавали одежду, платье, обувь.

Уже и Панашка и Ладонка ушли, и сон от Марины ушел, а она все сидит под замком и каждый день, каждый час ждет — вот придет надзирательница и скажет: «Иди, Мокеева, на волю...»

Четырнадцатого марта в шесть часов утра Тумба принесла обед и сказала:

— Собирайся со всеми вещами. Пришла бумага, — комиссия признала тебя больной. В окружную лечебницу направляют.

Это известие обесцветило радость свободы. Сердце Марины забилось, как пойманная птичка в клетке. Навернулась скупая, обжигающая слеза...

И все забыто на просторе московских улиц. Едет на широкой телеге семь душ арестантов. Фельдшерица, конвой — два солдата с ружьями. Марина с

краю. Солнце-то — матушки мои родимые! Веселое, мартовское, забралось выше колокольни, сияет во всю мочь, греет ее и ласкает. А воробьи! Серыми табунками, задорные, дерутся по-мужичьи и оголтело чирикают. Несутся, позванивая, трамваи, на тротуарах торопливые шаги, бодрые голоса. На картузах, на грудях алеют ленточки, банты. Кричат газетчики.

— Временное правительство!.. Керенский!.. Приказы!..

— Война до полного конца! Совет рабочих депутатов!

На большом доме протянуто красное полотнище. «Мир хижинам, война дворцам» — читает о-бок с Мариной арестант и прячет в бороде улыбку.

На Курском вокзале ждут поезда. Озираясь, Марина дивится и думает: «Праздник, что ль, али кто выгнал людей?» Толчея. Уезжают, провожают. Ротозеи бродят по вокзалу. С мешками на спине нетерпеливо снует множество людей в серых шинелях.

— Значит, дизентируешь? Едешь, чорт тяподери? — добродушно выругался солдат на костылях.

— Еду. Пора, браток. Прощай! Землица, небось, стосковалась...

— Мадам, купите семячек!

— Посторонись, господин!

Гулящие в вокзале и по перрону лущат подсолнухи, кругом шелуха... Смех, говор, и все мелькают ленточки красные.

Молодой парень в картузе набекрень прет напролом и гудит на гармошке:

Мы побили австрияков...
Тинтель-винтель, и ерманцев...

— Вот она — жизнь-то матушка! — восторженно говорит Марина дураковатой арестантке бойкие слова.

— Та-ак, дело выходит — распублика, стало быть. Давно бы спихнуть шайку Романовых!

— Ну, еще бы! Слышь, выборы в Совет депутатов.

— А конокрада Гришку Распутина — поминай, как звали!

— Благодетель российский и ночевальник царицын! Хо-хо!

В кучке мастеровых смех.

Улыбнулась и Марина, не зная чему. Боль и зависть едят ей сердце. Всё на свободе, радуются, а она?..

Ветер закрепчал. Сердито раздувает на перроне шелуху. Паровоз, попыхивая, задвигал вагоны, угрюмые своею тяжестью.

— Дунькя! Дунькя! Я те ору — машину ведут, а ты прешь, чтоб тя разорвало! Эна, задымилась, влезать надо!..

Конвой скомандовал:

— Пошел!

Марина вздрогнула.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«ТАМ, ГДЕ УМА ЗАТМЕНИЕ»

Солнце потонуло в серой гуще облаков. Небо зябко насупилось. На станции Столбовая пересыльных дожидаются пять деревенских подвод. Марина приспособилась в розвальнях на сноп соломы. Укрывая юбчонкой поджатые ноги, жалела — сидит не с бабами, все бы теплее. Худосочный мужик в ватной курточке, оглянув седоков, показал веревочный кнут лошади.

— Но-но-о... трогай, кормилец!

Поджарый «кормилец» дернул, и сани заторопились догонять передних. Дорогой побежали поля. Резкий ветер лизал снежную равнину и, озорничая, шевелил редкую желтоватую бородку мужика, щипал лицо Марины, выискивал в плохой казенной шубенке невидимые дыры, забирался в отрепанные рукава, шарил за воротом голую шею. Рядом с Мариной щетинистый арестант, надвинув на глаза серую шапку, спрашивает:

— У вас тут, дядя, в больнице, говорят, одним горохом червивым кормят?

Мужик давно приглядывается на его протянутые ноги в валенках и теплую шубу. Сунул кнут подмышку и, запрятав красные руки в пазуху, усмехнулся.

— Горох? Что же там, хоша и с червяком горох,— все хлеб. В деревнях и того нет. Сладко едят купцы, которые в шубах и в валенках, они брат, того... Охо-хо-о! — погрозил кнутом в сумерки. — Терпи, мужик, атаман будешь! Да-ай срок!.. Ты, тетка, что посинела? — легонько толкнул он Марину в бок...

Она была голодна со вчерашнего дня и шибко перезябла. Ситцевый платок лежал на голове словно ледяная корка. Ноги в тряпичных чулках пыталась укрыть шубенкой, но она коротка. Застылыми губами отозвалась мужику:

— Озябла... А далеко еще ехать, дядя?

— Всего-то? Авось верстов с десять от вокзалу. Видишь, в лес въехали, тут потише... Но-о, тащись, выдра!

Неясно горят электрические огни, и неясным далеким шумом наполнен этот белый громадный каменный дом. В полутьме просторной приемной Марина сидит на широкой крашеной лавке. Тут тепло, — ах, как тепло! Отогреваясь, она дрожит осиновым листом, выколачивая зубами «Барыню».

Но вот она в уютной комнате. Под ногами что-то мягкое. На столе под зеленым абажуром яркий свет. В белом халате стоит невеличка, худенькая, и глаза ее, точно смородинки черные, брызгают теплоту и ласку на круглое и такое скорбное лицо простой бабы на возрасте.

— А знаешь ли, куда тебя привезли?

Марина, не задумываясь, быстро ответила:

— Везли в Подольскую лечебницу, но Подольск проехали, теперь уж и не знаю, куда...

— В сумасшедший дом, — сказала вдруг невеличка пошибче.

От неожиданности Марина смутилась и испуганно оглянулась.

Вошла высокая, полная, средних лет женщина, в сером платье, при часиках на серебряной цепочке.

— А-а, пришла добруша докторица! А мне нынче молочка не дали! — закричала одна из больных.

Докторица погрозила ей пальцем и, улыбаясь, пошла между кроватями, кивая всем. Рыжеватая го-

лова ее золотилась при свете электричества. У изголовья Марининой кровати спросила:

— Ты новенькая? Как тебя зовут?

Марина запрокинула голову, уставилась на спокойное лицо под густыми русыми бровями, — глаза добрые-добрые, серые. И название «добруша» так пристало ей.

— А вы разве меня не знаете? Мариной меня зовут.

— Нет, не знаю, — усмехнулась докторица, — первый раз тебя вижу. Впрочем, мы с тобой завтра поговорим.

Ночь не в ночь показалась Марине, а какая-то жуткая тревога. Как бы удивленно выпучив глаза, электричество светило в два света, обшаривая все углы и кровати. Вон на той, дальней, с подушки поднялась растрепанная голова, молится на окно. А там, видит Марина, какая-то накинула на голову белый платок, сидит, в карты играет одна. Кто-то в углу хрипит, как удавленник. Вблизи под одеялом всхлипывают. Кто-то идет, шлепая ногами. А где-то хихикают, шипят и вскрикивают. Надзирательница и две няньки молча сидят и не спят.

Утром Марина спустилась с кровати, прибрала свою постель, подушку жесткую взбила, причесала пальцами волосы, закрутила в пучок; стоит в одной рубахе и не знает, что делать.

— Иди умываться, чего растяпилась, новая!

Хватилась платья — нет его. Так жалко — синенькое, новое. Проходившая нянька огорчила еще больше:

— Платья тебе не полагается до разрешения доктора, и две недели надо сидеть в кровати.

— А умываться как же?

— Смотри, как другие, так и ты. — Все спешили, накинув одеяла.

Умывались в ванной. Нянька стояла с полотенцем и не выпускала его из рук.

В кровать принесли Марине ломоть ситного, сладкий чай в жестяной кружке; и другие, что остались в кроватях, также пили чай в одних рубахах. Нет тут звонка замков. Не было ни часовых ни поверки. Только решетки на окнах напоминали тюрьму.

— Для чего это они? — кивая на окно, спросила Марина лежащую рядом бабу, черную, как обгорелая головешка.

Приподнимая голову с косицами, она бойко ответила:

— Без этого нельзя. Я ведь не знаю, какая ты, — может, бешеная. Вот выскочишь да вышибешь раму, ежели без решетки.

Это показалось Марине так несуразно-чудно, что чуть не подавилась от смеха, сжала рот подушкой, и опять к ней.

— Вот и кровати — в той палате низенькие, а тут для чего-то высокие, и ни стола, и ни стула нет, и никакой скамейки.

Бабенка, глупо улыбаясь, сказала:

— Ну, милая, захочешь спать, влезешь и без скамейки. С низенькой-то я ночью улизну, ты и не увидишь. Надзирательницам надо, чтобы мы, как петухи, на крышу прыгали... А ты чего зубы скалишь? — и глаза у нее загорелись, как у кошки.

После обеда все легли в кровати. Головешка шипит:

— Ты чего, тетка, сидишь? У нас тут мертвый час.

«На-ко поди, слова какие страшные! Ну и житье тут!» — вздохнула Марина.

Так и потекла ее жизнь в сумасшедшем доме, в страхе и ожидании конца своей участи.

На третий день нянька грубо позвала ее:

— Иди за мной! Доктор тебя зовет.

Из левой палаты в коридор выбежала в грязной рубахе девка ли, баба ли, щуплая, землистая, черные косы растрепаны, глаза бессмысленные, овечьи. Она бухнулась перед Мариной на колени:

— Матушка богородица, спаси от бесов лукавых! Тут они, под кроватью, пресвятая!..

— Ох ты, вот несчастная! — вздохнула Марина.

В докторском кабинете, поглядывая на часики, сидит в белом халате та, которую назвали «Добруша». Глаза ее серые светились приветом; кивнула на стул против себя, с минуту разглядывала голову с проседью, блеклое лицо, босые ноги и, привалясь грудью к столу, спросила:

— Ну, расскажи, Марина, за что тебя арестовали и когда? Затем — о своей жизни.

В кабинете прохладно, да и от волнения по телу Марины забегали мурашки. Натащила на плечи съехавшее одеяло. На глазах ее дрожат слезы, — за долгое время впервые видит ласковый взгляд. «Бабы, — подумала она, — есть всякие, но с этой, видать, можно говорить просто, по душам». Чистосердечно начала рассказывать:

— Плохо жилось, милая, и все оттого — упрямая я, не умела душой кривить да на свару не годилась. Другие бабы накричат с мужем, на драку лезут, ругаются, а я взгляда мужнего боялась: он, мол, над женой глава, закон, обет богу в венцах давала. Вкоренилось это от бабки и матери. И сколько на мою головушку побоев пало!

Рассказывая, Марина горько плакала и нервно всплескивала руками.

— ...Беда в том, милая доктор, разные мы с мужем: он в торговле — баш на баш наживать, а я прочь от лавки, как чорт от ладану. Так промежду нас черная кошка и играла. Дети большие, жить только начали...

И видит докторша: сидит перед ней не притворщица, а совсем больная, исхлестанная жизнью неворoватая баба, запуганная судом. Раздумалась она о том, как жизнь и закон сурово и круто давят бабу, и захотелось ей помочь Марине, и решила она про себя добиться ее оправдания.

— А какое ждет меня наказание, доктор милая? Сказала бы!

— Дело твое еще не присылали, и я, дорогуша, ничего сейчас не могу сказать.

В голосе ее Марина снова подметила тепло и участие. С этих пор стала она для Марины на всю жизнь «добрушей».

Через три дня ее снова позвали в кабинет. Стыдясь своей худобы, Марина в одной рубахе стала у окна. В кабинете еще один доктор. Вместо бороды на подбородке черненький хвостик, и на верхней губе еще два хвостика. Сам длинный да тонкий и все смотрит на Добрушу; голос его взыскательный.

— Это, понятно, душевнобольная, но в какой мере?

Добруша серыми глазами дотронулась до белого листа на столе, ответила:

— Истерия...

Две недели испытания в одной рубахе кончились. Марине разрешено ходить по коридору и обедать в столовой. Высокая и желтая старуха, нянька Снафида, выдала ей дырявые туфли, старое платье. Платок на голову не дала, — удавится еще, кто ее знает? Все они, тихони, себе на уме.

Столовая обширная, светлая, чистая. Столы под белыми скатертями. Няньки проворно снуют с тарелками. Откуда-то набралось с полсотни женщин; у каждой на лице свое безумие: угрюмое, любопытно-злое, дурковато-смешливое. Молчаливо садится каждая на свое место, недоверчиво осматривает свою ложку, хлеб. Смущаясь, что у ней одной суп, Марина чувствует себя среди безумцев чужой, глупой, и с непривычки ей жутко. Хочется убежать куда-нибудь подальше и поскорее.

Марине скучно, тоскливо. У стола, изможденная тихим безумием, молодая или старая — не понять, сидит, не шевелясь, тусклые глаза уставила в пол. Другая — лет тридцати, черноволосая, очень миловидная, черная родинка над бровью. Крепко сжатые пухлые губы делают лицо ее строгим. Торопливо вяжет она чулок. Клубок желтых тонких ниток перекатывается по столу. Кажется, она ничего не слышит, не видит — кроме своего чулка, и ничто не указывает на ее безумие. Наталья прислонилась к плечу Марины, рада новому человеку, тихо говорит:

— Все тут малосознательные, здоровых в этом дому не держат.

Марина сбоку взглянула ей в лицо, — лоб белый, под черными бровями синеватые глаза, щеки румянятся, говорит складно. Почему же она тут? Ответом заныло сердце: «Али я лучше их?» Набежали слезы, — смахнула рукой, чтоб никто не видел. И не знает, не видит Марина — за ней тенью ходит нянька Феня и о каждом шаге, каждом взгляде и о слезах доложит надзирательнице, и все будет записано в «историю болезни».

Марина пошла в другую сторону, где помещаются «безнадежно-больные». Только успела подойти к отделению, ее встретила с поклоном тонколикая, с высокой прической и вся в пестрых бантиках:

— Здравствуйте! Вы начальство? Это хорошо. Мы... нас огромная семья. Значит, прошенье дошло до вас?

Марина испуганно попятилась.

— Проходите, проходите, — высунулась из-за перегородки другая, изъеденная морщинами.

Марина осмелела.

В комнате на столе, у окна какие-то пузырьки, свертки старой, порыжелой бумаги, узелки с тряпьем. У кровати две худые, ветхие картонки.

— Уже приготовились на выезд в собственный дворец, — развела руками хозяйка в бантиках и гордо выпрямилась.

За этот месяц Марина привыкла к ночным и дневным страхам. Мелькнувшее когда-то в Бутырках ожидание свободы выплывает тут, как забытый сон. Угнетает неизвестность. На прогулку никого и никогда не выпускают. Скучая, слоняется по длинному коридору день за днем, час за часом, Марина. Бродит за ней и здоровая, стриженая девка, и все смотрит сиротливо-грустными глазами. Жалко ее Марине, — страдает она, и не видно, чтобы была без ума.

И узнала Марина горестную историю этой Дашки. Нянькой у кого-то она жила. Надоело ли ей няньчиться, либо злая была на хозяев, может, и по глупости, только всадила она дитенку в темя булавок. Куда ее деть, несовершеннолетнюю? Доктора признали ее не в своем уме, ну, значит, и сюда. А тут порядок такой — через три месяца решенье: ежели не в тюрьму, то на выписку или родным на поруки. А у ней не оказалось ни роду ни племени, сирота круглая. Вот и живет тут уже два года, и нет-нет, да и выкинет какую штуку. Знамо, с тоски. Попробуй-ка с сумасшедшими пожить, и сама сойдешь с ума...

Слушает Марина страшное Дашкино «дело», и жалко ей девушку.

— А ты сама-то давно здесь? Как же это ты? — спрашивает Марина Наталью.

Поникнув головой, Наталья глубоко вздохнула и, глядя на свои ноги в стоптанных туфлях, тихо заговорила:

— У всех у нас есть, хотя и не поровну, да по горю. Вступило мне в голову, когда мужа и сына убили на войне и тут же корова пала. Зачем я тогда свою избу сожгла — и по сей день не знаю. Изба на краю деревни. Мужики не встревали, и без того горя много. Взъярился мироед тамошний, Удойкин, жалобу подал по начальству. Я вою, как дикий кабан, круг своего пожарища... Арестовали. Из тюрьмы такая широкая дорога в сумасшедший дом. За эти три года тут трижды с ума сойти можно. Вот-вот, думается, выпустят, — ан, нет. Заметят — задумалась либо еще что, по-ихнему, по-ученому, «повторно заболела». В прошлом году отпустили, до чугунки надзирательница провожала. Дорогой, от радости что ли расплакалась я. «Вредный ты, вишь, человек для жизни», — говорит надзирательница, и вернулась, теперь уж навсегда.

В этот же вечер перед ужином вышел случай необычайный, потрясающий. Надзирательница и нянька в испуге оцепенели. Ходякова, этот живой покойник, вдруг откинула простыню и сама — в три шага — очутилась в коридоре, как смерть длинная, страшная. Сколько лет слова от нее не слыхивали, а тут размахивает руками, кричит могильным голосом:

— Спасайтесь, голод идет!.. Много людей, миллионы! Хлеба, кричат, хлеба!.. Вот они, смотрите! Кровь! Война! Смерть! Бегите, спасайтесь! — и, как подкошенная, свалилась на пол.

Ее подхватили, легкую, словно вязанку сухих лучин, и на кровать.

«Умерла», — подумала Марина, вздрагивая.

Все боялись пошевелиться.

— Перед концом всегда так — порыв жизненной энергии, — объяснила Линда.

— Да, да, говори! Это она пророчила, матушка, мученица, прозорливица... — хныкала Огурциха.

Пришло ясное утро, и Ходякову, как всегда, унесли кормить.

Однажды днем в тихую дверь вошли незнакомые,

в кожаных картузах, пыльных сапогах, деловые, с кожаными штуками подмышкой, и Добруша тут... Прошли, и все затихло. По коридору пугливо засеменила «богородица». Заложив руки за спину и задрав нос, важно прошла Дашка. Хлопочут надзирательницы.

На другой день пришли рабочие-мужики, все решетки на окнах выломали, говорят:

— Свобода теперь, всем свобода! Ни решеток ни цепей. Кончено!

Мужики ничего не сказали, что, мол, выпускать станут всех. А Марине все же думалось, может, и выпустят кого. Огурцова с Натальей даже поругались.

— Натаха, собирай свои манатки, — вишь, свобода. Тебе давно хотелось. Летай, иди вороной!

— Ничего, вытянут и тебя, толстую Огурциху, — огрызалась Наталья, — и работать будешь у зятя за хлеб. Вишь, перину сюда приспособила. Сродники-то рады, сто подушек натаскали... Дура дурой, а ругаться умеешь!

В палате только что затихло. Надзирательницы и няньки торопливо подняли Катерину Ходякову, надели чистую рубаху, белое платье и на руках понесли. Феня на ходу оповестила:

— Приехали за ней. На свободу политичных всех отсюда вон, а боле никого.

О «старом деле» никто не поминал Марине, и «политичной» она себя не считала, но сердце завистливо дрогнуло. На лице Натальи красные пятна, губы кусает. Окся перебирает листовку и молится вслух:

— Спаси, спасе, и не введи во искушение...

А в окна на этих «бессознательных» глядит ясный, ликующий день.

Но что это? Ходякову принесли обратно. Укрывая ее простыней, Феня ворчит:

— Ну что с ней будем делать? Чуть живая. Что ее ни спросят, ничего не понимает, молчит, и глаза стали на одном месте. Пожалели ее те, что на машине приехали: «Пропал, вишь, политический человек, не дождалась свободушки».

Так и не было в сумасшедшем доме никаких пере-

мен во времена великих событий. И умерла Ходякова под простыней в начале великого поста, в какой час — никто и не видал.

Приехала комиссия. Завтра суд. Вечером докторица долго беседовала с Мариной.

Утром стоит она перед комиссией твердо и прямо, синее платье оттеняет бледность ее круглого лица. На голове коричневый платок. У края тонкая серая прядь волос определяет возраст. Вдоль широкого лба три борозды — знак горько пройденной жизни. По-обычному вокруг стола доктора и судьи, но все как-то просто, свободно. С краю, где она стоит, — свободный стул; на другом сидит старенький, бородка белая, глаза серые горят, как свечечки. Марине бросилась в глаза яркая звездочка на груди его. «Прокурор», — мелькнула мысль, и ноги со страху зашлись.

— А! Эта самая... Садись вот тут, — указал рядом на стул. — Ну-ка скажи, как тебя зовут?

Теплота его голоса коснулась больной души, лицо ее осветилось улыбкой, назвала себя.

— Так, Марина Петровна. А что ты подумала, когда твоя дочь сказала, что ты отца топором зарубила?

Сразу — словно камнем в голову — Марина растерялась. Язык онемел. Приставила руку ко лбу, вот-вот хлынут слезы... Встретилась с глазами Добруши, окрепла, нашлись слова.

— Я тогда очень испугалась, господа судьи, и не умею высказать, что меня заставило это сделать и как сталось это страшное дело. Ничего не помню, как бы я окунулась в потемки. Но я виновата и надеюсь на ваш праведный суд.

И все доктора и судьи отвели с лица ее свои глаза на бумаги, разложенные перед каждым на столе. А старичок со звездой положил руку ей на плечо и опять так же просто сказал:

— За свою вину ты наказана... — и он улыбнулся.

О чем еще говорилось, Марина не вслушивалась. Спускаясь с Линдой по лестнице, спросила:

— Что же мне ничего не сказали, а? Линда Ивановна! — и голос Марины дрогнул.

— Узнаешь потом.

Потемневшая Марина мечется по коридору. На каждый чужой шаг трепещет сердце. Вот и Добруша; идет важная, улыбистая; взяла за руку, повела в кабинет и поцеловала ее.

— Поздравляю тебя, голубушка, с окончанием твоего заключения. Комиссия и доктор признали — во время действия, тобой совершенного — припадок затмения ума, и дали полную тебе свободу.

Чувство свободы опалило солнечным жаром. Разве найдешь в эту минуту нужные слова! Благодарность, облегченье и радость смешались в крупных теплых слезах.

— Ты можешь хоть завтра итти или ехать, куда тебе надо, — продолжает Добруша. — Но ты, Марина, в казенной одежде... твоя, говоришь, пропала во время разгрома тюремного цейхауза? Туда и на освобожденье тебя направим, в больницу, — там выдадут, во что одеться. Отсюда отправляют в определенный день, придется тебе здесь немного побыть.

— Ну, что значит несколько дней!

И вот она последний раз в кабинете.

— Мое пожелание — всего хорошего тебе, Марина Петровна, и помни мой совет: живи подальше от своего мужа, как можно дальше.

Милая, милая Добруша! Стоит высокая, полная, играет серебряной цепочкой от часов. Голова золотится, глаза серые, ласковые.

— Прощай, Добруша, прощай! Не забуду твоего совета.

Марину сопровождали до Москвы два солдата без ружей и фельдшерица. Ей надо сдать Марину и еще троих, как имущество казенное. До станции Столбовая прогремели на деревенской кляче. Поезд как раз на отходе. Сели в общий вагон. Окна без решеток и

все настежь открыты. Народ веселый, говорливый. Там, где Марина, трое солдат с походными сумками: ружья на лавке, лица бурые, глаза беззаботные, и сразу вступили в беседу с конвоем.

— Тоже и вы, товарищи, к домам трафите?

Конвой беспокойно завозился.

— Нет! На службе по-старому. Война до победного... генерал Корнилов...

Солдаты покосились на ружья и будто не слыхали «до победного». Один ответил за всех:

— Та-ак, значит, на службе... А у нас, брат, на войне поговаривают: домой. Будя, пострадали!

— А знаете, ведь поезда не ходили с Курского вокзала два дня, — ввязался с новостью другой гражданин. — Такая буря была, братец ты мой, никто не запомнит! На три аршина снегу, заносы на путях... Тут два предмета причиною: произволенье божье и Никола-чудотворец.

— Мели, Емеля, твоя неделя, — угрюмо перебил другой, в сальном картузе. — Да и откуда ты, гражданин, взял «произволенье божье»? Просто-напросто стихия природы подошла, сила в ней громадная. А то Никола? Да кто он такой? На вселенском соборе архипастырю Арию съездил в зубы, вот и чудотворец. Не веришь — загляни в библию.

«И правда, свекор молился ему, а называл драчуном», — усмехаясь, подумала Марина, а сама глазами туда-сюда. Бабы все подсолнухи лущат. А те две молодухи, не переставая, смеются с солдатами. А это кто такая? Словно знакомая...

— Наталья! Батюшки, да как же ты это?

Наталья румяная, веселая, башмаки скрипят; села рядом.

— Тише! Чего гайкаешь? Благо фершелица из мужичьего отделения, не знает меня. Сейчас на остановке слезу... Тебя-то освободили? Вот и ладно. Ну, а я убежала. Там в лесочке, кустик за кустик, слышу — аукают меня, кричат. Окся-монашка догадалась, рукой машет: «беги, дескать, беги...» Я и дальше. Вижу, едет мужик. «Дядя, подвези к родным, в вашу деревню спешу». Он и нахлыстал лошадь...

Марина прислушивается, колеса выстукивают: ско-

рее-скорее... Вот и Москва, Курский вокзал. Полутемные тоннели. Народ валом валит. Фельдшерица куда-то ушла справиться о подводе. Конвой стережет больных в вокзале у входа.

— Смотри-ка! Маруха! — крикнул ей, захлебываясь, подвыпивший парень, махая шапкой в дверь. — Там на доске написано: «Вся власть Советам рабочих и крестьянских депутатов...»

Марина вытянула голову: — Где, где?..

Сторонясь арестантов, народ снует мимо. Остромордый, в барашковой шапке, незнамо на кого злится:

— Сволота большевистская, съела царя!

Марина вытаращила глаза: как это съели?..

Близ кассы собрались в кучу мастеровые. В шум и гул врывается громкий голос:

— Экстренно, экстренно! Воззвание к народам всего мира, восьмичасовой рабочий день!..

— Ах, каналья! Врешь, сукин кот, нарочно, чтобы газет продать больше, — сердито ругнулся парень в трепаном пиджаке.

— От Керенского болтуна и его присных этого не дождешься: враги народу, душить привыкли.

— Нет уж, теперь мы подушим на-смерть эту белую свору... К чорту барские усадьбы! Горят! — оглядываясь и злобно сплевывая, ворчал сухолицый солдат.

«День ясный, а слова говорят такие страшные», — подумала Марина, чувствуя себя свободной и радостной.

Но ей себя не видно: лицо ее веселое, а вид плохой. В худых башмаках и без чулок — ноги на виду. Казенная шубенка овчинная замызгана, без ворота, на рукаве дыра. Платьишко арестантское, старенькое. На голове измятый вылинялый платок, узелком под шею. Сидит, как дурочка.

— Постой! Эва нищенка под конвоем! — крикнул кто-то. Какая-то, шмыгая носом, сунула Марине в колени половину калача.

— Помяни, касатка, убиенных воинов.

Прохожие останавливаются.

— Что такое? Почему конвой? Отменено давно!

В другой раз Марина обиделась бы — «нищенкой» назвали, а тут — пускай: внутри у нее праздник, она почти уж на свободе. В коленях у нее яблоки, баранки, хлеб и добрый кусок колбасы.

— Кушай, гражданка! Ку-уда хороши времена!

И не знает Марина, спасибо говорить или смеяться на такое хорошее, новое слово «гражданка».

Покатили на грузовике. Несется он, словно боится куда-то опоздать. Вечернее солнце, стыдливо краснея, спряталось за высокую каланчу Бутырского района. Лесная улица. Вот и тюрьма.

Утро. Тишину дразнит чей-то смех. Поверки нет, двери не заперты. Марина вышла в коридор. Надзирательница Самоха поздоровалась с Мариной, словно с родной.

Двери во двор открыты. Пришла сиделка, принесла с воли свертки, пакеты с сахаром и разной едой — порученья арестованных. Ходят они из палаты в палату. Сами тут же в коридоре разбирают себе чай, хлеб и уходят в садик, распивают на воздухе, песни поют. В палату заявился доктор-психиатр, совсем сбил с толку; прописал молока кружку на каждый день и сказал Марине:

— Вам придется побыть здесь недельку. Делам идет разборка.

Ка-ак! Знать, что дана свобода, и быть в заключении! Судьба, или ты смеешься?!

Прошло три дня, Марину позвали в контору. От комиссара пришел приказ: «Экстренно освободить на волю гражданку Мокееву».

Стало легко, легко! Казалось, крылья подхватили ввысь...

В конторе кудлатый спросил, куда ей дать билет на бесплатный проезд. Сердце Марины больно екнуло. Куда? Разве она знает? И сказала:

— Поеду в Подольск.

Дежурный фельдшер удивился: «Бесплатно билеты выдают на тысячу верст, а эта... Эх, жалко, пропадает!»

Душа Марины поет: «Свобода! Свобода милая, дорогая, желанная!.. Но что ты дашь мне? И что ждет меня там на воле?..»

ГЛАВА ПЯТАЯ

В МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ

Синяя туча покрыла небо, рокотала грозой, шлепались редкие крупные капли дождя, когда тюремные железные ворота захлопнулись за Мариной. Подобно нищей, в пестрой, редкой, как сито, полосатой юбке, остановилась она на панели, недоуменно оглядываясь.

Жизнь глухо бурлила человечьими голосами, надрывным граем ворон на деревьях, звоном трамваев, грохотом ломовиков и глухим гулом невидимых машин.

От уличного шума у Марины закружилась голова. Родилась колкая мысль: куда теперь? Пойти к дочери Мине, — жила она тут где-то недалеко, — сказать ей спасибо, что не забывала в тюрьме? Нет, к дочери она не пойдет, — ей стыдно будет за мать, слишком беден ее комитетский наряд.

«Уеду к невестке Маше», — подумала Марина. Хотелось скорей увидать милого, дорогого внучонка и сразу исполнить свое желание жить, не расставаясь с ним.

Маша обрадовалась свекрови, в первый же день сшила ей коричневое платье.

Чувствует Марина, — жизнь Маши без мужа течет своим собственным ручейком, своими молодыми желаньями, своими интересами. Марина поняла — она только гостья. Но, может быть, и к холодному камню можно присосаться, как морская губка?

— Маша, я хотела бы жить с тобой всегда, — ухаживать за внучонком и справлять домашние дела.

Маша задумалась, и этой думой сказался немой отказ.

— Жизнь не шутка, хлеб дают по карточкам. Уволят со службы, тогда что?

Первый жизненный островок Марины оказался каменистый, — стара она, бедна и беспомощна. Всем своим нутром Марина почувствовала: для нее свободен весь мир, но нет ей места, нет своего угла, где можно приклонить свою седеющую голову. Печаль тоненьким фитильком затлелась в сердце.

За год многое переменилось. Дети привыкли к своему положению. Петяйка с головой ушел в ученье. Клавдюшка стала смелая, шустрая, обрезала свои косицы и, потряхивая золотистой курчавой головой, несмотря на сплетни бабьи, ловко каталась верхом на «лисипеде».

В детях радость Марины. «Будь всегда такой, дочка, — шепчут ее губы, — не будь в мать. Будь смела, строй свою жизнь по-иному... И прощайте, прощайте, дети!.. Увидите ли вы еще когда-нибудь свою неладную старую мать? Но знайте, не пропадет она, пережившая все, что можно пережить...»

Вышла из дома, оглянулась, — соседки стояли поодаль. Смотрят на нее, не проронив ни слова. Марина чувствует косые, недоброжелательные взгляды на себе: она тюремница, отверженная. Акулина отряхнула подол, пошла в свой огород, и другие рассыпались по своим дворам.

Так печально и горько кончилась замужняя жизнь Марины. Забыть, поскорее забыть эту жизнь, что так безжалостно изломала, исковеркала и выкинула на пустой берег, всем чужую, одинокую.

Понесло ее, как старую щепку, бурными житейскими волнами дальше по течению. Она опять в Москве.

У купцов прачкой была на Дорогомиловской улице две недели, — тяжело, не осилила. Нанялась кухаркой. Господа взыскательные, кушанья мудреные она готовить не умеет. Через три дня разочли.

«Нет, я не ко двору тут», — подумала огорченная Марина. Собираться чего там! Шапку в охапку, рубашку-перемывашку в узелок, поклонилась хозяйке — и за дверь.

Слезая по лестнице, Марина увидела на второй площадке дверь с белой дощечкой «Инженер»: «Нужна прислуга».

Инженер невысокий, бородка светлая веничком, в глазах его серых что-то знакомое. Высверлил ее с головы до пяток.

— Я сейчас живу один, жена на даче. Вы должны убирать комнаты, готовить обед, главное — стеречь

квартиру. Ваше место в кухне. Жалованье три с полтиной в месяц со стиркой белья.

Кухня светлая, просторная, на плите керосинка и запачканная яйцами сковородка. Кровать с сенником в уголке. Розовая занавеска прячет полку с посудой. Марина улыбнулась, — она целые дни будет одна, совсем одна. Ах, как хорошо, просто умирать не надо!.. «Эх, кабы корочку хлебца! Поищу, — может, где есть...»

В передней большой сундук, на нем кучка газет. Прошла в комнаты. Полы налощены, что зеркала, и чего-чего только нет, какого добра!. В спальной две одинаковые кровати, покрывала розовые шелковые... но хотя бы где какая корочка!

Взяла газету, села в кухне у окна. Хозяин пришел поздно.

Ночью голодную Марину кусали клопы, тоже голодные. До свету не спалось. Утром хозяин сделал выговор:

— Вы газету брали? Я вас, кажется, предупреждал, чтоб ничего не трогали.

— Но... но я ничего с ней не сделала. Положила, где была.

— Вот вам карточка ваша на хлеб и тридцать копеек серебром. Купите керосину, сготовьте обед к трем часам.

Елозя на коленях, Марина натирала пол и дивилась: «Хлеб по карточке? Батюшки, чтой-то!..» Убрала барскую кровать и с салфеткой вышла на улицу.

У ворот дворник, с метлой при фартуке.

— Скажите, пожалуйста, где хлеб купить на карточку?

Дворник усмехнулся:

— Дают, да не каждый день. Иди в ту сторону, увидишь булочную.

Подошла Марина к булочной и видит — бабы всякие, и фабричные, и прислуги, стоят длинным-длинным рядом, ждут, когда хлеб привезут.

Марина ждет и высчитывает: «Керосину два фунта, картошки, хлеба, лучку, капусты... Денег не-

хватает. Ну, какой же тут обед? Что он, хозяин, с ума сошел?..»

«Эх, поганое дело — кухарничать!» В глазах мерещится Киев.

— Хлеб везут! Хлеб! Хлеб!

Бабы закаркали, что стая ворон, во сто глоток и кинулись к двери булочной, сшибли старичка на складном стульчике:

— Расселся, гнилой тилигент!

— Караул, господа!.. Очумела женская нация!

Через час Марина получила по карточке полфунта хлеба.

Усталая, голодная, возится она в кухне. Не успела червяка заморить горячей картошинкой, инженер пришел — и прямо в кухню. Сунул нос в кастрюлю с пустыми щами, сосчитал глазами нечищенную картошку. Откуда-то набрал целый ворох белья грязного и мыла кусочек.

— А это две карточки на двоих. Завтра продукты получать, узнаете — в каком магазине, и возьмите все, что дают. Вот деньги, но вы их не потеряйте и не прозевайте. Надо раньше... — Толкует барин и все на остатки обеда поглядывает. — Итак, значит, завтра обеда не надо готовить.

— Чорт жадный! — сердилась Марина. — На стирку мыла дал, словно просвирку трехкопеечную.

По карточкам Марина получила на две души фунт пшена, фунт гороху, два фунта белой муки и полфунта сахару-песку. «Значит, с хозяином пополам!» — обрадовалась она.

Дома торопилась со стиркой. Инженер пришел вечером и прежде всего спрятал под замок пакеты с продуктами.

— Что же вы так-то? Там на две души. Я бы и себе чего сварила...

Хозяин обернулся, в глазах жадный огонек.

— Это для нас с женой, она приедет. А вы что-нибудь, осталось вчерашнее... Вот вам на завтра двадцать копеек.

Закипело сердце у Марины, брови нахмурила. «Будь ты проклят, дохлый тилигент!»

«Нет, так жить не годится», — твердо решила Ма-

рина. Утром, лишь инженер вышел, засунула двадцать копеек в тряпочку, квартиру на замок, и пошла на трамвай. Она еще раньше слыхала, что в Кремле дают справки о пленных.

В Кремле заплуталась. Деловые люди спешат туда и сюда, и куда ни глянь — солдаты. Перед нею крыльцо на чугунных столбах. Вошла в стеклянные двери и растерялась. Стоят два солдата с ружьями, блестят штыки, кругом гудят солдатские голоса.

— Ты, тетушка, за чем зашла? — спросил один с ружьем, голос у него добрый, тихий.

Марина сразу стала смелее.

— Про сына бы мне узнать, солдатик милый. Может, и не жив, а может, в плену...

— А-а! Так, тетушка, тебе надо вот куда, — участливо заговорил другой. — Выйдешь отсюда, и наискось крыльцо такое низкое, там жил великий князь, брат царев. Прямо туда и катись.

Пришла туда Марина, дивится: вот он «переворот» какой. Цари жили, а уж простые солдаты командуют здесь, и народу простому доступ свободный. Здесь он — Совет солдатских депутатов. В четыре комнаты заглянула — во всех солдаты, усталые, прокуренные, заняты делом. Тут и «женская нация». Пришли скорбные да заплаканные, пришибленные. Всех солдаты выслушивают, записывают и куда-нибудь направляют.

Марина все рассказала про сына, даже взгрустнулось ей. Солдатик с молодыми усиками, голубоглазый, записал и, словно сын родной, наказывает:

— Деньков через пяток приди, бабонька, все справки наведем. Иди, не горюй.

Куда там «не горюй»! Слезы словно прорвало от ласковых слов.

У порога Марина приостановилась. Разговор у другого стола крупный, и мужики тут толпятся со своим делом да слушают.

— Да ты откуда? — строго спрашивает пожилой небритый солдат молодицу, захудалую.

Всхлипывая в фартук, она что-то ему отвечает.

— Иди, стало быть, по Тверской улице, — говорит он ей, сдвинув на макушку бескозырку. — Как выйдешь из Кремля, прямо будет улица, по той улице

иди. Налево переулок Гнездниковский Малый, и туда повернешь. Там против церквушки увидишь домик небольшой. Тут и выдают по надобности всем, кто из тюрьмы вышел, бесплатный проезд. Поняла?

У Марины даже дух захватило от радости. Туда, туда и ей надо! «Что будет? Может, дадут, и уеду, уеду!..» Стыдясь сказать, что и она была в тюрьме, шла незаметно за той молодицей, шла легкой походкой, заглядывая в переулки, нет ли церквушки. И все нашлось, как солдат наказывал. Это, значит, тоже от ихнего Совета депутатов.

В помещении стоят и сидят, народ тюремный — сразу видно. Марина стала у барьерчика позади молодухи.

Марине кивнула курносая, по-мальчишески вихрястая девушка.

— Ты, гражданка, по какому делу?

Пояснила свое дело, путаясь в словах, и добавила:

— Следственная я, — сидела. А теперь хочу в Киев уехать.

Ушла девушка, и через несколько минут вернулась.

— Извольте, гражданка! Вот вам проезд бесплатный, это на дорогу, а это талончик — сейчас купите себе хлеба. Прямо из переулка на улице бо-ольшая булочная!

— Так скоро и можно ехать? Ах ты, милая! Ой-ой-ой, — вот так переворот российский! — невольно вырвалась наружу ее радость.

Не сон ли это? Нет, — в руке бумажка и зеленая трешница. Счастливый день! Все выходило так плавно, и кстати.

Утренняя заря румянцем захватила полнеба и играла в волнах. Отражая розовое небо, седой Днепр неумолчно шептал и плескался у берега цветущей горы. Спускаясь по крутой дороге, с узелком в руках, Марина любовалась восходившим солнцем, красотой и величием города Киева.

На Подвальной разыскала домишко, в котором когда-то жила с Настасьей. Нет, уж и дорожка к нему

заросла травой-муравой. Пошла обратно, раздумывая о себе. К чему она пригодна? На тяжелую работу сил нет, кухарничать не умеет по-господски. Няньчить детей — бередить сердечные болячки.

На Владимирской улице у чьего-то палисадника присела отдохнуть на травке, разглядывая редких прохожих. Напротив каменный дом, огромный, круглый, со стеклянной крышей, — он показался ей похожим на фарфоровую сахарницу. У дворника в фартуке спросила:

— Что это за дом?

Дворник не спеша, почесывая бороду, усмехнулся.

— Що ж, приблудна яка, не знаешь, що вона — Рада? Так и мала дытына знае...

Марина смотрит на его сивую бороду. Нет, она не знает, что это за Рада.

А улица такая широкая, манит дальше. Дома большие, красивые. Каштаны, акации стоят ровными рядами. А дух-от, дух! И нет торопливости московской, и трамваев не слышно.

Поднялась, пошла. Побрела на Фундуклеевскую. Тут и булочная, очереди нет. Это ее удивило. Остановилась у окна. За стеклом караваи хлеба, булки, пряники.

Подошла женщина в какой-то поддергайке на плечах, лицо усталое. Марина спросила:

— Тетенька, ты, может, тутошная? Как бы мне к больнице пройти? Будь ласкова, укажи...

— Сейчас только я из больницы, — досадливо ответила женщина. — Народу больного, беда, много! Нянек нехватает,

Ловя на лету адрес больницы, Марина забыла и о хлебе и вскоре очутилась в конторе больницы.

Немного погодя в приемную вошел высокий человек в сюртуке. Марина поднялась.

— Скажите, с кем бы мне поговорить насчет работы?

— Вот я самый и есть, кого тебе надо. Я Войцеховский. За больными ухаживать сейчас мест нет, а нам нужна женщина обслуживать одиноких докторов. Дело суетное, но, если согласна, иди на кухню.

На дворе Марина деловито и смело спросила сторожа:

— Дяденька, где у вас тут кухня?

— Аль поступила? — шевельнулись тараканьи усишки. — Иди прямо, во-он белый корпус, хирургическая, а подальше борщом запахнет — там и кухня.

Кухонные бабы равнодушно посмотрели на Марину; одна, молодая и бойкая, спросила:

— Дальная, знать, бабка? Как же это ты собралась ехать, не побоялась?

Марина неохотно ответила:

— Надумала — и приехала. Волков бояться, в лес не ходить, — и, не желая расспросов, шибче загремела черпаком.

После ужина Марина сидела у ворот на лавочке со сторожем, Ионой Деревянченко. Тут были и степенные, семейные санитары. Ей хотелось узнать, — может, и в Киеве тоже есть Советы солдатских депутатов?

Осмелев, она сказала:

— В Москве давно забыли о царях. Там во дворцах Советы... А заместо царя Керенский. Да рабочим он не по нраву. Свою, говорят, надо власть. И солдаты тоже с рабочими.

Ночевать пришлось ей в старом нежилом доме. Утром вскочила — и за дверь. Где-то кукарекал петух. Заторопилась к воротам.

Войцеховский уж бродит тут, у приемной. Не замечая Марины, швырнул щепкой в петуха и выругался:

— Пся крев!

«Поляк», — подумала Марина, раньше слыхала это «пся крев» и, улыбаясь, промолвила:

— Доброе утро, пан Войцеховский! Работу указывай, чего делать-то?

От неожиданности он дернул головой. «Вот заботная! И мова добрая...»

— Добже, добже, — ответил, двигая лохматыми бровями. — Марьяна звать? Добже. Пойдем.

После ужина Войцеховский позвал ее в контору:

— Зайди на минутку... Матренкин, запиши с сегодняшнего дня на жительство вот эту... — затруд-

няясь, как назвать, похлопал Марину по плечу. — Всем угодила. Ловкая ухватка у тебя, старуха. Раньше доктора сами за обедом ходили, а ты кругом поспела. Спать иди на кухню к главному. Ольга Алексеевна, жена его, довольна тобой. Там и поживи пока что.

Марине на кухне почет.

— Бабушку пропустите, докторам берет! Чего столпились? Успеете! — кричала дежурная тетка Авдотья. — Давай, бабушка, твою посуду...

Санитары молча отступали. Марину смущало такое внимание.

Подошла первая получка жалованья. В конторе сизый табачный дым и крепкий запах карболки от халатов. Собрались «коноводы», — так определила Марина тех санитаров, которые чаще на глаза попадались. Марина уже знала всех. Вдовый Павло Цапеля. Николай Гай — крупный деревенский парень с серыми, всегда печальными глазами; он в больнице недавно, любит бывать на народе. Василь Чубатый — молодой, веселый; про все-то он знает и первый затейник всяких разговоров. Иван Рудник — кочегар, насмешливый и умный мужик. «Как и все мастеровые», — думает о нем Марина, присаживаясь на подоконнике. У дворника Степана Бодулина спросила:

— И за Лукерью, Степан, получаешь, аль она еще на дежурстве?

Сморгнув с голубых глаз задумчивость и почесывая тощую шею, Бодулин нехотя ответил:

— Пускай сама. И всей-то получки — кошке на кашку.

— Бабушка! — крикнул Войцеховский, отрезая ножницами денежные знаки.

Марина получила свое жалованье за полтора месяца, — двадцатирублевая желтенькая бумажка — керенка и на рубль бумажной мелочи.

— Крепче, держи, бабушка! Смотри, не потеряй керенку. Да не думай, что это ярлык от винного шкалика, — шутила подошедшая Лукерья.

Через месяц у Марины появились обновки. Она работает, но мечтает о другой, радостной жизни.

Проходило лето. Наступили дни ненастные, плаксивые. Над Киевом повисли мокрые тучи, в город пришел Петлюра с казаками, пришел ночью, тихо, воровато. Санитары ходили по двору празднично-довольные, шумели у кухни с ведрами, и в ожидании ужина коноводы завели разговоры.

– Та-ак, браты!.. У Киеви Рада украинска центральна. Батька Петлюра не враг народу, свой чоловик, — и угри расцветали на изумленном лице Павла Цапели.

Взволнованно, ероша на голове вихры, Николай Гай уверял:

— Призывна грамота объявилась, таки важны слова: «Украинска народна республика». Сам видел на дверях собора. Будя, повоевали! Народ обнищал, измаялись...

— Стой, Оксанка, давай послухаем!

Остановились, спуская с рук носилки. У Василия брови прямые, упрямые; тряхнув чубом, гаркнул во всю глотку:

— Здорово живет независима Украина!

Толстая Авдотья, утерев фартуком рябое лицо, похваляется:

— Дай, боже, здоровья нашему батьку Петлюре: на базаре хлеба и сала — целые возы!

Степан дворник, ерзая на лавочке, смотрит в сторону, бурчит:

— Базар — мужик гроши казал, а казенка на запоре.

— Священна война — пить сивуху нельзя, — съязвила Оксанка и захохотала.

— Дура непетая! — выругалась Авдотья. — Я про базар, а она...

Из операционной выходит Павло. Ветер словно того и ждал, взмахнул полосатый халат ему на голову.

— Базар — это указка жизни, — утверждает Василь, застегивая кожух. — Это одна сторона. Дру-

гая... вы разве не слыхали?.. В Питере солдаты бунтуются и в отряды собираются. Это неспроста, в городе балакают.

— Ш-ш-ш... Доктора и персонал больше знают, — зашипел Павло, зачем-то приставив руку к ушам. — Слыхал я, доктор Зейдель бачил — в Москве большевик Ленин и советская власть, а это...

В эту ночь сразу завыла мятель. Пошли дни белые, пошли ночи зимние, снежные. В небе яркие звезды. Кругом глубокая, холодная тишина.

Посетитель, сутулый и серый, пришел к больной жене с Липок — окраины города — и вселил санитарам тревогу.

— От Москвы, — говорит он, — красные большевики подходят к Киеву.

И опять больничные мужики собираются в кучки. Андриян и Сережка из тифозной убежали покалякать.

— Не дай пан-бог новую войну! — страшится Никола Гай. — Убьют — это ладно...

Но он не договаривает того, что неотступным кошмаром всегда стоит в его памяти. Как его офицер заставлял пристрелить Ветелкина из своей роты, сошедшего с ума от ужаса при виде людей, взлетевших на воздух при разрыве бомбы. И он, Никола, вместо Ветелкина, ухлопал из ружья офицера и бежал с войны.

— Ладно убьют, это ты верно, Николка, но надо знать, за кого и зачем воевать, — тряс чахлой бородкой Степан.

В глазах Степана горела ненависть. Умрет — не забудет обид. Помещик Куртаев выпорол его, а невесту Ганну испортил и в монастырь запрятал.

— Да... да как еще пустят. Петлюра тоже не дурак, — шамкал подъеденный молью старикашка.

— Ну, и красные тоже не плохи. Наловчились воевать, — гремел костылями худой, истомленный солдат.

Марина слушала и догадывалась: не иначе красные — это те самые солдатские депутаты, и ей хотелось — поскорее бы они пришли. Уж тогда она, наверное, не будет носить такое обидное звание — «прислужница».

Большевики пришли. Тишина над Киевом вздрогнула. Летели снаряды и где-то разрывались. Сторож Деревянченко перекрестился, да так и остался с шапкой в руке.

«Вот она — война», — испуганно побледнев, подумала Марина, выходя на крыльцо.

У ворот больницы толпились в кожухах жители двора. Прислушиваясь к выстрелам, сторожко ловили слова Сережки-санитара, который прибежал из города. Размахивая руками, тот божился:

— Разрази на месте, вся Рада разбежалась, кто куда! Петлюра в пузыре улетел... сам видел — бьются вояки красные дуже люто. Ну, и казаки так же. Кровь, як на войне, ручьем бежит. Убитых!.. — и он замолк, ежась в коротком кожухе.

У Авдотьи дрожали рябые щеки. Топая в серых валенках, слезливо крестилась куда-то за калитку.

— Микола милостивый! Чтой-то будет, а? И сюда, ой лишеньки, до нас придут!..

Всю неделю гремела пальба из орудий и винтовок. Люди жили в подвалах и темных коридорах. Еда — какая придется. Редкие смельчаки пробирались к Днепру с ведрами: благополучно вернувшись, продавали воду по двадцать пять рублей за винную четверть. На еврейском базаре происходил грабеж. Петлюровцы тащили — кто что хотел.

Власть большевиков Марина увидала на улице. В этот день ярко светило солнце и много краснело флагов.

С Дмитровской неслось громкое пенье. По улице шли стройным шагом рабочие — и мужики, бабы и молодежь, высоко подняв на шестах красные плакаты. С других улиц тоже вливались такие шествия. Седой дед говорил удивленно:

— Зроду такого не бачив. Отто людины... Гарно! Ой, гарно!

— Верно, дед, жили — терпели — и дожили. Не все над нами царевать, — рокотал, вскидывая шапкой, трубочист, черный, как чорт.

Из ворот торопливо выходили засаленные кухарки,

дворники, сторожа, мастеровые. Стала в ряды и Марина. По улице понеслось громкое пенье.

Вышли мы все из наро-ода...
В царство свободы доро-огу
Грудью проложим себе...

Вечером ее кликнула Оксана:

— Бабушка! Иди на собранье в приемную!

От изумленья Марина выпустила из рук полотенце.

— На какое собранье, а? А разве и мне можно?

— Ну да! Пришли большевики и зачем-то всех зовут.

Волнуясь, обряжается в синее платье Марина и шепчет сама себе вслух:

— Вот так ладно, на собранье зовут, да-а, первый раз в жизни. Ах, что-то будет!

В приемной, при ярком свете электричества, она увидала всех: санитары и санитарки на белых скамьях, сдвинутых полукругом. Весь «персонал» с докторами — отдельно, на стульях. На голом столе в медном подсвечнике виляет огненным язычком довоенная свеча. Главврач, пропахший карболкой, прямо с операции пришел, барабанит пальцами по столу.

— Товарищи! — слышит Марина глуховатый твердый голос.

Это «товарищи» такое новое, звонкое слово, и глаза всех устремились к столу. Марина улыбнулась: «Вот неумная я! Думала, что большевики — это большие, рослые солдаты». А этот — небольшого роста, крепко слитой, узкоплечий, лицо загрубелое, острый щетинистый подбородок. Положив руки на стол, говорит стоя:

— Большевики прогнали Керенского и генерала Корнилова. В Петрограде и Москве, товарищи, советская власть, и мы, большевики, пришли и здесь установить советскую власть — власть трудового народа. Народ — хозяин земли, фабрик и заводов. Установлен восьмичасовой рабочий день, и мы — за мир, за равноправие.

Он смолк: глаза его строгие, в нерушимой уверенности, что все, что он говорит, так и будет.

В приемной тихо. Санитары одобрительно пере-

глядывались. В глазах заиграл огонек. Заметно, что слово «товарищи» пришлось им по душе.

Марину словно что кольнуло. Вдруг поднялась и, лизнув сухие губы, спросила, обращаясь к столу:

— А что такое это равноправие, скажите, к чему?..

Оксанка толкнула Доньку, обе приветливо кивнули. Главврач поднял глаза, удивился: «Вот так бабушка! Ну-ну!» Хмурый заросший солдат, пришедший с докладом, улыбнулся Марине. Большевик откашлялся.

— Итак, товарищи, — загремел его твердый голос, — это одна из первых советских законностей: равноправие всех граждан и восьмичасовой рабочий день, об этом мы и объявляем всем жителям города Киева. Так что законность большевиков — всех людей равенство и братство, и нет господ и слуг, и мы заявляем: кто с нами — тот наш.

И он снова смолкнул.

Санитары и рабочие завозили сапогами по полу, закашляли, задвигались. Довольная собой, Марина озиралась, — кто как это понял? Иные, скрывая довольную улыбку, гладили подбородок, некоторые ехидно хмурились. «Говори, дескать, говори! Все ловки на посулы. Вот ежели по правде восьмичасовой...» Главврач попрежнему барабанил пальцами. «Мне, мол, все равно, как будет». Две сестры из «персонала» о чем-то шептались, брызгая слюной.

Василь тряхнул чубом.

— Что же мы... Если так, и мы... Ну, коли так, и мы с вами.

— А ежели за мир, то добре, — поддержал Павло.

— Нехай живе совецка! — взмахнул картузом Степан. — Будя помещикам жилы з мужика рвать!

Поглядывая на санитарок, большевик переступил с ноги на ногу, и снова полетели его крепкие слова:

— И еще, товарищи, от нашего вождя Ленина указание: уравнять женщин наряду с мужчиной и дать права и независимость от мужа, от хозяев...

Ловит Марина слова, такие прямые, новые. В голове ее сутолока. «Так-ак... Вот это ладно. Ах, ты, милая! Вот он как ловко, Ленин-то! Теперь бабы... Эх! до чего хорошо!»

Оратор все говорил: «Мир — солдатам, землю и угодья — крестьянам, фабрики, заводы — рабочим» и много других хороших слов. Потом хмурый солдат крикнул:

— Да здравствует наша победа!

Все встали, зашумели.

— Нехай буде та власть, з которой життя добре! От то большевик!

И, потряхивая шапками, повалили к выходу.

Прислушиваясь к многоликому шуму и оглядываясь, Марина бодро выходила последняя.

Говорила Паша Рудник, чернобровая. Говорила и Лукерья, растягивая улыбкой морщинки на желтом лице. Говорили и другие санитарки, собираясь у кухни:

— Теперь, бабушка, местком выбрали из трех человек. Иван Рудник, кочегар — набольший. Он, этот местком, над всем двором голова. Бабьей воле теперь никто не может перечить — так местком обсудил.

— И для докторов прислуг отменили, чтобы не надо. Истинный кувшинчик, правда! — побожилась рябая Авдотья, вытираясь подолом, и покрестилась даже. — Слава те, научили большевики, как делами править!

— Как же это? А я-то куда теперь? — засмеялась Марина и поняла: сдвинулась жизнь со старого места. — Надо местком искать...

А местком сам и подходит навстречу, заломив картузы на макушку.

— Куда спешишь, бабушка? . — А мы к тебе по делу; санитарка нужна в третий барак.

— Да что же вы раньше-то? А я давно прошусь.

— Ничего-о, и теперь не опоздала. Завтра легкий день, вот и вали прямо на работу.

У себя в комнате Марина не находила места, боялась — будет неприятность.

Вошел Федор Иванович: его румяное, свежее лицо сердито, нахмурено. Повесил пальто у двери, подошел к крану мыть руки. Пошевелил плечами, как бы расправляя их.

Марина сказала спокойно:

— Федор Иванович, местком сказал — в барак нужна санитарка. Вы уж меня отпустите...

Главврач разом обернулся, поднял ровные брови. Перед ним все та же женщина: среднего роста, под суровой косынкой серые волосы, задумчиво-печальные карие глаза, губы настойчиво сжаты.

— Санитаркой к больным? Ты, бабушка, с ума сошла! Разве тебе справиться в твои-то годы? Это совсем не легкое дело, — говорил Федор Иванович с досадой и удивлением.

Слова «с ума сошла» задели за живое. Криво улыбаясь, Марина упрямо ответила:

— Нет, Федор Иванович, теперь я больше чем когда-либо в уме-разуме и хорошо знаю, что справлюсь.

— И зачем тебе санитаркой быть? Нас только трое, — уговаривает главврач, — ты у нас — как родная бабушка. Жалованье тебе дам такое же, как и санитарки получают, и не в кухне живи, — комнаты есть.

Марина настойчиво замотала головой.

— Нет, Федор Иванович, я за жалованьем не гонюсь и ни за чем не гонюсь. У меня душа больная и только тут... служить больным, — голос Марины дрогнул. — Вы, доктор, поймите...

Пощипывая усы, Федор Иванович прошелся по кухне, остановился против Марины и серьезно, но душевно сказал:

— Коли так, бабушка, идешь на это дело по призванью — дело хорошее. Это и не каждому дается. И мой совет тебе: поступай не в третий, а во второй барак, там тебе будет полегче.

От последних его слов Марина весело оглянулась на свою кухню:

— Прощай, прощай, немилая! Только ты меня и видела!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

К СВЕТЛОМУ МАЯКУ

Красные пробыли три недели и два дня; ушли, уступив Киев Петлюре, собравшему при подмоге немецких генералов разношерстное полчище казаков и разных бродяг. В городе опять забухали пушки. По улицам

скакали с нагайками казацкие патрули. В городе хозяйствовал атаман Петлюра и его воровское войско.

В бараке билась унылая жизнь. Неясный говор, удушливый кашель, тяжелое дыхание умирающих.

Санитары принесли на носилках двух тяжело-больных. Марина спешно готовит белье. У одного, у Стонова, прострелен бок, вынули пулю; на подбородке рана, зубы вышиблены. У другого, белозубого, отсечено ухо, пробита голова. Марина не отходила от них. Сама меняла бинты, следила за каждым взглядом, угадывая каждое желание.

Через двое суток Стонов, длинный и костлявый, поманил ее пальцем. Говорил он тихо, во рту у него что-то перекатывалось. Марина с трудом поняла, — он просит ее сходить к брату и сказать, что он в больнице и может помереть. Живет брат батраком на мельнице, у самых Зверинцев. Такую-то даль! Итти версты четыре на окраину города. Но разве может Марина отказать больному?..

— Ладно, завтра я как раз свободна, схожу.

Ловит Марина горячечный взгляд белозубого, подала ему воды, спрашивает:

— Откуда вы?

Чуть слышно отвечает:

— Мы всюду...

Радостное весеннее утро. Марина спешит на Зверинцы. Солнце стояло уже высоко. Улицы были полны дневным гулом. На ветках каштанов бело-розовые цветы. Из палисадников раздается птичья музыка и ласковый шелест зеленой листвы. С Крещатика свернула на Лютеранскую улицу. Затем прошла еще одну длинную улицу, свернула на Собачью Тропу. Прошла пустырем по рытвинам, кочкам, завернула в кусты и, наконец, поднялась на взгорье. Но что это? Марина стала, как вкопанная. Где же Зверинцы? Где же серые здания, вокруг которых лепились деревянные домишки, тесно прижавшись один к другому, как бы боясь разбежаться по узеньким улицам? Голо кругом. Вся долина изрыта. Валяются обломки железа и камни... Какие-то люди бродят, чего-то ищут, поднимают. Подошли две женщины.

— Своих, что ль, сударка, ищешь на этом кладбище? — спросила постарше, в черном вдовьем платке, и всхлипнула.

— Не ищу, а дивлюсь, — торопливо ответила Марина. — Тут ведь были Зверинцы? Или я заблудилась?

— Да, склады пороховые здесь были на людскую погибель. Взорвали эти склады, а мы-то ходили в этот день в Киев на поденку...

Обе женщины враз завыли.

— Погибли наши мужья, детушки, и все, все погибло! Остались одна зола да пепел, да и тот ветер развеял, разнес. Близко никто не видал тех страстей. Только дым черный доходил до Крещатика, и земля тряслась, — чуть не за версту люди падали. От грохота на крышах трубы свалились, стекла сыпались. Мы-то, дуры, думали, — гром гремит.

— А кто же такую страсть наделал? — глуповато спросила Марина.

— Кто-то!.. Дура, чорт! — обозлилась помоложе, веснущатая. Губы ее запеклись, в заплаканных глазах горе неутешное. — Кто сделал, того и праху не осталось, а кому это надо было — молчат, да радуются.

Женщины обнялись, зарыдали.

Марина присела на землю, обхватила колени, подалась на чужое горе и думает: «Всюду страдает беднота». И еще в голове неотступно: «Приду — что скажу больному?»

Женщины уже ушли. Марина все сидела. От бессонной ночи в голове звон, во всем теле слабость. Поднялась она и пошла, с трудом передвигая ноги.

Собачья Тропа безлюдна. Зашумел ветер. Где-то выли собаки. Стало жутко. Марина заторопилась. На первой улице свернула, думая, что тут пройти ближе. Место совсем незнакомое. Старые, с облупленной штукатуркой дома еврейского квартала кучились, таращa безлюдные мелкие окна. Вечерело.

Вдруг в переулке загикали. Сердце Марины дрогнуло. Прижалась за угол какой-то халупы. Пронесся с нагайками, с винтовками конный отряд. Совсем близко выстрелы, крики:

— Бей, дави пархатых!

Зазвенели стекла. Из окон двухэтажного дома по-

сыпались перья, легкий пух, потом полетели целые подушки.

— Где золото, иудейское отродье?!

Звериный рев, отчаянные вопли.

— Бей жидов! — слышны крики.

В кустах у больницы Марина слышит голос Оксаны:

— Ты, Василь, до красных? Я тоже, хиба я дурней тебя.. Либо мене не болить — злодеи губят наше кровное...

— Я ж тоби не рассказував, ясынька: придут они, красны, и уси мы будемо вместе, — и рука его легла вокруг ее шеи.

Оксана поникла головой, грустно запела:

Бежит возок кровяненький,
У том возку казак пострелянный, порубанный,
В правой руце дротык держить,
С того дроту кривца бежить.
Бежить рика кровавая,
Над ричкою явор стоить.
Над явором ворон кличе,
За казаком маты плаче.
Не плачь, маты, не журися,
Бо твой сын з войною оженився...
Та взял жинку паняночку,
В чистом поле земляночку,
Земляночку темну, без оконец, дверец...

Печаль защипала Марине глаза, недослушала песню. Тихо крадучись, побрела за кусты и дальше к воротам...

В городе снова власть большевиков. Хирургическая полна ранеными. Во втором бараке нет ни одного свободного места. Раненых приносили с вокзала на носилках одного за другим. Красные герои храбро борются со смертью.

В приемной стол покрыт красным. На столе косячки бумаги, чернильница, полукругом стоят стулья. Все указывает на большую торжественность. Сани-

тары смело садятся ближе к столу. Так они садятся только при большевиках. Разом все вспомнили, чего хотят большевики: не было б слуг и господ. Вот она — санитарка, а с ней рядом доктор Никитин. Главврач на кончике скамейки рядышком с дворником. Сестры смешались со стряпухами. Докторицу Шофину редко где увидишь, а. сюда тоже пришла. Вон и Зейдель с кучером. Только Матренкин и Шляпкин жмутся вдвоем. А Павло-то, Василь, Никола — за столом, и Оксанка сидит козырем.

— Товарищи!

Выразительно-остроглазый большевик положил на стол картуз с красной звездочкой. Говорил понятно, звучно о гражданской войне, о революции, о прежних угнетателях, которые снова хотят закабалить народ.

— Рабоче-крестьянская армия и мы, большевики, бьемся с белыми за мир, за Советы, за новую жизнь. Строить новую жизнь мы будем вместе с вами, товарищи!..

— Та-ак... Значит, революция — это когда сам народ распоряжается своей жизнью, как самим лучше.

— Прежде всего, граждане, — продолжает солдат, — приютить надо детей-сирот, много их нам война подарила, надо для них дома, очаги оборудовать. Нужна тут великая помощь от женщин. И еще надо собрать с улиц калек, инвалидов, войной изувеченных...

Потирая на лбу угри, встал Павло.

— Дуже много, граждане, людей испорченных. Это наша беда, это наш стыд, заброшены калеки!..

Санитарки завозились. Лукерья — первая:

— Куда там до чужих ребят! За своими ухаживать время нет. А в больнице-то разве мало делов? Всего не перевернешь...

Не вытерпела Марина, подала и свой голос:

— Боимся мы, женщины, а чего — сами не знаем. Не бывало этого никогда, чтобы нас на помогу звали. Надо поучиться. Для себя ведь новую жизнь устраивать будем.

Много было горячих споров и разговоров на этом собрании. Покричали, пошумели и разошлись.

День пришел и принес новое.

Встречаются Марине Никола и Маруся-санитарка.

— Мы в союз всех записываем. Не хочешь ли и ты, бабушка? — спрашивает Маруся.

— В какой союз? — удивилась Марина. — Да ладно, чего тут, записывайте, куда надо. Неужто я буду, как в поле обсевок?

— Донько, Гдыба! — приглашает Никола. — Записывайтесь в союз. Всем трудящимся обязательно в союзе состоять надо.

— Как же, нужен мне ваш союз! — фырчит Донька.

Гдыба, почесывая бритый затылок, нерешительно ответил:

— Не бывало еще этого, чтоб в союз поступать. Надо подумать, а то втюришься бознать куда...

Под хирургической, в подвале местком помещение себе заполучил. Зашла туда Марина вечерком. Тут и Степан, и Иван Рудник, и еще санитаров пяток. Пришел и Василь с дежурства.

Маруся приветливо кивает Марине:

— Сюда, сюда, бабушка! Не была еще тут?..

Марина улыбнулась ей, подумала: «Девка, а дружит со мной, старухой».

Василь написал чего-то в маленькой книжонке, подает Марине и говорит:

— Теперь ты, бабушка, член Медицинского союза с девятнадцатого года, июня месяца.

— Значит, на старой жизни крест, — махнула рукой Марина.

— Вот это умно! — похвалил Никола. — Бабушка одна из первых в союз вступает, а других не уломаешь. Сестры да Матренкин со Шляпкиным и слышать не хотят. «Свои, — говорят, — мозги у нас, без союза проживем».

В палате Марина похвалилась Софье:

— В союз я записалась, это дело хорошее. Иди, Софья, запишись и ты.

Лицо Софьи такое мягонькое, переносица расплылась. Глазки черные, веселые, и голос тихонький, сладенький.

— Смотри, бабушка, обсоюзят тебя, как башмак. Ну, а я еще успею.

Марина рассердилась.

— Чтой-то ты, матушка, так насмехаешься? Нам добра хотят. Нечего плевать в колодец! Захочешь воды напиться, а рыло-то, глядь, и замарано...

Нежданно-негаданно приехала дочь Клавдюша. Возмужалая, золотоволосая. Платье короткое синее запылено, и так смешно и просто на ногах одни деревянные подошвы пристегнуты ремешком. Глаза серые, живые да теплые. Марина гордилась ею. В свободные часы чаи, разговоры... Дочь все оглядывалась да похваливала:

— Хорошо у тебя тут, мама, тихо, не видишь ты и не знаешь о людской тревоге. А кругом война, на дорогах каких только людей нет! Пленные австрийцы, немцы, чехи, китайцы. Едва добралась до Киева.

Счастливые дни настали для Марины, но и забота появилась. Все думала: как проживет она с Клавдюшей на один больничный паек? Надо Клавдюшу куда-нибудь на работу устраивать.

Шустрая и находчивая Клавдюша сама о себе позаботилась. Познакомилась в приемной с посетительницей Ганусей. Черная, как цыганка, умная и настойчивая, Гануся пришлась Клавдюше по душе. Они подружились. И Гануся уговорила свою новую подружку пойти работать на склад огнестрельных припасов, на Шулявку.

Проснется Марина — утро смотрит в окно. В саду на деревьях заливаются соловьи. Дочь сладко, спокойно спит. Долго Марина смотрит на круглое девичье лицо, на глубокую складку между русых бровей. Не умом — сердцем угадывает: жизнь оставила на молодом сердце дочери корявую борозду... Жалко будить, однако пора. И пока дочь сладко потягивается, Марина готовит ей завтрак, чай морковный, хлеб. После полудня дочка возвращается домой усталая, но веселая. Входя из отделения от больных, Марина ворчит:

— Что это ты, Клавочка, словно с гулянья? И чего вы только там делаете?

— А ты что, мать, думаешь! Там и вправду хорошо, и весело, и курсанты работают, и пожилые рабочие есть. Там берут и поденщиц. Приходи на денек. И сама посмотришь, как мы работаем.

Марине хотелось узнать, что за работа такая с огнестрельными припасами. Кольнула тревожная мысль: «Пропадет еще дочь на опасной работе... В первый же свободный день пойду»...

— Бабушка, иди, получай разницу, — шепнула у кладовой санитарка Маруся.

Хотела Марина рукой отмахнуться: ври больше! — но нельзя махнуть — уронишь бутыль с карболкой. Остановилась, спрашивает:

— Какую разницу? Это что же такое?

— А такую, что большевики жалованье прибавляют тому, кто поступил работать в восемнадцатом году.

— Мне-то зачем? Я ведь раньше поступила.

— Ладно, иди, простота старая! Идет вся наша санитарная братия.

В конторе Марина скоро повернулась. Бумажка в двести пятьдесят рублей, новенькая, голубая, хрустит в руках.

Но жизнь идет вкривую. В больнице не стали варить говядину, и ситного не дают. Вместо сала — повидла шматок. Хлеб пекут с мамалыгой. «Надо сходить на базар, — думает Марина, — прикупить чего из еды для Клавдюши».

На ногах, из бинтов связанные, новые беленькие туфли. Кофта белая в черную крапинку, на голове косыночка.

У ворот Деревянченко даже руками развел:

— Ого, яки гарны черевики бялы! От-то модница бабушка. Усе бялое!

Завидела Марина на тротуаре барыню в яркожелтой шляпе, старается итти рядом: вертятся хорошие слова, благо есть к кому прицепиться.

— Порядок в городе славный. Верно, гражданка? Тихо, чисто. Калек нигде не видать, ребята на улице не клянчут...

— Да уж, говорить нечего! — фыркнула барыня. — Уж действительно, красные всю мразь подобрали,

в самые лучшие дома натолкали, выгнали домохозяев честных...

— Нет, что ни говорите, а очень хорошие люди большевики, — не унималась Марина. — Больницы пооткрывали. А это разве не облегченье для народа?

— Подумаешь, благодетели какие! Захватили власть, а править не умеют. Голь перекатная!

— Что-о?.. — вскипела Марина. — Полегче, мамзель, ветрено, не слетела бы шляпа! — и вдруг рассмеялась: желтая шляпа быстро юркнула в проулочек.

На Бульварно-Кудрявской улице Марина остановилась у ворот богатого дома. В палисаднике на длинных столах тарелки, ложки. Вокруг сидят ребятишки. Галочный говор, лепет, смех. Няньки в белых фартуках раскладывают горячую кашу Прижимаясь лицом к железной решетке, Марина покричала:

— Няня, чьи это ребята?

— Чьи? Советские! — отозвалась няня, утирая фартуком потное лицо. — Большевики столовые детские устроили...

В один из свободных дней собралась Марина посмотреть на Клавдюшину работу.

В приходе у сторожки задержалась. Марина соображает. Строгий однорукий человек проверяет пропуска «Неужели не проберусь?»

Незаметно ловко втерлась в толпу работниц, вместе с ними и прошла. Идет Марина и озирается по сторонам, дочь ищет. Рядом с нею молодица, худенькая, верткая, подвязывает сатиновый фартук, усмехается.

— Юбку жалко пачкать чесучевую, сшила из патронташей немецких... А ты еще ни одного патронташа не стащила? Да ты словно здесь первый раз?

Марина улыбнулась:

— То-то первый. И что-то у вас тут все больно диковинно... Это вот что такое? — указала на гору, укрытую огромным брезентом.

— Это ящики со снарядами орудийными. А вон в ближнем сарае разбирают гильзы, сортируют, чистят. А мужики тяжелые ящики подносят.

Марина подсела на бугорок к женщинам и тоже

принялась очищать медную позелененелую гильзу. Заговаривает со своей соседкой, угрюмой Ивасиной.

— Смелый вы народ, работаете тут и не боитесь. А если эта штука застрелит?

— Хм, застрелит! — хмыкнула Ивасина. — Они опасны только, когда в ружье да в пушке начинены. А ты чисти, да, смотри, разбирай, в какой ящик класть. Разные патроны есть — немецкие, австрийские, японские.

Марина поглядывает: «Где же моя Клавочка?..» А, вон голова ее кудрявая виднеется.

Хоть и не торопилась Марина, а вычистила все же сотню гильз. Работать здесь показалось ей весело и выгодно.

Клавдюша работает на погрузке. Где бы мужику здоровому, а она первая хватает да покрикивает:

— Ну, дружней, товарищи, дружней!

«Отчаянная Клавка, ничуть себя не жалеет!» — думает Марина.

За ужином, поглядывая на белую Клавдюшкину кофточку, побуревшую от пота, Марина жалеет дочь:

— Устаешь ты, Клавочка, тяжелая все же эта работа.

И, собираясь в палату на дежурство, говорит ей, лаская глазами:

— Иди, погуляй, дочка. Соловушки, слышь, поют...

Прислушиваясь к далекому гулу пушек, Марина отдыхала с Марусей на лавочке у барака. Над городом носились аэропланы.

— Это летают разные антанты. Ой, и страшно, бабушка! Кругом Киева и по всей Украине грабят, жгут, режут, разоряют села, деревни. Свирепствуют темные силы генералов — Махно, Григорьева, Зеленого. Да, много их, как собак бешеных. Но я тебе скажу — этим бандитам все же будет конец!..

— А почему ты это знаешь, Маруся?

— У меня есть жених, Бульба, — говорит Маруся. — Он коммунист...

— Постой, Маруся, — прервала Марина, — ты мне раньше скажи, что это за коммунисты? Кто они такие, что делают?

У Маруси глаза сверкают, горячо так рассказывает:

— Коммунисты — это те же большевики, и не хотят коммунисты, чтоб бедные работали весь век и голодали, а у богатых был бы вечный праздник. Они хотят, чтоб все работали, и у всех бы жизнь была хорошая. Для этого они с рабочими царя прогнали. Умнейший такой человек, большевик Ленин всех научил. Так мне мой Бульба говорил, он в красном отряде около Чернигова с белыми сражается.

— Да-а, большевиков я немного знаю, Маруся, а вот почему отряды красные? — раздумчиво спросила Марина.

— Погоди, бабушка, в другой раз расскажу. Сейчас мне итти надо, дело есть.

В начале августа перед вечером до второго барака докатилась тревога. На площади у памятника Бобринского среди бела дня с аэроплана сбросили снаряд. Убило двух взрослых и троих детей, несколько человек ранило.

Событие на площади всколыхнуло весь город. Тревога коснулась и сыпнотифозной больницы Марина впервые услышала слово «эвакуация». Санитары засновали в кладовую, в дезинфекционную. Доктора спешно выписывали красных, которых куда-то увозили. Многие уходили сами. Остались только тяжелобольные, умирающие.

Марина волновалась за дочь: Клавдюша не приходила ночевать. Выходила несколько раз из барака, выглядывала за ворота. «Что-нибудь случилось», — подумала Марина, входя в комнатушку сменить халат. Глядь, идет Клавдюша, торопливая, раскрасневшаяся.

— Ты знаешь, мать, белые под Киевом. Утром я на Собачью Тропу ходила, так там уже все жители эвакуировались. А порох-то пожгли мы. Видела, сколько его было?..

— Зачем? Как пожгли? — перебила Марина, удивляясь.

— Очень просто, белым не досталось бы. Все взрывчатое потаскали в овраг и зажгли. Долго горело: ведь порох горит, как свечечка... А вчера красные жалованье выдали всем рабочим за три месяца вперед,

и сахару и пшеницы тоже за три месяца, и сказали, что скоро вернутся в Киев... Мать, а я тоже ухожу... сейчас.

У Марины вдруг похолодели руки и ноги.

— Как же это, Клавочка, ты уйдешь? Зачем? Ну, ты подумай-ка... здесь и другая работа тебе найдется.

— Не уговаривай, мать, — твердо сказала Клава, подвязывая свои деревяжки, — нельзя мне остаться. Уйду я со всей нашей ячейкой РКП...

Красные отряды уходили днем. Они шли из Бендерских казарм, из корпуса кадетского, шли Брест-Литовским шоссе, Бибиковским бульваром к Днепру. Шли ровным шагом, неторопливо, уверенные в своей правоте. В глазах горела вера в победу. Справа и слева их провожала стена рабочих, все с добрыми пожеланиями скорой встречи. Слышались бодрые возгласы:

— Браво Красной армии! браво!

Утром в больнице оказалась нехватка санитаров. Ушли Никола Гай, Василь Чубатый, Степан Бодуля и Оксанка.

Тридцать первое августа. Утро ненастное. Небо серое. Серо и на улице. Со стороны Шулявки снова входил Петлюра, а Деникин наступал от Дарницы. После ночного дежурства Марина заспалась. Протирая глаза, вышла на крыльцо. Маруся на своем крыльце трясет одеяло и кричит:

— Никак ты, бабушка, только проснулась?.. А в городе буржуи ликуют!

— А что случилось?

— Новая власть пришла, из пушки дунули, и сейчас войска все идут.

Деникинские войска учинили жестокую расправу со всеми, кто имел хоть какое-нибудь отношение к советской власти. Коммунистов хватали и безо всяких разговоров расстреливали... Открыты все рестораны, кафе-шантаны. В купеческом саду пьянство, дебош. Целые дни гремит музыка, и снова офицеры с золотыми погонами и толстобрюхие буржуи разгуливают. Выгнали из домов инвалидов войны. Выгнали детей-

сирот. Закрыли больницы, столовые. Разорили все, что создали большевики.

Марина делилась своими мыслями с Марусей. Та спрашивала:

— А ты сама за кого, бабушка? Видела ты разные власти, — так за которую?

Глаза Марины вспыхнули. Вопрос был неожиданный, но и не новый. Сколько годов тлелась у ней на сердце какая-то искорка. Разве она не горит заботой о больных солдатах? Решительно сказала:

— Я за власть большевиков! Но как надо за них? Оксанка вот ушла к красным, а я... Ну, что же я? Ничего я.

— А белым, бабушка, недолго куражиться. Красные стоят в двадцати верстах от Киева. Оксанка не зря ушла.

Неожиданно пришли в больницу «эти» в мундирах: подходили к каждой койке. Провожала дежурная доктор Шофина. У всех на койках торчала черная дощечка с одним словом «украинец». Смотрели списки, но и там за подписью главврача Степанчовского находились одни «украинцы». Постояли около тяжело-больного Стонова. Марина поила его с ложечки чаем. Она знала, что он красный, но, конечно, молчала. Они ушли.

Наутро, не успела Марина войти в мужскую палату, как, стукнув о дверь саблей, вошел один из «этих», вчерашний, прямо к Стонову. Дернул его за ногу, грозно гаркнул:

— Эй, ты, вставай!

— Но ведь он тяжело-больной, разве не видите? — остановила Марина, упорно глядя на мундир.

— Молчать! Ну, живо, поворачивайся, марш!..

Стонов, бледный, худой, как смерть, поднялся и, шатаясь, побрел за солдатом. Уныло села Марина на его койку, не зная, что и подумать.

Пришла взволнованная Наталья Ивановна:

— И в тифозном, бабушка, взяли двоих. Но почему? Как могли узнать? Ума не приложу!

Вскоре прибежал Сережа-санитар, побелел весь, рассказывает потихоньку:

— Солдаты повели наших троих, я — поодаль за ними. Вижу, один из наших увернулся за угол водо-

качки, убежать хотел. Солдат его на месте положил из ружья. А ваш Стонов шел-шел, да и помер. Так его на дороге и бросили, сволочи. Ну, а третьего в каком-нибудь каземате убьют, для того и повели. Эх, расстрелять бы того, кто выдал!

Вечером, увидев в парке Марину, Маруся пальцем поманила к себе.

— Постой, бабушка, слово есть. Слышишь? Это наши бабахают. А ты знаешь... — и голос сорвался: пригнулась, на ухо тихонько шепчет: — Доктор Шофина выдала наших больных.

Марина отскочила, как ужаленная, голос дрогнул:

— Не может быть! Как она могла? Она доктор, хранитель жизни человека.

— Тише, бабушка, помалкивай, за все приходит расплата.

Присели на лавочку.

Макушки деревьев колеблются. Тихо шепчут листья. Шибко бьется сердце у Марины.

Марина спрашивает, недоумевая.

— А почему, Маруся, на базаре продукты появились?

— У белых все есть, потому что им помогают антанты, — объясняет Маруся.

Марина не спрашивает, что такое антанты: ей думается — это те, из сказок, которые выходили из леса и грабили проезжих купцов.

Серая мгла висит над больницей. Деревья угрюмо топырятся поблекшими ветками. Октябрь, первое число. Раннее утро. Утомленные бессонной ночью, дежурные дремлют.

Тра-та-та... Тра-та-та... — неожиданно затрещали пулеметы. От шоссе послышались залпы из ружей, конный топот, гиканье. Больница зашевелилась. Кто-то кричит у самых ворот:

— Красные! Большевики!..

— Ба-ах-х!.. — донесся издалека глухой и тяжелый удар, слабо дрогнули стекла.

Затрещали пулеметы. В город ворвались красные. Захваченные врасплох деникинцы, не зная, откуда взя-

лись красные и много ли их, в панике бросились к Днепру. Красные осыпали их пулеметным огнем.

Красные выгнали белых из Бендерских казарм. Заняли полгорода, левую сторону к Подолу.

Белые очухались, узнали — красных небольшой отряд. Повернули оглобли обратно, развернулись на правой стороне. Киев разделился на два фронта, началась жестокая пальба.

На этот раз победили белые.

Наемные генеральские бандиты жгли деревни, убивали, грабили, устраивали крушения поездов. До того обнаглели, что устроили крушение поезда близ самого Киева.

Дни бегут, для одних — полные хороших ожиданий, для других — тревожные и боязливые: «Красные близко»...

Над Киевом веселое солнце. Застывший за ночь снежок, как сахар, хрустит под ногами. Марина идет по Фундуклеевской. Мимо несутся взмыленные лошади, и все к вокзалу, к вокзалу...

«Ага, в заграницу! Как ошпаренные бегут. Почуяли, что дело плохо», — думает Марина.

К вокзалу торопливо двигались и пешие, также навьюченные узлами, картонками: оглядывались зайцами, спотыкались и бежали, бежали...

У хирургической встретилась «сестричка Зонтикова», разрумянилась, веселыми глазами заиграла.

— Счастливо оставаться, бабушка! На фронт уезжаю.

Неожиданно у Марины сорвалось.

— Час добрый! Не рады встречать, рады провожать.

Шляпкин, Матренкин, Зонтикова и еще две сестры ушли этой ночью из города.

В Киеве снова безвластие. Жители попрятались. Белые отчаянно дрались за свою разгульную, подлую жизнь. Красная армия, большевики с партизанами стойко, упорно дрались за власть народа и выбивали врага из Украины,

Большевики не кичились победой, не гремели в трубы, ликовать времени не было: с головой ушли в работу, поправляли разоренное. Копались в делах, как муравьи, и на каждом шагу встречали врага. Не было хлеба и не было топлива.

Война царская и гражданская губили, жгли хлеб на корню. Кто мог купить — запасали все, что пришлось. Прятали, гноили и выбрасывали, истощали страну. С каждым днем все дорожало, и с каждым днем дешевели деньги. Марине и во сне не снилось, — получила за месяц сто рублей. Всем больным хвалилась:

— Ведь это что ж такое, а? Бумажка новенькая, розовая, не знаю, куда и девать.

— Да ты, бабушка, совсем буржуйка!

Принесли больную из бани, и следом за ней вошла женщина в белой косыночке.

Марина всплеснула руками.

— Доктор Кудря, это вы?

Тонкое белое лицо Кудри улыбалось.

— Да, бабушка, приехала снова к вам работать. Вот эту больную поручаю тебе. Это курсистка Таня. Она на фронте работала красной сестрой, заболела там сыпняком, ухаживать некому. Целый месяц валялась в вагоне, теперь вот...

Кудря не договорила, нагнулась к больной. На Марину глянули с койки темносерые глаза и скрылись в густых ресницах.

Прошла неделя, Кудря остановила Марину и говорит:

— Курсы, бабушка, большевики открыли для женщин, выучиться можно на сестру, на фельдшерицу. Нам нужны свои красные сестры. Иди, запишись. Тяжело все же санитаркой работать.

Марина оторопела. «И правду, хорошо бы подучиться. Бинтовать умею, компресс тоже знаю как поставить. Больные и так больше на моих руках».

— Может, берут только молодых, доктор?

Кудря задумалась, — принимают на курсы не старше сорока лет, — но бабушка прямая, глаза живые, а щеки все румяные.

— Да ты, бабушка, совсем не похожа на старуху! Метрики не спросят. Скажи — тебе тридцать девять, а пойдешь записываться — немножко прифорсись.

Вспыхнувшее желание нового, лучшего, вскружило Марине голову. «Ах, только бы приняли, а там уж своего добьюсь». Марина чистенько умылась, одела парадную кофту белую в черную крапинку, белый фартук накрахмалила, у груди красный крестик, косынка с прошивочкой, все честь-честью — и пошла.

Вышло все очень просто. Дошла до Марины очередь. Сказала кудрявому в очках:

— В больнице давно работаю санитаркой, хочу поучиться.

Кудрявый похвалил:

— Вот и отлично, пойдешь сразу на практику, — и всем объявил: — Через пять дней приходите на разборку, кого куда.

Марина шла и светилась, как радуга после дождя. «Учиться буду, учиться». Это ничего, что немного про возраст наврала... разве она меньше молодых работала? На радостях и Кудре малость приврала:

— Милая доктор, до чего все хорошо получилось! Сказали — через три недели можно и сестрой научиться. Я уже все силы положу, только бы мне...

— Постой, бабушка, как же три недели? Ты ведь малограмотная, придется подольше поучиться.

Марина призадумалась: «Плохо таким-то, малоученым... Ну, уж как-нибудь», — и с нетерпением ждала того дня когда пойдет на практику. И не дождалась...

На Киев шли поляки, уже заняли Бердичев и Житомир. Киевские большевики готовились к эвакуации. Небольшими отрядами покидала город Красная армия. Из больницы снова ушли Степан, Сережка, Андриян, Маруся и другие. Умерла Таня, и что-то оторвалось у Марины от сердца. Убежала в свою комнатушку, заплакала, припадая на подушку. Плакала долго, горько, по-старушечьи взрыдывая. О чем? Разве она знает? Может, впервые почувствовала безотрадно-серую жизнь больницы, и ей хотелось быть с крепким, здоровым народом. Может, жалко несбывшейся мечты о курсах...

Устает Марина, ох, как устает! Все болит, руки, ноги ломит. Ведь тридцать четыре койки у нее в обеих палатах. Через силу ходит за больными и все раздумывает: «А что, если совсем свалюсь? В этом же бараке одну койку займу — вот и все, и буду лежать одна на далекой чужой стороне, всеми забытая...»

Польские войска не уходили из Киева, они бежали. Приближалась полураздетая, полуголодная, истощенная, но могучая Красная армия. В память о себе поляки взорвали Великий мост от Дарницы через Днепр и другой мост у Подола. Поляки позорно, торопливо бежали. Состав с пленными, эшелоны поездов, груженных наворованным добром, — все трофеи своей пятинедельной власти, — все побросали поляки на окраине Киева.

Угасал пожар великой гражданской войны. Советская власть навсегда победила на Украине. Взвились советские красные флаги.

Назначили в больницу военкома товарища Климентьева. Как-то пришел он к Марине, любопытствует:

— Ты здесь санитаркой работаешь? А как тебя зовут? А где ты живешь? — а сам смотрит быстрыми глазами, чисто ли в палате, много ли больных, хорошо ли ухожены.

«Гляди, гляди, — думает Марина, — я ведь этого не боюсь».

Сказала ему:

— Меня все зовут бабушка, так я и живу бабушка, а тебе-то, молодому, и вовсе бабушка.

Он засмеялся.

— Напрасно ты скоро записалась в старухи, — но все же называл ее «бабушкой» и рассказал: — Я тоже до гражданской санитаром был в больнице на Бибиковском бульваре.

— Ну?! Неужели?! — обрадовалась Марина. — Тоже и я там ведь работала...

И это ее с ним сблизило.

И опять вышло памятно на всю жизнь.

— Скажите, товарищ военком, старухи в шестьдесят годов бывают коммунистки? Возьмите меня к себе в коммунистки.

Сначала ему хотелось засмеяться, но смотрит, — дело не в шутку. Сдвинул брови, посмотрел на ее широкий лоб, подумал: «Старуха с душой, работать станет», — согласно ответил:

— Что ж, это ничего, что годов много, нам работники нужны. Скажи Марусе и приходи с ней. Она знает, куда и когда прийти.

Не успела Марина пообедать, а Маруся уже в окно кричит:

— Бабушка, пойдем, куда говорила!

— Сейчас я!

Одернула юбку да так заторопилась, что лбом о дверь стукнулась.

В приемной за дверью — кривая комната, окно на пустырь. Привалясь к окну, сидит тот самый, смуглый, как цыган, санитар Светлый. Увидел ее, улыбнулся и вскинул глаза на Марусю. В розовой кофте стоит она против него и тоже улыбается.

«А-а, так это жених твой», — догадалась Маруся.

Военком Климентьев за столом, деловой такой, глаза строгие. Указал на стул:

— Садитесь, товарищи... Вот это новый товарищ, — кивнул на Марину. — Обсудим, принять ли ее в нашу ячейку. Что ты скажешь, Светлый?

Светлый спросил ее, давно ли работает санитаркой. Она охотно ответила:

— Здесь с того года, как царя не стало, и до этого немного работала в больнице.

Оказалось, и обсуждать нечего. Вся тут Марина, на виду. Маруся говорит: — Я за то, чтобы принять.

— Значит, принята, — решил Климентьев. — Наша ячейка зародилась из четырех человек. Маловато, ну, ничего. Выберем теперь секретаря.

На выборах, правда, пошумели, что твои десять человек, — кому быть секретарем? Военкому? Он, военком, всем делам покрышка, нельзя его отрывать.

— А я какой же секретарь? Всегда в разъездах, работы по горло, — сказал Светлый и счастливо посмотрел на Марусю.

Она встала со своего места, сказала о какой-то непонятной Марине организации женщин, — ей и этой работы довольно.

— Стало быть, секретарем у нас будет товарищ Марина, — решил военком.

Марина вспыхнула и испугалась.

— Что вы! Я и писарем никогда не была, я малограмотная.

— Ничего, не бойся, бабушка, и все-то мы не гимназии проходили. Сперва я тебе помогу. Чего не знаешь, — спроси. А там и привыкнешь.

Солнце висело над липами, когда Марина вышла. Предвечерний воздух теплый и мягкий, как стерилизованная вата. По двору деловито полосатились халаты санитаров, и все было как всегда, но ей казалось — кругом стало шире, светлей и вольготней. Шла она легко, как бы боясь расплескать в груди радость и гордость, — не оттого ли, что достигла того, о чем давно мерещилось, чего хотелось и что манило? — Она в ряду товарищей, теперь она не одна, и ей не страшно жить, — она в большой семье большевиков. Распахнула дверь в свою комнатушку. Свету-то, свету! Так и брызнуло ей во все глаза. Окна настежь. Дух сладко-медовый. Столетние липы осыпаны золотым цветом. Далекой музыкой жужжат и звенят пчелы. Не умеет Марина песни петь, а тут и голос нашелся. Поглядывая на колосья в медной гильзе, ходит по светлой комнатушке и тихо поет:

Вышли мы все из народу...

... Что же все-таки случилось? — перебил пение кто-то невидимый. — Все ведь так и было. Палец о палец не ударила, назвалась коммунисткой, — думает и все? Нет, слыхала — строится новое, надо быть передовой... А что значит передовой? Разве коммунисты звезды с неба хватают? — заспорил другой кто-то. — Нет, не звезды, но коммунисты особенный все же народ, с твердой волей, смело борются за правду и должны во всем пример другим показать, и это главное...

В первое же собрание секретарей ячеек пошла на Шулявку. В старом доме собрались побольше десяти

секретарей. Марина разглядывала неумело раскрашенные плакаты. Ей хотелось поговорить, что-нибудь спросить у товарищей, не стесняясь своей неопытности. Пришел тот, кого ждали: немного хромой, глаза карие, Марине казалось — огневые глаза. Он сразу заговорил:

— Товарищи, нам, партийным, прежде всего надо поработать на местах. Приверженцы старых угнетателей злобствуют, шипят, сбивают народ. В деревнях неспокойно...

Говорил недолго, но все слова такие значительные.

. Часто на Марину находило сомнение: так ли она делает, по-партийному ли, не ошиблась ли в каком деле? Тогда она шла к военкому Климентьеву. Он терпеливо ее выслушивал, помогал, поправлял, успокаивал.

— Ты не беспокойся, бабушка, мы и сами только еще к делу приглядываемся. Основоположники мы, на этом учиться будем.

Слово «основоположники» крепко запечатлелось в памяти Марины. Мысленно она перевела по-своему: «Основа — бумажная или шелковая, это на машине или на ручном стану, по этой основе вырабатывается узор, манер или кайма. Мастер про то знает. Хороший ткач не изгадит. Как же военком сказал — не надо беспокоиться. Нет, надо во все глаза глядеть, не сделал бы челнок на основе пробою. Теперь положена основа — сама жизнь. Учиться — сказал. Значит, ткачи неумелые, — на первой основе могут получиться близни, дыры, пробои». И новая забота оправдать звание коммунистки наложила на лоб ее свежую морщину.

В выходной день собрались на ячейку вчетвером: глядь, Никола Гай заявился, Степан пришел. Откуда-то взялся Игнас. Ячейка пополнилась. Марина получила повестку на первое городское собрание женщин-работниц. Несколько раз развертывала эту бумажку: там ее фамилия и адрес, куда итти. Бумажка маленькая, а покоя не давала. Всю ночь ей не спалось, все думала, — городское собрание не шутка, и зовут ее, санитарку. Али она выше других выросла? И гордилась сама собою.

На этот день, сухой и жаркий, ей нездоровилось. Зябко ежась, собралась на собрание. Итти не близко,

за Крещатик. Вот он и дом тот обширный, с террасой. Окна в цветных стеклах. На широком крыльце, в проходе и в просторных горницах полно женщин, молодых и пожилых. Стоят кучками, сидят, пьют чай с баранками, гремят посудой, кругом стоит весенний говор, смех. На нее даже никто не посмотрел. Зато она смотрела во все глаза и дивилась, — такая воля дана бабам, в таком хорошем дому распоряжаются! Высокая, костлявая, с бородавкой на носу, подошла к Марине с чашкой чаю, и сахару кусок подает, грубоватым голосом угощает:

— Пей, что же ты... Все пьют.

Марина пробирается к столу с чашкой в руках. Прислушалась, о чем говорят. Крупная, рыжеватая и большеглазая женщина за каждым словом помахивает рукой.

— В первую голову, женщины, нам ясли надо для грудных детей.

Женщины сблизились, окружили говорившую. Остроносая бабочка в черной вязанке робко и обрадованно говорит:

— Ну, еще бы не надо! Уйдешь на работу, детишки одни, все сердце изболится...

Седая в красной косынке придвинулась к Марине, захлебывается словами:

— Матушки мои, каково собранье-то бабье! Вот так дела заводятся небывалые!

Кругом все говорят, спорят, шутят.

Солнце ласково смотрит сквозь стекла больничной приемной. Жужжат женские голоса. Десятка три санитарок и все больничные женщины сидят чинно и празднично, и никакого начальства. Слушают женотделку, которая кончает свою речь об устройстве яслей призывом:

— Итак, гражданки, это необходимо для ваших же детей Что надо для яслей, дадут в Совете. Но кому-то надо обо всем позаботиться, похлопотать. Выберите из своей среды троих...

Краснеет Марина и бледнеет, сердце стучит, — сейчас она будет говорить с бабами.

Некоторые санитарки, равнодушно поджав губы, молчат. Более задорные завозились. Лукерья словно курица-квохтуха натопорщилась.

— Да, как же, хлопотать вам станем, чтобы я своих ребят на чужие руки отдала! Выдумали новую затею!

И Солоха чернобровая выкрикнула:

— Нахлопочи эти ясли, и будут силой туда гонять. Знаем мы чужой уход!

— Постойте, товарищи санитарки! — поднялась Марина. — Я, кажись, постарше всех, так вот послушайте. Нам же добра хотят! Раньше и слуха про эти ясли не было, и много было ушибленных ребят и искалеченных. Не у всех ведь какая старуха или нянька есть. Во многих семьях плохой детишкам призор, а то и никакого. Люди не зря говорят — нужны нам эти ясли. Дети при месте, и у вас руки развязаны. Давайте, похлопочем.

— Вот тебе, бабушка, это в самый раз! — зашумели в один голос. — Ты на это лучше других сгодишься. Похлопочи.

— Портниху Адамову еще, у ней работа легкая!..

— И Солоху, она бойкая, вот и пускай. Их выберем!

— Спасибо вам, товарки, за почет, — улыбаясь, поклонилась Марина. — И своей работы как раз под силу, да ладно, для ребят постараюсь.

На другой день, не откладывая дела, решила итти в Женотдел.

На деле оказалось — кроме хлопот, ничего трудного. Откуда-то еще другие работницы взялись помогать. Дом для ребят от Совета приготовлен, кроме того кроватки, посуда, одежонка. А ребят натаскали работницы! Ведь куда ни повернись — на каждой улице, в каждом домишке есть бесприютные да сироты..

Уладили ясли, разохотились устроить очаг для ребят постарше. Нашли помещение подходящее, принялись очаг оборудовать. Солоха давно перестала ходить помогать. А Марина коммунистка, ей пример показывать надо. Шлепает да шлепает чуть не каждый вечер.

— Как дела, товарищ Мокеева? Робишь по трохи? Ты, як молодица, проворна, — шутит на ячейке Никола Гай.

— Насмешник ты, Никола, а сам-то бравый стал и шинель заслужил.

У кухни Марина, волнуясь, рассказывала санитаркам:

— И до чего хорошо это новое устройство! А ребята — ну, это уморушка! Смех! Чудные очень карапузики... Сходите, бабы-товарищи, и детишек своих несите. Увидите своими глазами, плохо ли такое дело.

— Никто, бабушка, и не говорит — плохо. Только как-то боязно, непривычно.

— Пойдем, Лукерьюшка, вот тут недалеко, — взяла ее подруку.

Двое ребят гонятся за Лукерьей.

Как вошла она в очаг, так и стала у порога, удивленно оглядываясь. Комната полна солнца, и все такое новое, невиданное... У низкого потолка протянуты веревочки, бумажки разноцветные колышутся, и нянька при белом фартуке. Ребятишки с игрушками возятся. Лукерья, как маленькая, заинтересовалась игрушками, указывает пальцем к потолку — нитки спускаются с клочками белой ваты — и смеется.

— Ай-яй, чего это, словно снег падает? Сразу подумаешь — и взаправду снег. Небось, и ты, бабушка, мудровала?

— Да, Лукерьюшка, недельки три хлопот, и дело соорудилось немалое. А ежели б всем, да дружно, все-ж-таки было б легче. Как ты думаешь?..

«Такая работа мне по душе. Расстанусь с больницей, буду возиться с ребятами...» Но Марине почему-то стало тесно, душно. Тянуло куда-то вдаль, к иным местам, к иным людям. Вспомнился сын. Может вернулся из плена? И она решила уехать из Киева в Москву. Пришла к военкому, тут и Игнас.

— Я хочу, товарищ Климентьев, уехать в Москву.

Он вопрошающе поднял брови. Начались разговоры, расспросы: как, почему да зачем, какая нужда ехать?..

— Зря ты, бабка, надумала, — отговаривает Игнас. — В Москве голод, хлеба нет, конину едят.

— Ну, Игнас, не напугаешь меня сказками, — не ве-

рит Марина и упрямо свое твердит: — Уеду. Только вы научите да помогите. Если будет плохо, снова приеду.

Однако все устроилось легко и скоро.

На прощанье Федор Иванович написал свою бумагу, белую, ясную, слова крупные:

МАРИНА МОКЕЕВА СЛУЖИЛА ПО КАДЕТСКОМУ ШОССЕ В БОЛЬНИЦЕ С 1917 ГОДА БЕЗОТВЕТНО, СТАРАТЕЛЬНО, СЕРДЕЧНО, ТЕПЛО УХАЖИВАЛА ЗА БОЛЬНЫМИ, БЫЛА ПРИМЕРНАЯ САНИТАРКА.

Эта бумажка — гордость Марины.

В последний час пришла доктор Кудря.

— Уезжаешь, бабушка? Жалко. Пусто без тебя будет. Пожила бы еще.

— Будет, доктор, поработала. Спасибо за привет!

И грустно-грустно стало Марине. Вспомнилось, как пришла в больницу, измызганная, усталая, как прохожая странница. Здесь, в больнице, наладила свою разбитую жизнь, здесь заслужила себе уважение. Тут нашла свою семью.

Но прости-прощай, украинская житница, — Киев!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РАСЦВЕТ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Строгой и холодной показалась Марине Москва в октябре двадцатого года. В сереньком халате, с красным крестом на рукаве, она, незаметная, как иголка, дошла до Новинского бульвара. По застывшему песку на бульвар выбежало десятка два парней и девчат, простоволосые, в картузах и в красных косынках. У всех ружья, старые, никудышные. Стриженая девушка в сапогах командует:

— Раз-два!.. раз-два!.. — и все враз топают на месте.

Марина так засмотрелась, что не слышит, как за спиной ее с грохотом промчался трамвай.

Незаметно подошедший к ней человек в кожаной куртке говорит: «Это, я тебе скажу, организация комсомола, разучают, стало быть, военную выправку».

На первых порах очень трудно пришлось Марине в Москве.

Знакомая Васса рассказала ей, как найти улицу Кривую и дом зубного врача, куда требуется приходящая работница.

И пошли дни Марины однообразные, с шести часов утра до пяти вечера стирала, убирала, мыла полы, стряпала, починяла белье. Вечерами уходила на субботники, там и подружилась с фабричными работницами, вместе шили одежонку для ребят в детские дома.

Марине давно очень хотелось узнать про Ленина, и однажды она спросила работниц:

— А вы видали Ленина? На кого он похож?

— Ну и чудила ты, бабушка! Да разве есть на свете кто похожий на Ленина! — ответила ей одна бойкая, разговорчивая женщина. — Видела его не один раз на собраниях, — простой он, Ильич, не очень высокий, большелобый, лысина лучится, что месяц ясный. Станет говорить и вдруг сам станет выше всех на собрании. Слова его самые простые, душевные. Ревели мы, бабы, когда чуть не застрелила его шкура-эсерка, и, больной, он все еще учил нас, как надо жизнь направить по-иному... Вот он какой, Ленин-то! Мы, работницы, и стараемся уцепиться за всякое общественное дело!

После этого разговора в Марине окончательно окрепло желание бросить свое постылое место домашней работницы. Через два дня она поступила работать на таможню, упаковщицей.

Двор таможни полон подвод. На телегах огромные заграничные катки бумаги. Грузчики ждут кладовщиков. В воротах сторож с ружьем спорит и ругается с рабочими. Марина прошла незамеченная. Поднимаясь по каменным ступеням на широкое крыльцо, она усмехнулась: «Еще новая работница!» Пропустила вперед себя несколько женщин и кладовщицу Ладошкину. Невысокая румяная партийка-кладовщица, погремливая ключами, прошла в конец упаковочной, в хранилище посылок.

Стол Марины — второй от двери. Через два стола — Редькина. Справа за первым — в красном платке седая Цветкова.

К Марине подошла худощавая, лицо в желтых пятнах, ножницы привязаны к поясу, и по тому, как она

посмотрела на нее, Марина поняла — это старая работница таможни. Фамилия ее — Дудочкина. Бесцеремонно навалилась на второй стол.

— Чего же ты, новенькая упаковщица, стала за пустое место? Иди, получай посылки.

Упаковщиц нашло до полусотни. В проходе гремит чугунными колесами тележка, похожая на открытый вагончик. Две женщины катят ее от кладовой с грудой посылок. Не успели сложить посылки у стола — тележку подхватили другие.

Чему-то посмеиваясь, к Марине подошла приземистая, веснущатая; указывая на край стола, спросила:

— С тобой тут ничего еще нет? Вот я и стану.

Сняла жакетку и вязанку, сунула на полку.

— Пойдем за посылками. Я тут разок бывала, порядок знаю... Меня звать Марфуша. А тебя? — спросила она Марину, подвязывая фартук находу.

Тележку пришлось подождать. Любопытствуя, Марина зашла в кладовую. Тут рядами стоят полки, перегороженные в клетку, каждая с номером.

В первую же получку Марине пришлось тысяча четыреста семьдесят один рубль. За всеми вычетами осталось восемьсот восемь рублей. Эва уйма какая деньжищ! — сама удивлялась она. Харчи выдавали на таможне, половину денег оставила там, хлеб все дорожал. Купила себе мерку моркови, ситцу на сарафан. Не докучать бы соседям, свое завела: чашку, ложку, кастрюлю, тарелку, все на полочку в кухне; на стол керосинку свою водрузила. Лицо Марины сияет большой радостью... сегодня прикрепили ее к партячейке при таможне. В профсоюзном билете профессию «медикосантруд» заменили. Теперь она работница транспортной артели на таможне. За зиму малограмотность свою ликвидировала, стала разборчиво писать фамилию и бойко читать... Зиму сменила весна, весну лето. Березы где-то зеленеют. На советских лугах хлеба наливаются, зреют. В садах цветут удивительно пахучие цветы. Ничего этого не видала Марина, у ней было свое. В белой косыночке спешила она на работу, твердо ступала по московским тротуарам босыми ногами,

башмаки болтались на руке. За работой дни уносились как птицы перелетные по осени, журавлем пестрым, шумливым. Пролетел год.

На исходе весны утро поднялось веселое, розовое. В открытое окно доносился издалека фабричный гудок.

Это был день партийной чистки двадцать первого года.

Марина надела чистое платье, косынку красную на голову и в ячейку пошла.

— Здравствуйте, товарищи, — приветливо сказала и спокойно села на кожаный диван.

— Расскажите, товарищ, свою биографию, — попросил однорукий коммунист.

— Какую биографию, чего это? — не понимала Марина.

— Ну, когда родилась, где жила, работала, почему в партию вошла... — пояснила женщина с быстрыми глазами и что-то быстро писала карандашом на бумажке. Марина улыбнулась.

— Это можно! Родилась в 1860 году, так было по церковной метрике... — И уже без запинки рассказала всю свою жизнь до самого Киева. — Все власти видела и какая власть что́ дает народу. В партию вошла потому, что большевистскую правду узнала, теперь знаю, за что бороться и другим пример указывать...

Пожилая коммунистка одобрительно кивала: — Так, товарищ... В больнице воевать со смертью — тоже война! Послезавтра получишь новый партбилет...

Эта чистка придала Марине смелости и уверенности. Она стала частенько заходить то в ячейку, то после работы на общее собрание.

Крайний день — суббота — выдался такой счастливый. Осеннее заходившее солнце ласкало и грело, небо чистое, синее. Тротуары на Тверской вспотели под ногами прохожих. Марина торопилась. В глазах ее все еще мерещился белый, светлый кабинет директора в Здравотделе. Доктор-женщина в белом халате внимательно прослушала Марину.

— Сердце у тебя, гражданка, устало, полечиться

надо, отдохнуть, главное отдохнуть. Отправлю я тебя в санаторию имени Воровского для нервных и сердечнобольных — хочешь, а?..

— Спасибо вам! спасибо! — обрадовалась Марина.

Слово такое «санаторий» она впервые услышала.

Сторонясь от прохожих и торопясь, Марина вдруг столкнулась нос к носу с каким-то молодым парнем и от неожиданности и радости вскрикнула:

— Петяйка!..

Лицо его показалось ей таким детским, черноглазо-праздничным. Он лепетал:

— Откуда ты взялась, мама?..

Она забросала сына вопросами, и громкие шаги прохожих, говор, шум трамваев не заглушали тихих слов сына.

— Учусь на доктора. Теперь недолго осталось. Живу в общежитии, на Спиридоновке...

— Так близенько от Благовещенского переулка! — всплеснула руками Марина. — Да ты приходи, Петяй, я живу тут, рядышком...

За две недели санаторной жизни Марина поправилась, посвежела.

На другой день после отпуска Марина раненько поехала на работу, на склады Московской таможни.

На дворе у сторожки дремлет сторож с ружьем, откинув воротник тулупа; позевывая, он лениво сказал ей.

— ...Или ты близко живешь? Рано приехала.

Размахивая полами брезентовых балахонов, чугунной походкой идут грузчики. Высокий остролицый Хорев блеснул острыми глазами и на ходу кивнул ей:

— Ныне в тринадцатый склад работать.

Поджидая работниц, Марина пошла вдоль линии. Налево, у стены длинного высокого склада, в вагонах, голубели и зеленели крашеные железные плуги.

— Сотни две будет, — молвил, проходя, рабочий.

— Ошибаешься, браток, ровно три сотни стоят с ранней весны, — отозвался другой.

Марина подумала: «Теперь этими плугами Советы наградят не одну деревню»,

У самой линии тринадцатый склад. Побалтывая железным крюком на толстой веревке, Хорев сказал:

— Вон рогожа и шпагат, обшивайте ящики.

Пуда по три-четыре ящики наставлены высокими штабелями в разных местах. К полудню Марина наставила порядочный ряд ящиков, зашитых со всех сторон в рогожу, но усталость давала себя чувствовать. Обедать грузчики пошли в курилку, Марина пошла к работницам.

Надо спешно вагоны очищать, верст тысячу пролетели с товаром. Марина с метлой: выметает, выкидывает солому, стружки, гнилую картошку, песок, известку. Пыль глаза ест, словно вагон горит, а лазить из вагона в вагон — беда. Спрыгнет, а в другой влезть — мука. Увидала Медведева.

«Ах, чорт толстый, враг эдакий!» — злится Марина, цепляясь за какую-то железину.

На глаза опять попали плуги.

— А скажите, пожалуйста, товарищ Медведев, почему до сей поры плуги лежат не при деле? В деревне мужики, небось, ревут, их дожидаючись.

Медведев приостановился, сунул руки в карман и плечами дернул.

— Лежат, хлеба не просят. Узнают, кому надо, — заберут, а тебя это не касается, знай свою метлу, — и пошел.

В курилке теснота, к столу притулиться негде. Работницы — Бадейка, Жданиха, косолапая Зюзина — забрались к грузчикам, пьют чай густой, черный.

Грузчик Клюев, потирая синяк под глазом, негодует:

— Никакого приспособления нет к работе. Вот безобразие! Тележка — и то одна на три пакгауза. Ищи да свищи, где она, а тут спешная разгрузка.

— На собрании надо все высказать, чего молчать, — угрюмеет Фролов, — тоже хозяйственники!..

— Про это ж и я, товарищи, говорила давеча Медведеву. Это ведь мученье, а не работа! — заволновалась Марина. — На таможне я была в ячейке, там хотят на стену газету писать. Говорят — это самое нужное дело, сам Ленин велел. Всем, вишь, можно в нее писать, и на всех фабриках заводится так.

— Это чего лучше! — загудели грузчики. — Всём станет известно, где хорошо, где худо...

Уже уходя домой, увидели — у сторожки на стене висит доска, на ней приклеен листок. Комарова бойко прочитала:

— «Октября пятого общее собрание рабочих, работниц и служащих. Выборы женщин в женотдел Районного совета и другие вопросы. Явка обязательна».

Марина удивленно говорит Жданихе:

— Понимаете, женщины, — «выбирать»! Словечко-то какое!

— Ну и что ж, пойдем на собрание и выберем самую языкастую.

Пошумели, посмеялись — и в калитку.

Хотелось Марине, очень хотелось на собрание. Да щека распухла, флюс надулся с орех, не пришлось итти в этот день.

Утром на другой день повязала щеку, — и на работу. Отмечаться вернулась в сторожку. Секретарь вгляделся в ее лицо, кивнул приветливо:

— А-а, так это ты, Мокеева! Что не приходила вчера? У нас собрание было, народу полный клуб. Грузчики, служащие и женщин десятка два. Тебя делегаткой выбрали.

— Меня! — удивилась Марина. — Ведь я старая, малограмотная, чего же выдумали выбирать?

— Ну-у, старая! — недоверчиво посмотрел он. — Сколько же тебе годов?

— Сколько, сколько? — осердилась Марина. — Шестьдесят третий. Ну, куда я гожусь! Работать там надо, учиться, может, — это с моей-то худой головой? Нет, как хотите, а меня оставьте. Я очень прошу, товарищ.

— Этого нельзя. Разве ты не знаешь? Постановлено рабочими на общем собрании. Страшного в этом ничего нет.

— Кабы я молодая была, — ведь это почет быть делегаткой. А теперь я что? — не унималась Марина. — Какой с меня толк? Приду в женотдел на смех молодым.

Домой заявилась расстроенная. Пожевала хлеба

с квасом, легла спать, но долго не могла заснуть, все думала, — чего же там делегатки делать станут?

Целую неделю беспокойство не оставляло ее, пока, наконец, она не надела новый сарафан и красный платок на голову, и пошла в женотдел, на собрание делегаток.

Волнуясь, вошла она в женотдел, встала в двери и ахнула. Огромная комната залита ярким светом, полно женщин-работниц в красных косынках, сидят рядами, некоторые стоят. Веселые, улыбистые, просто как у себя дома, хлопая в ладоши, распевают новые песни с приплясом:

Эй-эй, Дуня, Дуня-я,
Комсомолочка моя...

Вмиг Марине вспомнились фабричные морозовские казармы. Угрюмая широкая кухня, в углу кадка вонючих помоев. Ткачихи бабы и мать ее тут — справляют свой праздник «жен-мироносиц», пьют вино, гремят рюмками, хохочут, поют похабные песни и с мутными глазами, безнадежно замученные, тужатся быть веселыми. Этот миг черного виденья заслонило ярким светом электричества, и Марина поняла: в здоровом бабьем веселье расцвет новой жизни. И сама расплылась широкой улыбкой. Хотелось ей шибко, во всю мочь, крикнуть:

«Вот это бабье веселье! Никогда так раньше не было».

Девушка в красном платке вскинула на нее глаза, спросила.

— Как зовут? Грамотная?

Марина покраснела, замялась.

— Так, мало, не до того все было, — заикнулась, — старая, мол.

Стриженая за столом заулыбалась.

— Ничего, ничего, поживем — научимся.

Подала ей беленькую книжечку.

Усаживаясь на стул, Марина вышептала печатные слова: «Делегатский билет». Рядом пожилая спокойными глазами заглянула в книжечку, указала.

— Видишь, число отмечено — двенадцатое октября. Это книжка, что ты выбрана рабочими. С этим доку-

ментом на собрание и еще куда надо пропустят. Ты первый раз? А я другой год хожу делегаткой.

Боясь проронить слово, Марина жадно слушает доклад заведующей женотделом. В окно заглядывает кособокая луна. С портрета лицо Ленина, кажется, ободрительно улыбается.

— Работницы! Делегатка — это новая женщина, и только в Советской стране. Нигде за границей этого нет. Иностранки-женщины не могут даже мечтать о таких собраниях, и нельзя им носить красных платков, — их арестуют...

— Несознательным, нам надо больше уделять внимания, объяснять, растолковывать: что было, то прошло. Без грамоты только одни слухи, сказки, предрассудки. Много ли вас тут вполне грамотных? Знаю — мало. Вот и давайте учиться, изживать вместе темноту-старину и сами, своими руками, строить новый, светлый быт.

Собрание затянулось до позднего вечера, в конце собрания у стола вдруг появилась стриженая женщина, зовет:

— Товарищи, подходите записываться, кто в какой секции хочет работать: в профсоюзную, в кооперативную, в санитарную секцию...

Зашевелились делегатки, кто куда. Марина записалась в санитарную секцию.

Домой Марина шла не торопясь, придерживая в кармане делегатский билет. Хорошие речи радовали ее, радовало и то, что вот она на старости состоит в ленинской партии.

Пришел Петяйка проститься, он уезжал из Москвы. Он поглядел на мать, ему вспомнилось — она всегда была угрюмая, задумчивая, печальная. Теперь совсем не такая: в глазах ее живой огонек, она разговорчивая, веселая.

— Ах, Петяй, ты и не знаешь, мне так хорошо! Хожу на собрания; подумай, сын, — ведь я делегатка! Одна моя беда — стара я и неграмотная, будет ли с меня прок?

В утреннем заморозке трамвай сердито прошипел на холодных рельсах и, как всегда, остановился у ворот таможни и на булыжник мостовой вытолкнулись

пробкой грузчики, рабочие, работницы, и с ними спрыгнула новая женщина, но никто этого не приметил, и ничего не было в нем приметного. Среднего роста, черное суконное пальто замызгалось за долголетнюю свою службу, даже лоснится, и барашек на воротнике вытерся, голова обмотана поверх красного платком черным. Даже сторож по улыбистому лицу не приметил новой женщины. Но в калитку таможни все же вошла новая советская женщина. Сама она, Марина делегатка, этого не подозревала; идет, как всегда, своей торопливой походкой.

Работницы в обеденный час собрались в клубе. Пришли курьерша Луша и уборщица, всего четырнадцать женщин собралось. Уселись, кто где, глаза уставили на делегатку.

Волнуясь и потирая усталые руки, Марина говорит тихо, с расстановкой:

— Светлую жизнь никто нам не построит, милые работницы. Самим надо толково за дело взяться, и в первую голову грамоте надо учиться. Про то и на собрании больше всего речь была. А мы, дорогие товарищи, кто малограмотен, а больше и совсем безграмотных. Вот наша беда.

— А кто виноват? До ученья серому мужику доступа не было, — ввернула Наташка.

— Что ж, и правда. Зачем бабе ученье? — заметила Чижикова и к сторонке отошла.

Поглядывая на дверь, Комарова посоветовала:

— И теперь не ушло время. На таможне ликбез занимается. Можно ходить, учиться.

— Можно тебе распевать! А вот наше дело как. По рукам и ногам делами да детьми связаны!

— Ну, это вы напрасно, бабоньки, вину на детей. А ясли? — напомнила Марина. — Это ведь первое ваше дело.

Заворочались работницы, задвигались, и чуть не все в один голос:

— И то правду ты сказала! Чего нам не сметь? Делегатка похлопочет об яслях.

— Знаете что? — поднялась Редькина. — Уйду и я

учиться, ну, Чижикова, давай на-пару. — Взглянув на Марину, расхохоталась. — Обязательно уйду.

— Валяйте, валяйте! — засмеялись другие. — А мы поглядим — и за вами тоже пойдем. Верно, добра захочешь, и время найдешь.

Зима проходила снежная, вьюжная да хлопотливая. Прямо с работы, полная забот и тревоги, — не опоздать бы, — Марина спешила на делегатское собрание.

Придет одна из первых, и на первой скамье алеется ее голова.

Марина работала от Совета в санитарной секции делегаткой; своими глазами ближе увидела разруху.

Мать родная, сколько беды натворила война!.. А дворы-то, батюшки! заборы повалились, в холодное время пожгли. Калитки на одной петле висят. Чуть не в каждом дворе помойная яма, воняет на всю улицу.

С делегатским билетом Марина обрела в себе силу и уверенность.

Зашла на один двор. Мужик, с чахлой бородкой, в бабьей кофте, бродит спустя руки, не знает, за что взяться. Марина ему и указала.

— Мусор в яму надо зарыть, помои куда хотите девайте, а двор чтобы чистый был.

Мужик рассердился, носом заиграл.

— Ты что, гражданка! Указывать много вас найдется! И никому это не мешает, не твой двор!

— Двор, конечно, не мой, но для тебя, гражданин, чистота лучше, — вразумительно настаивает Марина. — Я приду, посмотрю, все ли будет в порядке...

На другом дворе с каменными столбами еще хуже: прямо от крыльца по всему двору помои на улицу ползут.

— Эй, где у вас хозяева? — крикнула Марина.

Вышел в казакине с лисьей огонкой, заругался похлеще:

— А ты какое право имеешь, — баба, да указывать? Пришла здесь подолом разметать! Марш с чужого двора, пока не огрел!

В жар Марину ударило. Но нет, не испугалась. Делегатской книжечкой возле его носа махнула.

— Нечего ругаться! Вы чисто в болоте выросли! Уберите и вычистите двор. И стекла вставьте в нижнем этаже. Слышите! И на улице чтобы выметено было!

Хозяин высунул рыжую бороду из калитки, соседу кричит:

— Начальство бабье завелось!

Ходит Марина после работы из двора во двор, где обругают, где высмеют. Облазила дворы, до квартир добралась.

В женотделе прикрепили Марину к училищу у Краснохолмского моста. Далеко, но ездила и туда. Порядки да чистоту наблюдала для ребят. Прислушивалась, чему учат. Следила, чтоб старым поповским учением не пахло.

В клубе таможни, как и по всей стране, готовились к Первому мая. Украшали зеленью, таскали скамейки.

Портрет Ленина повесили на самом виду. Марина с восхищением и любовью смотрит на вождя. В голове неотступно стоят слышанные ею слова: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством».

Настало Первое мая, яркий, солнечный день. Первый раз она видела этот праздник, за который боролись рабочие и работницы со своими угнетателями. На всех домах покачивались красные флаги, проходила демонстрация, заливая всю Тверскую, как море, колыхались людские головы, шелком шелестели знамена, и музыка радовала сердце. Тротуары забиты глазеющим народом. У каждого на груди красная ленточка или цветок точно кричали о том, что кровью рабочих добыта свобода.

На Страстную площадь, как реки с других улиц, вливались колонны, и все тысячеголосо, свободно пели песни победы и хвалу великому вождю и другу народа, Владимиру Ленину. Такой величественной красоты Марина не видывала во всю свою жизнь. Украшенные зеленью и плакатами, катили трамваи, автомобили. Из автомобилей высовывались белоголовые, черноголовые, курносые детские мордочки, чудесно-радостные шумливые, помахивая красными флажками.

Такая дивная красота и торжество Марину глубоко поразили; она шла домой, не замечая дороги, из глаз ее катились слезы. Она думала, — «ах, если бы она не

была такая старая, то научилась бы писать, и во всех, во всех газетах написала бы про все прекрасное, что видела...»

В своей комнатушке она села на низенькую скамеечку в горьком раздумье. Но все же она взяла листок бумаги и карандаш, и, хотя выходило криво и косо, бумажка в одном месте порвалась, она просидела весь праздничный день, сочиняя статеечку... Недели через две Марина увидела на таможне стенную газету, а в ней, обведенную крупной красной рамкой, свою статью.

Молодые делегатки, которые побойчее, проходят курсы на кооперативную, профсоюзную и другие работы. Марина тоже походила на курсы, послушала, чему там учат, но наука такая ей не далась. Тужила — останется ее делегатский билет не заполнен.

В конце года из женотдела пришла Марине повестка на торжественное собрание «выпуск старых делегаток и прием новых». В зале делегаток собралось полным-полно, словно огород зацвел маковым цветом. Много было веселых песен пропето, немало и горячих речей сказано. На столе гора больших красных книг — подарки активным делегаткам. Настала торжественная тишина.

— Черепахина! — крикнула Первухина.

Вот она, худенькая, белявая Черепахина, делегатка, подходит к столу. Получила книгу, приветствует делегаток нового созыва. Дружные хлопки сотни рук ей в ответ.

— Барашкова! Симошина!

Подходят к столу, каждая получает и приветствует.

— Мокеева!

Голубем вспорхнуло сердце Марины; не чуяла, как к президиуму добралась.

Только слышит голос:

— Это тебе от Совета подарок. — И в руках Марины большая красная книга.

Марина ничего больше не слыхала, глазами ушла в книгу, на ней надпись:

«Делегатке Мокеевой Марине от Районного совета и отдела работниц РКП за активную работу в секции Совета».

Ей подарили книгу: речи Ленина. Бережно закрыла она книгу. Учение Ленина — это самое дорогое.

Зима в этом году навалилась в одну ночь, суровая, снежная. Но еще суровее были тревожные, холодно-белоснежные листы бюллетеней о болезни Ленина.

В самую стужу необычно тревожные фабричные гудки глухо донеслись в комнату Марины. Она собралась на работу, вышла на улицу. Колыхались флаги красные с черным.

Прохожие спешили. Невидимой черной птицей из уст в уста проносилась жуткая весть: «Ленин умер!» Незнакомая женщина толкнулась к Марине.

— Ты знаешь ли, помер Ленин!

— Помер, а-а?! — остолбенела Марина. — Да к-как же это... Правду ли?.. Ой-ой, головушка! Родимый наш Ленин!..

Другая женщина в бекешке утирает слезы.

— Тетенька, я тоже видела Ленина!.. — подпрыгивая в намороженных башмаках, щебетала восьмилетняя девочка. — Мне жалко-жалко дедушку Ленина, — и голосок ее дрогнул слезами.

В трамвае теснились. Угрюмо шептались:

— Верно ли? Может, брехня.

«Ленин умер»!!. Как страшный вихрь по всему миру разносились эти два слова.

Марине казалось, — в печали притихла вся Москва. Женщины, ребята, мужчины идут бесконечной колонной к Дому Союзов проститься с любимым вождем.

Пять ночей не спит Москва, и тысячи людей движутся, как бурливые реки, к Дому Союзов. Каждый вечер с работы Марина идет туда. Трещит лютый мороз, захватывая дыхание, но надо, надо еще раз взглянуть на мудрого учителя...

И в эти дни на собрании грузчиков и работниц Марина впервые увидела новый журнал «Делегатка».

Домой заявилась поздно, наскоро поужинала, уселась поудобнее и взялась за «Делегатку». Читает и дивится: пишут в журнале работницы и крестьянки, и фамилии тут ихние.

Вот и портрет работницы с фабрики «Октябрь», и

ее заметка о худом станке. А крестьянка Василиса из деревни Бабкино пишет о кулаке, пьянице, пробравшемся в председатели сельсовета. Ну, слыхано ли было раньше, чтобы сами бабы писали? Сроду этого не было. А вот картинка «Новый быт». В светлой палате женщина на белой подушке, под белой простыней. Доктор тут, сестры, няньки, все в белом, ждут ее родов... Марина задумалась, — так это все необычно, все ново. Вспомнила Марина и свои первые роды. Сорок пять лет прошло с тех пор, но не забылась та ночь морозная, не забылась и деревенская промерзлая баня, где не только лечь, — головы преклонить негде было. Вспоминает Марина тот старый, проклятый быт, и наполняет ее непреклонное желание написать про старое... Два вечера промучилась, и наконец-то — написала! Рука дрожала, написала плохо, криво, но написала!

Утром пошла в отдел работниц при Московском комитете. Работницы за столами пишут, работают.

— Тебе, бабушка, что надо? — подошла к ней женщина в красном платке.

— Да вот я принесла... — несмело вынимает Марина из рукава заметку и портрет.

Секретарь недоверчиво на нее смотрит и говорит:

— Мы, бабушка, не каждую заметку печатаем. Ты уж не сердись, если твою не напечатаем.

— Ладно. Не годится — киньте! — И сама к двери.

Неделю, другую ездит Марина на работу, про свою заметку и думать перестала. В один памятный день в трамвае увидела у одной работницы журнал «Делегатку». Марина поднялась на цыпочки и от радости даже тихонько ахнула. Портрет ее тут, и заметка, стало быть, напечатана.

Пошла опять в отдел работниц, а тут и забыли, какая она есть, спрашивают:

— Ты, бабушка, может, не сюда зашла.

Марина смутилась.

— Нет, товарищи, сюда. Портрет мой у вас.

— А как твоя фамилия, товарищ?

— Да я Мокеева.

— Товарищи! Вот она самая Мокеева!

Ее обступили женщины, теребят ее, просят, чтобы она чаще писала в журнал.

И с тех пор стала Марина постоянной рабкоркой журнала «Делегатка».

Велико было ее изумление и радость, когда в следующем номере она увидела свое писание: «Горе-горькое — горе женское». Носилась Марина с этим журналом, как с милым ребенком, читала, перечитывала и, полная гордости, смело гремела чайником в кухне.

В редакции Марине поручили съездить посмотреть и написать заметку о столовой Нарпита имени Клары Цеткин и побывать в клубе фабрики Госзнак, где работницы организовали детский уголок.

Подивилась Марина в столовой: чисто, опрятно, электрические машины разные работают: капусту режут, мясо рубят, картошку чистят.

Из Сыромятников Марина покатила на трамвае «Б» в клуб Госзнак. В «детский уголок» пришла и домохозяйка Марья из коммуны, кивнула Марине, смеется, рассказывает:

— Захотелось мне, милая, в клуб к работницам, узнать, в какой-такой «уголок» таскают они своих ребят, да и сами-то они чем занимаются тут. Кстати, и своих вот ребят двоих захватила. Ну, и затейницы же бабы стали! Такую хоромину «уголком» назвали! Светлая, чистая, на стенах картины, портрет маленького Ленина. А игрушек-то, игрушек какая тьма!.. А ребята милые: ни плача, ни драки. Руководительницы присматривают и сами с ними играют. Да сперва я зашла взглянуть, где же ихние матери? А они, милая, в дальнейшей комнате на диванах, на креслах с книжками, журналами учатся. Ни в жизнь бы я из этих помещений не ушла!

Написать заметку Марине казалось так легко и просто. Низко склонилась над бумагой и сразу не знает, как начать, — ах, куда же память девалась? Зачеркивает и перечеркивает. Натужная память подсказывала, написала две страницы, последние крепкие ложились слова: «Детский уголок» — это красный венок на могилу Ленина. Частичку его завета о раскрепощении женщины-работницы выполнили».

Утром прикатила в редакцию к началу занятий.

— А, рабкорка наша, Маринушка! — радостно встретила сотрудница журнала.

— Давай, покажи, как подписалась? — «Старая работница Доброфлота Мокеева». Правильно! Умница, прекрасно справилась с этой работой.

«Хорошо хвалить, — думала про себя довольная Марина. — А если бы знали, как оно доставалось, сколько мучилась!»

Да, мучилась, трудно, — стара и неученая!

Достала себе книжку грамматику, записалась в библиотеку, стала брать книжки, и одна в своей комнатушке читала, училась писать. На другой день первая пришла Марина в совет на рабкоровский кружок. На окне в коридоре посидела. В комнате, где назначено, все плакаты на стенках просмотрела, дожидаясь других. Собралось десятка полтора работниц-рабкорок. Комната зашумела, — смех, говор.

При чтении небольших заметок Марина заскучала. Она их уже переросла. Заинтересовал разбор большой заметки рабкорки с Дангауэрки.

Сама того не подозревая, Марина помолодела, хотя ей уже шестьдесят шесть лет. И не заметила, как и когда она оставила многодавнюю привычку, — не взглянув на себя в зеркало, выходить на люди. Теперь узнала, что ей к лицу, что идет к ее возрасту. Кончила шить себе обновку. Оглянула себя в кубовом сарафане и, довольная, подумала: «Сегодня иду на первое губернское совещание рабкорок и кресткорок»...

В этот день, жаркий, знойный, гремя и позванивая по Большой Дмитровке, трамваи высаживали на углу Столешникова переулка приезжих женщин в незатейливых рабочих и деревенских одежонках. Шли вдумчиво, не торопясь, в строгое и важное здание Московского комитета.

— На совещание? Здешняя? — спросила девушка в толстовке, и Марина так же, как и другие, подхватила из ее рук охапку книжек и журналов «Делегатка».

Осторожно поднялась по красному ковру лестницы. Перед глазами на стене плакат:

«ДЕНЬ 12 ИЮНЯ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ».

Навстречу хлынул гул веселых голосов. Марина оглянулась: полон огромный зеркальный зал молодых и старых: все веселые, бойкие, простые...

Через доклады и все речи красной нитью проходят важные слова, сказанные Лениным: хороша та газета, в которой пишут сами рабочие...

Рабкорки и селькорки одна за другой выступают с речами о своем житье-бытье, и все говорят о журнале «Делегатка», — что она понятна, близка.

Марина радостно волновалась, когда услыхала свое имя, она тоже выбрана в редакционный совет. С новой силой вспыхнуло в ней желание учиться, и тут, на совещании, она высказала:

— Дорогие товарищи, мало остается мне жить, но писательскую науку, надеюсь, одолею, и все мы проторим дорожку к этой науке...

— Верно! правильно! разум есть...

Приезжая издали крестьянка читает свои стихи:

Всем работницам, крестьянкам,
Чтобы время не терять —
Сдать заметки в «Делегатку»,
Никогда не забывать...

— Вот это верно! Вишь, как скоро сочинила и на память даже!

Веселые, шумливые, все рассыпались по лестнице.

Летняя ночь обрядилась звездным покоем. Шумы московских улиц вошли в сонные берега. В тишине часы на башне наигрывали что-то веселое...

Стала Марина прихварывать. Доктор прописывал лекарство «от сердца», два раза давал бюллетень. Не помогает. Наконец послали ее на комиссию. А там женщина в белом халате дает ей бумажку, объясняет:

— Ни к какому труду ты, гражданка, не пригодна. Доставь документы восьмилетнего рабочего стажа, будешь получать пенсию — двенадцать рублей и пятьдесят копеек в месяц, по второй категории.

Марина примолкла, принизилась, сжалась. Бумажку сунула в карман, крепко сжала губы, пришибленной походкой поплелась домой.

Как только вошла в свою комнату, села на скамеечку у кровати, тихонько заплакала. Обидно и горько

ей. Работала, старалась — и вдруг отжила свой век, непригодна.

Справилась Марина со всеми делами, к пенсии прибавилась помога партийная и профсоюзная, чего же еще? Жить без нужды можно.

Свою комнату еще раз оглянула. Все нахорошено ею, вымыто, вычищено. На шкафике постелено небеленого холста полотенце с мохрушками. На этажерке на нижней полочке кучка журналов. Сверху красуется красная книга — подарок Совета. На стене портрет Ленина.

Кончив чаепитие и сытно вздохнув, Марина опрокинула чайник на батарею. Ломтик хлеба, сахар и зеленую чашку убрала в шкаф. Взяла красную дорогую книгу, углубилась в крупные строчки:

«Самая постройка социалистического общества начнется только тогда, когда мы примемся за работу вместе с женщиной», — прочитала Марина слова Ленина и задумалась: сколько же человеческого тепла и заботы у этого великого человека о женщине!.. Закрыла книгу и заторопилась, — прихорошила на себе юбку, обрядилась в новую сатиновую кофту, на грудь приколола красную звездочку, захватила тетрадку и карандаш, привернула электричество, вышла. Вечер сухой, душный и синевато-темный, — перед грозой так, подумала Марина, выходя из переулка на яркий свет улицы. Твердо шагает она на Международную конференцию коммунисток. В этот памятный день московские работницы встречают ленинградских работниц и коммунисток-иностранок.

Большой театр полнехонек. Красные плакаты, знамена. Шумно и весело и радостно. Многоголосая песня гремит:

Жив свободный народ
Все идут под знамена Коммуны.

Марина наверху в ложе. Подтянув потуже концы красной косынки, пригнула голову вниз, удивляется: да разве это бабье собрание? Это стальная боевая армия рабочего класса. Лица твердые, глаза уверенно смелые.

Занавес поднялся. Сразу все смолкли. В президиуме Крупская, Марья Ильинична, сестра Ленина, и другие старые большевички.

На столе подарок ленинградских работниц — огромный земной шар. Появляется Клара Цеткин.

— Да здравствует мировой женский седовласый вождь! .. — салютуют пионеры.

— Среди нас, — говорит председательница собрания, — нет создателя нашей партии, нашего дорогого товарища Ленина.

И не успела она договорить, весь зал безмолвно в одну минуту поднимается; длится минута сильная, тяжелая...

— Мы пришли сюда не как женщины, а как борцы, — говорит Клара Цеткин. — Ленина нет, но разве может перестать биться такое сердце, как сердце Ленина? Разве может исчезнуть такое дело, как дело Ленина?

Зазвенел по-своему голос китаянки:

— Да здравствует раскрепощенная женщина!

Приехала она в Россию впервые на конференцию. Шумные всплески рук ответили китаянке приветом...

Выступает с речью селянка Белоруссии в свитке. За ней на трибуне в клетчатой поневе рослая старуха-крестьянка. Широко размахивает руками, голос полнозвучный:

— Докатилась свободушка в нашу плакущую темь, стала жизнь иная. Есть изба-читальня, книжки. Ребята учатся. Есть и детские ясли. Да что еще более говорить, — кругом видно советское новое.

Раздаются речи жаркие иностранные: говорят англичанки, польки, француженки.

— Слушайте, гражданка, — толкнула Марину черноглазая, в кудерьках, — узнать бы, понять ихний язык, чего они говорят.

Подумав, Марина ответила:

— У рабочих всех стран один общий язык: бороться за такие же, как у нас, Советы...

Представительница ленинградских работниц, указывая на шар, горячо говорит:

— Мы, русские работницы, разбили свои цепи, — работницы всего мира, следуйте нашему примеру!..

Мы марсельезу, гимн старинный,
На новый лад теперь споем,
Могучий зов, победный клич,
Великий клич международный...

неслась по театру песня работниц красной Москвы и Ленинграда, закаленных в боях за революцию.

Марина в уголке ложи. На красном бархате тетрадка. Ловит слово за словом, пишет о таком историческом торжестве, и она, Марина, принимает в нем участие. Это было ее счастье, счастье советской старухи.

Как-то одна знакомая работница позвала Марину на районное собрание МОПРа.

— Ладно, идем, — согласилась Марина.

Пришли, сели с краю, работницы шушукаются:

— Про что доклад будет, Матрена?

— Ну вот, сама-то не слыхала? О МОПРе...

— Слышь, Матрена, опять МОПРу поминают. И хоть бы сказали, кто, что она такое!

— Все заграничные тюрьмы полны узниками, — громко говорит докладчик. — Международная организация помощи борцам революции посылает узникам посильную помощь...

Марине вспомнилось то время: сын сидел в тюрьме, и ей стало понятно это слово «МОПР». По рядам ходит шопот. Оглянулась.

Один через другого передает деньги в президиум, и ее кто-то толкнул в плечо, дает золотое кольцо, шепчет: «Передай туда, МОПРу». Рядом работница выдернула из ушей серьги и тоже туда...

Вспомнила — у ней, на дне корзины, в тряпочке, двухаршинная серебряная цепочка с крестом и облигация золотого займа. «Обязательно МОПРу отдам». И тут же зародилась мысль — написать о МОПРе, да так, чтобы понятно было малограмотным женщинам. Целую неделю она работала — и написала книжечку в одиннадцать страничек: «Как тетка Дарья узнала о МОПРе».

Марине, как в молодости, весело, что справилась она с таким делом!

Бодрая, уверенная пошла Марина на совещание рабкорок, в Зеркальный зал Московского комитета.

Работницы-рабкорки обсуждали журнал «Делегатка». Курчавая Апаренко с фабрики «Металл-лампа» вскинула брови, говорит:

— Всякое знание нам полезно и нужно, а журнал — это наша первая защита.

— Я и говорю, — отозвалась Чугина, — если будем чаще писать, у нас будет больше опыта. И о религии надо больше писать, святостью только разум заморачивают...

Марина свое предложение высказала:

— Надо советы просить, — учили бы нас, малограмотных, насчет законов жизни, а на бога пора перестать уповать...

Тут же, в другом помещении, в Красном зале, происходило большое собрание работниц, куда пошли все рабкорки. Работницы рассказывали, чтó они любят читать, какого автора больше уважают. О многих писателях говорили, даже классиков задевали.

Одна щупленькая, бойкая работница говорит:

— Читала я большую книжку Толстого — «Анна Каренина». Ушла она от мужа и с сыном разлучилась. Страсть жалела сына, тяжело ей было, тосковала...

— Нет, — говорит другая, — Толстой хорошо Наташу Ростову описал...

Марина незаметно платок сдвинула с ушей, прислушивается: как же, — и ее это касается!

И чем дальше, тем больше зреет в Марине желание написать книгу про жизнь рабочей женщины...

— Если захочу, да научусь, да все силы положу, будет такая книжка. Так, Марина? — сама себя уговаривает она, и твердо стала на этой точке.

Для писательства учебников нет и не было. Это Марина знала, — человеку дан разум, а уметь управлять волей своей и терпением надо самой.

Десятый час. Вечер. Марине все еще не ясно, как сложится первая глава ее повести. Собирает всю силу своего воображения, и всегда, когда она заглядывает в свою жизнь, воспоминания бередят сердце, — забыть бы, не думать о прошлом! Сидит она одинехонька, лампешка электрическая висит над головой, свет жел-

то-скучливый. Кругом тишина... В эти часы ей хочется преклонить свою усталую головушку к другу, к товарищу... Но она одна, старая, седая... Во имя чего они жили с мужем? Марина может вспомнить только униженья, побои, слезы... Думы тяжелые ломят виски, — неужели так и умрешь, не увидя просвета?..

В глазах Марины свет застилают слезы. Пальцы крепко вцепились в карандаш, и слова, как рыданья, ложатся на бумагу... Где ты, о радость, о счастье бабье... счастье обездоленных, обиженных темной жизнью?

И строчки за строчкой разбегаются на бумаге. Время забыто. Тишина. Все спят... Две страницы исписала. Подняла голову. Бережно завернула листы и спать легла.

Шли дни, — вечера долгие, зимние. Марина корпела, писала, училась, упорно одолевая литературную мудрость. Терпеливо ходила на собрание кружка пролетарских писательниц в Зеркальном зале Московского комитета.

Здесь Марина находила неизменную помощь, поддержку, внимательное отношение к своему труду. Много помощи оказала Марине старая большевичка Людмила Сталь.

Она поощряла ее первые литературные опыты, при ее помощи вышла первая книжка Марины — «Как Дарья про МОПР узнала» в издании «Библиотечки для работницы и крестьянки» в Госиздате.

Быть в строю работниц-ударниц для Марины годы ушли. Цель ее жизни — написать повесть, документ прошлой человеческой жизни. С очками на глазах, целыми днями она пишет, забывая свои годы, забывая время отдыха и даже сна. За окном темное ненастное небо. Осенний ливень промывает стекла. Воитель безрукий — холодный ветер бушует. Треплет деревья, ломает сучья, посвистывает в худую форточку. В-у-у-у-у!.. В-у-у-у-у!.. Но ветер бессилен; не погасить ему десятисвечовую электрическую лампочку, не спугнуть Марину... Ей не до отдыха, она дорожит каждой минутой... Чуть не затворницей живет она не год и

не два. Порою умственный труд становится ей не под силу... Устает. Тупеет голова. По-старушечьи болит поясница. Но рук она не покладает. Нельзя тебе, Марина, этого делать. Твой отдых — впереди... Ты настойчиво добилась того, что не всем дается, — так уговаривает она себя, собирая всю силу и энергию.

— Ты знаешь, Людмила-солнышко, — говорит она однажды Сталь, — больше всего я боюсь умереть, не кончив повести. Ведь никто, никто не знает, чего я хочу написать, а написать должна... Хочу победить неуменье и выйти победительницей!

В день рабочей печати 5 мая кружок имени «8 марта» со своей руководительницей Людмилой покатил в поезде на Мытищенский вагоностроительный завод.

Там собралось человек пятьсот рабочих. Черные пиджаки, цветные толстовки. Ландышами белеют женские платья. Ребятишки рады горячему солнцу, стащили рубашонки, бегают, верещат, прыгают зайчатами.

Эстрада убрана красными плакатами, над всем высится портрет Ленина, который точно улыбается рабочим и солнцу. Издали эстрада кажется пышным пионом, распустившим во все стороны красные листья в виде стенных газет. Выделяются газеты «Челнок», «Режим экономии». С напряженным вниманием ловят слова докладчицы, напоминающие собранию мысль Ленина, что только та газета хороша, в которой пишут сами рабочие и работницы.

Блеснув лысиной, ясной, как самоварная крышка, старик толкнул рядом работницу:

— Ишь ты, вот какую вам, бабам, дали «свободу». Везде вашему брату стало доступно...

— И не говори, дядя Спиридон. Все возможности нам открылись при Советах, ну, а продвигаться надо стараться самим. Это тебе не бывалоча горшки да ухваты.

И работница делает большие глаза.

Марина читает рассказ о «Яшке-беспризорнике». Шумевшие мальчишки, девчонки притихли.

«Яшка обнял котенка и юркнул под одеяло. Под подушкой он нашарил красный галстучек и, сладко за-

сыпая, прошептал: «Нет, не может человек пропасть, ежели он не хочет».

— Поди ж ты, — качает головой рабочий, — научилось наше бабье, как описывать.

— Здорово. Вот это достижения бабьего равноправия!..

Рабочая молодежь на Мытищенском поле закончила митинг хоровой песней под музыку. Из-за громады фабрик на всем ходу вылетел паровоз — и могуче прогудел в ответ музыке.

— Куда это вы, Марина Петровна, на ночь глядя? — удивленно, с горячим чайником в руках, спросила старушка Любовь Михайловна, заглянула в дверь.

— Она везде на старости нос свой сует, — проворчала в коридоре долговязая Франя.

Ранний вечер с трудом проникал в запотевшие стекла, наполняя комнату серой мутью. Убрав недописанный лист, Марина собралась на открытие съезда работниц и крестьянок. Захватила блокнотик и билет, спрятала в карман даже книжечку «Как тетка Дарья узнала о МОПРе».

На площади Свердлова, над Большим театром реяли красные флаги. Тысячи электрических пузырьков смеялись от радости, ярко горели словами:

«Второй Всесоюзный Съезд
Работниц и крестьянок».

Светло и шумно. Трамваи подвозят делегаток в зипунах, малахаях, кожухах. Городская публика, в шляпах, с тросточками, язвит словами:

— Хм... хозяйки прикатили. Да-а, дела ворочают корявыми руками.

— Головастые стали... хи-хи!..

На другой день утром заспешила в Кремль на заседание. В зале дворца у Марины глаза разбежались. От потолка до полу колонны блестят фигурной позолотой. Разноязычный говор делегаток от народов Союза тихим гулом плавал под высоким раззолоченным потолком. Тут и полушалки, цветные косынки и чалмы,

уборы мариек. Густо обмотаны белым полотном головы казачек, пестреют покрывала чеченок.

В переднем углу, в красном платке, с узлом на затылке, не помня себя от гордости, Марина сидит рядом с Надеждой Константиновной Крупской. Сбоку любовно глянула на ее сложенные руки, слазила в карман и подала ей свою книжечку, тихо говоря:

— Вот я вам подарю, Надежда Константиновна. Это моя, сама написала...

— А-а... спасибо, — улыбнулась Крупская, принимая книжечку, и тоже тихо: — Я знаю, слыхала, — ты у нас писательница...

Марина вспыхнула от удовольствия.

Сзади Марины черноглазая работница с Донбасса рассказывает о Первом всесоюзном съезде 1918 года в Доме союзов:

— Несмелы мы были тогда. Членов Совета еще не было. Ленин с нами говорил, и как угадал-то!.. «Будет время — стены этого дома станут тесны для женских собраний». Сбылись его слова: делегатки почесь со всех земель собрались...

— И курице клюнуть негде, расселись мы тутотка, простые бабы, — ужимается рязанская делегатка в полушалке.

— Я как вошла сюда, — тихонько говорит пожилая, в клетчатой косынке, — даже заплакала от радости: бывало-то, в шею нас выталкивали.

— Тише, вы мешаете слушать, — сердито оглядываются на шептуний.

— Второй всесоюзный съезд работниц и крестьянок имеет мировое значение. Наша перекличка идет к иностранным сестрам, — говорит с трибуны представитель женотдела Центрального комитета партии.

Но вот уже на трибуне другая.

— Английская делегатка, — шепчутся рядом.

— Нас здесь пять английских делегаток, — говорит переводчица, — наши работницы поручили сказать вам: мы не хотим войны с СССР и не пойдем воевать против наших сестер, русских работниц и крестьянок... Да здравствует наш рабочий союз!

И загромыхал огромный зал! Хлопали бабы в ладо-

ни, не хотят уняться. Марина тоже изо всей мочи хлопала.

На трибуну стала Крупская.. Тихой радостью светились ее глаза.

— Браво, браво! Да здравствует товарищ Крупская! ..

«Раскричались, словно у себя в деревне», — радуясь, подумала Марина. И полетели к Крупской, словно белые ласточки, записки.

Тихо стало. Крупская говорит. Ее слова простые, к бабьему сердцу доходчивые: о женских делах, о деревенской нужде, как проводить работу, чтобы изжить наследие прошлого и крестьянке жилось бы легче, светлее...

Дородная украинка заняла ее место да властно так затрубила:

— Нам треба школы, учиться хотим...

«Вот это правда, хорошо, — думала про себя Марина. — Допреж я и азбуки не знала, а теперь... — глянула в блокнотик, — не мало листочков в «Делегатке» написано мною...»

У трибуны очередь. Каждой делегатке было о чем поговорить. В бордовой кофте псковская делегатка заявляет:

— Батрачкам учебников нехватает. Принять меры для бедноты. Облегчить зимнюю работу крестьянке, — машину, прялку ей дать.

В рядах склонились к блокнотам. Делегатки бойко записывают ответы партийных руководителей.

Поднялась говорить батрачка перед тысячным залом; жарко в красном платке, стащила его с головы, мнет в руках.

— Я не буду рассказывать, с каким нетерпением ждала съезда. Мы, волоколамские крестьянки, тоже не вещь и не курица, как нас считали раньше. Ветеринарный пункт у нас есть, к десятой годовщине изба-читальня открылась. Наша крестьянская работа тяжелая, но советская власть идет нам навстречу машинами. Будет война — не плоше мужиков пойдем. Так и в резолюции напишите.

В обеденный перерыв разбрелись кто куда. Всякого народа пришлось Марине увидеть: съехались из самых

отдаленных, глухих закоулков Советской земли. Тут и белые, в цветных строчках, рукава Украины и ситцевые халаты татарок, цветистые сарафаны рязанок и хитрые узоры на подолах и плахты делегаток черниговщины, разноцветные восточные шали — все переливалось цветом-радугой...

Любопытно Марине поговорить. Подошла к молодой, спросила:

— Откуда ты?.. Как звать?..

В ответ шевельнула черной бровью и несмело улыбнулась, — по-русски она не говорит; язык одной непонятен другой.

— Туркменка, — объясняет переводчица.

Так в бывшем царском дворце встречаются, знакомятся, ходят по выставке, на все дивятся по-своему. Немало удивлялись и охали на серый наряд узбечек.

— Гляди-ко-ся, милые: словно мешок прямо на голову с дурацким колпаком, — тряхнула одна.

— А в ногах-то — и не шагнешь: узкий, — подхватила белявая молодица. — И рукава зачем-то по земле волочатся.

А это что, а? Подивитесь, бабоньки! На глаза сетка черная, да, знать, из лошадиных волос либо из проволоки, чтобы, значит, лику человечьего не видать, — возмущались делегатки. — Да ведь это все одно — тюремное окошко!..

— И во всяком сословьи так-то надругались над бабой! — И Марина сердито дернула серый халат.

Узбечка объясняет:

— Это у нас называется чадра. Мы веками ее носили, чтобы нас не видали мужчины, кроме мужа. Из этой тюрьмы нас вывел Ленин. Мы понимаем его завет. Восьмого марта мы сбросили таких нарядов тысячи и сожгли на кострах. — И она, сияя победой, улыбаясь, окинула всех лучистым взглядом.

— Так и надо, касатка, — ободрили в один голос делегатки.

Пошли обедать в Грановитую палату. Здесь международная смычка. Пестрота нарядов, голоса разных наречий слились в один веселый гул. Шутки, смех. У всех общий язык радости, торжества.

Марина, подобрав свой пестрый сарафан, сидела ря-

дом с Марфой под балдахином, — тут когда-то был царский трон.

Смачно уписывая мясную котлету, Марфа смеялась:

— Нешто думал когда царь, что волоколамская батрачка в домотканном зипуне будет сидеть на его месте!..

— И я, Рязань косопузая, сюда же сладилась. — И смешливо морщит нос в кумачевом сарафане.

В кругу понев и сарафанов сидит Марина, и стриженные по-мужски иностранки приветливо улыбаются. В разговоре звучно прыгают непонятные слова.

— Это наши гости заграничные, — говорит переводчица, показывая на английских и немецких делегаток.

Такие же простые, как и все бабы, — худенькие, белокурые, черноглазые. Марине крепко жмут руку, дружески говорят по-своему, а по-русски заявляют:

— Мы не хотим война.

Марина даже растерялась, не знает, что сказать, и не верилось ей, что вот она, простая баба, «писака», живет в этой чудесной сказке. Расплылась в широкую улыбку и говорит, запинаясь:

— Гляжу я на вас, желанные, и думаю: какие же мы враги! У всех нас одна тягота против угнетателей, а тут эвона какая радость, — все в одну избу собрались. Пущай и вы возьмете с нас повадку собираться в ваших царских дворцах. Давай-ка породнимся по-деревенскому.

И не успели заграничные понять, в чем дело, — Марина крепко обняла французскую делегатку, поцеловала и застыдилась.

— Ура! Браво! — кричат со всех сторон. — Смычка деревни с заграницей!

После обеда пошли в мавзолей, к Ленину. Бодро шагали рядами, впереди колыхалось алое знамя, подарок съезду. У входа в мавзолей две пары стальных глаз красноармейцев. Живой вереницей входили. Твердо сжаты губы. По красному ковру не слышно шагов. Непонятно, откуда мягкий свет льется. Кругом черное, красное. У стен столпились знамена. Тихо. Глаза всех устремлены на умершего вождя. Лежит Ленин, не шелохнется. На груди краснеет орден Красного знамени,

И не веяло тут смертью. Победа и слава почившего дышат вечным покоем.

«Ты оставил нам твердую волю и веру в победу. Наша хвала тебе вечно, великий человек!» — подумала Марина.

Безмолвно подходят скуластые якутки. Круглолицые чувашки. Тонкие туркменки.

Вечернее заседание съезда во дворце еще не начиналось.

Перед огромной во всю стену картиной в золоченой раме восточные уселись на цветном ковре по-своему, поджав под себя ноги. Мордовка завела песню. Пестрым полукругом столпилась женская рать послушать...

Марина присела возле скуластой якутки в лохматой шапке.

— Два месяца в дороге. От суровой, скупой своей страны привезли советским сестрам привет. Нахимка куклу привез в подарок съезду, а ему здесь дали конячку, — рассказывает якутка, любовно поглаживая бритую голову четырехлетнего сына.

Стриженая немка-комсомолка садится на корточки, обнимает маленького скуластого якута. Собираются любопытные делегатки, разглядывают куклу в меховом наряде.

Мордовка поет песню, надрывную, с выкриками, о прежней тяжелой кочевой жизни, о замужней неволе с ранних лет. Кругом слушали, понурив глаза в пол.

— Антирисуди фай-вей-ей... фай-вей-ей... — раздался веселый иностранный припев.

Мягкая мелодия непонятных слов бодрила и поднимала настроение. Все заулыбались, всем хотелось петь. Марина присоединилась к кружку работниц и крестьянок. Дружно, по-хозяйски затянули:

Смело мы в бой пойдем...

Не успели замолкнуть, как уже весело, с притопкой, по дворцу прокатилось:

Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты...

Заграничные гости собрались в кружок, запели по-своему. В мужских сапогах, потряхивая кобурой с револьвером, маленькая, с быстрыми глазами женщина-

милиционер выплясывала «барыню». А хор уже гремел на всех языках «Интернационал»:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой...

Позванивая серебряными монетами в головном уборе и черных косах, молоденькая татарка топотала по ковру лаптями. Бойкая алтайка разрумянилась, помахивая синим шарфом с желтой каймой, выделывала свой танец. Кружились и бурятки, киргизки...

— Гости-то наши дорогие почему не с нами? — хватились работницы. — Давай сюда!

— Просим!

Подхватили — да в круг...

Аккуратные, в серых вязаных костюмах, в желтых кожаных сапожках, с веселым смехом заграничные старались подделаться ногами к Марфиной деревенской пляске. Марина совсем разгулялась, — держит за руки английскую да немецкую делегаток.

— Разошлось, — говорит, — мое сердце от такого веселья. И в самом деле, нонче выходит, — всех стран воедино, и просим мы, стало быть, вас передать от нас всех и от русских пролетарок-писательниц всем английским и немецким сестрам душевный привет...

И так целую неделю съезд с утра до вечера: то заседание деловое, работа, а в перерывы — отдых и веселье.

В последний день Марина провожает. У вагонов поезда не понять, которые свои, которые заграничные: все вместе прощались, целовались. Каждая повезет добрую весть: на съезде подведены итоги работы к десятилетию советской власти и намечены работы на дальнейшее время.

Паровоз пыхтит. Марина помахала на прощанье платочком председателю сельсовета Гриценко из Полтавщины. Высунулась она из окна вагона, кому-то громко наказывает:

— Не забувайте прислать книжку, как селянке в партию попасть...

— Оце ж оглашенна, орет, як буйна! Хиба тоби одной треба таку книгу? — машет ей рукой делегатка в кожухе.

Дни пошли на убыль. Осенний ветер начал срывать с деревьев пожелтевшие листья. Закружились, запорхали снежинки. В напряженно строительной рабочей жизни чувствовалось приближение Великого дня. На улицах Москвы появлялось новое, чудесное. В вечернем тумане блеск электричества золотой лентой тянулся от Триумфальной до конца Тверской улицы. С покупками, с обновами люди спешили, торопились.

Наконец, через неделю утро встало ядреное, звонкое. Дома на всех улицах вспорхнули красными крыльями флагов. Высоко в небе величаво плыли и гудели аэропланы. Прислушиваясь к гремевшей со всех сторон музыке, Марина весело сказала себе: — «Дожила я до Великого Десятого Октября...

На всех витринах, окружив портрет вождя Ленина, золотом светилось электричество. Глаза его улыбчиво щурились и горели радостью в сердцах трудового народа. В картузах, платках и шапках толпился народ, и каждый, казалось, говорил:

— Нас миллионы, товарищ Ленин. Мы докончим дело, начатое тобой.

12 июня 1928 года кружок пролетарских писательниц имени 8 марта собрался на дворе «Правды» с работниками печати и с рабкорами, и все организованно пошли к вокзалу встречать Горького... В ряду молодых товарищей и подруг Марина шла бодро. Она испытывала радость от сознания, что она вступила на светлый путь советской литературы. Утро яркое, лучезарное, на площади вокзала уже стояли тысячи встречающих с лозунгом на красных полотнищах:

«ПРИВЕТ ДОРОГОМУ ГОСТЮ».

Организации рабочих и комсомольцев с веселыми песнями все прибывали, становились ближе к вокзалу. На обширной площади стало тесно. Ребятишки, как огромные пестрые птицы, взобрались на ящики, на деревья.

Дробно, под барабанный грохот, вереница за вереницей шагают с красными знаменами пионерские отряды. Со смелым задором эта смена отодвигает и ком-

сомольцев, выстраивается живым частоколом у самых ступенек подъезда, чтобы первыми встретить того, чьими произведениями зачитывается млад и стар.

Марина видела на площади несколько тысяч голов; она видела людей на крышах, на карнизах и на подоконниках ближних к вокзалу домов.

Так встречала Москва — Красная столица — своего пролетарского, мирового художника — писателя Горького.

Вдруг народные толпы качнулись, сдвинули конную милицию, широкий проезд сомкнулся, и все пестрой лавиной поплыли в сторону.

В этот первый приезд Горького в Москву в жизни Марины произошло яркое событие. Отдел работниц Московского комитета созвал работниц с фабрик и заводов, рабкорок и писательниц кружка имени «8 марта» на товарищескую беседу с Максимом Горьким. Собралось до двухсот человек.

Ехать за Горьким выделили Марину, как более активную, и рабкорку Друганову. Вместе с представительницей от редакции журнала «Делегатка» они поехали на автомобиле.

Марина была полна гордости, что ей на долю выпало такое поручение и сбылась ее давнишняя мечта — увидать в жизни такого большого писателя.

Дорогой товарищ из журнала ей говорит:

— Придется тебе, Маринушка, кое-о-чем поговорить с Горьким, надо подготовиться!..

Марина и сама сознавала; ей надо что-то ему сказать. Заволновалась, а, на беду, автомобиль летит, как ветер, и нет времени придумать речь.

Приехали в большой серый дом. Алексей Максимович кончал обед. В комнате с балконом пришлось подождать.

Он вошел неслышно. Марина и Друганова сидели на кушетке. Поймав на себе его взгляд, Марина вспыхнула. Она не ожидала, что он такой высокий и тощий. И ей сразу подумалось, — оттого он и сутулый.

— За вами приехали, Алексей Максимович, на вечер,

к нам пожалуйте, с нашими работницами,— смело, как в выступлении на фабрике, говорит Друганова.

— Да уж не взыщите, товарищ Горький, мы к вам так по-простому, поедемте с нами,— позвала Марина и смолкла.

Горький слушал, шевеля улыбкой густые усы.

— Моя машина тоже готова,— сказал он,— как хотите, я только оденусь.

У подъезда гудят две машины. Он вышел. На миг остановился на тротуаре. Глаза его залучились на красные косынки, коротко сказал:

— Может быть, которая поедет со мной?— слегка согнул свое длинное тело, полез в автомобиль.

Минута нерешительности,— и Марина очутилась рядом с ним; машина покатила.

Марина переборола свое смущение и просто и прямо спросила:

— Читали, может, вы мои книжечки, Алексей Максимович, я ведь самоучкой пишу.

По лицу его недоверчивая улыбка. Переспросил:

— Это твои книжечки, и ты пишешь,— сколько же тебе лет?

Подаваясь к окошечку, Марина смотрела на его шляпу, усы, и краснея заволновалась, махнув рукой.

— Это ничего, что я старая, но ведь мне надо было, и я начала писать в шестьдесят четыре года, а теперь мне шестьдесят восемь...

Горький немного откачнулся и удивленно мотнул головой.

— Столько годов — и ты пишешь? Да ведь это чудо!..— потянул он за рукав другого спутника, бывшего с ними в машине.— Гляди на нее, такую,— мне шестьдесят, а ей шестьдесят восемь, и она пишет. Ведь такое удивительное чудо возможно только в советской России,— и он тихонько рассмеялся...

В окне автомобиля мелькают дома, кооперативы, люди, и, оттого, что она сидит рядом с мудрым писателем, Марина безудержно весела. Смеется громко, молодым смехом и доверчиво говорит ему:

— Вот я научилась писать и стала самая счастливая на свете старуха. Теперь пишу большую повесть —

про одну бабью жизнь, и не столько пишу, сколько учусь писать так, как пишут настоящие писатели.

Горький сдвинул на лбу морщины, слушая внимательно, и кивал головой.

— Это хорошо, так... это надо писать про старину... Пиши обо всем, это будет ценно. О всякой мелочи пиши, это документ человеческой жизни. Приходи ко мне, я помогу...

Автомобиль ровно, без толчков покатил вниз по Кузнецкому. Заходившее вечернее солнце краем моргнуло в окошечко. Внимание Горького растрогало Марину. Краснея, подала ему руку; он с особой ласковостью пожал ее своей широкой ладонью.

У ворот Московского комитета толпится публика. Ждут Горького. Он первый вышел из автомобиля, подал Марине руку, как старому человеку. Правда, Марине было очень, очень лестно и неловко людей, опустила глаза...

Зеркальный зал полон пролетарок-работниц: делегаток, рабкорок и начинающих писательниц. Вошел Горький, зал дрогнул шумной овацией. На белоснежных скатертях вазы фруктов, печенья, пирожные. Даже стаканы и чайные чашки, казалось, улыбались знаменитому гостю и веселым хозяйкам... Улыбался и Горький такому необычайному для него собранию...

— Не взыщите, Алексей Максимович, — было время, боялись рот разинуть. Теперь учимся строить свой быт по-новому, и говорить складно учимся, и книжки твои читаем, — шутливо говорят работницы, доказывая этим, что он свой родной, близкий...

Горький указал Марине место рядом с собой.

Марина сидела в счастливом тумане. Можно ли когда забыть ей такой день?.. Проживи хоть еще двести годов, не забудешь!..

— А как вы научились писать, Алексей Максимыч, — расскажите? — спрашивали рабкорки, угощаясь пирожными и фруктами.

Помешивая ложечкой чай в стакане, Горький внимательно слушает, и все, что он видит, не похоже на царское время, когда не только труд, — мысли и воля работниц были порабощены. И вот перед ним женщины Советской республики — новые женщины-деле-

гатки, женщины-рабкорки, писательницы, строительницы своего государства. И он отвечает, стоя:

— Я вижу ваши достижения и вспоминаю Ленина, — он был провидцем, когда говорил, что без женщины не построить социализма. Вихрем разрастается сила творчества в Стране советов, новая страна рождает нового человека, победу над старым бытом.

Рассказал Горький, как и почему он начал писать, учил молодое племя пролетарских писательниц разить врага художественным словом...

Марина слушала Горького с напряженным вниманием. Слова его, искренние, простые, оставались в памяти...

Марине поручили передать Горькому альбом книжечек, в том числе и ее, как достижение кружка имени «8 марта». При этом ей хотелось хорошо и много чего сказать, но, волнуясь, сказала мало и коротко:

— Советская власть дает нам, женщинам, свободу и все возможности, и мы теперь не рабы. Большевики нашли потерянные ключи от счастья женского, открыли широкую дорогу к творчеству, и мы, работницы, положим все силы и смело пойдем в бой за власть Советов!..

Прошел год... Снова трещали морозы. Поднимая голову, Марина прислушивалась. За дверью в кухне беготня соседок. Откидывала карандаш, грела руки о горячую батарею. Считала недели, дни... Солнце взбиралось все выше, сияло и грело...

Под окном уже и сосульки яркие, хрустальные изошли слезами. Весна улыбалась лету теплыми душистыми днями. По привычке Марина проснулась рано. Комнатушка полна солнечного света. В банке ландыш и сирень льют свой аромат. На открытом окне, порхая, чирикают воробьи. Со стены улыбаются Ленин и Сталин.

В это утро сердце Марины заполняется радостью настоящего, сегодня она празднует пятилетие своей литературно-рабкоровской работы. Сладкое переживание прервал скрип двери, заглянула соседка-старушка.

— На, возьми, Марина Петровна, повестка тебе. И новый журнал...

— Спасибо, Любовь Михайловна, — обрадовалась Марина, — я знаю, вечером на партийное собрание надо.

Спустила ноги с кровати, развернула журнал «Делегатка». Во всю розовую обложку ее большой портрет.

По-старушечьи, от умиления, сморщилось лицо Марины, — теперь во всех, во всех женских журналах будут ее портреты. И думает: за что, за что ей такой почет и ласка? Все прочитают статью, как она научилась писать, что из нее сделала советская власть... «Да, я самая счастливая старуха!..» — сморгнув радостную слезу, думает Марина.

А в «Делегатке» и стихи про нее напечатаны.

МАРИНУШКЕ МОКЕЕВОЙ

«Десяток седьмой в волосах твоих серебрится, —
Смеется из сеток морщин,
Но думами светлыми — ты молодица, —
Моложе тебя не ищи...
Слетаются думы, и нитями строки
Полотна шуршащих листов,
И старости тени отходят далеко,
Ткачиха от новых основ...
Ведь ты, о Марина, впереди молодых!..

Солнечный луч играет на этажерке, тут журналы и стопка книжечек Марины. Порой ей даже не верится, — она ли их написала? Пороется в черновиках бумаг, — да, это ее царапанье, ее книжечки простые, немудреные, но их с охотой читают работницы и крестьянки...

1930 год... Знаменательный день в жизни Марины. — Утром неожиданно громко застучали в дверь. Едва щелкнула Марина замком, вошла незнакомая женщина с тяжелой ношей, связанной бечевкой; подала Марине бумажку, спросила:

— Вот посмотрите, кому это прислали от издательства?

Марина сразу догадалась, — вышла ее первая книжка «Маринкина жизнь», с предисловием Горького, и, не глядя на бумажку, ухватилась за бечевку.

— Это я самая, это мне книжки... — Втащила в комнату, расписалась, торопится, развязывает... В двери две соседки дивятся:

— Это что же, почему твои книжки... или ты, Марина, купила их?

— Нет, — тряхнула головой Марина, — нет, это я сама написала... — Раскладывает толстые книжки на столе, на табуретке, считает — пятнадцать... Ой, какое богатство... На обложке картинка, — девчонка Марина на полатях. Мать внизу спит на кровати... Ворочая листы, ею написанные, до темной ночи Марина читала и перечитывала напечатанную книгу. А днем некогда, она пишет вторую книгу...

Годы идут, жизнь Марину радует. Она писательница, пенсионерка, живет в доме Ветеранов Революции. В белое окно проникает горячий луч солнца, ласкает и греет ее щеку. Целые дни сидит она, пишет и скуки не знает. Дописывает последнюю страницу третьей книжки «Маринкиной жизни»... Пришла к ним английская экскурсия познакомиться, с ветеранами революции, и вдруг, у двери своей комнаты, слышит Марина голос:

— А тут живет наша старуха-писательница!

Вошли иностранцы в ее комнату толпой, все двадцать три, и не поместились, стоят в двери.

Веселая улыбка пробежала по их лицам. В комнате много цветов и книг. На стенах картины и портреты вождей. На письменном столе газеты, журналы, исписанные ею листы.

Переводчица сказала по-русски:

— Вы пишете, у вас есть свои книжки, покажите...

Вспыхнув от такого внимания, Марина разложила на столе свои небольшие книжки. Десяток рук потянулся, листают, переглядываются, на лицах любопытство и неверие. Взволнованно перебирая пальцами край белой скатерти на столе, Марина рассказывает: «Я уж старая была, малограмотная, замученная старой жизнью, а снова родилась при советской власти. На-

училась писать книжки, и я член коммунистической Ленинской партии». Лишь только переводчица перевела ее слова, гости заулыбались, кивают ей, жмут ее руки, и чего-то говорят, указывая на книжки. Переводчица объяснила:

— Это вас товарищи приветствуют и хотят иметь вашу книжечку, там у себя они переведут на свой язык.

Марина удивилась. Разве это можно, мелькнула мысль; и сейчас же, согласно кивнув, подала книжечку «Батрачка на съезде». — Тут, — указала она, — есть портрет вашей английской делегатки...

Все разом вдруг захлопали, а книжечка исчезла в портфельчике серьезной англичанки.

Никогда не могла объяснить Марина, почему все, что она с такой заботой ждала, так неожиданно и радостно осуществлялось. Утром получила вышедшую из печати свою третью книжку в черном тисненом переплете, с золотыми словами: «Маринкина жизнь», со своим портретом. Еще не успело остыть ее радостное волнение, как в комнату вошла Агаша-швейцар: — Вот вам заказное письмо!..

Торопливо разорвав конверт, Марина вынула бумажку с печатью: она, Марина, принята членом в Союз советских писателей... Тут и билет на съезд писателей...

Держа в руке такие чудесные бумажки, лицо Марины то морщилось лучиками радости, то опускались углы губ, хотелось заплакать.

— В Москву!.. в Москву!.. на съезд. — И как во сне видела она белый дом Союзов и широкие красные плакаты с круглыми белыми словами:

«Привет Всесоюзному съезду советских писателей!»...

Ясный солнечный день, — в Москве гремели трамваи, выли грузовики. Люди ехали, спешили.

С утра на площади у входа в Дом Союзов плотным полукругом теснился народ.

— Куда теснитесь, ку-уда!.. — мотала головой пожилая женщина, подвигаясь вперед.

— Эй, тетка, подвинься! — вскрикивал босой чумазый мальчишка, работая локтями направо и налево, — Горького мне надо видеть.

— Ну, да, таким нужнее, и нам бы только увидать председателя съезда Горького... — как бы извиняясь за тесноту, говорит рабочий, — вот и дюже тесно... жарко!..

Электрический свет золотом заливал Колонный зал. Тысячи писателей заняли места. В руках белели газеты, журналы.

Подбирая подол голубого сарафана, Марина бочком пролезла на боковые места, близко к президиуму, потеснилась среди женщин у самого барьера.

На двух ярусах полным-полно, голоса жужжали пчелиным роем, нижний ярус опоясан красным полотнищем, тут рядом портреты великих и мудрых писателей: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Некрасов и другие.

Марине казалось, они благосклонно и недоумевая смотрели с высоты на такой могучий коллектив писателей, как бы говоря: мы не видывали еще такого объединения писателей...

Духовая музыка смолкла. Вошел Горький. Зал загремел бурной овацией. Марине было весело и радостно, она старалась шибче всех хлопать.

— Мы выступаем, как судьи мира, — говорит Горький, открывая съезд. — Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина...

Эти слова были покрыты громом рукоплесканий...

Речь Горького Марина прослушала с той внимательностью, которая овладевает человеком, когда забываешь все окружающее.

В литературном киоске увидела Марина и свою новую книгу — «Маринкина жизнь», и радость забилась в ее сердце.

Очень понравилось Марине, когда на съезд пришли пионеры.

Дробно гремит барабан. Входит отряд пионеров, в белых рубашках и в белых тюбетейках. Веселые, жизнерадостные, все одного роста — стали частоколом вдоль президиума и замерли, каждый с букетом цветов. Девочка с шустрыми черными глазами тряхнула кудряшками, и громко зазвенел ее голосок:

— Мы, база курносых, пришли сказать писателям,— писали бы вы нам книжки хорошие, настоящие, большие. Мы просим, напишите нам книжку такую, чтобы мы, база курносых, от хохота повалились на траву.

Дружный смех взрослых и тысячи хлопков птицами забились по залу.

Отрапортовав приветствие, ребята закидали писателей цветами. Девочка повернулась к президиуму, положила на красный стол огромный букет роз.

— Это от базы курносых большому писателю Горькому, нашему другу, нашему товарищу...

Перегнувшись через барьер, Марина устремила глаза на президиум. Горький вынул из кармана белый платочек, утирал глаза. Не мог удержать радости слез. А с первого и второго яруса полетели на уходивших ребят охапки цветов и маленькие бумажные аэропланчики со словами:

«Привет Всесоюзному съезду советских писателей»...

Над Москвой опускался неторопливый летний вечер. На башне музыкально вызванивало девятый час. Отпустив последние лучи в открытые окна Дома Союзов, солнце зашло за Кремлевские стены. Делегации от фабрик и заводов прослушали выступление писателей Украины, Грузии, Белоруссии. Марина волновалась, хотелось и ей выступить... Желание это все возрастало, и, осмелев, она уже в президиуме у трибуны! Она забыла, что на нее смотрят и слушают тысячи людей, не слышит своего голоса и говорит:

— Как старая рабкорка, от имени работниц и крестьянок-рабкорок я приветствую Первый всесоюзный съезд советских писателей. По зову Ленина, мы взялись за грамоту, за перо, за газету, я счастлива, что научилась писать... Мы, рабкорки, достигли не

малых побед, ведя за собой безграмотных и малограмотных женщин, и я счастлива, что нахожусь на этом первом Всесоюзном съезде писателей.

Яркий свет прожектора на миг ослепил Марину. Она стояла взволнованная, счастливая, что ее сердце бьется заодно со всем съездом, со всем народом, выражающим свою любовь и преданность коммунистической партии и ее великому любимому вождю — товарищу Сталину.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А. М. Горького 5
Е. Новикова-Вашенцева. К читателям 6

КНИГА ПЕРВАЯ

Село Спасово 7
Глава первая. Рождение Маринки 9
Глава вторая. Счастливое детство 15
Глава третья. Бабкина былина 20
Глава четвертая. Под колотушку 30
Глава пятая. Горькие дни 44
Глава шестая. Маринка в школе . 60
Глава седьмая. Девичья забота 65
Глава восьмая. Бабам горе, девкам радость 81
Глава девятая. Отец 89
Глава десятая. Так было 98
Глава одиннадцатая. «Все хорошо, по-хорошему» 110
Глава двенадцатая. Проводы в неволю . . . 121

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая. Муж 132
Глава вторая. Жена да убоится 154
Глава третья. Замужем прожить — не поле перейти 177
Глава четвертая. Своя рубаха ближе 194
Глава пятая. Через золото слезы льются 218
Глава шестая. Дети 225
Глава седьмая. Рвутся последние цепи 258

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая. Впереди безотрадная старость 292
Глава вторая. Голгофа 322
Глава третья. Тюрьма мучит — тюрьма учит 344
Глава четвертая. «Там, где ума затменье» 365
Глава пятая. В море житейском 379
Глава шестая. К светлому маяку 394
Глава седьмая. Расцвет красивой жизни 418

Гос. издат. „Художественная Литература".

Художник *М. Кирнарский*. Редактор *В. Яковлева*. Корректор *Ф. Александров*.

Уполномоч. Главлита № А-2672. Тираж 10000. Сдано в набор 20/VI 1938 г. Подписано к печати 22/III 1939 г. Бумага $82 \times 110^1/_{32}$ Камского бумкомбината. Авт. л. 22,6. Уч.-авт. л. 22,7. Бум. л. $8^5/_8$. Тип. зн. на 1 бум. л. 130 200. Цена 4 р. 75 к. Переплет 1 р. 25 к. Заказ № 348. 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста „Полиграфкнига" „Печатный Двор" имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

Ответственный редактор Р. А. Ковнатор